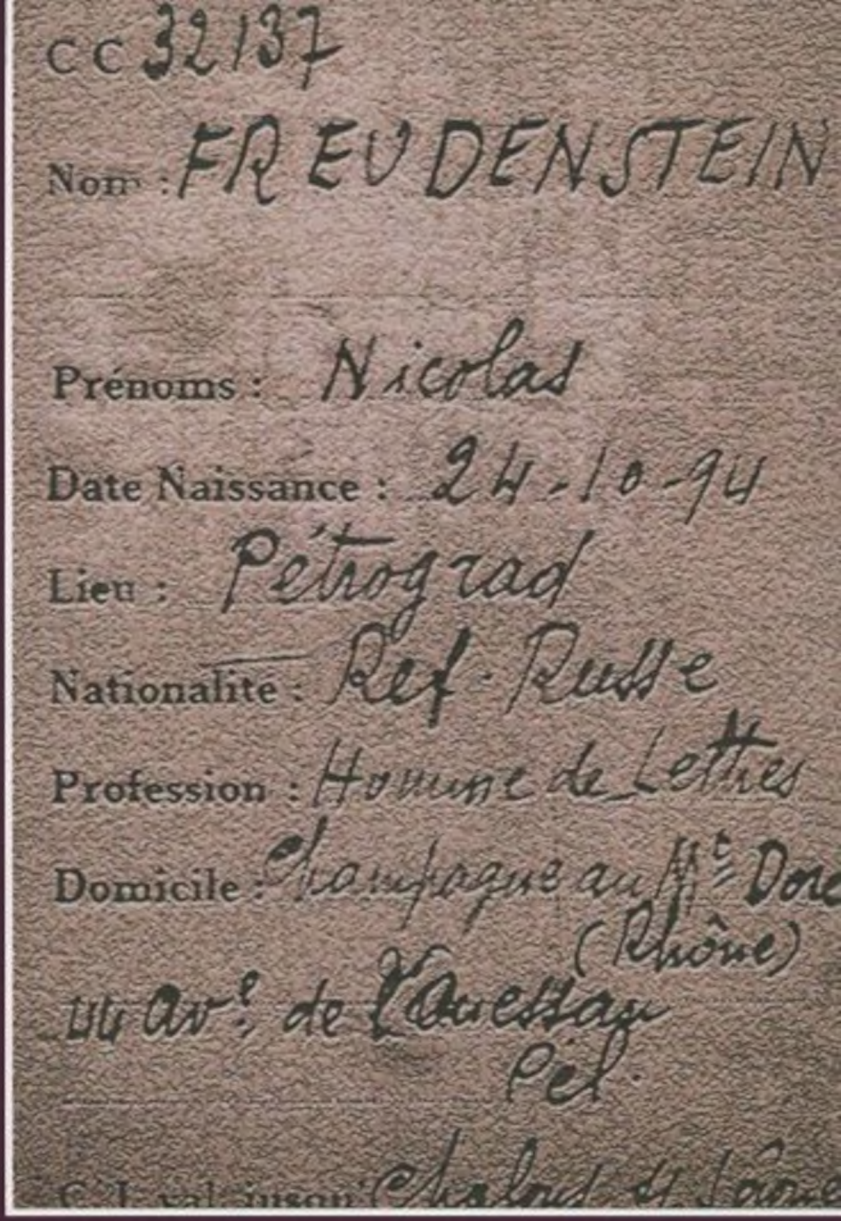
Юрий Фельзен



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ II

ЮРИЙ ФЕЛЬЗЕН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Том II

Водолей
Москва
2012

ББК 84(2Рос=Рус)6
УДК 821.161.1
Ф39

Research and manuscript preparation for this book have been made possible by the Standard Research Grant from the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada

Составление, подготовка текста,
вступительная статья и примечания
Леонида Ливака

ISBN 978–5–91763–137–0
ISBN 978–5–91763–139–4 (Том II)

© Л.Ливак, составление, подготовка текста, вступительная статья, примечания, 2012
© Издательство «Водолей», оформление, 2012

«РОМАН С ПИСАТЕЛЕМ»

ПРОБУЖДЕНИЕ

У МЕНЯ есть одно недостижимое и всё же упорное стремление, от которого немедленно возникает замирающий, обессиливающий страх – восстановить далекое прошлое (гимназию, детство, Петербург), вдвойне безнадежно похороненное, в чем, увы, сомневаться нельзя: ведь это прошлое для каждого из нас словно бы украдено и между ним и нами разрыв, произведенный чудовищными событиями, навязанной нам жизнью в каких-то призрачных городах, в чужой, непонятной, неприемлемо-сложной суете, а кроме такой наглядно-внешней причины имеется и внутренняя – что мы не можем отделить от новых бесчисленных душевных наслоений, от нового опыта далекое свое прошлое, и его манящей, первоначальной непосредственности не воскресит перегруженная наша память. Я за другими забывчиво округляю всякие прежние, ничем не завершившиеся случайности и придаю их безобразному нагромождению невольную последовательность, порою строжайшую закономерность, и нередко себе могу уяснить то, к чему раньше относился бессознательно, могу взволнованно, просветленно-творчески передать ничтожные и вялые когда-то часы, но жизненная их свежесть бесповоротно мною утеряна. И однако слепая моя настойчивость сохраняется: у меня давящая (пускай невоплотимая) потребность ворваться в прошлое и те смутные годы запечатлеть не ради «поэзии умершего быта», не ради поэзии самих воспоминаний, а для того, чтобы по мелочам проследить, как в темной путанице предутреннего детского хаоса родилась куда-то направленная самостоятельность и как ее тотчас же коснулось страшное время, подготовившее безвыходные наши дни – и в старательных, напряженных своих поисках я буду довольствоваться хотя бы несовершенными, хотя бы теперешними обманчиво-поздними выводами.

Четвертый класс гимназии, мне ровно тринадцать лет, холодная, грязная северная осень – каким сейчас нам кажется чудом тогдашняя простая возможность ходить равноправно и гордо по столичным, родным петербургским улицам: конечно, тогда мы этой гордости не испытывали, и лишь последующие напрасные сожаления ее создали и безмерно преувеличили, создав и другую естественную выдумку – о легкой жизни, об утраченной сладости, которых никто в свое время не ощущал. В том промежуточном возрасте все школьные отношения

вдруг обернулись в благоприятную для меня сторону, и недавние завидные преимущества – заносчивость и сила – недоступные мне, оказались ненужными, отчасти даже вредными: они у многих незаметно превратились в курение, хулиганство, футбол, в бесстыдные разговоры о женщинах, и мы уже безошибочно знали, что начальство, олицетворявшее судьбу, покровительствует хотя бы видимости иного. Был грозный, безжалостный случай – кого-то выгнали за «неприличные» рисунки: директор в синем вицмундире, с черно-седой холеной бородкой, и новый, звенящий, устрашающий голос: «Петров, соберите ваши книги и можете идти домой». Мы суеверно шептались по углам о «волчьем паспорте» (с таким никуда не примут) и, как бывает у нашаливших детей, если один из них попался и наказан, изображали особую примерность, с оттенком полусознательного предательства, с желанием приспособляться и скрывать.

После глупых и обидных неприятностей (услышанные мои подсказывания, упорное молчание вместо ответа, решенное всем классом, меня, однако, не поддержавшим), я понемногу инстинктивно нашел «среднюю линию» – осторожных и скрытых шалостей, когда это ничем не угрожало, и послушной лояльности в глазах учителей. Тот же директор, пытавшийся крикливостью маскировать бережно-мягкую свою доброту, был ко мне слишком заметно расположен, до какой-то перед всеми неловкости, и на томительных своих уроках географии меня единственного не упрекал за болтовню – тем самым поощряемую – с моим соседом по парте. Мы уныло вычерчивали низменности и горные хребты (в виде червячков, истыканных остриями), он садился и поправлял чей-нибудь «контур», а я догадывался, что надо говорить о войнах и полководцах, о прочитанных книгах, и мне казалось, будто он любуется нашей взрослостью. Мой сосед, крепкий, стройный, чистенький мальчик, с розовым, нежным лицом, с удлиненными поженски отделанными ногтями, отлично знал, какое у нас преимущество, и, разумеется, не портил игры. Его любили товарищи и старшие – за приятную внешность, за легкую во всем одаренность – и даже имя его и фамилия, Женечка Костин, давали повод для двусмысленно-ласковых прозвищ – «наша Женечка», «наша милая косточка» – он изредка сердился, вероятно кокетничая и неискренно. Я восхищался, без малейшей зависти, его работой, тем, как неуловимые движения карандаша, всегда ровно-остро и умело отточенного, преображают бледную, скучную, мертвую карту в отчетливо-яркое, почти живое существо. Меня пленяли его сильные, ловкие руки – я тогда еще не

мог понимать, что и мужская, бескорыстная, «умная» дружба порою основывается на внешней привлекательности: в большую перемену мы подымались в верхний коридор, где чинно прогуливались недосягаемые восьмиклассники, и, обнявшись, подражали их чинному хождению, себя ощущая такими же серьезными, им равными – и в чем-то неясном трогательно сближенными между собой. Как полагается, мы их знали наперечет, впоследствии же маленькие для нас сливались в одно, но именно тогдашняя совместная затерянность в столь недоступном и желанном кругу меня с Женечкой Костиным особенно связывала.

Уже три года продолжалась наша спокойная, ровная дружба, с неисчерпаемыми разговорами и постоянными взаимными услугами, такими естественными у неизменных соседей: нас многие пытались почти насильно рассадить (хотя бы для подсказок, для списывания задач), и каждый раз после долгих летних каникул, когда мы все откуда-то съезжались – загорелые, одичавшие и шумные – смягчая ложным весельем понятный тайный испуг перед необходимостью приспособиться к нелепо-разумному порядку и снова в себе унять еще неизжитый размах свободы – каждый раз несмело, нерешительно, однако обидчиво и упорно мне предлагал с ним рядом сидеть наиболее странный из наших гимназистов, последний по алфавиту, Щербинин – как и от многих других, я с неловкостью от него избавлялся, досадуя на его назойливость и вынужденные глупейшие свои предлоги. Он жил в условиях, необычных для нас – у тетки, к нему равнодушной, нестрогой и чем-то занятой – и мог поступать как угодно, не боясь наказаний и вопросов. Его родители давно разошлись – отец был на службе, в Сибири, мать, кажется, на юге, в имении. К началу японской войны он находился при отце, военном чиновнике, и с ним попал ненадолго в Маньчжурию, где заболел и откуда его отправили в Петербург – в результате он с учением запоздал и был на два года старше меня. Худой, длинноногий и длиннорукий, с неподвижным, бледно-серым лицом и словно бы выцветшими голубыми глазками, он людей как-то невольно раздражал – и меня, пожалуй, особенно заметно – униженным своим тоном, просительными словами: он, заискивая, со мной говорил о клятвах верности, о дружбе «без секретов», и я брезгливо тогда ненавидел его молящие, немигающие глаза, вечный запах изо рта, грязные, желтые зубы, его холодную костлявую ладонь, тонкие пальцы с коротенькими синеватыми ногтями, весь его грустный, замороженный вид. Эта жестокая неосознанная моя брезгливость, вероятно, и помешала осуществиться наивно-гимназическому наше-

му «роману» – я не знал, как бывает неумолим тот, кому навязывают любой роман, и меня всё щербининское изводило, даже хриплый, неестественно-сдавленный его голос. Нас, должно быть, отталкивало от Щербинина и его какое-то вызывающее с нами несходство: так, он заплакал после взятия Порт-Артура и восторженно рассказывал о воспалении обоих легких, от которого еле оправился, – «Ах, как приятно и спокойно умирать, скоро-скоро дышится, немножечко побаливает в боку». Нам это казалось постыдной «бабьей ерундой», и общей забавой стало бить его по спине – я сейчас понимаю, как были страшны такие по-детски безжалостные удары, причем он гримасничал, изгибался, краснел, не возбуждая в нас ни сочувствия, ни раскаяния. Всех беспощаднее себя вел его сосед, силач и рослый второгодник, Штейн Анатолий (в отличие от брата, – Штейн Николай, – исключенного за подделку отцовской подписи): нагло-красивый, наш постоянный «коновод», он обязательно перед каждым уроком размашисто-гулко ударял Щербинина по спине, изловчившись и выбрав неожиданную минуту, и затем нас победительно осматривал, а мы смеялись над щербининским удивлением и гримасами и одобряли столь находчивую шутку. Мы сами Штейна слегка побаивались и ему завидовали, и даже теперь я немедленно узнаю во многих людях, особенно в молодых – по дерзкой улыбке, по такому же вздернутому носу – тех обольстительных, ему подобных удальцов, что в детстве меня дразнили и мучили, подавляя умственную, раннюю мою гордость неотразимо-издевательским своим презрением: иные потом были вынуждены усвоить и «умственное», со всеми сравняться в любви, заботах, делах, в чем иногда со мной считаются и от меня зависят – невольный, неизбежный отыгрыш изобретательной физической слабости, прижизненный переход от первобытного к нашему веку. Хотя зрительная, слишком короткая моя память обычно разрушается временем и отдельные запомнившиеся черты не создают единого образа, но Штейна я вижу порой с наглядной, осязательной точностью, с какой не сумею передать – блестящие черные волосы, темно-карие смелые глаза под круглыми густыми бровями, пушок над приподнятой верхней губой, ошеломительно-белые зубы, девическая нежность лица – отдаленно, толстовская «Lise», но в преломлении задорном до наглости. Мы были так им увлечены и запуганы, что ради него становились храбрыми, перед ним отличались в боях с параллельным и старшими классами, и глухое одобрение Штейна нас поощряло, воодушевляя на безрассудство, словно приказ непобедимого вождя. Щербинин не менее других старался перед ним выслужиться,

но у него обнаруживалась во всем природная убогая неудачливость: никто не хвалил его «подвигов», искусно-быстрой увертливости в играх, какой-то суетливо-немужественной, хотя и несомненной его ловкости. Как я уже ранее отмечал, наши прежние доблести обесценились – и Штейн начал уклоняться от драк, ухаживал, ругался с учителями, стал голкипером и щеголем (часы на ремешке) – однако Щербинин, отставший от моды, его как-то вызвал на бой и был им снисходительно избит. На горделиво-жалкий вопрос: «Ну что же, признайся, я не струсил», – получился уничтожающий ответ: «Да, трусости ни капли, но и силы ни капли», – и штейновское любимое: «Чего ты треплешься, трепач».

Этот год и следующий прошли мучительно-тревожно – из-за мужского инстинкта, в нас пробужденного и сразу превратившегося в какую-то чувственную одержимость, невеселую, звериную и грязную: ломались голоса, многие выдумывали о себе отвратительные, нелепые подробности, в широчайшей уборной читали стихи – друг о друге, о двух наших учительницах, некрасивых, почтенных и немолодых. Иногда кто-либо стремительно вбегал, с громким возгласом: «Морковка идет» (давнишнее прозвище нашего помощника классных наставников) – стихи и курение мгновенно прерывались, каждый притворялся озабоченно-занятым, и сконфуженный, запыхавшийся Морковка уходил, не доверяя нашей невинности и готовясь нам отомстить и нас поймать врасплох. Это ни разу ему не удалось: он всегда был точно в пьяном угаре (быть может, и действительно пьян) и на своих уроках истории, казалось, не слушал ответов, загадочно прятал открытые книги под классным журналом, читал нам задаваемое унылой скороговоркой по учебнику и странно путал наши имена – красно-пятнистая лысина и лицо, вероятно, и создали неблагозвучное его прозвище, к нам перешедшее от легендарных времен. В нем была та же исступленная тревога, которая подавляла и нас – мы как-то смутно ему симпатизировали и с ним вели себя подтянуто, более сдержанно, чем с иными внимательно-строгими учителями. Я, конечно, тогда не понимал этого различия между детством и «полувзрослостью», этого беспомощного, опасного беспокойства, этих нетерпящих отлагательства порывов, каким поддавались и самые уравновешенные, самые бесстрашные и житейски-ловкие мои товарищи. Помню свое наивное удивление, когда Лаврентьев, великовозрастный ученик, спокойно-трезвый наш неизменный миротворец, меня спросил о том, как я «устраиваюсь» и есть ли у меня «постоянная связь». Длинный и стройный, пропорционально

сложенный, с тонким, узким, чуть миниатюрным лицом, он составлял прекрасную пару с Анатолием Штейном и был его неразлучным приятелем: они нас опередили, соблюдали какое-то мужское достоинство и хвастливо рассказывали о своих сомнительных победах. Я развился относительно поздно, причем во мне – до первой ревности в двадцать лет – отчетливо разделялись сентиментальность и чувственность, и даже не знаю, что именно преобладало. Я был годами как-то неосязательно влюблен в еле знакомую сверстницу, с белокурыми локонами, придававшими картинное сияние безмятежному, остро-худому ее лицу – это вспыхнуло сразу от выражения (о ней) «ангелоподобная», мною где-то услышанного и воспринятого глухо-завистливо (не так ли нас поражают неведомые альбомные красавицы) и обратившего всю дальнейшую мою влюбленность в бесплотное обожание недосягаемой ангельской прелести: я не подумал, что можно признаться в своей любви, хотя бы смутно ее показать, и навязчиво-бережно от всех ее скрывал, боясь невиннейших, простейших упоминаний, меня доводивших до полуобморочного стыда, до краски и пота, никем ни разу не замеченных. Эта бледная, тонкая девочка вскоре стала героиней моих вымыслов – она восхитительно появлялась к концу, вместо недавних мичманских подвигов, навеянных газетными описаниями японской войны. Я с нею виделся лишь на даче, и летняя обстановка мне представлялась чудесной, ослепительно-щедрой, предельно оторванной от гимназической размеренности, но и в городе, зимой, не тускнел ее облик, и перед сном – как в отошедшем, уже сказочном детстве – мир опять рисовался мне исполненным опасностей, а постель казалась «крепостью» или чаще «уютным гнездышком», где я мог целомудренно о ней вспоминать. Я надолго возненавидел обыкновенные слова – «ухаживать», «целоваться», «любовник», «влюблен» – едва подумал, что и к ней их посмеют применить: к ней они были для меня как-то кощунственно-неприменимы – пожалуй, отсюда и возникла смутная ранняя моя неловкость из-за всего, что в наше время называется «клише» и что становится невыносимым для пробудившейся «индивидуальности», рождающейся у людей моего склада от первого же подобия любви. Меня начали отталкивать и раздражать совсем безобидные «общие места» – «бархатный тембр», если говорить о пении, восторженное «музыка» о стихах, или обо мне снисходительное «наш рифмоплет». Я сам прекратил свои стихотворные излияния после чьей-то нелепой взрослой поправки – у меня трогательно описывался нищий на дворе:

Он горькие песни на скрипке играл,
Но этих напевов никто не слыхал.

И вот некий важный, придирчивый гость, которому я, по домашнему заказу, эти наивные стихи прочитал, укоризненно посоветовал заменить скрипку «арфой» – уязвленный и сбитый с толку, я совета послушался, но внутренно ощутил, какая ненужная в нем фальшивость, как трудно совместить живого, наглядного слушателя и себя, и стыдливый, уединенный свой мир, и сперва я скрывал неумелые свои писания, а затем размеры и рифмы представились мне бесцельными, и я больше не мог их искусственно подбирать: должно быть, чрезмерная эта чувствительность потом уже загнала в бесплодную глубину настойчиво-страстную потребность мою в творчестве, явно невоплотимую без некоторой толстокожести, без грубой, презрительной, профессиональной сопротивляемости. Зато во мне развилась какая-то невыраженная грусть – о себе, об уходящем времени, о неповторимости впечатлений: я помню утреннюю поездку на пароходике и радость, предвкушавшую дневные удовольствия и усталый вечерний обратный путь, с бесконечной обидой, что всё уже было, что нарядное утро навеки оттеснено и что в памяти останутся лишь внешние подробности, помню также на даче – в постели перед сном – залихватски-унылые звуки «венгерки», доносившиеся из огромного соседнего сарая, дребезжащий рояль, неугомонный топот ног и еще неиспытанную сладчайшую к себе жалость. Я завидовал чужому, недоступному мне веселью (и впоследствии жадно стремился проникнуть в заманчивую тайну чужих отношений), я смутно пережил неустойчивость этой минуты, и этой музыки и одинокой моей печали, и откуда-то – после тягостных душевных усилий – явилось первое недетское открытие, сознание гибели всякого настоящего, страх за темное будущее, лишенное настоящего, единственно реального в своей очевидности (особенно если оно беззаботное и заполненное), страх позднейших забывчивых о нем сожалений и немедленного конца даже безразличных мелочей, то отчаяние из-за ежечасной «смерти при жизни», которое я долго не мог преодолеть. С годами, как все, я, оглушенный, утерял ощущение времени, гибнущего безвозвратно, и, как всех, меня исключительно стали задевать непосредственные, сегодняшние радости и неудачи – только изредка, почему-либо от них освобожденный, я неожиданно вслушивался в уносящий меня поток, с каким-то всё менее острым желанием его остановить и за что-то не-

подвижное уцепиться, хотя он постепенно мои возможности разрушал и уже мне обещалось и предстояло немногое.

Эту поэзию неустойчивости, впервые тогда осознанную, вновь оживила ребяческая моя влюбленность – неясные чувственные влечения казались совсем из другого мира, непоэтического, низкого и стыдного. Я могу теперь и ошибиться, но считаю, по давним воспоминаниям, будто исходный толчок разнузданным мыслям давали не женщины и не кровная в них потребность, а незаметные, второстепенные обстоятельства – журнальные рекламы, cartes-postales, газетные происшествия, книжные намеки: очевидно, «культура», вернее, ее изнанка въедается раньше и глубже, чем мы думаем или хотим допустить. Напротив, мальчишеская болтовня меня расхолаживала и брезгливо отталкивала: я одинаково скрывал и светлую и темную свою тайну, избегая грубых рассказов и обязательных порнографических стихов. На меня из-за этого обижался Санька Оленин, признанный наш поэт, неглупый мальчуган (из тех, кого называют «шустрыми»), крошечного роста, смуглый до черноты, с негритянскими розовыми ладонями и грязно-малиновыми ногтями, веселый пакостник и лентяй, не пропускавший и «серьезных» разговоров. Он меня сокрушенно (и в чем-то верно) предупреждал: «Ты слишком гордый и будешь несчастный в любви». Оленин был сыном известного певца, однако презиравшего театральную среду и считавшего полезным для своего Сашеньки достойную дружбу с хорошими учениками, так что мы с Костиным каждое воскресенье приглашались к Олениным на чай. У них было скучновато и благообразно – за чаем, с бесчисленными вареньями, с невкусно-пестрой пастилой, сидели без конца, причем разговаривал только отец, высокий, лысеющий, розово-толстый господин, с особой барской уверенностью «артиста императорских театров». Он расспрашивал об отметках и учителях, не отвечая на Санькины вопросы относительно всяких оперных дел, а мать, хроменькая сморщенная грузинка, явно стиравшаяся перед мужем, лишь молча вздыхала, глядя на сына. Иногда приходили подруги к пятнадцатилетней Лизе, тихой, тоненькой девочке, которая чем-то умиляла Костина. Санька это сообразил, несмотря на всю Женечкину замкнутость и – как-то предложив сыграть в «летучую почту» – сестре написал измененным, ломаным почерком письмо с пожеланием «улечься вдвоем в постель» и с отчетливой подписью – «Ваш навеки Евгений Костин». Бедного Косточку позвали в оленинский кабинет и затем со скандалом шумно выпроводили на лестницу, да и меня из осторожности перестали приглашать,

а на следующий день в гимназии происходила неслыханная драка, и Лаврентьев из-под Костина еле вытащил Саньку, окровавленного, помятого, но довольного собой, и с трудом через месяц их помирил. Я думаю, в Саньке Оленине было что-то прирожденно-порочное, и его шалости, нередко остроумные, всегда оказывались неприятными и безжалостными: так однажды он избил случайно подвернувшегося малыша, мать которого после уроков пыталась его усовестить (великодушно не обращаясь к директору), и на последний ее довод – «Ведь и вы были таким же маленьким» – Санька убежденно возразил, что «не был». Он любил озадачить неопытного приятеля, его пригласить покататься на извозчике и, заботливо усадив, оставив одного, внезапно крикнуть извозчику: «С Богом!» – заранее зная, что приглашенный без денег и очутится в безвыходном положении. Он нам хвастливо также показывал кривые ножницы в узком футляре (чтобы укорачивать косы гимназисткам и китайцам) – подобной смелости мы уже не верили, да и не слишком ее одобряли, как нами ни ценилось любое озорство. И меня он подвел незадолго перед тем (правда, ненамеренно и всё же безответственно), предупредив, что сошлется на мою забывчивость – накануне он тайно «прогуливал», и я будто бы не сообщил ему о заданном стихотворении – по неписанным законам товарищества я принял на себя вину, зато как меня смутили неожиданные слова русского учителя и классного наставника, веснушчато-рыжего Николая Леонтьевича, слова презрительно отчеканенные и для меня достаточно нелестные:

– Мало ли что скажет тебе всякий шут гороховый, а ты и развесил уши.

Николай Леонтьевич нас постоянно дразнил, издеваясь над ошибками, перехваливая удачи и тем вызывая соревнование и досаду: это был его способ преподавать, задорный, веселый и опасно-увлекательный, однако меры он, по-видимому, не знал и – приучив нас еще детьми к фамильярности – нередко потом в старших классах наталкивался на обиды, на грубый отпор и вражду, которые усмирял с непоследовательной жестокостью. Он невзлюбил почему-то Щербинина и со скукой выслушивал монотонные его ответы, хотя тот особенно старался его пленить: насколько теперь я с опозданием понимаю, Николай Леонтьевич капризно предпочитал забавную, легкую находчивость и юмор бездарно-прилежным, тяжеловесным усилиям. Должно быть – и об этом я догадываюсь лишь теперь – Щербинину недоставало какого-то необходимого «шарма», при всем желании

нравиться и ближе с нами сойтись, он, вероятно, мучился из-за напрасных своих попыток и ревниво завидовал мне и Костину, да и всякой иной непритязательной дружбе. Как и я, он сторонился цинических разговоров, однако без отвращения, скорее равнодушно, и мне представляется странно-бесполым – с оговоркой о приблизительности теперешних моих суждений. Зато он был не по возрасту громко-сентиментален – помню хриплый, надорванный, печальный его голос, покачивание головы с опущенными веками, запах изо рта, благоговейно произносимые слова:

Какие б чувства ни таились
Тогда во мне – теперь их нет:
Они прошли иль изменились...
Мир вам, тревоги прошлых лет!

Я презирал его унылое, дрожащее волнение, со всей беспощадной мальчишеской слепотой – сейчас для меня эти слова неотразимы (от грустных воспоминаний, от последующего опыта), но позднее мое сочувствие не восстановит справедливости. В повышенно-чувствительной своей доброте иногда замечал он неуловимое для других: так однажды он расплакался из-за нищего в котелке, приплясывавшего на морозе в драных желтых туфлях – его поразил именно жалкий котелок (впоследствии для меня чуть надуманный образ униженной русской интеллигенции, обедневшей, разбитой и в беженстве и в России).

Среди причин, за два года перед тем вызывавших побоища на гимназическом дворе, было модное деление на «красных» и «черных» – потом, в наши тринадцать-четырнадцать лет, побоища сменились неистовыми спорами. Правда, у большинства это являлось подражанием – притворством, самообманом, веселой игрой – и мы следовали взглядам, наивно вынесенным из дому, причем и доводы обычно повторялись семейные, однако немногие, вроде Оленина, уже презирали «отсталых» своих отцов. Щербинин и Штейн – и особенно Костин – по-разному усвоили напуганную событиями, но крепкую лояльность военно-чиновной родни и себя объявили «патриотами» и «правыми», мы были с Лаврентьевым «идеалистами» и «левыми», в чем Лаврентьев поневоле не сходился со Штейном, осторожно не подчеркивая своего расхождения. Его «просветил» и увлек старший брат, один из тогдашних «серийных» студентов (в косоворотке, с Отто

Вейнингером, Марксом и гитарой), за меня тоже взялись два каких-то студента (случайные, дачные наши знакомые), один «анархист», другой – «с.-р. максималист», оба, как выяснилось, безобидные болтуны и вскоре деятельные, благоразумные, честолюбивые адвокаты: увы, такие прозвища в детские наши годы были признаком боевого революционного прошлого, хотя нередко их грозные, отважные носители оказывались многословными и безответственными выдумщиками. Но у меня на долгое время от этих людей остались убедительные, мнимо-опасные словечки (например, о всесильных Japon и Gapon, с которыми одинаково не справился царь), осталась путаница партий и всякой левизны, и началось бессмысленное чтение газет, слепое обожание навязанных мне кумиров – и умеренно-скромных столичных профессоров, и тех, кто убивали, бесстрашно собою жертвуя. Мы учились, без проверки, восторженно думать нам внушенными, скудными, плоскими мыслями: с давних пор это свойство мне представляется русским – не от русской ли склонности себя унижать – но для меня оно подтвердилось в начале войны, когда вчерашние лохматые бунтующие мои приятели с упоением подхватили гусарские традиции и лихой, столь им чуждый кавалерийский «цук». Эту же стадность увлечений разгадали большевики и сумели презрительно ею воспользоваться. Я вспоминаю со стыдом приписыванье нелепостей своим «кумирам», спортивное волнение перед думскими выборами, проникавшее и в мои «воображаемые романы», тогда наиболее во мне интимное. Я поддавался поверхностной головной лихорадке – по существу ведь и школьные наши предметы мне были душевно милее и ближе.

Так иные, неожиданные латинские слова меня грустно пленяли по смыслу или звуку – склонявшееся на уроках «irrevocabile tempus» (соответствовавшее первой моей сознательной грусти), таинственно-жалобное, дребезжащее «quaerela», несносные предлоги, вдруг переложенные в стихи. Я улавливал что-то увлекательно-жизненное и в учебниках истории (вопреки их «казенщине»), и в гнусавом бормотании, в пьяных возгласах Морковки: он конечно своего не мог прибавить и наполовину спал, но внезапно просыпался, говоря об итальянских женщинах – от властных римских императриц до Екатерины и Марии Медичи – и, лукаво улыбаясь, подмигивал («коварные итальянки»), словно знал о них какую-то разоблачающую тайну. К нам однажды явился старичок, окружной инспектор и, отчетливо мелом изобразив на доске колонны и путь Карфагенского похода, внушительно-громко назвал имена: «Понимаете, Ганнибал, Газдрубал и Магон», – и по-

новому участливо объяснил их поражение, чем всё это мгновенно для меня оживилось: я применил его рисунки к нашим побоищам на дворе, особенно же к летним воинственным играм, и тяжелая поэзия исчезнувшего мира слилась навсегда с полуродным земляничным полем, с низеньким берегом Финского залива, откуда за пароходами виднелся Петербург. Также и смутные уездные города не зря были известны «кустарными промыслами» и не зря очаровывали шуршащие «супески и суглинки» и неведомо-гулкие Драва и Морава: нас, естественно, поражали заманчивые созвучия и многое довносилось азартно-юной фантазией, но еще обостреннее мы воспринимали соблазнительную достоверность, угаданную за созвучиями. Иногда и нелепые, попросту ребяческие ошибки меня приближали к неожиданной реальности: я с детства запомнил – «всеобъемлющей душой» (вместо пушкинского «всеобъемлющей», в изображении Петра Великого) – и я видел Петра на каких-то ассамблеях, о которых читал в тех же «казенных» учебниках. Разумеется, полнее всего меня захватывали именно русские стихи – и не только «Вещий Олег», «Три Пальмы», «Бородино», но и «на корабле купеческом “Медузе”, который плыл из Лондона в Бостон, был капитаном Бопп, моряк искусный, но человек недобрый...» От этого возникали затейливые, наглядные представления, к тому же подкрепленные размерно-словесным колдовством. Мы волновались – чуть сладострастно – перед русскими уроками, готовясь отразить нападения и хитрости неутомимого на всякие изобретения Николая Леонтьевича («в деревне “Волки” все крыши изъели»): он как-то по-товарищески над нами издевался, нас искренно высмеивал: «Все попались, даже Костин», – и никогда не выказывал умышленной снисходительности, столь обидной в разговорах скучающего взрослого с детьми. По субботам директор неизменно просматривал журнал, выговаривал за единицы и двойки и кое-кого начальственно-резко поощрял: «Костин Евгений, хорошие отметки-с», – и его безыскусственные, скорые выводы были вовсе не праздной для каждого игрой, а каким-то завершением существа и поэзии наших дел, нашей милой разнообразной гимназической повседневности.

Порою случались и несправедливости, и мы любили негодующе критиковать учителей (из-за чего лишь развилась природная моя склонность к анализу), но бывало и так, что их возмутительные пристрастия совпадали с нашими до мелочей – хотя бы недооценка всех усилий Щербинина, никого не удивлявшая и как-то привычно-незаметная. Я с ним однажды гулял на большой перемене, и мы читали друг другу

заданный отрывок из «Полтавы», причем он помнил наизусть несравненно лучше меня и мне укоризненно (быть может злорадно) сочувствовал – на уроке пришлось отвечать нам обоим, и я, от волнения, от неуверенности и стыда, еще более прежнего сбивался и путался, но спасла меня откровенная помощь Николая Леонтьевича, его подсказывание и мой ложный подъем в ударных местах. Щербинин же, как обычно, себе вредил унылой, хриплой своей скороговоркой, и вот Николай Леонтьевич (мягко спросив: «Что, поленился?») мне вывел отчетливую, стройную пятерку – мы знали отметки по взмаху руки, по движениям пера – а взволнованному Щербинину безнадежную тройку, и на его молчаливый, нескрываемый укор последовало безжалостное, в мою пользу, сравнение:

– Большому кораблю – большое плавание.

Потом несколько дней его дразнили этой фразой, и никто не подумал с ним возмутиться заодно. Впрочем и положение «хорошего ученика» оказывалось трудным, непрерывно ответственным: надо было оправдывать чужое доверие, неуклонно подтягиваться, бояться неудач, снижающих репутацию и явно-обидных для чьей-то незаслуженной, непрочной благожелательности. Весь этот страх я испытывал, уже будучи взрослым – и на службе, и в делах, и в любви – и нередко избегал давать какие-либо обещания, хотя стремление поскорее, сейчас же понравиться в конце концов перевешивало мою дальновидную осторожность. Я также постепенно заметил одну особенность, мне часто мешавшую себя немедленно проявлять – что я бывал как-то слишком занят собой, порою не мог от себя оторваться, себе казался непрестанно у всех на виду и вдруг не отыскивал нужных мне слов, даже зная, о чем я собираюсь говорить. Это свойство теряться и быть на людях скованным с годами возросло, мне всё более препятствовало, и только теперь – после житейской борьбы, после долгих всеустраняющих любовных волнений, после ударов, уничтоживших бессильное мое тщеславие – я как будто избавился от прежней «самопоглощенности», но, пожалуй, из-за нее навсегда сохранилась стеснительная моя ненаходчивость, замененная прилежной работой наедине, вынужденной необходимостью по-ученически готовиться к иным, даже несущественным, невыигрышным мелочам. Как ни странно, всё это мне благоразумия не прибавило – оно лишь перенеслось в те немногие области, где могло быть затронуто внешнее самолюбие, уязвленное «экспромтными» моими неудачами, в остальном же я сделался намеренно-безрассуден, точно перед собою устыдившись

доказанно-скупой своей предусмотрительности и подражая в легкомысленной их щедрости талантливо-дерзким «победителям», столько раз при мне платившимся за свою широту. И теперь мое безрассудство всего очевиднее в области любовной, для меня самой опасной и важной, но не связанной с вопросами чести и самолюбия, тогда же, до первой ответственной любви, я пытался не отставать от Олениных и Штейнов, перенимая их шалости – и вовремя уходя. Впрочем дома, за отсутствием соперников и зрителей, я менялся и оттого не приводил к себе товарищей, боясь роняющей меня в их глазах, постыдной домашней своей примерности и неизбежных разоблачений у обеих сторон. Единственно, кого я полурасчетливо приглашал, был именно Щербинин, всему посторонний до слепоты и неспособный разобраться в нехитрой моей политике. У нас его хвалили (без особой горячности) за вежливость, за манеры, за французский язык, и он действительно не замечал того, что меня стесняло – разговоров о гимназии, о гимназических моих дружбах, о «культурных запросах», о вредных влияниях – не замечал у нас и некоторой обеспеченности, и твердой незыблемости внешних порядков, всей моей исключительности в нашем тусклом школьном кругу, среди убогой простоты, еле прикрытой у большинства других, им однако дававшей взамен «беспризорную», невольную свободу. Сердечнее всех к Щербинину отнеслась наша гувернантка, стареющая косоглазая француженка, с обязательным в детстве «шато» и обедневшими родителями, с исковерканной судьбой из-за неудачного романа, с непонятным благоговением перед русскими аристократическими именами – она отличалась от множества ей подобных какой-то искренней, веселой любознательностью и трезвой оценкой всего ей известного, моих родственников и товарищей (хотя бы понаслышке), семейных тайн у прежних учеников, газетных событий и бесчисленных курьезов. Я усвоил отрывочные познания в ее болтовне и с их помощью безжалостно ее дразнил (когда-то излюбленное мое развлечение): так одно укромное местечко в квартире она патриотически называла «chez Bismarck» – я догадался, чтобы ее изводить, это же самое называть «chez Gambetta» и громко радовался неукоснительному ее гневу. С умышленной наивностью я задавал ей вопросы о давних временах, о франко-прусской войне, как будто она была современницей и свидетельницей – такие намеки на возраст, пожалуй, особенно ее возмущали. Напоминая стольких людей неясного, промежуточного ранга, привычно волнуемых чужой отраженной жизнью и чужой, их приютившей средой, она не могла отрешиться от снобизма, для нее же

унизительного, от призрачных кастовых подразделений и Щербинина сразу причислила к «petite noblesse», что его как-то глухо возвышало, правда, менее, чем другое его достоинство – неожиданная, им проявленная галантность: он целовал ей руку, здороваясь и прощаясь, а иногда, прижимая к сердцу свою, театрально восклицал – «la bella des bellas» – но благодушной иронии она не различала и его мне возводила в образец, я же со злости незаметно его чернил. Несколько раз и я бывал у Щербинина, в неуютной, какой-то голой обстановке. Мы подолгу сидели вдвоем (очевидно, тетку, к нему безразличную, не могли заинтересовать и его друзья) и вели неприятно-чувствительные разговоры, за холодным чаем в мутных стаканах, которые Щербинин сам из кухни приносил – я думал с тоской об этих посещениях и старался их по возможности избегать.

2.

Не помню, какой был день – вероятно, похожий на все, унылый, грязно-туманный, осенний – кажется, начинало подмерзать. Уроки шли обычным своим порядком – я аккуратно отмечал вызываемых на заранее расчерченном листе и ставил предположительные отметки (не только из любви к статистике, но и для того, чтобы вернее рассчитать, когда должен наступить мой черед – я давно уже беспроигрышно изучил несложную систему преподавательских вызовов, у каждого свою, одинаково легкую и косную, и на этом строилось мое «пятерочное» благополучие). Дежурный вяло докладывал классному наставнику, Николаю Леонтьевичу – того нет, другого и третьего – и назвал последним (по алфавиту) Щербинина. Санька Оленин, «присяжный остряк», крикнул с места: «Щербинин повесился», – подражая прерывисто-хриплому его голосу. Почему-то никто не засмеялся.

После гимназии Лаврентьев, Костин и я, почти не сговорившись, молча отправились к Щербинину – узнать о его здоровьи, сообщить заданные уроки – с непонятной и нам несвойственной предупредительностью. Я без конца в различное время и разным людям всё это описывал, и у меня поневоле выработался один из тех пространно-готовых рассказов, которыми – незаметно для себя – мы по нескольку раз докучаем тому же собеседнику, которых сами уже не слышим, так что они, от долгой затасканности, теряют первоначальную свою точность и выразительность, чем навсегда уничтожается какое-то

«жизненное дуновение» в передаваемом, да и во всяком нашем прошлом, ему сопутствовавшем: такие готовые, часто повторяющиеся рассказы потом неизбежно словно бы застилают остальное, и всё случившееся между происшествиями, в них отмеченными, бесповоротно улетучивается из памяти. Мы также не видим округлений и ошибок, нечаянно возникших от словесной быстроты, от разговорной безответственности, от погони за успехом – это в дальнейшем меняет последовательность событий и, конечно, становится неотъемлемой их сутью: так, перебирая разнообразные причины, нас троих заставившие пойти к бедному Щербинину, я приписал нам тяжелые предчувствия и затем неоднократно ими хвалился – их очевидно не было и быть не могло. Всё же постараюсь хотя бы приблизительно воссоздать свои впечатления и добраться до тогдашней непосредственности через пустые, давно омертвевшие слова.

Мы не успели удивиться распахнутой двери в передней, двум заплаканным пожилым женщинам и сладко-тошному запаху ладана, как вдруг очутились в единственной парадной комнате – посередине, на столе, возвышался гроб, и в нем лежало худое и длинное, как будто вытянувшееся тело Щербинина. К моим рассказам впоследствии привязалось туманно-искусственное слово – «парение»: мне кажется и сейчас, что именно таким (невесомым, непрочным, оторвавшимся от земли – и где-то парящим, недостижимо-далеким) я в первую минуту увидел Щербинина и лишь постепенно, из-за неожиданных слез Костина, под равнодушное бормотание бледной монашки, от сильной руки Лаврентьева, меня дружески взявшего под локоть, я в мертвом стал различать живые, знакомые черты – посиневшие острые пальцы на гимназической куртке, оттопыренные маленькие уши над новыми, фиолетовыми пятнами, прямую линию лба, переносицы и носа (внезапно обрывающуюся около губ, уродливо-четкую в лежачей неподвижности) и шею особенно-нечеловечески-удлиненную. Это запомнилось одними глазами и до сердца, до жалости не дошло – скорей уж появился зачаточный страх, меня как-то сблизивший с Лаврентьевым и Костиным в невольных поисках взаимной опоры. От них в одну секунду меня отделил простейший вопрос («Нет ли среди вас Ф.»), заданный старшей из обеих дам – по-видимому, теткой Щербинина – я почувствовал себя недаром названным по имени, виноватым и уличенным, и сразу ответственным за эту смерть, и потом даже гордился воображаемой своей виной, хотя вопрос был несомненно и безобидный и случайный. Перед уходом мы узнали, что оленинская шутка зловеще

оправдана и что под утро Щербинин повесился, оставив коротенькую записку, без единого указания или намека.

Нам так и не открылась действительная причина его конца – я придумал нелепое романтическое объяснение, неразделенную любовь к миловидной барышне, о нем всплакнувшей на похоронах, должно быть, родственнице или знакомой, или просто жалостливой соседке: я больше не встречал никого из близких ему людей, и моя фантазия, не стесненная опровергающей реальностью, могла заходить как угодно далеко. Вероятно, были нелепы и другие мои предположения – будто Щербинин, излишне подозрительный, не вынес придирок Николая Леонтьевича и беспощадной нашей холодности, особенно моей. Правда, он пытался к нам подойти, но всё рассеянней, всё с меньшей надеждой, и жил чем-то уединяюще посторонним, увлекаясь модными книгами (о которых мы еле слыхали), неубедительно говоря о вычитанной в них мудрости, направленной против жизни и вскоре захватившей многих из нас: в то упадочное время наши старшие товарищи, подражая разочарованной, порою фальшивой усталости взрослых и кокетливой безутешности этих модных книг, выискивали способы себя не щадить, себя как бы растратить физически и духовно – в бесцельном молодечестве (играя своим будущим), в «огарческих» кружках, в легкомысленных самоубийствах (вслед за этим в нашей гимназии «на пари» отравился шестиклассник), находили иногда и героическое разрешение – тоже беспросветное, непростительно-раннее – в душном и вязком революционном подполье. Не знаю, поддался ли Щербинин одной только «моде», влияниям и книгам, но думаю теперь, спокойно и трезво, что он-то, пожалуй, не ошибался: ему были суждены одиночество и недооценка, незаслуженные обиды, завистливые мучения, и он среди общей нашей неприспособленности (через годы так страшно обнаружившейся) оказался бы слишком уже беспомощным.

Мы спешно с приятелями распрощались – каждый торопился со своею сенсацией домой: я позже неоднократно замечал – одинаково у себя и у других – как мы любим использовать всякую свою близость к чужому подвигу, к чужому самопожертвованию, страданиям, смерти, точно они и нас возвышают, хотя мы всего только «дешево отделались». Я не сочувствовал самому Щербинину (даже терзаясь душевной своей уродливостью), однако ждал нетерпеливо минуты, когда смогу домашних поразить, и смутно боялся, что при этом рассмеюсь, особенно в разговоре с нашей мадемуазель, которая примет мою новость с наибольшим удивлением и жалостью. Мне удалось лишь в зрелые годы

частично избавиться от неприятного свойства – смеяться в лицо над чьими-либо неудачами, над плохими отметками или «разыгранными» учителями, над малышом, свалившимся от подножки, над карточным проигрышем, над освистанным оратором, над посрамленным и растерянным спорщиком, над бегущими и опаздывающими на поезд – нередко, читая газетные известия о далекой борьбе враждующих партий, о нарастании мировых событий, я азартно хочу ускорить чье-то окончательное поражение, и в основе то же смешливое злорадство, травля и добивание любых неудачников, вопреки собственным пристрастиям и природной искренней доброжелательности: у меня очевидно проявляются и повышенное чувство смешного, и темные внутренние силы, и какая-то нервная распущенность, и то неудержимое гибельное стремление, которое болезненно нас тянет кинуться с балкона или с моста, сказать невозможную, непоправимую грубость, напрасно обидеть нам преданную, кроткую возлюбленную. И в детстве и до сих пор – чтобы сразу же подавить неуместную улыбку, привязчиво-бесстыдный смешок – у меня всегда наготове достаточно грустные воспоминания: мне это – из-за долгой тренированности – всё более, всё надежнее помогает, но в иных соблазнительных случаях досадная моя склонность прорывается. Так вышло и с mademoiselle – увидев понятный ее испуг, я в упор неприлично-громко расхохотался.

В гимназии и дома загадочный поступок Щербинина несколько дней подряд обсуждался наперерыв. В классе никто не злословил, даже Оленин и Штейн, и высказывались ложно-обоснованные предположения в тоне снисходительности, напускной серьезности и опытности (будто мы временно под кого-то маскируемся), и так же – быть может, сердечнее – об этом говорил и Николай Леонтьевич, с оттенком сплетничества, доверительно-интимно разобравший все нами придуманные объяснения. Похороны были деловито-будничными – те же лица, гербы и шинели, тот же беспорядок и покрикивание учителей – и на улице, а затем на кладбище я не испытывал ничего, кроме колотья в ушах от сверлящего холодного ветра, и тоскливо ждал конца неприятностей, теплой комнаты, утренней газеты (помню, с какими-то сведениями о выборах, для меня увлекательной очередной «сенсацией»). Стыдясь ледяного своего равнодушия, я сделал попытку в себе пробудить естественное возмущение перед новой могилой – что она закроется и своей жертвы не выпустит, что мы согреемся, а Щербинин останется в мерзлой земле, что обидно так молодо умирать, но вялые общие эти мысли отпали, не тронув, как и всякое наше умничанье. Столь же ис-

кусственными оказались и сочиненные мною стихи, начинавшиеся со слов «Октябрь на дворе, столица заволоклась туманом, как всегда» и заканчивавшиеся нравоучительно, под взрослого:

Увы, хоронят молодого гимназиста,
Который слишком рано жизнь познал,
И, видя, что пути ее жестоки и тернисты,
Ее на смерть променял.

Стихи эти вскоре «затрепались» – не только по моей вине – и меня же стала отталкивать высокомерная их пустота, но Щербинина я по-прежнему не жалел и глухо радовался (как это бывало и впоследствии) исчезновению единственного свидетеля иных неприглядных моих сторон – в данном случае сентиментальных разговоров, смутных обязательств, постоянной беспощадности. И всё же мальчишеская моя бесчувственность не удержалась – она сменилась длительной связью с умершим, уже глубокой, похожей на «культ» и выбравшей два отчетливо-разных пути, которые изредка нечаянно скрещивались, однако не сливались и снова расходились.

Первый – тяжелые, навязчивые сны, возникшие по самому неожиданному поводу. Однажды вечером, блаженствуя в ванне (дней через десять после похорон), я – из ребяческого озорного любопытства – с головой погрузился в горячую воду, чтобы наглядно, приближенно себе представить, каково было Щербинину задыхаться, и от собственного ужаса, от дальнейшего сладкого освобождения вдруг ощутил его безвыходный конец. Это превратилось ошеломительно быстро в безвольную привычку, в какую-то странную одержимость: мне стоило остаться одному, как я судорожно пальцами зажимал ноздри и пробовал минуту не дышать, переносясь в предсмертное состояние Щербинина и всё более разделяя его мучения. Вероятно, были и другие причины, о которых я вспомнить не могу (или случившееся не сразу до меня дошло – наша «реакция» часто запаздывает, не поспевает за самим восприятием), но мне, именно поглощенному этой подражательно-самоубийственной игрой, впервые ночью приснился бледный, мертвый Щербинин, с теми синими пятнами, которые были у него в гробу, и всё же воскресший, способный двигаться и говорить – он крепко схватил мою руку своей холодной, как при жизни, рукой и повел меня куда-то наверх по длинной, страшной винтовой лестнице, причем я знал, что мы взбираемся на башню (не то вроде Вавилонской, по наивным

библейским картинкам, не то на пожарную каланчу), затем он кинулся вниз и увлек меня за собой, и тогда я проснулся, дрожащий, невыразимо потрясенный. В квартире все спали, ничьей поддержки быть не могло, и я, как будто парализованный и темнотой и своим одиночеством, как будто находясь в присутствии, во власти мертвеца, особенно боялся уснуть и вызвать его неизбежное и слишком ощутительное появление. Это стало повторяться каждую ночь – по многу раз, едва я засыпал – и мой ужас не уменьшался, скорее даже усиливался, точно падало разумное сопротивление остатков уравновешенности и трезвости. Всё нестерпимее делалась пугающая, мстительная темнота, и часто вечером – из кабинета или гостиной – не имея мужества добраться до выключателя, я убегал в освещенную детскую, где наваждение немедленно проходило. Я себя уговаривал, что это не трусость, что у меня болезненные видения – хотя я к ним и не склонен, хотя таинственное мне чуждо и недоступно. Но потом, когда от возраста исчезла моя задетость, я – упрямо защищая ослабленную чувствительность (с таким упрямством защищают любовь), как бы спасаясь от сухости и скуки, – я себе навязывал эти же мрачные видения, и лишь последняя, грубо-искусственная попытка (студентом, в Крыму, среди пустынных улиц и бесконечных глиняных стен) разоблачила мой самообман: мне было нужно вот так по-взрослому себя осудить, чтобы навсегда отрешиться от соблазнительных выдумок. Я уже признавался, как меня возвышало романтическое вранье о Щербинине, лживо-тягостная моя виновность, легковесные предположения о расплате, к чему и сводилась вторая, внешняя сторона неразрывной моей с ним близости – и это выходило еще убедительнее от пережитых, неподдельно-страшных ночей (здесь явно скрещивались оба моих пути), и я, разумеется, удерживал (пока не явилась всё та же ироническая взрослость) простейшую возможность рисоваться столь тщеславными о себе рассказами перед напуганными, взволнованными гимназистками, при вечной моей стеснительности и неловкой ухаживательской робости.

Война, революция и гибель стольких людей уничтожили, вытеснили у меня всю исключительность того давнишнего потрясения, как вытеснили и горькое величие смерти. Я закалился, внутренно окреп и случайным обидам не поддаюсь, словно обдуманно-твердо решил охранять от назойливых вторжений единственно мне важную область – любовную: в ней укрылась моя неизменно-плодотворная уязвимость и ставшая осторожной, когда-то легковерная отзывчивость, нетерпеливо стесненная поставленными ей пределами. Как ни удиви-

тельно, ожидание такой именно любви уже возникло в упадочные годы моего детства, которые иным моим сверстникам представляются лишь ступенью к последующим событиям (быть может, оттого, что события действительно произошли): для многих столь рано прерванная наша молодость – как бы движение слепого у пропасти, как бы удар, готовый обрушиться – они, однако, не помнят, какою молодость была, и мне эти записки доказали неуловимость ее забытого очарования. Теперь мы очутились в пустоте, без собственного облика, без опоры, вне жизни, и я (вероятно, и другие – каждый по-своему, ответственно и одиноко), я себя пытаюсь воссоздать – опять-таки по-своему, через любовь – и хотел бы, чтобы из-за нее потускнели огненные блестки злобы (в чем-то осмысленной и праведной), и не знаю, куда и как применить отраженную, замкнутую, в любви накопленную доброту.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Едва ли не каждый на своем опыте убеждается в очевидном несоответствии того, как прихотливо-неровно ощущается время и как ритмически-точно его измеряют: я почему-то с упрямой непоследовательностью продолжаю наивно удивляться одной из таких несообразностей – что «скучные» дни, без событий и волнений, тянутся иногда невыносимо-долго, а дни, наполненные страхом, печалью, борьбой, наполненные ожиданием радости или горя (хотя ожидание и страх невыносимее скуки), кажутся – особенно впоследствии – пролетевшими незаметно. На эти мысли, простые и, в сущности, мне далекие, меня наталкивает сопоставление, уже обостренно задевающее, возникшее из-за постоянных наших поездок – все более вам нужных, опасных и длительных – сопоставление непрерывной с вами тревоги и моего спокойствия наедине. Обычно эти месяцы вашего добровольного отсутствия словно бы разрывают на части мою, и внешнюю, и внутреннюю жизнь, – и если нет у нас при встречах осязательной перемены в тоне разговоров, взаимного понимания и доверия, установленных, выработанных годами вдохновенных усилий – то разрыв, от одиночества и свободы (преувеличенных в моем восприятии), отравляет всю легкость и сладость общения посторонней, неясной, чужеродной примесью. У нас также не было при встречах перемены в основе отношений (да и устойчивая наша близость могла бы справиться с чем угодно – вероятно, и с тягостной потерей любви), и существо напряженной, почти неприязненной холодности, как-то у обоих неизбежной, когда вы снова появляетесь, существо нашего расхождения неукоснительно в одном – и у меня это нагляднее, грубее, неуклюжее – насколько в начале я по инерции поглощен предшествующей беззаботностью и пустотой: ведь и давнишние «безлюбовные» друзья, после разлуки и независимости, естественно, не сразу привыкают к обязывающим трудным совместным часам. Я изредка пробовал себе доказать, будто ваши приезды мне поневоле напоминают об ушедшем времени, о невозвратности, о постарении, о конце (из-за чего и вся бессознательная моя сопротивляемость), но затем обнаружил, какая в этом слащавая условность, и какая неподдельная жизненность была бы в ином – в нечаянном воскрешении соперничества и ревности: пускай бы даже их вызвали новые, грозные обстоятельства, устранив, обесценив

предыдущие ревнивые опасения – для меня те и другие немедленно бы связались единой, безыскусственной, оживляющей болью, и к вам, неизменной виновнице и предмету моей боли, мне к вам едва ли пришлось бы так постыдно-неловко приспособляться. И вот эти «новые обстоятельства» налицо, и впервые – тотчас же после разлуки – я не испытываю ни растерянности, ни тяжести.

Как ни странно, мне с вами привычнее и «удобнее» из-за вашей теперешней полусмущенной враждебности, из-за вернувшейся моей боязни вас лишиться, из-за чего-то знакомо-обидного, что мной угадывалось и раньше – в подозрительной уклончивости ваших писем: в них проскальзывали похвалы каким-то неведомым друзьям, сухость тона явно умышленно скрашивалась неубедительной нежностью окончаний, да и самое откладывание вашего приезда (несмотря на благоразумные предлоги о квартире, деньгах и здоровьи) не могло быть невинным и случайным и меня постепенно готовило к безнадежности или борьбе. На вокзале появились и эти, неизвестные мне, друзья, нарушив интимность и обаяние встречи, разумеется, с вашего согласия (уже неоспоримое доказательство глубокой вашей отчужденности), и я сразу же вспомнил, как вас летом один провожал, и то, что невольно забыл отметить в тогдашнем болезненном своем возбуждении: вы сперва дельно и трезво нашли заказанное спальное место, переменили его на нижнее, умело сговорившись с кондуктором, аккуратно сосчитали вещи, проверили часы – и затем лишь позволили себе растрогаться. И всё же я тогда не обманывался, и ваша обычная осмотрительность не предвещала отрыва или ухода, а эти бесконечные месяцы и эти вежливые молодые люди вас, пожалуй, от меня и отучили и увели.

Правда, ваши приятели заранее выехали из Канн, чтобы снять вам квартиру по вашей же просьбе, и, значит, им следовало быть на вокзале, вас как-то устроить и куда-то направить, но мне это представилось еще оскорбительнее, чем неудавшаяся наша встреча: я по-детски обиженно задавал себе вопросы (упиваясь их безответностью и вашей несправедливостью) – почему вы не поручили хлопот и поисков мне, разве я вам не ближе, не услужливей и внимательней, разве с точностью не знаю ваших истинных вкусов. Вы, по-видимому, не совсем ко мне охладели, что-то поняли и постарались меня успокоить, шутливо заявив о моем равнодушии к обстановке, о моей лени, о вашем нежелании напрасно меня утруждать, и вскоре я убедился в несомненной вашей правоте: «дельные мальчики» (как вы их благодарно и весело окрестили) отвезли нас по новому адресу, познакомили с консьержкой,

показали квартиру, старомодно-буржуазно-уютную, и затем с милой дискретностью нас оставили вдвоем, и пока вы перемещали кресла, развешивали картины, я (пытаясь быть полезным, вбивая какие-то гвозди) нетерпеливо и мрачно возмущался этой будто бы ненужной суетой – мне действительно безразлична была всякая обстановка, если она некрикливая и хоть немного удобная, я слеп ко всему, что не волнует, что непосредственно не живет, что не люди, не души, не любовь, и (продолжая вам помогать) ждал одного, когда вы кончите «суетиться», когда мы усядемся и поговорим.

Но квартира мне понравилась больше вашей прежней пансионской комнаты (хотя и предвидел ее будущую для меня враждебность), да и то, что вы задумали и выполнили, было, как всегда, практически-толково и правильно – вам не пришлось из вагона переехать в отель, и вы сразу избавились от необходимой скучной работы. Порядок вы навели по собственному счастливому вкусу: от каких-то незначительных, произвольно-капризных перемещений всё в квартире словно бы ожило, она потеряла свою «меблированную» безличность, и мне это стало ясно, несмотря на мою неизменную к внешнему слепоту. Мы сидели в приемной (вы ее называете гостиной), я на низком удобном кресле, как-то вытянувшись во всю длину, вы – подобрав ноги – на огромной тахте, окруженная подушками, неподвижно-спокойно-мечтательная, и меня охватило (именно под влиянием обстановки) ощущение лени, беспечности, полусонного благополучия, вопреки дурной очевидности и явным признакам беды. Ненадолго вернулось иллюзорное равнодушие, сопровождавшее ваши прежние возвращения, появилась и та искусственная неловкая оживленность, которою мы (от усилий, от нервности, от разбега) обычно пытались маскировать первоначальное это равнодушие, были также и случайно произнесенные слова, ошибочно принимаемые за нечто решающее и нужное, и у меня вылетела из памяти дальнейшая, неизбежная и столь мне знакомая последовательность – как понемногу возникает нам свойственная дружеская нестеснительность, затем постоянная моя потребность быть около вас, переходящая в неистовую жадность ко времени с вами, в беззащитную и рабскую зависимость. Но главное, о чем я забыл, себя считая забронированным от боли, доверившись неискренней, поверхностной и веселой болтовне – это о темном своем страхе, уже пробудившем готовность мучиться и ревновать. Мы ужинали в низенькой столовой, загроможденной буфетами, столиками, сервизами, приветливая морщинистая бретонка нам подала всё, что полагается в добропорядочной

французской семье, но я с ложным умилением (однако при вашей поддержке) вспоминал и неумеренно хвалил наши «бутербродные» пансионские ужины. Как и в некоторых других скромно-буржуазных парижских квартирах, из столовой на кухню ведет коридор, с дверью в широкую спальню, где вы на целый час уединились, куда не позвали меня (еще крохотный укол) и откуда вышли принаряженной, сияюще-освеженной: вечером ожидались гости – ваши «дельные мальчики» (вас почему-то особенно тронуло, что они позаботились о прислуге) и Рита с Шурой, недавно поженившиеся.

Шура нашел «командитэра», чтобы основать собственное дело, небольшой «франко-русский» ресторан – открытие должно состояться через несколько дней, и сейчас у обоих супругов последние свободные вечера. Я Шуре давно предсказал коммерческий успех, для чего особенной проницательности не требовалось. Разумеется, и он, и Рита поглощены своим новым предприятием, говорят лишь о цифрах, о «конъюнктуре», которая «портится», с нами советуются, на какую рассчитывать публику, иностранную или русскую, богатую или среднюю (словно мы исключительно заняты их судьбой), и в Шурином покровительственном отношении к жене порою чувствуется бережливая «хозяйственная» нежность, сознание, что она – его незаменимая помощница. Ваши приятели, почти не скрывая, над ними посмеиваются, и Шура немедленно это уловил, но со свойственной ему житейской дальновидностью и гибкостью не стал возражать вероятным будущим клиентам и сам, применившись, усвоил распущенно-шутливый их тон. Я начал к ним присматриваться, пытаясь угадать, кто из них «соперник» или даже «похититель» – ведь многое от меня ускользнуло за месяцы вашего отсутствия. Они старинная неразлучная пара – я смутно, до вас еще, слыхал, что всюду зовут их «Павликом и Петриком» и что один без другого не появляется (им приписывали и «порочные наклонности», объясняющие непонятную их близость, однако теперь эти «модные» сплетни часто распускаются без малейшего основания). Я так и не решил, кого мне надо опасаться – вы были с ними приветливо-ровной, а безотчетная моя неприязнь к Петрику не означает, будто я что-либо угадал: просто мне он представился насмешливым до наглости, самонадеянно-заносчиво-развязным, и я искал, к чему бы придраться и чем бы позлее его задеть, и глухо досадовал на свою ненаходчивость. Они пришли, напудренные, во фраках (из-за какого-то «меценатского раута»), и нас мгновенно подавили бело-черным слепящим блеском, фамильярными суждениями о

знаменитостях, перескакиваньем с темы на тему, особым щегольством цинически-изысканных фраз, быть может, принятых в загадочном их кругу: во всякой «элите» (истинной и поддельной), во всяком презрительно-замкнутом кругу свое разговорное щегольство – от церемонной светскости или торжественных вещаний до намеренно-издевательской грубости – оно оглушает восторженных новичков и кажется недосягаемо-трудным, затем перенимается незаметно-легко, придает нашей речи послушную, стройную гладкость и, в сущности, ее обезличивает подражательной словесной игрой.

Я понемногу с вашими приятелями освоился и молча сидел, их разглядывая и сравнивая между собой: мой инстинкт любознательности пробуждается не от первого знакомства, а от внезапного наводящего толчка, и этим неожиданным толчком для сопоставления ваших друзей оказалось одно случайное обстоятельство – насколько до мелочей совпадало парадное их великолепие, невольно отнявшее у обоих непохожие, но как бы родственные черты. Меня действительно в их внешности поразило то неуловимое сближающее несходство, которое бывает иногда у супругов, у компаньонов, у людей почти не расстающихся и постепенно приспособившихся к совместной жизни или работе. Основное у Петрика – удлиненность, облагораживающая худобу, бледная яркость, лучистые серые глаза, слишком тонкие, выхоленные руки и вспышками резкий, по-детски взвизгивающий смех. Павлик обыкновеннее – округлое, чуть румяное благообразие, возможная в будущем полнота при сохранившейся еще пропорциональности линий и упругости, тоже серые, но тускловато-мягкие глаза и пухлые ручки с коротенькими безвольными ноготками. Всё это сглаживается одинаковостью роста (моего – средне-высокого) и старательно прилизанной подтянутостью, а также необычайной моложавостью, хотя Павлику около тридцати лет и он взрослее, уравновешеннее Петрика: я теперь лишь по достоинству оценил вашу похвалу – «дельные мальчики» – и не без горечи припомнил давнишнее собственное замечание – после вашего романа с Бобкой – о «вечных мальчиках», вам нравящихся (вы, улыбаясь, тогда возразили, что к ним причисляете и меня).

Новые гости сперва держались презрительно в стороне, обмениваясь чуждыми нам сенсациями (и к нам ни разу не обратившись, как будто мы «не доросли»), говоря о картинах, о торговцах, о щедром лондонском богаче: Петрик в свои двадцать четыре года уже нашумевший художник, и цветисто-многословные здешние критики считают его надеждой и чудом. Мне всё менее «импонируют» успех и талант,

а такая наглядная профессиональная беззастенчивость для меня просто кощунственно-оскорбительна, хотя нередко под нею прячется стыдливая одержимость своим призванием. В этом обычно вы со мною сходитесь – вам нужно, как и мне, таинственное «внутреннее содержание», что, пожалуй, гадательно и меня возвышает: ведь я приписываю себе какие-то непроявленные силы и в чем-то беззастенчивее, самонадеяннее Петрика. Но ваше недоверие к успеху – признак душевной независимости и осторожного, справедливого, неженского ума – и если в данном случае вы не останетесь беспристрастной, вас нетрудно понять (и особенно мне) и найти объяснение в любовной вашей слабости. У меня самого стремительно возникает ответное, влюбленное, словно бы женское пристрастие: я заранее осуждаю ваше предполагаемое восхищение, его пытаюсь опровергнуть и свою придирчивость обосновать, причем – не умея разбираться в картинах, зная о Петрике из газет – выискиваю у него человеческие недостатки, но это косвенно роняет и неизвестные мне картины. Я вам хотел бы доказать, что ваши друзья – карьеристы и снобы, что главная цель их – общественно подняться, пролезть в очередной, им запретный круг (где, даже сомнительно утвердившись, они забывают о предыдущем), что их «нуворишское» чванство на вас предельно не похоже и, следовательно, вам с ними не по пути, при всей вашей упрямой ослепленности: вы настолько значительнее всякой среды, в которую нечаянно попадаете, и всяких «кастовых» соревнований, что их не видите и не гордитесь какой-либо местнической своей победой и своим отраженным, заемным блеском – не потому ли со всеми вы одинаково любезны, с несознаваемо-скрытым оттенком превосходства и снисходительности. Впрочем, нельзя так безрассудно поддаваться воображению – порабощенная им реальность восстает и мстит за себя, и это сейчас же, неоспоримо, на мне подтвердилось. Быть может, я вас и не очень перехвалил, зато ваших приятелей необоснованно и чрезмерно унизил своей, к ним примененной теорией о снобизме, опять-таки непроверенной и подражательно-беспощадной – и вот искусственно получилось огромное несоответствие, лишь растравляющее мою обиду назойливой мыслью, что вы предали меня ради недостойных вас людей. Напротив, отрешившись от предвзятости и негодования, успокоительно думать, что ваши друзья – совсем не «выскочки», не «пустозвонные болтуны», как я бы охотно их обозвал, при несомненном сочувствии Риты и Шуры (у нас робкий и молчаливый «тройственный союз»). И действительно, Петрик добился успеха – очевидно, как и другие – вдохновением и

упорством, он, естественно, увлечен профессиональными вопросами, у него изящные движения и аристократическое имя (Стеблины – богатая московская знать), Павлик Ольшевский, кажется, воспитан и образован и «на прекрасном счету» в какой-то фильмовой конторе (по вашим словам, намекающим на житейскую мою непригодность), а в дальнейшем обнаружилась и его неожиданно-милая талантливость.

Вы предложили ему что-либо спеть. Он, не ломаясь, немедленно уселся за рояль и послушно-вопросительно на вас посмотрел. «Для начала спой “Бублички”, это пока не приелось, хотя скоро нас будет изводить», – посоветовал Петрик, и вы его радостно поддержали. Павлик задумчиво, как бы рассеянно заиграл, и его пухло-вялые, неловкие пальцы, казалось, любовно гладили каждую ноту, создавая нежно-певучие звуки, не отвечавшие грубому надрыву частушечной жалобы. Он и поет по-своему, чуть-чуть однообразно, однако, проникновенно, голосом мягко-высоким, печальным, усталым, не меняя тона, не напрягаясь, не доходя до шепота и лишь осторожно подчеркивая отдельные фразы, как их нередко подчеркивают поэты, читающие свои стихи. Первые звуки у него рождаются словно бы из воздуха, и в комнате что-то непонятное протяжно-долго звенит. Так иногда напевают женщины, еле слышно, про себя, вызывая полувлюбленный таинственный отклик – эта мысль меня вдруг жестоко и трезво перевела на внезапное подозрение об истинном сопернике, но я еще не успел втянуться в постоянную о вас тревогу и беспечно отмахнулся от неприятного, несносного подозрения.

Он спел еще несколько романсов, каждому известных, и среди них старинный цыганский – «Расставаясь, она говорила», – которого я прежде не слыхал и в котором почему-то меня тронули слова: «Одному лишь тебе дозволяла целовать мои смуглые плечи», – и особенно тронуло всё заключение:

Для тебя одного покраснею,
Покраснею пред светом суровым,
Для тебя поклянусь... и солгу я
И слезой, и улыбкой, и словом.

Я порою нахожу неизъяснимую прелесть не только в цыганской или русской песне, но и в любой мелодической легковесной музыке, прелесть и непосредственную, и какого-то косвенного воздействия, какой-то нужной помощи извне моему усыпленному вдохновению:

мне представляется, что именно такая, не настоящая, не длительно-властная музыка помогает «пустить на волю» напряженно-скованные творческие наши силы, как и сценическая, однако литературно-плохая пьеса дает актеру возможность развернуться, свободно выразить себя и свое – он не подавлен и не стеснен навязчиво-личной авторской волей, и есть канва, есть готовое подталкивание и движение. Смутно пытаясь вам передать свой внутренний жар и, вероятно, полусознательно к вам подлаживаясь, я начал неумеренно хвалить выигрышные места последнего романса (как хорошо «дозволяла», а не «позволяла», еще убедительнее «для тебя поклянусь и солгу я») и незаметно вашу благосклонность «купил»: вы дружественно-экзальтированно со мной согласились, причем было ясно, что это относится не ко мне, что это лишь признательность за мои похвалы вашему гостю. Вы даже с мольбой ему сказали под конец, когда он тихонько опустил крышку рояля, – «Будьте добреньким, спойте мне “Бублички”, ну пожалуйста, не надо упрямиться», – и я, возбужденный всем предыдущим, упиваясь текучестью напева, на минуту поверил далекому видению:

Ночь надвигается,
Фонарь шатается,
Свет проливается
В ночную мглу.
. . . . . .
И в ночь ненастную
Меня, несчастную,
Торговку частную,
Ты пожалей.

Я поддался, как в пьяном забытьи, наивно-мечтательным предположениям, что, может быть, теперь «вся Россия» – в деревнях, на городских улицах, в московских пивных – распевает эти разгульно-тяжелые слова (пускай фальшиво-простонародные), которые с ней полнее отождествляются, чем газетные описания, советские книги, свидетельские рассказы, и у меня появилось редкое чувство теплой и сладостной общности с непостижимой, давно меня выбросившей страной. Я это попробовал объяснить – конечно, спокойнее и суше – неожиданно, Павлик вызывающе, словно поддразнивая, меня прервал:

– Видите, там и в пустяках люди умеют создавать новое, а здесь ровным счетом ничего.

Я мгновенно вспылил от его заносчивости: мое неслучайное беженство, «кожное» отвращение к большевикам по жестоким собственным воспоминаниям, подогретым столькими позднейшими событиями, неизбежное преувеличение европейской добросовестности и скромности (в противоположность «их» шальной самонадеянности) – все это постепенно укрепило эмигрантскую мою непреклонность, но обычно, в зависимости от собеседника, я бываю то благодушнее, то раздражительнее, и Павлик нечаянно меня оттолкнул в сторону нетерпимости и резкости.

– А что же там еще создают нового?

– Пятилетка – вам мало?

– Да, просто удивительно – строят фабрики и дома. Но если правда, что целый народ поклоняется каким-то постройкам, то уж признайтесь, вера не возвышенная и народ скорее бездуховный.

– Не забудьте, это – средство, а цель высокая и прекрасная...

– Благополучие, разумеется, необходимое и которого пока всё меньше. И как же хотят к нему прийти – людей превращают в стадо, а для стада подыскивают пастбище.

Внезапно Шура – побледнев и нарушая свою прежнюю осмотрительность – заговорил незнакомым, глухим, ненавидящим голосом:

– Бросьте спорить, одно правильное решение – мое. Большевиков я расстреливал и буду расстреливать.

Петрик, не вмешиваясь в разговор, сокрушенно-злорадно покачал головою, и я растерялся, открыв, что Шура мне так же непонятен, как эти благонамеренно-буржуазные счастливчики, ради позы и современности притворяющиеся большевиками и кое в чем инстинктивно-прозорливые – наше время действительно с Шурой и с ними, а я и немногие мои сверстники, мы в прошлом или в далеком будущем и у младших поддержки не найдем. Даже вы оказались не за меня и после долгого неучастия в споре укоризненно прошептали мне: «Стыдно!» – как будто не Шура, но я собирался кого-то расстреливать. Вы и должны были меня осудить, следуя женским своим пристрастиям и не вникая в существо расхождения – и, конечно, любовная обида (а не сознание вашей неправоты) вызвала гневный мой внутренний отпор, и мне стоило неимоверных усилий привести доводы менее крайние, чем у Шуры, но тон запальчивости мои усилия выдавал:

– Я вовсе не за кровную месть, но почему «они» первые могут убивать. А Шура напрасно себя чернит. Он не расстреливал, он только защищался.

– Не знаю, как белые, а «они» могут и смеют. У них есть, во имя чего...

– Предположим, они ведут или уверены, что ведут к добру. Но разве можно идти к добру через зло. Ведь нельзя же количественно измерять – меньшее зло ради большего добра. А главное, нельзя в то же время любить и ненавидеть.

Это – мое давнишнее постоянное возражение (неотразимо для меня убедительное, всяким сторонникам беспощадной «борьбы за идею» и разумно-полезного истребления побежденных. Мне показалось, что «вопрос исчерпан», но Петрик с нежной улыбкой заявил (я мельком подумал – «иезуитская улыбка»):

– Ваше благородство похвально и достойно, однако, достойнее всего простой здравый смысл. Количественной разницей не следует пренебрегать, и мы всегда что-то выбираем и чем-то жертвуем. Но «там» есть и качество, и духовность, которую вы отрицаете.

Петрик назвал советские литературные имена, и мы опять стали спорить – бестолково и раздраженно – повторяя всем известные слова о творчестве и свободе, о эмигрантской нашей оторванности, причем каждый из нас, поневоле, отмечал лишь чужие оплошности и проникался неуважением к собеседнику. К нам присоединился Павлик, сейчас же запутавшийся в цитатах и заглавиях книг, и я использовал сравнительную свою осведомленность, чтобы высмеять обоих своих противников и намекнуть на их «комсомольскую» наивность. Петрик, нисколько этим не смущаясь, напал на меня и на мои «западнические тенденции» – с прежней, милой, детской улыбкой:

– Вы, к сожалению, не единственный, у кого стариковский испорченный вкус. Вам, конечно, нравится «французская кухня», ее переутонченные блюда, увы, несвежие и не питательные.

– Что делать, если они разнообразнее и лучше наших. Но оставим «кулинарный стиль» и постараемся быть серьезнее. Мне кажется, от революции мы, русские, интеллектуально обнищали, и надо уметь признаваться в своем падении. Неужели вы не видите, что Россия от мира наглухо отгорожена и захлебывается в собственном самодовольстве. Неужели не ощущаете провинциальной ее слепоты.

Я забыл, как меня самого – от одной незатейливой песенки – в эту «провинцию» мучительно потянуло, и не без грубого ехидства продолжал:

– Боюсь, и вы становитесь на них похожими и защищаете не большевиков, а себя.

– Благодарю за любезность и предлагаю эту острую полемику прекратить, не то мы подеремся или усыпим нашу бедную хозяйку. Да и мне с Павликом пора на бал.

– Простите за мое негостеприимство, я действительно очень устала – и вовсе не от вашей полемики. Я просто не успела отдохнуть после дороги и квартирной возни.

Ваша усталость, обнаружившаяся именно к уходу обоих друзей, мне представилась решающей их победой, и я перед ними, на улице, стыдился своего поражения. Шура что-то угадал и на прощанье доверительно шепнул, словно пытаясь меня утешить:

– Вы были молодцом, а наша Леля немножко ерундит, но мы еще им покажем, где раки зимуют.

Петрик, быть может, отыскивая общий со мною тон, заговорил о вас и о Рите цинически-весело, по-мужски: «А стоит ли добиваться и терять время?» Я отнесся без должного юмора к его деловитому вопросу, анекдотически (но едва ли намеренно) бестактному, и возмутился до бешенства и до боли («Какая наглость – если бы Леля слышала – нет, ее надо предупредить») и не сразу подумал о том, что Петрик, видимо, не влюблен, что и я в подобных обстоятельствах рассуждаю так же бесцеремонно, что вся моя горечь от любви, от влюбленного упоения вашей несправедливостью, и меня даже не обрадовало смягчающее воздействие Павлика («Брось, это некрасиво, ты не умеешь себя вести»): оно мне как-то помешало законно упиваться негодованием.

Дома я понял, что снова задет, обижен, ревную, что ваша расхоложенность, наглядно мною увиденная, стремительно ускорила любовное мое возвращение, что мне предстоят борьба и отчаяние, а пока вплотную подошла эта уединенно-нетерпеливая ночь. Я с ужасом вспоминаю такие ночи, с отвратительными до них «последними впечатлениями», с рядом беспомощных попыток себя обмануть, с нарастающим сознанием своего бессилия и с невозможностью благоразумно смириться – у меня изредка бывают тяжелые приступы удушья, и вот, когда они проходят и дышится чарующе-легко, мне страшно думать об их неизбежном возобновлении и нельзя их предусмотреть или отвести, и так же внезапно, полуслучайно возобновляются бессонно-ревнивые мои ночи, с которыми я должен – от природной сопротивляемости – бороться, хотя и знаю свою, перед ними доказанную слабость. И сейчас, в изнуряющем одиночестве, как бы испытывая тошноту от физической боли, как бы стараясь – пускай ненадолго – ее унять, я без конца ворочался на жесткой отельной кровати и перепробовал, один за другим,

все старые, наивно-жалкие способы освобождения. Есть, например, давно мне известная и порою спасительная поза – лежать с закрытыми глазами на спине, опираясь головой о плоскую подушку – тогда невольно могут совместиться телесное удобство, отсутствие желаний и приятные мысли о прошлом (разумеется, вашем и моем), мысли, заглаживающие теперешнюю безнадежность, однако, искусственное это спокойствие исчезает (словно его «сдунули») от нечаянного движения, от малейшей внутренней перемены, и, пожалуй, неясно, что лучше и что хуже: ведь меня тянет к отдыху и неподвижности огрубляющий инстинкт душевного здоровья, и в стремлении укрыться от беды, от навязчивых воображаемых упреков, мне столько раз помогавших судить о себе, о людях и чувствах, в подобном стремлении больше трусости, чем силы, моя же подлинная сила и призвание – боязненное любопытство ко всему неуловимо-запретному, не отравленное ни склонностью себя мучить, ни корыстными описательскими целями, но эта беспримесная, живая любознательность, единственный источник плодотворной моей зрячести, убивается вот именно такими намеренно-успокоительными, удобными «позами», и разве не вмешательство судьбы, что каждая из них – ошибка или мираж – и что я, даже против воли, не опускаюсь. И еще одна заведомо напрасная иллюзия – сначала вами привычно-возбужденный, я умышленно свое влечение переношу на какую-либо другую, мелькнувшую в памяти женщину (вчера, кажется, впервые – на Риту), и мне становится вдвойне и стыдно и грустно, оттого что и «она», вслед за вами, не разделяет унизительно-нежной моей чувственности или завистливых, необузданных желаний – я это обостренно сознаю, но должен как-то провести часы до утра и как-то вынужден себя утвердить, наперекор убогой, отвергающей меня реальности.

Вероятно, самое несносное – мне надо ускорить течение времени, от него оторваться, его «перехитрить» и «перегнать» (погрузившись в полуобморочную дремоту), а время изводит меня, как изводит школьника на уроке, ненавистно-унылой своей размеренностью, и каждая минута на счету: поэтому ночная моя лихорадка становится замедленной, неестественно-удлиненной, и жестокое, непрерывное ее сверление словно бы состоит из тысячи размножившихся частиц. Нет потребности, да и нужно ли сосредоточиться – я только послушно отмечаю, как бессвязно чередуются обрывки надежды, слова оскорбленной и непрощающей гордости, смутные поползновения вас оправдать (тем, что мы не выбираем своей любви и нелюбви, что и я бывал невольно беспощаден). Наряду с покорной усталостью возника-

ет жажда подвига, славы и денег, настойчивое стремление перед вами безобразно и мстительно чваниться, создаются ребяческие картины вашего раскаяния, горькой и поздней вашей жалости, но всё это не удерживается, куда-то соскальзывает, и одно лишь неизменно возвращается – разрывая мне горло и грудь – понимание невознаградимой потери. В сущности, вы себя не выдали, ничего не сказали о своем уходе, о счастливом моем преемнике – и однако что-то произошло, достаточно ясное для меня и без ваших «официальных» подтверждений: я злобно припоминал нелепые мелочи и в них обнаруженную вами ко мне откровенную враждебность, забвение прошлого, нечаянные обиды (самые неподдельные и оттого самые тягостные), и меня постепенно охватила тоска бесповоротности, безутешности, преувеличенно – как всё любовное – распространяясь на целый мир, где я мучительно живу, где нельзя обольщаться и обманываться, где нет ни опоры, ни союзников, ни друзей. Заснуть так и не удалось, и хмурое раннее утро, нередко сладчайший, неврастенически-запоздалый мой отдых, до срока великодушно прекратило бессонную эту ночь, и я торопливо оделся, дрожа от слабости, потягиваясь и зевая, как праведный, примерный рабочий, который – по фабричному гудку – спешит, хотя и еле очнулся, на работу.

Обычно я нелегко поддаюсь разнородно-случайным внешним воздействиям (погоды, улицы, обстановки), и то, чем я внутренне поглощен – всегда близоруко-навязчиво – меня словно бы охраняет от всех этих неисчислимых воздействий, но теперешняя моя поглощенность, дошедшая до одержимости, до тупости (при невозможности чему-либо сопротивляться – из-за двойного телесно-душевного гнета), казалось, «окрашивала» и усиливала незаметные прежде влияния: так широкая струя воды в умывальнике, дважды неправильно и судорожно рванувшаяся, мне представилась странно-похожей на ляганье лошади, не подчиняющейся всаднику, а холодный, неприязненный осенний воздух меня ошеломил на мгновенье, точно звонкий и неожиданно-быстрый удар. Затем – как будто опомнившись от наркотически мутного оцепенения (с повышенно-болезненной восприимчивостью ко внешнему) и снова разумно-упорно собою занятый – я внезапно перестал ощущать ледяное злобствование порывистого, режущего ветра и еле отметил в Булонском лесу, куда меня бессмысленно занесло, столь мне знакомое, столь милое когда-то предзимнее, предсмертное увядание. Мое покорное отчаяние, как у многих жизненно-цепких людей, неосторожно попавшихся в западню, сменилось потребностью немедленно действо-

вать, и вот я решил, при вашей помощи, устранить назойливые темные догадки и с вами сейчас же договориться – скорее от смелости перед грозной и безутешной правдой, чем от малодушия, подавленного тяжестью незнания, и уж вовсе не от чрезмерной, просительно-смиренной болтливости, какою довольствуется отвергнутый поклонник. У вас я рассеянно огляделся, и меня – в исступленной моей тревоге – не поразила ваша ранняя привычная аккуратность (блузка и юбка, а не халатик, гладкие волосы, убранная спальня, из которой поспешно вы со мной перешли в «гостиную»), не поразило меня и то, что вы не удивились моему приходу: ваши ласково поощряющие глаза словно тихонько шептали: «В чем дело?» – я же, волнуясь, как перед экзаменом или в конце увлекательной книги, со страхом, с оттенком фаталистического бессилия, с любопытством постоянного свидетеля, я себя убеждал, – «Скоро всё будет ясно, еще минута спокойной выдержки». Слова находились целесообразно-простые, без неминуемого косноязычного стыда (за насильственное вторжение и допрашиванье) – я напомнил о нашем далеком прощании, о тогдашней взаимной искренности, и своих надеждах и правах. Вы сидели в кресле напротив меня, приветливо-добрая, с выжидательной улыбкой, и пытались – отвечая – подбирать необидные, смягчающие выражения, но была в вас какая-то стальная непреклонность, мне известная по прежним разговорам, какая-то несокрушимая власть над собой, какой-то испуг и дрожащая ярость самозащиты, и сразу – до смысла ваших слов – стало очевидно, что я проиграл. При этом бережная ваша осмотрительность не искупала, не могла изменить всего мной услышанного и понятого, и мельком я грубо о вас подумал – впервые за последние месяцы в третьем лице – «мягко стелет», и «здорово ее прибрали к рукам» – и невольно подумал, что я бы не сумел так хладнокровно сообщить о разрыве, так безжалостно-ловко «поставить на место» влюбленного, который еще надеется, который связан столькими обещаниями и годами пленительной дружбы, если бы меня всё время не поддерживало неотразимое чужое внушение, более крепкое и нужное, чем эта, им вытесненная близость. Я, пожалуй, неточно передал и как-либо должен соединить разрозненные ваши заявления, но ложно-уступчивый их тон, их гибкая «дипломатическая» твердость останутся в моей памяти навсегда. Вы сказали приблизительно следующее:

– Я всё чаще размышляю о нашем «романе», и печальный вывод – мы с вами в тупике. Мы начинаем стареть, и необходимо честно и трезво оглядеться. Наша идиллия – трусливая, легкомысленная и

без будущего, и это, к сожалению, непоправимо – не по моей и не по вашей вине. Вы меня опоэтизировали, я даже поверила в собственную воздушность и поэтичность, но по существу я благоразумная и дальновидная. Представьте себе, милый друг, еще несколько лет подобной беспечности, а затем, что нас обоих ожидает, перед чем мы оба с вами окажемся? Нет, мне надо как-то устраивать свою жизнь, да и вам я помеха и обуза. Не спорьте, вам трудно со мной, я нелепо-требовательная, вздорная женщина и за вами неискренне, жалко и скучно тянусь, не давая вам по-настоящему развернуться. Вы один из самых замечательных людей, каких я встречала, вы созданы для упорных усилий и для успеха, для безоговорочной, бескорыстной поддержки, а я чересчур занята собой, своими постыдно-мелкими победами неуверенной, стареющей «дон-жуанессы», но моя величайшая радость – если бы вы нашли достойную вас подругу и если бы она убедилась, что должна во всем перед вами стираться. О, тогда бы я добровольно ей уступила, не без зависти, однако, с тайной за вас признательностью. Не хочу язвительных упреков, будто я искусственно ухожу от любви и дано ли нам в себе ее уничтожить. Ничего серьезного и нового не произошло, и не толкуйте ничего превратно – мое отношение прежнее, но изменилось «отношение к отношению».

Я понял одно, что по этим причинам (не очень веским или попросту выдуманным), я бесповоротно лишаюсь чарующей вашей близости – голоса, кожи, родного, привычного колдовства пальцев, ладоней и обнаженных плеч – лишаюсь бодрящих милых ваших объятий, порою неистово-повелительных, и ваших неутомляемых, неотрывающихся губ, всей трепетно-тонкой, доступной и щедрой вашей стройности, и что всё это достанется или досталось уже мной угаданному случайному сопернику, и к нему оскорбленно-упрямая ненависть явилась первым моим безрассудным побуждением. Потом незаметно возникла удивительная работа приспособления, попытка примириться с неизбежностью, с которой, казалось бы, примириться нельзя, попытка хоть что-нибудь спасти, пускай даже унизиться, но вас не потерять, и в первые, еле осознанные мои старания влилась разъедающей отравой та же неотвязная мысль о сопернике, до вас непроизвольно, почти немедленно доведенная:

– Я не спорю и заранее согласен на всё, только скажите, что не будет другого.

Вы улыбнулись успокоительно-нежно, быть может, обрадованная послушной и быстрой моей сдачей, и я вашу благосклонность ис-

пользовал, притворившись недоуменно-несчастным – не без глухого, инстинктивного расчета:

– Но как же дальше? Мне к вам не приходить? Неужели вы решили, что лучше не видеться?

Мой расчет полусознательно «строился» на вашей дружеской улыбке, и оказалось, что я не ошибся – вы мне поспешно, с горячностью, возразили (не знаю, из жалости или наивно-опрометчиво):

– Приходите, как раньше, как всегда – мне никого не надо, если вы не отвыкли от меня, если по-прежнему нам вместе хорошо.

Вы пересели, волнуясь, на диван и очутились рядом со мной, до осязательности, до сладости близко, и у меня, победившего в чем-то основном (на расставаться, иметь к вам доступ), у меня сразу повысилась требовательность – и от вашего головокружительного соседства, и от несомненности будущих наших встреч, от еле оправданной и уже капризной избалованности – я смущенно-лукаво спросил (все в той же роли искусственного притворщика), исполните ли вы «последнее желание возлюбленного», и, услышав торопливое «да, конечно», как бы шутя, как бы подражая модной песенке, театрально произнес: – «Un baiser!»

Кажется, поводом для несвойственной мне развязности было представление, будто ваша нога поощрительно-долго прижимается к моей, но позже выяснилось, что я толкаю ножку стола и что именно это и вызвало какую-то чувственную бесстыдную мою смелость, нелепую вспышку ребяческих надежд, и лишний раз подтвердился старый закон – что для нас реальность обманчиво сливается с иллюзией, и значит, суть в нашем головном восприятии, а не в самой внешнепредметной сути. Всё же и такой унизительный повод меня привел к успеху, без него недостижимому, зато и, соответственно, призрачному и жалкому: в одном из полузабытых своих дневников недавно я с горечью отметил выражение «неубедительный поцелуй» (как неизменно у каждого из нас повторяются одинаковые или сходные случаи, как мало действенной пользы дает наш многотрудный, неимоверно печальный опыт), и вот обидное это выражение применимо к сегодняшнему единственному поцелую – вы до брезгливости равнодушно мне сбоку подставили скупые, сжатые губы, и я им заведомо-ложно приписал мягкость, женственность, умиленность, прелесть вернувшейся и ликующей ответственности, всё мной утерянное, предназначенное другому и в чем я завистливо нуждался. Если бы тот, кому вы меня предали, кому, вероятно, обещали со мною порвать, ощутил ваш сегодняшний

поцелуй, он к вам едва ли смог бы придраться и счесть нарушенным жестокий ваш уговор. Я вас покинул неподвижно-сиротливой, приросшей к дивану, усталой, поколебленной (хотя мне еще передавалась какая-то враждебная упрямая сила) – и эта ваша раздвоенность немного меня обнадежила смутной возможностью борьбы.

Я потом еле разбирался в технических своих переводах, навязчиво пытаясь разрешить бесполезный и страшный вопрос – почему вы меня удерживаете, вопреки очевидности конца, и на чем основана такая очевидность – и не впервые мне только мешало всё о вас достоверно известное, все кровно-памятные ваши противоречия. Я себе доказывал, что с вами неизбежны, пока вы не разлюбили (а как это безошибочно распознать?), счастливые дни после тяжелых и безысходных, и значит, надеяться правильно и умно – точно так же, среди ослепляющей радости, я готовился к несомненному удару. Теперь мне был нужен утешительный пример, и я, сосредоточенно вспоминая наш суровый прошлогодний разрыв, сменившийся неделями безукоризненного согласия, невольно открыл одну из причин постоянных ваших колебаний – что вы бываете по-детски беспечной, недальновидно и забывчиво легкомысленной, с необъяснимой уверенностью в обратном: вы не раз мне искренно жаловались, как вас удивляли расставания и ссоры, на вас будто бы «валившиеся с неба» и, конечно, вами же бессознательно вызванные. Но в самой правдивой своей глубине я понимал, что себя напрасно подбадриваю, что это расхождение непоправимее других, как непреклоннее, чем когда-либо, ваша твердость (при всей лицемерной внешней уступчивости), и первоначальная моя цель – приспособиться – после упрямых и беспомощных блужданий, меня привела к наименее болезненной «идеологии»: мне захотелось, подобно множеству неудачников, смягчить поражение, признав его заслуженным и предрешенным, то есть оказаться недостойным вашей любви, и для этого я придумал удобное сопоставление – вы живете, а я где-то около жизни, у вас к ней жадность, у меня любопытство, и я должен, как раньше, до вас, не надеяться, не бороться, не добиваться, должен честно примириться с относительным.

ВЕЧЕРИНКА

Леля во мне перестала нуждаться, и вся ее дружественность исчезла, как раньше – с концом любовного раздвоения и совестливой борьбы за меня – исчезла ее раздражительность: я оказался попросту лишним и – трезво это понимая – к ней, по слабости, не мог не приходить, а Леля, упоенно-радостно-щедрая, мне дарила, словно подаяние, свое столь живительное присутствие. Для нее теперь я значил не больше, чем Рита, Шура или Петрик, и всё же понемногу смирился, довольствуясь хотя бы ее присутствием и только желая его сохранить: эта привычная, милая обстановка, постоянные собеседники, даже Павлик, вечерние наши разговоры, чарующее Лелино сияние, для меня сейчас единственно родное в беспощадном, чужом и страшном городе – убогая замена семьи, цепляние за тень, за печальные остатки чего-то, прежде похожего на счастье и личную жизнь: так, вероятно, стареющий обманутый муж, ни на что уже не надеясь, предпочитает свой горький полуразрушенный уют неизвестности и холоду одиночества, или опасно заболевший матрос готов умереть на корабле, среди давнишних и близких товарищей, и тоскует, отправляясь в больницу. Мое терпеливое смирение выработало особую позу ко всему равнодушной, бездейственной покорности, и нередко мне представляется, будто я и достиг равнодушия, будто поза важнее существа (и лишь надо ее отыскать), но конечно это неискренне, это – новая «спасительная ложь», и притом едва ли последняя.

Неподвижность, покатое кресло, дешевая папироса во рту, молчаливое прислушивание к окружающим, порою вялые, но дельные замечания, доказательство ленивого превосходства, без капли наглости, тщеславия и рисовки – такая поза возникла у меня в часы жестокой Лелиной беззастенчивости, одного из тех незабываемых случаев, которые необходимо описать, чтобы себе уяснить свои же выводы. Подобные мертвящие дни и часы, при всей их внешней незначительности на первый, поверхностный взгляд врезаются в душевную память, нас обновляют, иногда и в зрелом возрасте (когда меняться нам как будто не суждено), и могут нас позже предохранить от пресыщенности и старческого одеревенения. Этот случай запомнился острее других, я по инерции думаю о нем, обращаясь, «апеллируя» к Леле, и не сумел бы

его передать в своей теперешней «бесплотной» манере благоразумного, сухого повествования. Итак, я должен к Леле обратиться:

– Мы с вами не раз уже говорили об этом шумном и путаном вечере. Вы сидели, кроткая и грустная, не зная, придут ли ваши друзья, и запоздалое их появление, после тяжелой вашей тревоги, было для них (вернее, для Павлика), конечно, особенно выигрышным: моя навязчивая аккуратность, то, как вы ею избалованы, меня унижает в ваших глазах, а вечное ожидание обоих друзей вас поневоле к ним притягивает. С ними – отчасти по вашей вине, от нескрываемой вашей обиды – стало томительно-неловко, и вы горячо за меня ухватились, утверждая («сквозь внутренние слезы»), что я один хочу и пытаюсь к вам бескорыстно подойти, вас как-то возвысить и понять, что, быть может, один чего-то я стою и со мной вам не надо опускаться до уровня скучных разговоров и занятых сплетнями людей. Всё это вы мне сказали глухим, чуть озлобленным голосом, а Павлик и Петрик, уединившись, о чем-то шептались у рояля. Я колебался между подозрением, что вы, оскорбленная, ищете опоры, и между ребяческой уверенностью в любовной своей победе, я на минуту даже похолодел от этой нелепо-счастливой уверенности и тем болезненнее перенес неизбежный «удар по голове». Павлик без приглашения уселся за рояль и спел нам все свои песенки, с такой откровенной и нежной теплотой, с такой обещающей и признательной страстностью, что я мгновенно ощутил, как вам трудно перед ним устоять и как неминуемо порвется наша короткая, искусственная связь. Я слушал знакомые мелодии, предвидя что-то непоправимое, и не ошибся в печальном своем предвидении: вы к Павлику медленно подошли, как будто зачарованная музыкой, и дважды его поцеловали, в напомаженные волосы и в лоб, издав – опираясь на клавиши – протяжный хроматический звук. Петрик внезапно оживился: «Нам обязательно следует выпить», – и отправился в кафе за вином. Я не пошел его провожать, хотя и чувствовал ваше стремление остаться с Павликом вдвоем, да и вообще не мог преодолеть завистливо-ревнивого страха и на целый вечер бессильно окаменел. Потом, до возвращения Петрика (он был моим естественным убежищем), я жалел, что его отпустил, но волновался пока еще напрасно: Павлик скромно полуулегся на диване, а вы, как бы его карауля, сидели рядом, прямая и чинная. Однако я обостренно себя сознавал возмутительно-горестно-лишним и – чтобы действовать, чтобы всё же соблюсти какое-то смешное достоинство – взял со стола чужую папиросу, ее задумчиво разгладил и зажег (на самом деле я не куриль-

щик – последствие примерных детских лет), и затем безостановочно курил, ни на минуту даже не слабея и, несомненно, «держась одними нервами». Петрик наконец появился, волоча корзину шампанского, сухого, прославленной марки (он бывает доброжелательно-заботливо-широк и, должно быть, немало переплатил в такое позднее время). Приняв на себя домашние хлопоты, положив бутылки в холодную воду и сбегав за ними на кухню, он часть их торжествующе откупорил, и началось веселое громкое пьянство, с остротами, чоканьем, взаимным расхваливаньем и со всей умиленной русской дикостью. Я пил осторожно, мелкими глотками или едва касаясь языком шипящей, жесткой, режущей влаги – у меня плохой опыт пьяного отчаянья, всегда более мрачного, чем трезвое, и невозможности при этом забыться, если видишь непосредственно тех, кто является причиной отчаянья – зато вы, побледневшая, смелая, непрерывно наполняли свой стакан, переходя с места на место и дружески чокаясь со всеми подряд. Петрик заметил, что я упорно хитрю и – шутливо призвав вас на помощь – постарался меня подпоить. Тогда, немного охмелев, я тверже посмотрел вам в глаза и с испугом в них уловил искорку подлинного тихого безумия, смягченного мертвой инерцией воли, и мне стала ясной, леденяще-понятной ваша беспамятная порою необузданность, неизбежная горечь моих наблюдений, однако на ваш проницательный вопрос – и вызывающий, и скрытно-тревожный («Вы находите меня безобразной – не стесняйтесь, мне всё всё равно») – я малодушно, скороговоркой, ответил («Пустяки, всё восхитительно, всё чудно») и по-собачьи (или же по-рыцарски) благоговейно и преданно поцеловал вашу безвольно-ласковую руку. Павлик бешено-властным движением вас мгновенно от меня оттащил (из-за вина мы все одинаково и одичали и грубо распоясались) и что-то шепнул обо мне – вы неподдельно-искренно рассмеялись и, схватив недопитый мой стакан, очевидно, первый попавшийся, звонко чокнулись с одним только Павликом, выразительно ему подтверждая свою неоспоримую верность, с тем особым нерассуждающим пылом, с каким меня никогда не утешали. Он вас опять увлек на диван, и я в полутьме различал невыносимо-откровенное объятие, ваши попытки прижаться еще тесней, протрезвевшую сдержанность Павлика и – бледно-белую на мутной его руке – ту же горячую, ласковую руку. Теперь мне стало так тяжело, что я бессознательно ко лбу приложил – чей-то (не ваш ли) узкий стакан, превращенный моим воображением в холодное дуло револьвера, и эта новая роль, самоубийцы, ненадолго меня заняла, уведя от безвыходной действительности,

как будто уже наступило посмертное ко всему безразличие. Потом бесконечными казались неподвижно-постылые часы – терпеливо ожидая возможности остаться с Павликом вдвоем, тесно обнявшись, ноги в ногах, вы молча лежали с ним на диване, то затягиваясь его папиросой (подчеркнуто-бесстыдно и жадно – я подумал: «армейская львица»), то предлагая ему покурить, Петрик хозяйничал, подливал мне вина, приносил бутылку за бутылкой, иногда садился на диван (и вы на него задорно смотрели), а я, как бы в сонном оцепенении, не подымался, не трогался с места, от слабости, от мстительной досады, вас упрямо не оставляя вдвоем. У меня впоследствии возникло предположение, что тогда, с папиросой во рту, «небрежно развалясь в комфортабельном кресле», я был ироничен и спокоен – между тем всё время я мучился, и живая непрерывная боль не проходила, не слабела, не притуплялась, и конец этой длительной боли, этой каменной общей нашей скованности, мне представлялся почти невероятным, в каком-то безвестном, мифическом будущем. Но такова уже сила наших вымыслов, нашей вечной потребности отдохнуть, что в дальнейшем подобное состояние, всякая неподвижность около нас незаметно для меня становилась явным признаком достигнутого равнодушия: ведь если чувства заменяются позой, то нередко бывает и обратное – что привычная поза или жест переносятся в душевную область и создают нашу внутреннюю реальность. Однако в ту безнадежную ночь предположение о внутреннем спокойствии было ребяческим пустым самообманом, в лучшем случае смутным предвидением: я, как раньше в такие минуты, негодующе сравнивал ваше поведение со своим, при вас безукоризненным – без единой оскорбительной вольности – решая вперед вас не стесняться и не щадить, и этот поздний, напрасный мой бунт доходил до исступленной к вам ненависти. И всё же кончилось ночное испытание – Петрик нам предложил послушать цыган, и легкое ваше согласие приятно меня удивило: мне хотелось как-то встряхнуться, а главное, отпадали мои опасения, что вы будете с Павликом одни в этой удобной, сообщнической квартире. В сущности жалкий, назойливый страх (не впервые пробужденный сознанием вашей обычной дерзкой бесцеремонности), страх того, как всё у нас сложится, перевешивал боль за происходящее, безмерно ее углубляя. Теперь, чуть свободнее вздохнув, я придумал нехитрый свой план – непременно уйти вместе с вами (ради уверенности, что и вы также ушли), а затем попрощаться на улице (чтобы устранить ревнивые догадки о неведомом исходе кутежа), прикрываясь для приличия усталостью (вы поймете – без-

денежье, неловкость, щепетильность – и сочувственно, разумно одобрите). Ваша «гостиная» снова преобразилась – вы зажгли ярко-желтый, ослепляющий свет и аккуратно, деловито, не спеша, расправили помятое платье, на столе, на полу валялись бутылки, точно рыбы, недавно блиставшие в волнах и вытащенные мертвыми на берег, и весь наш праздник – тревожный и шумный – буднично притих и как-то полинял. Я поражался невозмутимой сосредоточенности, с какой вы охорашивались перед зеркалом, вашей ровной, благопристойной серьезности после такой необузданной ночи, и внезапно усвоил для себя ее бесповоротное значение, наглядную ее разрушительность, хоть боль и обида улеглись – я понял, что многое в нас (например, мое негодование или ваше с Павликом бесстыдство) исчезает и всё же сохраняется, но вам сказать об этом не успел и только злорадно не подал пальто, в отместку за вашу забывчивость, за долгое мое унижение, о чем, разумеется, вы не догадались.

Я лежал у себя в отеле, не пытаясь даже уснуть, и часы изнуряющей бессонницы прерывались короткими сновидениями, в которых я неожиданно выступал беспощадно-сладострастным победителем, как будто бы мне передалась неистово-пьяная ваша возбужденность, чтобы здесь, в одинокой моей духоте, бесцельно и грозно разрядиться. Я оставался равнодушным ко всему, происходящему с вами без меня – быть может, происходившее недавно при мне вытесняло другие впечатления, или просто уменьшилась задетость, и появилась какая-то неуязвимость, еще недостаточно полная: ее укрепляет ваше отсутствие (ведь прежде не бывало и этого), но с вашей упоительной близостью, пожалуй, ей не совладать. С утра я бегал по делам и к вам пришел не ранее обычного – столько раз после бессонных ночей мне хотелось поскорее объясниться и это ни к чему не привело – и всё же, наконец, очутившись в аккуратно прибраной вашей гостиной, я заговорил о вчерашнем кутеже, вас укоряя словами, жестами, взглядом:

– Простите меня за откровенность, я очень вами недоволен.

– Я так и знала, что будет разговор.

Тогда я разлегся в удобном вашем кресле, приняв изобретенную накануне вызывающую позу усталого безразличия и стараясь думать о том, как приятно сидеть рядом с вами, курить и ничего не желать. Вы сперва не заметили перемены и, предвидя мои обвинения, стали мягко-вразумительно доказывать, что нельзя, нехорошо придираться к невменяемо-пьяному человеку и достойнее «на всё закрыть глаза», что вы еле помните «нашу вечеринку», что вернулись домой, утомленная,

одна (последнее было подчеркнуто), а затем перешли в нападение, не дождавшись моих ответов:

– Я вами тоже недовольна за вчерашнее – вы на меня смотрели в упор, следя за каждым моим движением, как сыщик или ревнующий муж. На вашем месте и я бы огорчилась, но попыталась бы справиться с собой и даже несомненно бы ушла. А так я, чуть ли не впервые, поступала вам грубо назло, оттого что вы меня лишаете свободы.

Я скучно и вяло защищался, мне расхотелось вас упрекать – по-видимому, «новые отношения» возможны и в вашем присутствии, и мои же случайные слова, удивившие меня самого, надолго во мне утвердились какой-то единственной правдой:

– Вы ошибаетесь, я вас не ревновал, и не следил – вы действовали открыто. Мне просто было за вас невыразимо досадно и больно, и, растерявшись, я окаменел. Неужели, с вашей проницательностью, вам неясно, что я предпочитаю не соблазнительно-женский ваш облик, а трогательно-нежно-поэтический, бледнеющий в такие минуты. А то, другое – вы знаете, что – мне казалось и раньше второстепенным, хотя я вас любил по-настоящему, теперь это совсем устранено, конечно, по вашему желанию, и потому особенно грустно, когда начинает тускнеть и ваша поэтическая прелесть, составляющая, пожалуй, основу моей, отраженной от вас, но неподдельной внутренней поэзии.

Такой, уже явный, самообман, должно быть, готовился давно (при каждом вашем временном уходе и, значит, за несколько лет до этой окончательной «измены»): во мне больше силы и гордости и больше мужского самолюбия, чем естественно вы предполагаете, и мой полуслучайный самообман легко превратится в самовнушение, от которого, при всей его надуманности, я даже сам с собой не отступлю. Зато вас я этим напугал – вам нужнее «эротический» успех, и лишь ему неколебимо вы верите, упорно стремясь сохранить, как бы вы ни были ко мне холодны, мое безудержное прежнее влечение: тогда вы беспечно спокойны, что и вообще меня сохраните. Мне становится всё непонятнее ваш страх меня потерять: это не женская завоевательная жадность, вы, очевидно, со мною как-то связаны, и вас, перед собой и другими, возвышает моя нелепая любовь, вам представляющаяся редкой и ценной. Упавшим голосом, не пробуя бороться, вы мне искренно-печально сказали (у вас в решающих разговорах есть одно благородное свойство – не защищаться, не противиться злу, не выискивать мелочных доводов, не исправлять того, что случилось, быть мужественно и мудро пассивной):

– Мой друг, пусть будет по-вашему, но мне обидно за прошлое – я себе его рисовала иным.

Оно и было, разумеется, иным, однако я вашей мудрости лишен и стараюсь прошлое изменить – и в собственной бунтующей памяти, и в потрясенном вашем сознании: я хочу его переделать, приблизить к последним нашим отношениям, уничтожить невозвратимое его совершенство, уменьшить огромное различие между ним и жалким настоящим. Я также бесповоротно хочу отказаться от столь удобного обращения на «вы», писать о Леле, как о Петрике и Рите и о любом нейтральном знакомом, хотя именно это неимоверно мне тяжело и хотя для этого надо умертвить что-то живое и кровно-привычное. Пожалуй, я не уловил поступательно-плавного движения происшедшей у нас перемены и придаю непомерное значение той безобразно-оскорбительной ночи – увы, мне достаточно вспомнить о ней, чтобы отпало всякое желание когда-либо Лелю вернуть, и у меня постепенно усиливается какая-то страшная раздвоенность: отвратительный вечер и ночь отодвигаются, уходят навсегда, а остро-свежее их восприятие остается, являясь вечным уроком, ударом, в себе сосредоточившим бесчисленные прежние удары, и таким постоянным препятствием на пути к малейшей надежде, которое нельзя преодолеть. С тех пор возникла у меня и другая смутная раздвоенность: я Лелю по-старому люблю, однако любовь переместилась вовнутрь и опасается внешнего воплощения. Если выразить то, как я к Леле отношусь, получится краткая формула, слишком эффектная – «ни прощения, ни мести» – и она едва ли точно передает предполагаемую Лелину расплату (впрочем, ей неизвестную и нестрашную) за безнаказанное со мной несчитание. И когда в конце разговора я, ослабев, ее попросил быть при мне деликатной и сдержанной, я себя пытался избавить не только от будущих обид, но и от ревности, которую вызовут такие будущие обиды и с которой снова не справится половинчатое мое равновесие.

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО

После всего, о чем я писал, неловко восхищаться и блаженствовать – мы с собой непостижимо нелогичны, и стоит нам избавиться от смерти, окрепнуть, как я, от болезни, и сразу, волнуясь и радуясь, мы принимаем ту самую жизнь, которую недавно отвергали, среди ее ровного течения. Для меня сегодня совпало всё, чему полагается совпасть, – весна, моя первая прогулка, нарядные, веселые женщины, задорные, пьяные, томные взгляды (и я ими ласково согрет, я кожно и слепо наслаждаюсь), наша старая отельная консьержка, умильно зажмурившаяся на солнце. Мне странно, что даже теперь, что и в вашем, Леля, отсутствии, – в одиночестве, без денег, без будущего – у меня еще возможны минуты почти совершенного счастья, несмотря на явную их кратковременность: это возможно у меня по-особому, не так, как бывает у людей без единого проблеска счастья и готовых «довольствоваться малым», а так, как изредка бывает у людей когда-то счастливых, с надеждой и щедрою памятью, и мои, пусть минутные, вспышки – вновь оживленные частицы прошедшего, неизгладимо во мне сохраняющегося. Вероятно, любая наша болезнь – простая, внешняя, понятная врачу – все же связана с душевными причинами, с непротивлением и внутренней симпатией, и сейчас я не только физически здоров, но и празднично, остро взбудоражен таинственной душевной победой. Я вам не однажды объяснял тяжелую сущность того, что у себя называю вдохновением (и в чем порою жалко отчаиваюсь) – теперь эта страстная потребность упрямо додумывать мысли, пробужденные и сердцем, и умом, и находить поэтически-точные слова мне предстала в ином освещении или в иной своей разновидности: теперь это – смутное дрожание, которое можно увеличить, и его произвольность, ощутимость, разрыв моей косности и лени, неизбежно вдохновению предшествующий – уже не долг, беспокойный и трудный, а нечто победительно-прекрасное.

Необычайное это состояние возникло в кафе, где я сижу, – быть одному в каком-либо кафе мне всегда любопытно и тревожно: тут и чужие, непроницаемо-новые люди, и разговоры, знакомства, приключения и неожиданные русские встречи утерянных мною друзей (все то, что, увы, не сбывается и все-таки вдруг произойдет), и сам без помех я занят собой и для себя, с поразительной яркостью, уединенно, отдельно

существую. Не спеша, осторожно я собираю свои великолепные богатства – внушенную вами поэзию, прихотливо-разрозненно-дикую – и постепенно в ней замыкаюсь. Оттого кафе и заманчиво, что мне удается совместить целый ряд впечатлений и усилий, несовместимых в другой обстановке: я могу сосредоточиться на вас, на старинных своих воспоминаниях, на прилежной творческой работе, и в то же время участвовать в жизни, упиваясь чуть пряным сочетанием недоступно-кокетливых женщин, завистливо-дразнящих наблюдений и привычной собственной позы, обиженно-горько-надменной. Едва я это записал, как радио (словно прочищая простуженно-заспанный голос) неистово, гнусаво захрипело. Я ненадолго бросил писать, против воли прислушался к музыке и сразу забыл об исполнении, придавая надтреснутым звукам послушные мне интонации: играли самое начало увертюры прославленной вагнеровской оперы, с торжественной главной темой, не заглушающей множества побочных, и я отчетливо снова уловил «контрапунктическую», сложную прелесть такого одиночества в кафе, чередования вас и не вас, моего настоящего и прошлого. Опять припомнилось детство, когда впервые эту увертюру, медлительно-пышную и мрачную, я на рояле по нотам разбирал, рассказы отца, ее любившего и неизменно в ней узнававшего свою похороненную молодость, баснословно-далекую, беспечную и добрую, и вот для меня восстановилось единство, слияние времени, семьи, Петербурга, России, заграницы, всего, что кровно мне близко и что обычно ко мне возвращается, если больше любовь не вытесняет посторонних, ей чуждых влечений. И тогда, с утратой любви, такая же случайная мелодия всё пережитое может воскресить и связать каким-то веяньем грусти, но не сладкой мальчишеской грусти, предвидящей влюбленность и смерть, а потускневшей, вялой и скромной, – после бесчисленных взрослых неудач. Теперь я, однако, не грущу, даже о вас, и что в эту минуту, в эти весенние солнечные дни, вы, мной любимая, где-то с другим, как с другими всё женщины в кафе (у них «аперитивные встречи» и наглядное «amour en séries»). Я, вероятно, также приподнят и прочитанной дома, накануне, волнующей «книгой о герое», и герой, меня удививший, – не полководец, не смелый патриот, а восхитительно-умный писатель, еле признанный, уже забываемый, и одно из немногих оправданий нашей скучной и грязной современности: да и разве не чудо, что сейчас, в беспросветности войн и революций, среди заносчивой глупости и низости, мог появиться бесстрашный человек непрерывного душевного подвига, совершенной внутренней честности и скрытой огром-

ной доброты, не пожелавший ничего обещать, естественный в своем благородстве, в неутешительной своей прямоте. Пускай несомненно победит беспощадная грубая сила (не только безмолвная толпа, как всегда ни в чем неповинная, но и корыстные, льстивые прислужники этой бушующей, гневной толпы, лжепророки, предатели поэзии, все, у кого не хватило одаренности понять советы мудрого сердца), пускай эта сила победит – для меня правота побежденного тем милее и тем непреложней. Я почему-то подумал о Л., с его общественно-полезными советскими заслугами, их отражением в осанке и глазах, и меня заодно возмутили все респектабельно, примерно живущие и в том, революционно-чиновном, и в этом, буржуазном, благодушии, все, кто умеют ставить без риска на победившего после победы и у кого за показной добродетелью выступает житейская ловкость. Вот здесь, в кафе, разнообразном и пестром, но скорее элегантно-богатом, куда я доплелся с трудом, хотя Шурина квартира и поблизости, со мною рядом беспечно сидят веселые, громкие, смешные старички, с розетками и лентами в петлицах, и молодые развязные щеголи, и мне, в безнадежной моей нищете, поневоле они представляются как-то прочно, крепко устроенными, а главное, «дома», в родной им стране, горделиво-законно-спокойными: моя эмигрантская бедность конечно искажает пропорции и часто меня ослепляет, однако неподдельно существует безмерное, понятное различие между «ними», их жизнью и нами, между ровной их колеей, с единственно-трудным началом, и нашими вечными блужданиями, и я завистливо что-то осуждаю в этом враждебном мне благополучии. Повинуясь неясным побуждениям, я хочу – по улыбкам и жестам – узнать, угадать соотечественников, уловить их русский язык и уж с ними-то всласть наговориться об окружающей, нам чуждой толпе. Я, пожалуй, легко ошибусь и не должен в себе поощрять такую мелкую, дурную нетерпимость: ведь из этой, нам чуждой среды вышел «герой», меня покоривший.

Пишу сегодня с особым увлечением – по-видимому, новая тетрадка таинственно меня вдохновляет возможностью каких-то удач, каких-то высоких достижений: не с таким ли наивным любопытством мы чего-то взволнованно ждем, попадая в еще неизвестный нам круг, знакомясь с молоденькими женщинами, спеша на концерт или на бал, входя в полутемное купе готового тронуться вагона – для нас тогда открываются пленительно-счастливые возможности, которые потом неизбежно, незаметно и быстро исчерпываются. Впрочем, с детства бумажные плотные листы, сверкающие мягкой белизной, серебристое,

легкое, тонкое перо, прозрачные синие чернила, мой собственный медлительный почерк почти физически меня возбуждают, заставляя усидчиво работать, как весеннее первое тепло нас неуклонно приводит к любви. Едва я это записал и тут же себе удивился – что любовная моя одержимость проникает буквально во всё, даже в подобные случайные сравнения – причем я знаю, как неубедительны сочетания предметов и понятий по смутному внешнему сходству: так искусанный тупой карандаш отдаленно изредка похож на грязный невыхоленный палец (и маникюр соответствует оттачиванию), но как ни выигрышны порою «литературные» эти приемы, я уверен, что всякие попытки сопоставлять предметы и слова не раскрывают их внутренней сущности и просто ни к чему не ведут, и, стараясь быть холодно-честным, я избегаю столь явного «блефа», столь грубых и ложных эффектов, и лишь сопоставления с любовью для меня иногда неотразимы. Как раз за минуту до этого притупился мой карандаш (откуда и последнее сравнение), и оказалось, что стерлась точилка, мне на прощанье вами подаренная, и в памяти тотчас же возникли ваш нервный, стремительный отъезд, бесконечная жалкая моя пустота, происшедшие у нас перемены, поиному внезапно осветив причину сегодняшней радости: я не хитрил, когда ее приписывал выздоровлению, прогулке, весне, пестрому шуму и женщинам в кафе, торжественным вагнеровским звукам, прочитанной книге о герое, новой тетради, привычному труду, но как-то забыл о самом главном, о коротком вашем извещении, что вы скоро вернетесь в Париж. Я действительно сначала решил, будто напуган вашим приездом и предстоящей вечной тревогой: мы с вами, помните, часто обсуждали безутешную старинную формулу, что «хотя спокойствие и скучно, зато беспокойство мучительно», а за месяцы болезни и разлуки я отдохнул, приятно отвык от непосредственных обид и огорчений, и, в ленивой своей избалованности, стал малодушно их опасаться. Теперь же я вдруг ощутил, как упорно, с каким нетерпением, как по-прежнему беспечно вас жду, как не нуждаюсь в покое и отдыхе, как вас люблю, приготовился принять: ведь какая вы ни появитесь, – безразличная, тайно-враждебная – вы, Леля, будете все-таки собой, вы мне должны улыбнуться при встрече и справиться любезно о здоровье, и я благодарно увижу неповторимо-родной ваш силуэт, услышу чарующий ваш голос, грудной заразительный смех, и смогу на что-то надеяться, ведь пускай неохотно, из вежливости, вы меня пригласите к себе, вы о чем-то со мной разговоритесь, и затем, возвращаясь домой, я попробую слегка изменить и приукрасить наши разговоры, и моя тускло-вялая

жизнь, безлюбовная, бесцельно-расчетливая, неожиданно вновь приобретет оттенок риска, борьбы и широты. Опять восстановится у нас полузабытая мною колея – ваша квартира и Петрик, и Павлик (уже не соперник, а муж), и наши бурные, горячие споры, с моими смягченными доводами, возникшими во время болезни, и это всё на сладостном фоне – весны, пережитых испытаний, примирительной, творческой грусти, влечения к мудрой и зрячей доброте.

Перебирая последние страницы моей предыдущей тетради, я нахожу одни лишь слова о смерти, о горькой тоске, и поражаюсь такой переменчивости душевных своих состояний, как, впрочем, и внешнетелесных: я странно-быстро полнею и худею, почти способен дурнеть и хорошеть (вроде женских mauvais et beaux jours), теряю силы, могу их наверстать – сейчас я особенно силен (реакция на длительную слабость) и с вами буду внутренне свободен.

Ну вот я к вам и привык и очутился в том положении, когда себе невозможно представить однообразные недели без вас, без сознания, что днем или вечером я вас непременно увижу, и когда наша каждая встреча, при всей наглядной ее обыкновенности, меня волнует, словно решающая. Мы с вами чаще бываем вдвоем, чем я предполагал и надеялся, и вам от меня уже не скрыть своей разочарованности в Павлике, бесспорной, окончательной утраты восхищенного к нему уважения: при мне и на людях, как раньше, вы с ним постоянно милы, не придираетесь к пустячным мелочам, избегаете резких и тягостных выпадов (чего не избегали со мной), однако в иные минуты вам попросту лень его слушать, после его неудачных выступлений я замечаю в ваших глазах неуловимую искорку иронии, мимолетный, нечаянный отблеск вам свойственной умной безнадежности, и тогда вы приветливо-мягко, но с обидной для него пренебрежительностью, как бы случайно говорите о другом. Всё это должно означать мою несомненную победу (ведь и всякая наша победа – результат чьего-то поражения), и действительно, я убеждаюсь – по многим явным и косвенным признакам – как постепенно вы переходите от страсти к серьезности и нежности, в порядке, обратном тому, который меня вытеснял: теперь вытесняется Павлик. Я злопамятно еще оскорблен этим недавним вашим предпочтением, и вся прежняя горечь не заглажена, но как-то с нею уживается и новое мое торжество, такое прочное, блаженно-упоительное, что мне начинает казаться, будто иначе и быть не могло и будто мой радостный

пыл накануне вашего приезда вызывался отчасти предвиденьем, предчувствием такого торжества.

Меня, пожалуй, несколько смущает, что к Павлику вы изменились по глупым житейским причинам: он внезапно остался без места (сейчас везде идут сокращения), лишился былой самонадеянности, растерян больше, чем следует, и не может, увы, обеспечить столь нужную вам «sécurité»: «За ним, как за каменной стеной», – ваши слова, звучавшие упреком, язвительно ко мне обращенным. Между тем способность создавать именно эту житейскую устойчивость – один из составных элементов всякого женского к нам уважения. Теперь я с Павликом невольно сравнялся, но он когда-то принял ответственность, он обещал и вас обманул, меня же над ним возвышает трусливая моя осторожность. Павлик совсем, буквально, без денег и в унижении по каждому поводу – счета за квартиру и за газ, пирожные, фрукты для гостей, разговоры, кому платить в кафе – и это уродливо не вяжется с холостой его независимостью (что бывает после женитьбы, при неизбежном повышении расходов, и помимо всяких катастроф). Вам надоела нищенская жизнь, искусственно-веселая бодрость, шутливо-студенческие жалобы, и Павлик вас тайно раздражает. Я с вами достаточно знаком и в корыстности вас не обвиняю, как и в том, что вы не оказались героически-преданной женой: вы терпеливый, стойкий человек, но за двоих упорствовать не можете, а Павлик вам не товарищ и не руководитель. Вслед за первыми попытками устроиться он ни в какие удачи не верит и в несчастии сделался похож на всех несчастных, опустившихся людей – лежит нечесаный, небритый, на диване, куда-то смотрит перед собой и, конечно, «не нуждается в советах». Мне понятна такая бездеятельность: как и он, я прилежен и ловок, очутившись в готовой колее, пускай запутанно-сложной и трудной, но сам ее никогда не отыщу. Мне кажется, у многих из тех, кому временами не везет, есть особое, странное свойство – что в безнадежности, в последнюю минуту, их спасает какая-то случайность – и этого спасительного свойства у Павлика, видимо, нет, и потому у вас в нем не будет опоры, вам столь необходимой. В теперешнем жалком отчаянии он «навалился» всей тяжестью на Петрика, ни на кого другого не рассчитывает, и каждые сто или тысяча франков, стыдливо у Петрика занятые – для вас ощутительный удар. Петрик добился беспримерного успеха, его картины продаются всё дороже, что – при общем застое в делах – уже не достижение, а чудо. Неожиданно с ним произошло то, что изредка сбывается в Париже – гипнотическая мода и слава, интер-

вью, описания, портреты в журналах, поклонницы, зависть приятелей, подхваченное всюду и всеми фамильярное «Petrik Stebline». Обычно люди в такие периоды не понимают чужой озабоченности, и возможность в чем угодно преуспеть им представляется доступной и легкой: так, ежедневно Петрик для Павлика изобретает всё новые планы, чтобы затем приписать их провал его неумелости и лени – после этого Павлик стыдится вдвойне широты, великодушия Петрика, стофранковок из толстого бумажника, дискретно и мило предлагаемых (с каким-то счетом, заведомо-бесцельным), ресторанных и домашних кутежей, всего, что невольно подчеркивает неравенство их отношений. Вас болезненно теперь огорчает всякий лишний хозяйственный расход и всякие ненужные покупки, и недавно меня поразили, до беспомощно-острой к вам жалости, ваши спокойно-печальные слова:

– Как всё удивительно просто – пока есть малейший денежный приток, исправима любая небрежность, и мы варварски относимся к вещам, их беспечно заменяя другими, а если кончился этот приток...

Вы, должно быть, подумали о порванных чулках или о чем-нибудь столь же неприметном, но действительно для вас непоправимом: я вам особенно в этом сочувствую – нас обоих как-то сближает пролетарская наша «солидарность», и вы доверчиво со мною откровенны. Помните, мы подымались по лестнице, на вернисаж, куда Петрик и нас пригласил, и, улыбаясь, вдруг переглянулись: у нас была как бы общая тайна двух робких и скромных людей, попавших по чьей-то ошибке на блистательный светский прием. Павлик с утра, стараясь быть полезным, развешивал картины и рисунки (бедняки почему-то всегда суетливо-бескорыстно услужливы) и сиял, встречая гостей – и каждого напыщенного критика, и каждую старуху в жемчугах. Вернисаж назначили на вечер, по новой изысканной моде, слишком ярко горело электричество и – как во всех подобных описаниях – сверкали смокинги, брильянты, декольте. На выставку явился «весь Париж», снобически-чванный и шумный – писатели, владельцы конюшен, банкиры, депутаты, маркизы. Они, сосредоточенно-прищурившись, подолгу смотрели на картины и что-то солидно объясняли своим размалеванным женам, которых одинаково пленяло и красноречие всезнающих мужей, и живая изобретательность Петрика, и сам он в узеньком фраке: «Ah, ses couleurs sont vraiment chaudes, il est exquis, ce petit moscovite». Успех «превзошел ожидания», и постепенно возраставшей толпе почти не удивлялась, на портрете, балерина без рук и без ног, в темно-зловещих, загадочных пятнах, а под ней, как и всюду,

красовалась горделивая надпись «vendu», и было сравнительно немного неизбежных при этом подтасовок. Мы с вами, быстро обойдя изученно-знакомые картины, тихонько уселись в углу на бархатном диванчике без спинки, шутливо делясь наблюдениями, осуждая тщеславие гостей, столь заметное порой со стороны, столь мелкое и столь непостижимое при наших неотложных заботах, и дружеский этот разговор мне показался по-старому отрадным. «А вот и наш покровитель, от которого Павлик сбежал», – вы чересчур любезно поклонились уродливо-смешному человеку, меня задевшему локтем и плечом. Он торопливо и, словно покачиваясь, пробирался куда-то вперед, всё к новой спорящей кучке, и походил на большого раздутого карлика, с широкой, жирной, лысеющей и кверху заостренной головой, с пушистыми, черными бровями, несоразмерно-густо разросшимися, буквально одна до другой, и оттого как будто выражавшими непрерывное, сплошное изумление, с волосатыми мясистыми руками сомнительной, пожалуй, чистоты, с откормленно-круглым животом над маленькими, тоненькими ножками, короткими и странно подвижными: есть особая счастливая порода веселых и юрких толстяков, преуспевающих в жизни и в делах. Ему было, видимо, приятно рисоваться, себя выдвигать, отрывисто-громко говорить, выпячивать грудь и живот, фамильярно-размашисто здороваться, афишируя близкую дружбу со всеми знаменитостями в зале – под конец он направился к нам, по-московски, по-купечески сочно поцеловал вашу бледную ладонь (в этих случаях нередко прибавляют: «Ну, как мы, деточка, живем» или «Моя драгоценная, почтение!») и снисходительно подал мне руку. Мы когда-то немало смеялись, по рассказам Павлика и Петрика, над его анекдотическим невежеством и постоянными светскими «гаффами», даже над именем-отчеством-фамилией: Арман Григорьевич Давыдов. И правда, это сочетание, нелепо-французское «Арман», кого угодно могло насмешить – впрочем, на бирже, в русских ресторанах, среди киноартистов и дельцов обычно его называют, чуть презрительно, Анька Давыдов. Такие сметливые, как он, неразборчиво-способные люди в наше время легко «выплывают» и затем внезапно срываются, исчезают, бегут от долгов, чтобы снова, где-то вдалеке, столь же весело и шумно подняться. Анька Давыдов – блестящий фантазер, побывавший во многих столицах, умеющий найти и соблазнить благоразумных, с другими осторожных, но слепо верящих ему богачей. Он по-разному их «обрабатывает», не брезгуя ни пьяной обстановкой, ни женской помощью (услуга за услугу), ни ковенским своим «charme slave», он пытается их

ошеломить стройно-заманчивыми цифрами наживы – и они забывают о риске, о печальной его репутации и о том, что он истратит на себя под предлогом вымышленных взяток, баснословные, безмерные суммы. С непонятно-упрямой наивностью сам он верит своим предложениям (в чем его несомненная сила) – и деньги в оттопыренных карманах, небрежно оттуда извлекаемые, притворная льстивость приживальщиков, угодливость лакеев и шоферов им принимаются за истинную славу и укрепляют его самонадеянность. В начале войны попал он в Москву, где впервые ему повезло, и с тех пор цыганско-развязный, московский купеческий стиль сохранил для него очарование широты, совершенства и чуда, и впоследствии он не променял этой пленившей его «широты» на европейскую коммерческую сухость. Анька мгновенно как-то переходит от одной специальности к другой – наполовину, конечно, оттого, что прогорает в каждой по очереди – теперь он «фильмовый магнат», упоенный своими возможностями, своей карьерой и мнимым величием, и новый план, задуманный Петриком, наиболее из всех выполнимый – устроить Павлика на прежнее его место: вот почему он принял за нас приглашение Армана Григорьевича «отпраздновать счастливое событие» и «вдрызг по-московски нализаться» – в этих словах у Аньки прозвучало и что-то самодовольное до вызова, и что-то воспоминательно-грустное.

И вот мы в пьяном русском кабаке, где «патрона» приветствуют маршем и где он демократически беседует с титулованным лакеем, с музыкантами, с белокурыми цыганками из хора и с воинственными горцами в папахах:

– Мое шампанское, и так, как я люблю.

Потом начинается «дикий разгул», в котором всё одинаково поддельно – и цыгане, и угрозы кинжалами, и богатство Аньки Давыдова, и пресловутая его широта: он явно считает бутылки, не торопит их открывать, нам заказывает кофе и ликеры, частично это искупая у кого-то заимствованной фразой: «Угощаю шампанским оркестр». Музыканты для виду оценивают ненужное им великодушие и себя искусственно взвинчивают, знаменитый румынский скрипач, весь в масляно-потном исступлении, кавказцы, со смуглыми лицами и закрученными тонкими усами (как на лермонтовских старых иллюстрациях), без конца, без устали пляшут в остроносых мягких сапожках, враждебно-бесстрастно друг к другу приближаются, почти сливаясь, притоптывают в такт монотонно-тягучему напеву, а затем спокойно расходятся и веселыми, крепкими зубами подбрасывают кверху ножи,

так что они вонзаются в пол, располагаясь на нем полукругом, словно чьи-то победные трофеи, столь неуместные в этой обстановке. Цыгане, под жалобы гитары, твердят неуклонно свое – что «любовь прошла» и что «буран будет» – и французские наши соседи восторженно им подпевают («Ces Russes, ah, quelles voix chaudes» – для них, очевидно, всё русское неизменно в категории «chaud»). Мы с вами холодно-трезвы и заняты житейскими вопросами, я вашими больше, чем своими, и стыжусь, что не в силах вам помочь. Арман Григорьевич вами увлечен – я вспоминаю, не без внутреннего юмора, язвительно-злую серенаду: «Нас четверо, четверо, четверо нас, все четверо, четверо любим мы вас». Его успех едва ли возможен, но, кажется, пора привыкать и к этим невозможным сочетаниям: сколько раз я думал о людях – каково им, с убогой их простотой, с карикатурно-плебейской их внешностью – и вот они одеваются по-модному, танцуют не хуже других, не боятся ни пляжа, ни спорта, о чем попало развязно болтают, добиваясь интимности, сочувствия или ухаживая грубо-цинически и устраняя при этом соперников куда настойчивее и опытней меня (что не связано с денежным их превосходством, впрочем, косвенно всё же полезным). Для меня такая неожиданность – и Бобка, и Шура, и Павлик, и то, что вы каждого из них хладнокровно мне предпочли. Сейчас вы на моей стороне и вслед за мной осуждаете Аньку – не потому, что он смешнее остальных, а потому, что вам не до кокетства, не до тщеславной женской игры, и потому, что я разделяю непрерывную вашу озабоченность. Вы морщитесь, когда он говорит, с интонацией заправского кутилы: «Ай спасибо», – музыкантам и цыганам или мне, добродушно: «Пей, профессор», – и скомканная им стофранковка, на лету виртуозно подхваченная продолжающим потеть скрипачом, лишь болезненно вас раздражает, хотя в обычном, спокойном состоянии вы были бы терпимей и милей. Желая вас немного развлечь и перед вами заодно порисоваться, Арман Григорьевич стал нам рассказывать о последних, им предпринятых делах, о восхищенном одобрении приятелей, о раскаяньи, о зависти врагов, о патетической с ними борьбе – он из числа тех «наивных эгоистов», которые, с кем-либо встретившись, занимают только собой растерянных своих собеседников, в несносной ребяческой уверенности, что и других это страстно волнует. Такие ослепленные собой болтуны попадаются во всяком кругу – среди политиков, художников, артистов – особенно если их ум не на уровне их достижений и если нет у них чувства реальности, но хвастовство богатых людей, упоенных своими деньгами, есть признак

бессознательной скромности: ведь подобный богач утверждает, что все его достоинства в деньгах и что без этого случайного придатка он сам по себе – небытие. Разумеется, он не поймет моих рассуждений о скромности, однако нетрудно уловить в претензиях иного миллионера нечто похожее на смутный упрек, на какие-то сомнения в себе или на жалобы «непризнанного гения».

Когда мы решили уходить (Петрик всё время вежливо скучал – он против «варварских, грубых удовольствий», а Павлик был в неизменном теперь, обиженно-вялом настроении), когда мы намекнули на усталость, Арман Григорьевич потребовал счет и, проверяя, прикрыл его рукой, словно умышленно хотел подчеркнуть, что этой чести, привычной этой радости, он никому из нас не уступит. Затем он загнул посередине разграфленный узенький лист, исписанный мелкими цифрами, и в него проворно вложил тысячефранковую смятую бумажку, стараясь при этом доказать преувеличенную свою деликатность. У него, что редко бывает, особый культ обращения с деньгами – от жестов при всякой расплате до сентиментально-поучительных историй о тех, кто ему помогли и кого он сумел вознаградить – культ, свойственный и прежним богачам, благовоспитанным, солидным и надменным: я с детства запомнил примеры такого почти священнодействия – как люди с барскими руками медлительно при мне из кармана вынимали золотой портсигар или часы со щелкающей крышкой, придавая любым своим поступкам значение, им несоответственное, и растягивая каждое движение – все это утрачено, забыто в наши грозно-переменчивые дни и подражательно-бездарно выступает у «поздних эпигонов», вроде Аньки.

Гостеприимно-любезный до конца, он вызвался нас провожать и, когда мы в такси остались вдвоем, предложил еще посидеть в каком-нибудь «спокойном местечке». Я легко на это согласился – он был мне в чем-то любопытен, да и ночная безалаберная жизнь неотразимо меня привлекает: подобно всем неврастеникам, я ночью возбужден и общителен, а утром замкнуто-брезглив. Мы очутились в маленьком баре, дорогом, но сравнительно уютном, и Анька, потеплевший от вина, как-то сделался добрее и сердечней, сохраняя, правда, в обращении оттенок покровительственной важности. Он несколько навязчиво меня угощал («Душечка, пейте, ешьте, не стесняйтесь»), расспрашивал о Петрике, о вас, и поделился рядом наблюдений, достаточно трезвых и плоских: «Ваша Леля классная женщина, поверьте, я знаю в них толк, но идиотски выбрала мужа и скоро это поймет – вы лучше бы

ей подошли, а впрочем, ей нужен мужик с большим капиталом и с характером». Он намекал конечно на себя, хотя в разговоре со мной не обнаружил характера и силы – напротив, он жалко раскис, говоря о своем одиночестве, о неблагодарности многих людей, ему безгранично обязанных, об их предательском к нему отношении (наперекор недавним рассказам про тех, кто ему помогали): «Я знаю, что каждого куплю за подачку, за шампанское, за ужин, и нет бескорыстных друзей». Разумеется, он не заметил, что мог и меня оскорбить словами о шампанском и об ужине и прочими в этом же роде, но я заранее к ним приготовился и благодушно их воспринимал, отвечая по возможности впопад (мы толстокожи и теряем самолюбие, если с кем-либо решили не считаться). Я заявил, что «ставка на деньги» ведет к неизбежным провалам, что нам удается купить лишь видимость, лишь призрак отношения, что дружба приобретается дружбой, но он меня сразу прервал, искренне чуждый этим советам, неспособный даже в них вслушаться, к тому же боясь отказаться от своей умилительной позы. Мне надоело его утешать, и я придумал новую тему – о знакомых, о прошлом, о Москве – и он как-то мгновенно оттаял: мы с каждым, враждебно настроенным, очерствевшим от жизни человеком легко, при желании, сблизимся – ведь у каждого есть свой запас стыдливо-тайных, глухих воспоминаний, романтически-любовных или детских, и надо умело их вызвать, чтобы вмиг кого угодно укротить. Я попытался тут же использовать необычайное волнение «патрона» и начал расхваливать Павлика – должно быть, слишком прозрачно – по крайней мере, сжавшись, прищурившись, он на меня удивленно посмотрел и неприязненно-сухо возразил:

– Вы просто не знаете Ольшевского. Он карьерист и последнее ничтожество.

Как ни странно, это понятие нередко мы применяем ко всяким людям, на нас непохожим, возводя в образец самих себя, и для меня ничтожество – «патрон», с его интеллектуальной слепотой, а для него и Павлик, и я, с нашей наивной бестолковостью в делах. Впрочем, на Павлика он нападал и по другому, личному поводу:

– Скажите, кто его пригрел, у кого научился он работать и кем бы остался без меня – дрянным и глупым мальчишкой. И как же он мне отплатил, прельстился грошевой надбавкой, ушел от меня – и прогадал. Пускай теперь побегает за мной.

Тогда я открыл, почему Арман Григорьевич себе противоречит, говоря в присутствии Павлика о верности, им вознагражденной, и

жалуясь позже, без него, на вечное общее предательство: в первом случае он Павлику мстил, во втором изливал свою горечь. Я также понял, что он не забудет и никогда этой «измены» не простит и что смягчить его не удастся: ему, для утоления тщеславия, надо видеть как можно нагляднее результат своих благодеяний, благодарную зависимость тех, кого он осчастливил и «пригрел», а помогать без шума и бахвальства, издалека, скрываясь, он не станет и возмутится больше всего, если никто из посторонних не заметит его расходов и жертвенных услуг. Невольно я сравниваю с этим деликатно скрываемую помощь, безыменные добрые поступки, сердечно-милую, простую широту, какую приписываю Петрику и, пожалуй, еще Сергею Н. – в ней есть преодоление грубости, корыстных животных инстинктов, «очеловечение», душевный полет, всё, что меня особенно прельщает и что я наиболее ценю, сознавая, насколько повторяюсь, да и вообще, насколько не нов, предпочитая правду новизне. Такая правда едва ли точна, и в чистом виде у нас не бывает ни дурных, ни возвышенных свойств: вероятно, и Анька Давыдов порой способен как-то взволноваться из-за радости, им причиненной, вероятно, могут возникнуть и у Сергея Н. мечты о награде, надежды на вашу признательность, только он их сейчас же устыдится и постарается в себе подавить, и вторичное это побуждение, это раскаяние, это усилие неизмеримо важнее для меня первоначального смутного толчка, оттого, что подобные усилия нас меняют, нас даже создают, в них наша цель, наш будущий облик, и несомненно, весь медленный путь человеческой борьбы за благородство, за духовный мучительный подъем, состоит из «вторичных побуждений», из недовольства предыдущими ошибками. И вот, сопоставляя две крайности – Сергея Н. и Аньку Давыдова – я убеждаюсь в огромном различии того, что пройдено одними людьми и в чем другие жалко отстали, на тысячи веков и поколений, и у меня появляется вопрос, на который ответа не знаю – идет ли человечество за лучшими, или эти немногие лучшие непоправимо, безысходно одиноки.

Мой разговор с Арманом Григорьевичем неловко обрывался, иссякал: желая найти с ним общий язык и незаметно его подразнить, я привел ему цифры гонораров Сергея Н. за несколько лет (нарушив тайну, вами доверенную), но он меня мгновенно «забил» такими чудовищными суммами, таким количеством денег, им заработанных, истраченных, раздаренных, что я – слишком поздно – пожалел о чрезмерной своей неосторожности. И действительно, перед врунами не стоит высказывать сенсаций: они любую превзойдут и обесценят

своими измышлениями, и нужно терпеливо их выслушать, чтобы как-то их «переплюнуть» и достигнуть большего эффекта. И все-таки эти «блеферы», лишенные чувства стыда и страха смешных разоблачений, нередко в жизни побеждают утонченно-расчетливых умников, словно жизнь поддается их фантазии: быть может, подобный успех легкомыслия, наглости и глупости (особенно в денежных делах) – один из признаков нашего времени, тревожной его неустойчивости, конца буржуазного порядка – или всегда, во всякое время, чем беднее сердце и ум, тем ясней и прямее дорога. Я Аньке не стал приводить своих о нем скептических суждений, ему привычно старался понравиться и, кажется, этого добился.

КОМПОЗИЦИЯ

Май месяц, похожий на октябрь – мы только что переехали на дачу и чинно гуляли всей семьей по пустым еще аллеям и улицам. Я не успел отвыкнуть от гимназии (к тому же предстояли последние экзамены), от петербургской размеренной жизни, от городских знакомых и товарищей, и здесь, в этой сырости, в этой грязи ощущал свою бесприютность, оторванность от прежней колеи, казавшейся незыблемопрочной. Мы дошли почти до берега залива, и на скамейке, под навесом из белых берез, непрерывно качавшихся от ветра, сидели мои старые приятельницы (мы тут проводили десятое лето) – Люся Никольская и Тоня Кострова. Я в Петербурге их не встречал, и меня в них поразило что-то новое – улыбка, лукавство в глазах, двусмысленно-веселая приветливость. Кто-то из старших шутливо сказал: «Ну, Тоня становится красавицей», – и я впервые наглядно почувствовал ревниво-азартное волнение, что кому-то она предназначена, неужели другому, а не мне. Мы так же чинно вернулись домой, и я – сам не зная, почему – к ним стремительно помчался обратно, по лужам и мокрым дорожкам, на легоньком своем велосипеде, уверенный, что обе, на той же скамейке, ждут меня с нетерпеливым любопытством. И действительно, в серых макинтошах, с остроугольными смешными капюшонами, они сидели, прижавшись друг к дружке, и мне, не скрывая, обрадовались. Разговор был немного напряженный, из-за моей чрезмерной стеснительности – мы говорили о театре, о книгах, о любви (и это нам как раз не удавалось), и оживленней, с непритворным увлечением, о непосредственных наших интересах – об отметках и учителях. Как полагалось в тогдашнем нашем возрасте (я приближался к шестнадцати годам и должен был, как и Тоня, перейти из шестого класса в седьмой, а Люся была восьмиклассницей), мы хвалились везучестью и смелостью, «счастливым билетом» на русском экзамене или громким скандалом с инспектором. Я больше всех при этом заносился и откровенно порою сочинял, но с долей беспокойства и даже тревоги: ведь главное еще предстояло, а мне уже в то время казалось, что будущее можно как бы сглазить слишком ранней, беззастенчивой хвастливостью (и посейчас основное мое суеверие, увы, неоднократно оправдывавшееся – впрочем, оно не относится к другим). Мои гимназические страхи не смягчала задорная Тонина улыбка: я несравнимо сильнее

им поддавался, чем смутно намечавшейся влюбленности. Обе подруги явно принадлежали к породе насмешливых и бойких и мне учинили подробный допрос, словно хотели меня испытать и найти мое слабое место. Люся была развязнее Тони, чуть-чуть флегматической и вялой – некрасивая, с худенькой лисьей головкой, с голубоватыми хитрыми глазами, коротконогая, с крохотными ручками, она слыла среди нас «интеллигентной», «массу читала», любила стихи и «массу знала наизусть» – «всего Надсона», «Мцыри» и «Галуба» (с каким надрывно-звонким торжеством она, декламируя, спрашивала: «Тазит! где голова его?»). Перед ней я совсем не робел – из-за давнишнего близкого нашего знакомства и ее неблагодарной наружности (для меня очевидно «бесполой») – и сразу облегченно вздохнул, когда Тоня нерешительно начала прощаться: «Мне будет влет – я ушла потихоньку – но зубрить надоело до чертиков». Как только она поднялась и пошла своей тяжелой походкой, Люся меня презрительно выругала, с какой-то неожиданной злобой: «Ты не умеешь, дурень, ухаживать, если влюбился, надо провожать», – и я послушно Тоню догнал, ведя велосипед и не зная, что в сущности нам делать вдвоем. Тоня, нисколько мне не удивляясь, по-прежнему спокойно улыбалась – я пытался и не мог разобрать, есть ли это поощрение флирта или обычная милая вежливость. С трудом из себя выжимая лишенные смысла, пустые слова (чтобы просто что-нибудь сказать – ведь, ухаживая, нужно разговаривать), я искоса Тоню разглядывал и находил ее опять-таки иной, чем раньше, чем в предшествующее лето: не то она изменилась, повзрослела, не то я сам в ней старался что-то найти, чего еще недавно не искал. Высокая, ростом с меня, она как-то вдруг поражала ленивой грацией, упрямым здоровьем и земной, устойчивой силой, и это вытеснило, вмиг перевесило, без остатка во мне уничтожило предыдущую трехлетнюю влюбленность в ангелоподобную светленькую девочку, слишком расплывчато-воздушную и легкую. Я годами в себе поэтизировал это наивно-мальчишеское чувство, его бережно скрывая от всех и, конечно, от самой героини, и вот оно мгновенно исчезло, что потом со мной бывало не однажды – и у других в отношении меня (к сожалению, последнее чаще). Я продолжал рассматривать Тоню, и насколько могу сейчас судить, в ее наружности трогало меня то, что не раз меня трогало в женщинах (и кажется, буквально во всем, в картинах, в музыке, в свойствах ума) – сочетание силы и утонченности: впечатление это создавали ее в меру полная статная фигура, густые каштановые пышные волосы, смугловато-розовые щеки и правильные

мелкие черты округленно-овального, чуть длинного лица. Меня также в ней умиляла манера сердито поправлять спускающиеся пряди волос большой, тяжелой, узкой рукой, и нежно очерченный рот, и недостаточно белые зубы, и даже сломанный верхний передний. Правда, затем, в ближайшие дни, в начале каждой нашей встречи, меня кое-что охлаждало, и я заранее этого боялся, но вскоре «принял» ее целиком, и меня одинаково пленяли ее дурные и выигрышные свойства: на ней подтвердился мой опыт с предыдущим «детским романом» – что мы находим волшебную власть во всем, что касается возлюбленной – в ее имени, в голосе, в словах (пускай случайных, плоских, незначительных) и в смешных, второстепенных мелочах, вроде адреса, названия улицы и фамилии главной подруги. Я Тоне так и не сказал, что она мне по-новому нравится и что нам необходимо встречаться, хотя решил ей это сказать и наспех приготовил какие-то фразы – я ждал поощрения, малейшего «аванса», но Тоня, с улыбкой, молчала и в конце, загадочно-сдержанно, благодарила за «милые проводы»: я тогда, разумеется, не знал о вечной женской неясности для нас, об ожидании мужской инициативы, о том, что и при явной благосклонности мы должны добиваться ответности, как бы с трудом ее достигая, что это закон любовной игры, и мой инстинкт, слишком поздно пробудившийся, мне в то время еще не помогал. Это отчасти у меня происходило из-за одной моей странной особенности (впрочем, свойственной в молодости многим) – несовмещения, отрыва, разделения сентиментальной и чувственной области: так было и с «первым романом», и теперь, по-видимому, с Тоней (при всей физической ее привлекательности), и это, вероятно, убивало мужскую мою «инициативу».

Потом, за утомительно-скучной зубрежкой или в дни последних экзаменов, неизменно кончавшихся заслуженной пятеркой (я изредка по лени срывался, но шел то первым, то вторым учеником), при каждой похвале того же инспектора, с которым мы будто бы «цеплялись», я навязчиво-страстно хотел, чтобы Тоня подглядела, услышала, какой я достойный человек и каких добиваюсь успехов. Я даже решил с ней не видеться, пока не буду свободен от работы и от своих гимназических волнений, и действительно, лишь с этим развязавшись, стал опять за Тоней «ухаживать». Я караулил ее у окна, когда она проходила на вокзал – там собирались наши дачные барышни, встречая приезжавших со службы отцов – причем за ней я отправлялся не сразу, но через десять-пятнадцать минут, чтобы создать впечатление случайности. Иногда мы гуляли по утрам в унылой крохотной роще, где было

меньше деревьев, чем пней, где толстые няни сидели с детьми, на них крича, с них снимая штанишки и подымая их над канавой и над кустами дикой малины, где всюду валялись консервные коробки, где от природы почти ничего не уцелело, но я считал эту рощу «природой», перенеся во взрослую реальность свой детский игрушечный мир, и наши с Тоней любовные прогулки мне казались такими же чудесными, как у всех счастливых влюбленных. Мы говорили по-прежнему вяло, к тому же слишком быстро исчерпались гимназические скудные сюжеты, а книги, о которых я с жаром вспоминал, были Тоне всегда неизвестны, чего она ни капли не стеснялась (да и я тщеславно называл такие изысканно-трудные, каких и сам не пытался одолеть). Правда, молчание Тоне не мешало – она мурлыкала модные вальсы, грызла травку, листик, цветок и приветливо мне улыбалась. Она умела во всяком положении найти непринужденную позу – я пробовал ей подражать (руки в карманы, бодрое посвистывание), что у меня выходило бездарно. Мне хотелось ее уговорить прогуляться как-нибудь по лесу, но это сухо и твердо отклонялось: должно быть, Тоня смутно побаивалась, что я «заманю и соблазню». Люся меня настойчиво спрашивала: «Ну, как твои амурные дела? Вы объяснились? Был первый поцелуй?» – и я, с напускною таинственностью, однако смущенный, ей не отвечал.

Как-то вечером мы вышли на прогулку втроем, на этот раз мы избрали не рощу, а ту, ведущую к морю аллею, в которой встретились в первый же день. Была опять полуосенняя погода, холодная, ветреносумрачная – я нуждался в неясной женской теплоте, чего прежде не ощущал. Мне показалось, что Люся и Тоня также стремятся к чему-то неясному, но это всё для меня оставалось невыразимым и загадочно-тревожным. Тоня меня спросила, между прочим, хорошо ли я знаю по-английски (в ее семье это снобический заскок), я заявил, что знаю посредственно, боясь незамедлительной проверки, и тут нам Люся помогла договориться, не без ловкости, меня удивившей:

– А как по-английски – я люблю?

Я с выражением ответил:

– I love.

И тогда неожиданно Тоня, с гораздо большим, чем я, выражением:

– I am fond of you – это лучше.

Мы долго ходили втроем, и Люся странно нас не покидала, пока не осталась со мной.

– Ну что, ты мною доволен – без меня ты всё гулял бы, как балда. Когда-нибудь и ты мне отслужишь.

Я скорее был горд, чем взволнован и доволен, и первое мое объяснение пробудило во мне не влюбленность, а глупую мальчишескую спесь. После этого я тайно решил, что непременно Тоню поцелую, но случая так и не представилось, да я и старался его избежать, отчасти чтобы меньше обязываться, отчасти из трусливой осторожности и как-то не умея приступить к такому важному, ответственному делу, в котором так легко опозориться. Теперь уже Тоня чего-то ждала, но дальше прежних безразличных разговоров у нас ничего не выходило. Напротив, Люся уверилась с тех пор в моей окончательной победе, в достижении каких-то «результатов», и меня ни о чем не расспрашивала. Я попал, что бывало и впоследствии, в то ложное, смешное положение, когда вокруг никто не сомневается в нашей связи с какой-нибудь женщиной и каждый нам открыто завидует, мы же знаем, что это не так, и краснеем при всяком лестном намеке, не отрицая заблуждений собеседника. Я даже подслушал однажды, как сплетничали два моих приятеля, что «у Тони новый любовник» – они называли затем мое имя, добавив крепкие русские слова: такие случаи, со множеством вариаций, у меня повторялись без счета.

Сейчас, припоминая то время, я вижу главную, вескую причину моей как будто непростительной пассивности – что я Тоню просто не любил. В начале всех моих взрослых отношений происходило буквально то же самое (точно мы определяемся раз и навсегда): я с вежливой скукой обычно принимал ненужное мне женское внимание, надежды, жалобы, слезы, какую-то странную уверенность, будто стоит мне захотеть, чтобы «давать» беспредельно и щедро, и не думал о будущей расплате, об измене, о предательстве той, которая «щедрости» добьется и всю пользу из меня извлечет, не думал о ревности, о горе, о беспощадно-одиноких, бессонных ночах, неизбежно мне предстоящих. Так же и с Тоней я вежливо скучал и был бы рад от нее освободиться, но в этом себе не признавался.

Как полагалось в подобных дачных ухаживаниях, я часто за Тоней заходил, ее родные привыкли ко мне и явно меня одобряли – из-за моей примерной воспитанности, из-за умения ладить со всеми и разговаривать с каждым в отдельности на темы ему интересные. Отец, невозмутимо-серьезный господин, чересчур высокого роста, породистый, похожий на Тоню, с такими же искристо-карими глазами (правда, сходство искажали очки), с утонченно-мягкими чертами лица,

с подстриженными темными усами, один из тех солидных адвокатов, которых предпочитают знаменитостям – он трогательно Тоню любил и, доверяя моей «деликатности» (или просто ребячливой наивности), относился ко мне благосклонно. Со мной он говорил о политике, был кадетом и в раздраженной оппозиции всему, и правому, и левому, и жаловался мне, что дела ему мешают заниматься общественностью. Мамаша, снобка из купчих, задорно-веселая, крошечная дама, полновластная хозяйка в семье, полушутливо намекала на робкий мой флирт и всё же ко мне благоволила: у меня ей, видимо, нравились воротничок, манжеты и манеры, и то, что я знаю языки. Но особенно мне покровительствовала прехорошенькая Тонина старшая сестра, тяжелая, большая, выше Тони, с необычайно нежным цветом лица, в ореоле воздушно-пепельных волос, на зависть Тоне собранных в прическу. Она была любимицей матери и разделяла ее беспредметный снобизм, но с эстетическим, уайльдовским оттенком и с англоманией во всем, до нелепых мелочей: мы ее звали не Аней, а Энни, зато отец – осудительно – Анютой. У них постоянно бывал красивый, стройный русский итальянец, семнадцатилетний Алек Андреоли, горбоносый, спортивный, подтянуто-сухой, черноглазый и с зализанным пробором, исключенный из нескольких училищ за независимость и резкие выходки, побывавший и в старинном лондонском колледже, откуда также пришлось его убрать – он именно Костровым и привил столь им несвойственный английский пошиб. Энни и мать его побаивались, нас он третировал, как взрослый малышей, и нам действительно казался исключением, вне нашего правильного мира, с отметками, с родительской строгостью, с ежедневной размеренной скукой: он подавлял нас развязностью мнений, неуважением к любым авторитетам (быть может, презрительным невежеством, чего я тогда не понимал) и подчеркнуто-взрослыми повадками – разумеется, нам импонировало, как он курил за папиросой папиросу и щелкал выхоленно-твердым ногтем по золотому своему портсигару. До Энни он всё же снисходил, хотя и часто ее обрывал или слишком равнодушно с ней соглашался, что наиболее ее уязвляло: она при этом болезненно вспыхивала и мне казалась совсем незащищенной, прозрачной, какой-то бескожей. Она «отводила душу» со мной и однажды, после «дельных» моих замечаний (не помню, к чему относившихся), заявила, что напрасно я скромничаю, что я куда образованнее Алека. Энни в семье считалась «культурной», я был польщен ее похвалой и доволен сомнениями в Алеке, которые смутно сам разделял. Теперь иногда всё менялось – я скромно разгуливал

с Энни, а Тоня бегала взапуски с Алеком и потом, задыхаясь, с ним садилась на скамью. Энни мне по секрету рассказывала о своем петербургском романе, конечно, с каким-то англичанином, о трогательной их переписке, о его джентльменском благородстве, словом, я сделался ее конфидентом – моя опять-таки нередкая роль, но тогда это случилось впервые, и я внутренне этим гордился. Увы, мое за Тоней ухаживанье становилось всё неудачнее, и кажется, я провалился, когда ей решил поднести неизбежные красные розы: держа их в руке головками книзу (как Люся меня научила), я пришел, возбужденный, к Костровым и приоткрыл садовую калитку – вся семья оказалась в саду (по-воскресному, барышни в белом), и почему-то меня оледенило саркастически-грубое присутствие Алека, и целый час я неподвижно просидел, смущенный своими цветами, и с ними же глупо ушел, чем Тоню, вероятно, огорчил. Потом я долго прислушивался, ожидая общего смеха, который должна была вызвать очередная «шуточка» Алека, непоправимо мною заслуженная, и этот смех действительно раздался.

К тому времени лето наполовину прошло – давно исчезли ландыши во мху, зеленые черничные ягоды постепенно начали краснеть, кое-где косили траву, дни стали заметно короче – и тогда случилось событие, словно рассекшее «сезон» пополам. Как-то вечером я шел по «проспекту» – по широкой тенистой черной аллее, отделенной от грязной мостовой деревьями, канавой, фонарями, горевшими достаточно тускло – мимо дач, одинаковых в полутемноте, и внезапно встретился с Тоней, растерянной, странно взволнованной, еле кивнувшей мне головой. Она пролетела, точно вихрь, но в моей памяти остались навсегда ее пылающие щеки и лоб, ее неровно вздымающаяся грудь под белой вязаной фуфайкой, растрепанные волосы, счастливые глаза, что-то в ней новое, женское, взрослое. Я не успел ничего сообразить, как через пять или десять минут промчался Алек в том же направлении, такой же бурно взволнованный, с расстроенным, в пятнах, лицом и с красной гвоздикой в петлице. У них обоих что-то произошло невыразимо важное и страшное, и я впервые наглядно увидал чужую грозную любовную радость, к тому же обращенную против меня. Я до этого ревности не знал и тогда, вероятно, не был задет – ни душевно, ни в своем самолюбии, ни (тем более) грубо-физически: я навряд ли Тоню любил и если даже к ней начал привязываться, то ответности скорее опасался. Но какое-то во мне появилось неизвестное прежде оживление, меня охватило вдруг любопытство, что будет дальше, что я почувствую, я себе показался несчастным и обиженным, и постепенно

это превратилось в замирающе-приятную грусть, предвосхищавшую припадки ревнивого отчаяния (так обычно они возникали), однако в будущем, не связанном с Тоней. С годами я преобразился (или сам себя переставил на «сильные страсти», на «мужскую непреклонность») и грусти почти не испытывал: ее вытеснили возраст и заботы, отчаяние, изредка счастье, и только в пустые безлюбовные дни она ненадолго пробуждалась.

После того разоблачающего вечера переменился весь стиль нашей жизни: я с Тоней вдвоем не гулял, повсюду встречал ее с Алеком. Люся, шипя, мне злобно доносила о том, что роман их «в разгаре» («Проворонил, сам виноват, ради тебя не стоило стараться»), а скверные дачные мальчишки уже мне потихоньку сообщали: «Алька Тоньку затащил к себе на дачу и там они... того... целовались». Я и к этому отнесся равнодушно и у себя, изумленный, обнаружил неожиданную новую скрытую нежность к одной из Тониных школьных подруг, изящной грузиночке Нине. Я даже не пробовал распутать, что меня больше трогало в Нине: ее ли добрые, темно-блестящие глаза и смуглые ласковые руки, с малиновыми узкими ногтями, или ее «товарищество» с Тоней, и дома жарко, позорно краснел, вводя кого угодно в заблуждение, из-за обоих этих имен. Понемногу у меня образовалось четыре «женских отношения» – безответно-любовное с Тоней, доверительно-дружеское с Энни, взаимно-доброжелательно-милое с Ниной и, как ни странно, самое невзрослое, беззаботно-веселое, с Люсей (продолжение детских наших игр – однажды в то печальное время я столкнул ее в канаву с водой и затем неудержимо хохотал). Из них ни одно меня не обязывало и я никого не задевал, но в этом пестром женском окружении (неизменном во всей моей жизни) себя чувствовал как долго прозябавший человек, нашедший наконец свое призвание. Помню еще убийственный случай, опять-таки связанный с розами, неподнесенными, даже некупленными: я должен был пойти на танцульку, но не хватило денег на цветы – для Тони или же для Нины (если пришлось бы Тоню «наказать») – и, сев на свой велосипед, я уехал Бог знает куда, несясь по ровной дороге, глотая сладкие, мстительные слезы и обдумывая поздний реванш. Об этом вечере Люся мне сказала, что он необычайно удался, что Алек «открыто» ухаживал за Тоней, кто-то за ней и кто-то за Ниной, и что я «утерял все позиции», и, как всегда, чужое веселье, чужие недоступные страсти щемяще-ревниво меня взбудоражили.

Я смутно удивлялся тому, чему не раз удивлялся и впоследствии, насколько любовные мелочи, соединенные с Тониной «изменой», ощу-

тительнее факта измены: так я видел из нашего сада, как Тоня спешит на вокзал, грызя цветок или травку и, вероятно, что-то напевая, и меня огорчало до боли, что я уже не мог ее догнать, к ней подойти, с ней вместе ходить (я понимал, что это было бы нелепостью). Незаметно подкрадывалась осень – еще сравнительно жаркие дни сменялись прохладными, сырыми вечерами, телеги вязли в лужах и грязи, море всё чаще скрывалось за туманом, ветер опять раскачивал деревья, появились шляпы и пальто. Как каждый год, с маниакальным упорством я искал повсюду грибы, обходил с утра все канавы, не отрывая глаз от земли, иногда вставал до рассвета (причем просыпался без будильника) и с теми же «скверными мальчишками», теперь поглощенными грибной лихорадкой и даже переставшими сплетничать, отправлялся в далекий березовый лес, где забывал о чувстве и о Тоне. Я не помню большей отрады, чем это бесконечное хождение по мокрой траве, по мшистым полянам, по мозолистым корням столетних берез, мимо редких сосен и елок, с одной азартной, волнующей целью – опередить незадачливых соперников и крикнуть с торжеством: «Мое гнездо!» У нас была своя давняя этика – мы сейчас же сбегались на крики и с толком, с пониманием дела (тем справедливей и, значит, тем завистливей) критиковали чужую находку, но заявленных прав не нарушали. Особенно меня восхищал какой-нибудь, разбухший от дождя, коричневый, губчатый, сморщенный гриб (тут начинались главные споры – червивый он или нет) и непременно где-то поблизости действительно беленькие толстые грибочки, приникшие головками друг к другу, точно крепкие пузатые щенки. Перед тем как отправиться домой, мы раскладывали, каждый в отдельности, в поместительных плетеных корзинах свою великолепную добычу, прилежно, со вкусом, ее сортируя по размерам и по назначению (для маринада, для варки, для жарения), и это было удовольствием и отдыхом. Голодные, усталые, в полдень мы не спеша возвращались к себе, к той новой, таинственной жизни, которая всё еще меня волновала.

По вечерам у нас происходили, под ненавязчивым надзором чьих-то тетушек, многолюдные, но тихие прогулки, сентиментально-влюбленно-поэтические: мы все разделялись на пары (кроме маленьких, шедших гурьбою в хвосте и негромко распевавших «Стеньку Разина») – Тоня с Алеком под ручку, в стороне от других, Люся и Нина со своими кавалерами – мне приходилось довольствоваться Энни, однако и с ней я поражался какой-то взрослой своей равноправности. Она говорила всё о том же – об Англии, о Бердсли, об Уайльде – и

к этому прибавилась музыка: каждый из нас, без особого успеха, обучался игре на рояле и мог рассуждать о Бетховене и об известных тогдашних пианистах. Я любил наши вечерние прогулки: меня слегка умиляло и радовало, что где-то близко Тоня и Нина, что я умно беседую с Энни, что рядом стройно и мягко поют. В дождливые глухие вечера мы собирались обычно у Костровых, и было приятно смотреть, как миловидные, статные, высокие сестры, появляясь вместе в дверях, хозяйственно вносят угощения – дымящийся чайник, новое варенье, пастилу, мармеладные кружочки. До поздней ночи за чайным столом мы играли в различные игры – Алек и Энни ввели «up and down» (соблазнившись английским названием), что незатейливо нас развлекало: под столом передавалась монета, затем, по чьему-либо знаку, все руки на секунду подымались и опускались ладонями на скатерть, и по очереди нам полагалось угадать, в какой руке монета запрятана. Был законный, дозволенный повод для флирта, и, помню, я с трепетом касался горячих Тониных пальцев. Несмотря на мой любовный провал, было жаль уходящего лета, такого заманчиво-тревожного, и накануне нашего отъезда я не без грусти разговаривал с Тоней – предвосхищение, бледный прообраз тех идиллически-грустных разговоров, какие бывают «после любви», когда задетость и отчаяние проходят, но в памяти еще сохраняются их приукрашенно-живые следы. Мы сидели перед Тониной дачей на неудобных маленьких тумбочках, и у меня возникло ощущение (которое, кажется, и ей передалось) какой-то внутренней, душевной комфортабельности – Тоня, лукаво мне улыбаясь, притворно-кокетливо спросила: «Неужели мы нескоро увидимся?» Она дразнила себя и меня – мы в городе с ней не встречались, и не было даже оснований договориться, условиться о встрече. В тот день я впервые ее находил не только чарующе-красивой, но и ставшей привычно мне родной, и – без любви, без ревности, без боли – так неохотно с Тоней расставался, словно что-то от себя отрывал. Придя домой, в унылом одиночестве, я долго «бренчал» на рояле и вздрогнул, услышав донесшиеся с улицы поощрительные возгласы – «браво» – едва ли мною заслуженные: это были Тоня и Энни, так мило со мною прощавшиеся.

Погруженный в городские заботы и дела, в гимназически-семейный обиход и в ухаживания менее невинные, я мало думал о Тоне и о лете, о непонятных с ней отношениях, однако многое в то странное время

для меня как-то внезапно оживилось. Я помню латинские стихи – мы разбирали их на уроке, еле вникая в затерянно-древний их смысл («Bello punico secundo musa pinnatu gradu intulit s'in bellicosam Romuli gentem feram») – и почему-то самый их звук меня удивил и обрадовал, точно в мою прохладно-вялую природу действительно проникла поэзия, от которой всё потеплело. Нам раздавали затем абонементы на классические пьесы в Михайловский театр: я знал, что в Тониной гимназии получены первый и третий, и со страстным упорством надеялся хотя бы изредка с нею встречаться, но мне достался именно второй, и у меня не хватило догадливой ловкости перемениться с кем-нибудь билетами. Я даже приготовил для Тони, к первой встрече на «Ромео и Юлии» (когда еще надежда была), меланхолически-наивные строки перевода, случайно в то время выхваченные мною из какой-то газетной рецензии: «Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Жюльете», – и долго в театре горевал, что не удастся Тоню поразить, сиротливо разглядывая кресла и балкон, таинственно связанные с нею. Несколько позже, перед Рождеством, я «взаправду» разругался с «математиком», обнаружив заносчивую смелость (об этом говорила «вся гимназия»), и, вспоминая, как оба мы хвалились такими воображенными случаями, я жалел, что Тоню не увижу и ей не смогу рассказать о своем непридуманном подвиге.

Весной меня приятно взволновало анонимное любовное письмо (впрочем, написанное Люсиным почерком) – в неизвестных мне, гладких стихах заключался ряд признаний и упреков, чем я был, разумеется, польщен. Люсина лирика кончалась словами: «Если же слезы мои не подскажут тебе, покоряюсь тогда неизбежной судьбе, но звездою моей не останешься Ты, и увянет любовь, и увянут мечты», – и прозрачно-поучительным намеком: «Не откладывайте никогда на завтра того, что можете сделать сегодня». Единственное в Люсином письме, что слегка меня охладило, была дата – первое апреля – но, зная Люсю, я это объяснил самолюбивой ее осторожностью. На всякий случай я не ответил, да и к любви нисколько не стремился, довольствуясь своим торжеством и возможностью гордиться перед Тоней.

В то лето я попал за границу и, как ни странно, еще целый год не видел Тони, даже на улице, но чуть ли не каждое утро по дороге в гимназию встречал двух барышень, ее одноклассниц, мне косвенно о ней напоминавших: я не был с ними знаком, однако с нетерпением их ждал, словно далекое Тонино сияние частично и на них отражалось. За эти годы, за время разлуки, моя влюбленность как бы раскрылась

и стала ощутительной в те дни, когда, переносясь в свое прошлое, я не мог себе Тоню представить и не сразу ее узнавал на фотографии, правда, ей льстившей и выпрошенной мною у Люси: очевидно, в этом возрасте любовь нуждается в помощи фантазии. Наступили выпускные экзамены – полусвобода, забегание к товарищам, прогулки по набережной, в Летнем саду, самонадеянный, ранний, взрослый задор – в своих чрезмерно книжных мечтах я как бы учился в Тонину честь (наподобие рыцарских подвигов) и всё острее, всё упрямее хотел, чтобы кто-нибудь ей передал о моих гимназических успехах, о волевых непрерывных усилиях, и чтобы Тоня это оценила: лишь позже, с годами, я понял, как для меня отвратителен труд, как вымучен всякий мой успех, насколько лучше мне при этом скрываться.

Мы переехали на лето в Павловск, и вскоре после экзаменов я как-то сидел на скамейке у вокзала – был долгий концертный антракт. В знаменитом когда-то кружке разгуливала громкая, пестрая толпа (именно летом такая, как на юге), и вдруг передо мной оказались Энни с матерью, Тоня и Алек – я сейчас же к ним подошел и, после первых расспросов и приветствий, очутился с Тоней вдвоем, по ее незаметному почину: мы оживленней, естественней, чем прежде, непринужденно с нею беседовали, и на веселую мою болтовню она отвечала милым вздором, то смеясь, то вздыхая о прошлом и блестя не очень белыми зубами (ей вместо сломанного вставили другой). Я поздравил Тоню с прической и с вероятным окончанием гимназии, она меня – со студенческой фуражкой. На мой вопрос о дальнейшем, о курсах, она шутливо, но твердо, заявила: «Нет, с меня довольно учиться – выйду замуж и буду хозяйкой, а до того нафлиртуюсь, сколько влезет». Затем я слушал с особым волнением пленительно-мрачные звуки тангейзеровской стройной увертюры, и для меня они связались навсегда с любовью, с молодостью, с Тоней. У меня осталось впечатление какой-то с ней чарующей легкости и возникла смутная догадка, что Алека она «разлюбила», что он несчастен и весь потускнел, стал некрасивым, черным, худым. Но я на этом не сумел задержаться и воспринял отношения формально – что Алек Тонин жених, а я отвергнутый, забытый поклонник (потом я верил своим интуициям, и они большей частью оправдывались). Полудетское мое воображение, разгоряченное встречей и музыкой и романтизмом столь «сложных» отношений, работало без устали всю ночь, а к утру у меня появилась упорная, страстная потребность хоть с кем-нибудь всем этим поделиться. Я выбрал Люсю, составил письмо, аккуратно его переписал – и

чудом в одной из старых тетрадок у меня сохранился черновик, и за тогдашние глупые бредни я до сих пор способен покраснеть. Вот из него наивный отрывок: «Находясь в здравом уме и твердой памяти, я утверждаю, что Тоню не люблю, но что судьба меня столкнет и с нею и с Алеком, и я беспечно столкновения жду. Только ждать придется немало: Костровы на лето едут на Кавказ». Впоследствии при каждом любовном разрыве я точно так же что-то предсказывал («Сопьюсь... умру... отомщу...»), и никогда ничто не сбывалось. Люся в ответ писала о себе, о своих приключениях и новых знакомых – и ни слова о Тоне и об Алеке.

Мои первые, студенческие годы прошли беспорядочно и грубо – я тянулся за новыми своими друзьями, за донжуанской или пьяной их лихостью, вел цинические с ними разговоры, презирал «молодых идеалистов» (революционного, научного, любовного склада), но некоторым тайно завидовал, я кое-как готовился к экзаменам, ходил в рестораны и кафе, поздно ложился, поздно вставал – моя же истинная, внутренняя жизнь (то, о чем я стыдливо молчал) была иною, возвышенной и нежной: я много читал, всё с большей разборчивостью, ища душевно-питательных книг, овеянных конкретной поэзией, враждебно-чуждый всему отвлеченному, я верил и в собственные силы, не зная, как их применить, и по-детски желая «прославиться», я стремился кого-то осчастливить, кого-то бескорыстно и преданно любить – за отсутствием «другого» предмета, мои мечты сосредоточились на Тоне. Мне казалось, что я в нее влюблен, что ей полностью себя посвящу, что это надолго, пожалуй, навсегда, но я по-прежнему не думал, не хотел воплотить свое чувство в реальности. Я словно ждал какого-то чуда, какой-то внезапной перемены, ее признания, трогательных слез, но ничего для этого не делал, лишь изредка пытаясь с ней встретиться, поймать ее «случайно» на улице (там, где она обычно гуляла), боясь этих вымученных встреч и неловко их обрывая. И всё же каждая такая «случайность» (и каждая Тонина фраза) во мне оставляла длительный след и освещала, по-своему окрашивала внешне-бесцельное мое существование. Я даже сумел приспособиться к тому, что сам с собою считал – по признакам едва ли основательным – своими удачами или неудачами: если я от робости мямлил и у нас беседа не клеилась, Тоня мне представлялась «дурнушкой», неразвитой и слишком уж простенькой, каких на свете сколько угодно, если она меня, напротив, ободряла, вдохновляя на дружеский, милый разговор, от нее исходило сияние, которое во мне сохранялось – я наслаждался при ней ее присутствием,

потом неделями о ней вспоминал, но большего добиться не пробовал, себе давая всё новые сроки, находя для откладывания всякие причины. Как многие тогдашние «мальчики», я сочинял подражательно-скверные стихи, от самолюбия их не показывал и потихоньку носил по редакциям, не понимая, что помимо дурного их качества без «протекции» их не возьмут. Но один бородатый, неопытный редактор захудалого журнальчика с громким названием принял всерьез какой-то мой «сонет» и обещал его напечатать, и вот я решил отложить окончательное с Тоней объяснение до начала «литературной карьеры». К сожалению, журнал прогорел и следующий номер не вышел, а других покровителей так и не нашлось – моя «карьера» на этом прекратилась, и я с Тоней опять не объяснился. Свои невозможные стихи я писал чуть ли не с самого детства и всё же поэтом не стал (не хватило словесно-музыкальной одаренности), но мой нелепый с Тоней роман освободил меня от подражаний, от модно-декадентских условностей, от пресных и ложновозвышенных чувств и придал моим бледно-безобразным стихам подобие жизненной правдивости. Так наше летнее с Тоней прощание я через год или два описал, мне кажется, взволнованно и точно:

...Мы оба сидели вначале
На тумбочках, около дерна,
«Увидимся ль», – мне вы сказали,
Вздохнули лукаво-притворно...

Эта жизненно-честная правдивость, эти мои о Тоне признания, вероятно, мне и мешали показывать знакомым стихи – между тем я в критике нуждался и упустил лучшее время, когда чужие бесценные советы еще могли что-то поправить.

Потом наступила злосчастная война и ускорила те перемены, которые обычно происходят около нас, в двадцатилетнем нашем возрасте: Энни с мужем (тем самым англичанином) навсегда уехала в Лондон, где он очутился переводчиком в каком-то русском военном учреждении, Люся вышла скоропалительно замуж за невзрачного армейского поручика, по-мужицки рябого и курносого, попавшего в плен под Варшавой (я был ему представлен на свадьбе как Люсин «единственный друг», и он мне в ответ пробурчал что-то неясное, но смутно неприязненное), Нина стала сестрой милосердия, Алек устроился в летучем санитарном отряде, часто бывал в Петербурге, в отпуску, похорошел в защитной шинели, но Тоня вскоре ему отказала и

предпочла богатого купчика. Я с нею виделся всё реже, всё случайнее, и она как-то сверх меры щеголяла «наплевательским» своим безразличием ко всему, что тревожило других, своей эгоистической бодростью, весельем, уважением к деньгам. Я за это ее порицал, но, пожалуй, в показном ее эгоизме был вызов и даже надрыв – она могла бы сказать о себе: «Я рождена не для нытья, не для грусти, я хороша и так молода, а вы затеяли дурацкую войну и заставляете меня вам сочувствовать». Она попала в шумную среду разноплеменных военных подрядчиков, биржевиков, тыловых офицеров, пила, наряжалась, слушала цыган и не думала о «завтра», о расплате, как об этом не думал никто в беспечном ее окружении.

Всем на смену пришли большевики, и для меня эти страшные годы совпали с первой непризнанной любовью, с первой ревностью, с таким чередованием счастливых и горестных дней, которого я прежде не знал и которое властно заполнило все мои чувства, мысли и цели, так что «событий» я почти не замечал. Это мгновенно вытеснило Тоню, как когда-то ее появление убило мою детскую влюбленность, – в обоих случаях была соблюдена математически-точная пропорция переходов от меньшей к большей реальности, от мечтаний к жизненной конкретности. В последний раз в советском Петербурге мы нечаянно встретились с Тоней весной восемнадцатого года, как ни странно, снова на Вагнере, и никакие тангейзеровские звуки ее во мне не могли воскресить, что было бы победой над временем и чудом житейской композиции. Я говорил, словно с мертвыми, чужими людьми, с ее напуганным мужем и с нею и даже для себя не отметил, как от нее бесповоротно ушел, будто ее никогда и не любил. Она с увлечением рассказывала, что стала «торговкой», «мешочницей», что ездила успешно на юг и сколько при этом заработала: она, вероятно, усвоила практически-разумные черты своих недавних близких знакомых (или такой уже родилась), и я удивлялся тому, что ей приписывал бездну поэзии, что она и меня вдохновляла, но загадочно-темной, нелепой игре подобных внушений и воздействий я не раз поддавался и позже.

Я был недавно проездом в Берлине и за день до возвращения в Париж с компанией вечером сидел в полурусском, всем известном кабаке. Среди других моих собутыльников была та певица-иностранка, которую я всё еще люблю, с очередным богатым поклонником. Я терзался ревностью и завистью (он пригласил нас всех на кутеж и держал

себя грубо по-хозяйски), я вспоминал, как за год перед тем «она» в меня внезапно влюбилась, как мне польстила эта любовь немолодой, но с именем, актрисы, как мы встречались каждое утро в самых трущобных парижских «бистро», как беззаботно пили и смеялись, с каким непонятным обожанием она подолгу смотрела на меня и, волнуясь, без конца переспрашивала, не надоела ли мне ее любовь и не из жалости ли я притворяюсь. Она не совсем ошибалась: из тщеславия, отчасти из жалости, я старался ее не оттолкнуть, к тому же был душевно свободен и – всегда разгоряченный вином – преувеличивал при ней свои чувства. Своим напором и жаждой ответности она легко во мне пробуждала голодную ласковую нежность – моложавая, каменно-красивая, на меня она особенно влияла своим грудным голосом, низко-певучим даже в разговоре. Я проводил все ночи у нее и поражался ее восхитительной интимности, ее послушной и требовательной власти, ее спокойному со мною бесстыдству. Она во мне искала серьезности, лояльности, надежной доброты, какой, вероятно, не бывает в ее корыстном, избалованном кругу. Я постепенно втянулся в игру, привык к нашей ровной колее, к постоянным высоким оценкам любых моих суждений и слов, к ежеминутным признательным улыбкам, к почти болезненной покорности во всем, я незаметно к ней привязался и, когда ей первый надоел однообразной бедностью и скромностью, когда она мне «честно» сказала, что больше мы встречаться не должны, вот тогда, как во всех психологических романах, я впервые ее полюбил. Она уехала вскоре в Берлин, и теперь, за эту неделю, униженный, жалко подавленный ее забывчиво-вежливой холодностью, я считал наше прошлое «счастьем» и сравнивал с ним настоящее. В тот вечер я изнемогал от молчаливой, нарастающей горечи и боли, от неизбежной завтрашней разлуки, оттого, что без всякой борьбы я уступаю место другому, который с ней останется и «завтра» (он, впрочем, давно победил и был со мной пренебрежительно рассеян). В этом печальном, безутешном состоянии, не имея опоры ни в чем (ни в деньгах, ни в каком-либо житейском успехе, ни в «ее» хотя бы дружеской верности), я подумал о «моральной поддержке», о немногих моих прежних возлюбленных – если б одна из них появилась, мне, без сомнения, стало бы легче: правда, с каждой из них уже бывали такие же точно положения, и у меня возникали такие же мечты, но каждый раз я об этом не помнил и стремился к нелепому «реваншу». Я смотрел на высокие стены, расписанные старым московским художником, стилизующим былинные сюжеты, на выхоленных, русых, «лихих» богатырей в остро-

конечных касках и с копьями, на царевен в остроносых сапожках, и старался царевнам придать чьи-либо «милые», знакомые черты. Внезапно мне из бара закивала кудрявая, тоненькая, стройная блондинка с накрашенным, помятым лицом – я узнал «беззубую Эрну», изящную русскую немочку, участницу давних моих кутежей, в те пьяные берлинские годы со мной почему-то дружившую. Я запросто к ней заходил, она нюхала при мне кокаин, а меня угощала шампанским, которое ей аккуратно посылал поклонник, уехавший в Париж. Мы танцевали на пожарных балах, кутили в дорогих ресторанах и говорили о смерти, о любви, без малейшего намека на флирт: в ней была удивительная смесь сентиментальности, беспечности, нежности, цинизма – ей дали ужасное прозвище из-за черных отвратительных зубов, которых умышленно она не лечила, выпрашивая деньги на лечение у своих очередных покровителей (называвшихся всегда «женихами»). Ко мне эта странная «беззубая Эрна» – из-за мужской моей бескорыстности и нашего дружеского равенства – относилась истерически-нежно, как относились в институтах к «лучшей подруге», меня ревнуя, как именно подругу, к своим легкомысленным приятельницам, и, словно девочка, плакала навзрыд, когда я уезжал из Берлина и должен был с нею расстаться. Сейчас она смеялась от радости, и я стремительно к ней подошел, пытаясь себя убедить, что в ней непременно найду столь мне нужную «моральную поддержку». Мы оба деликатно скрывали, что считаем друг друга постаревшими, Эрна мне наспех рассказала о себе, о последнем своем женихе, с которым свадьба состоится на днях (на этот раз «решено бесповоротно»), огорчилась, узнав про мой отъезд, записала берлинский мой адрес и обещала мне утром позвонить. Она была какой-то трогательно-милой и смущенно, с выражением преданности, мне благодарно смотрела в глаза, не выпуская сухой моей руки из своей, горячей и дрожащей. Сидя с ней на высоком табурете у бара, я увидал развязную компанию, подошедшую к нашему столу, трех мужчин и полную даму, мне улыбнувшуюся издали, – Тоню. Расцеловавшись на прощание с Эрной, я вернулся на прежнее место и оказался Тониным соседом.

Я всю ее вмиг разглядел глазами взрослого, чужого человека – она действительно слегка располнела, как-то раздвинулась в талии, в боках, однако лицом почти не изменилась и только перестала быть красивой (почему, я не мог уловить – у нее сохранились те же краски и те же правильные, мелкие черты). В разговоре она мне представилась такой же ровной, приветливой, как раньше, и такой же ускользающе-неясной,

словно всё то, что с ней произошло – замужество, богатство, заграница – и всё, что, по моим предположениям, могло заполнять ее жизнь, вечная смена любовных приключений, утомительно-пьяные ночные кутежи, словно всё это ее не коснулось и на нее ничуть не повлияло. Повинуясь своим ожиданиям, я теперь окончательно поверил, что в ней моя опора и поддержка, и с какой-то искусственной бодростью ей начал рассказывать о прошлом (о нашем старом безоблачном прошлом, баснословно-далеком и чуждом моим последним грубым мучениям):

– Я в вас когда-то был ужасно влюблен.

И я подробно Тоне передал, как смущенно робел в ее присутствии, как не решился ей поднести для нее приготовленные розы, как потом не мог их купить, как Алек меня устранил и как я скрывал свою любовь – она слушала, видимо, польщенная, но своего отношения не выразила, а затем мне вкратце сообщила немногие домашние новости: родители при ней, у мужа «бюро», Алек умер в России от чахотки, Энни с супругом по-прежнему в Лондоне («но он неделовой человек»). Ей захотелось причислить и меня к какой-нибудь деловой категории, и она между прочим спросила, зачем я приехал в Берлин, в каком остановился отеле, и незаметно осмотрела мой костюм. Под конец она с улыбкой добавила:

– Да, мы с вами старинные знакомые и, кажется, были ровесники. Не забудьте, мне тридцать два года.

На следующее утро, перед самым моим отъездом, мне были присланы – без карточки, без имени – грушевидные махровые розы, и с ними я уехал в Париж. Я знал, что розы от Эрны, и оценил ее милое внимание, даже то, что ради меня ей пришлось непривычно рано встать. Но в своих разговорах с приятелями я – сам с собою явно хитря, драматизируя, как-то интересничая – старался внушить себе и другим, что эти розы подарены мне Тоней, что они – запоздалый ответ на мои, ей никогда не поднесенные, что так эффектно и стройно закончилась наша с ней давнишняя история. У меня, как это часто бывает, получился, от многих повторений, готовый рассказ с готовыми словами, до отвращения мне надоевший, один из тех, которые для нас механизируют что-то из прошлого и что-то из него вытесняют: мы к ним от лени постоянно возвращаемся и поневоле забываем остальное. Этот готовый устный рассказ всё время мешал мне писать (как мешала и моя поглощенность теперешней любовной неудачей). Среди других выигрышных фраз, неизменно в нем выступающих, мне самому приятно подчеркивать одну – о прощальном берлинском кутеже: «Итак, со

мною рядом очутилась моя последняя и первая любовь». Разумеется, это передержка: Тоня была не первой любовью, да и едва ли была настоящей (как и детская влюбленность до нее). Но когда я так говорю и утверждаю, что розы от Тони, я подчиняюсь внутренней потребности в какой-то схеме, в биографической стройности, в каких-то расплатах и наградах, в необходимости каких-то завершений, без чего мы слишком свободны и погружаемся в анархию и в хаос. И вот, наперекор очевидности и всем нашим азбучным понятиям, мне кажется, только в искусстве (где мы сильнее, бесстрашнее, чем в жизни, по крайней мере душевно и творчески) мы можем себя преодолеть, избавиться от нужных нам условностей и стать безгранично свободными, какими были бы и в жизни, если бы ею не хотели управлять и слегка бы ее не сочиняли.

ПЕРЕМЕНЫ

Я УЖЕ неделю нахожусь в русской клинике, недавно открывшейся, пока еще светлой и чистой, где перенес нелегкую операцию (запущенный гнойный аппендицит) и где начинаю медленно поправляться. К постели привинчен маленький пюпитр, с почти отвесною спинкой (что удобно также и для чтения – при моей теперешней слабости действительно «валятся книги из рук»), и я, кое-как приспособившись, неуклюже пишу карандашом. Это было возможно и раньше (у меня всё та же потребность писать), но только сегодня увезли моего единственного сожителя по комнате, а мне беспрерывно мешало его присутствие, хотя бы молчаливое. Я весь погружен в больничную обстановку, не без труда и не сразу освоился (зато надежно и прочно – как со всяким устоявшимся бытом) с навязанными извне собеседниками – докторами, сиделками, сестрами – и мир свободных передвижений, произвольного выбора мест, очередных занятий и друзей, мир улиц, кафе, ресторанов, прогулок, неба и погоды отодвинулся куда-то далеко. Мне иногда освежительно-приятно, что нет постоянной обязанности изворачиваться, о чем-то заботиться, что поневоле на время отложены огрубляющие деловые усилия, мне здесь, как и повсюду, нескучно: неизменная сладкая внутренняя дрожь – то непосредственно, то смутно-отраженно – заполняет и эти часы, несмотря на их видимое однообразие, чудесно меня избавляя от апатического ко всему равнодушия или от приступов глухого нетерпения. Вспоминаю, как я сюда попал, как подчинился здешним порядкам, внезапно ставшим властной реальностью, как незаметно вытеснялась предыдущая, вспоминаю мучительные дни на свободе и удивляюсь нашей восприимчивости, тому, что рано или поздно мы привыкаем к любым жизненным условиям и порой еще умудряемся свое, основное, в них сохранить.

Перед моей операцией и болезнью Леля уехала с Павликом на юг, и сперва я свое нездоровье объяснял чрезмерным, понятным огорчением из-за ее скоропалительно решенной и нескрываемо радостной поездки. Теперь я честно сознаю, что себя наполовину обманывал и сам непременно хотел насильственно с Лелей расстаться, избавиться от длительной ревности, от ежедневных мелких уколов, которые у меня появлялись непрестанно, из-за тысячи поводов, как я безропотно-твердо ни мирился с окончательным Лелиным уходом.

Еще при ней меня поразило неожиданное отвращение к еде: каждый проглоченный мною кусок, полстакана воды или вина вызывали неудержимую тошноту, припадки рвотного, желчного кашля, с отдачей в натянутых стенках живота. Как ни странно, боль ощущалась не там, где надо – в правом боку – а почти посередине и ниже. Именно это и ввело в заблуждение милейшего молодого врача, к которому я тогда обратился после вынужденной пятидневной голодовки – он дважды прописал мне слабительное, что оказалось убийственно-вредным, однако ничуть не уменьшило моего обычного к медицине доверия: как и всякая наука о людях, она лишь приблизительно точна, и я, став «жертвой ошибки», одним из неизбежных исключений, пытался в себе подавить эгоистически-несправедливую досаду. Я и сам наивно поставил нелепый диагноз – язва желудка (в котором была какая-то тяжесть, словно присутствовало что-то постороннее) – но меня и это не пугало; я покорился усталому, слепому равнодушию, считая (без малейшей рисовки), будто незачем жить и не стоит бороться, и проще, положившись на судьбу, не загадывать, не думать о последствиях. Мне даже боль представлялась выносимой (и только надоедливо-противной), хотя моя соседка по отелю – сочувствуя – жаловалась прислуге, что я целыми ночами стонал (бессознательно – должно быть, во сне). Леля говорила «о нервах» и сомнительно меня утешала: «Вот увидите, мы с Павликом уедем, всё забудется, и сразу вы окрепнете». На вокзале я старался не упасть, облокотившись о столб и гримасничая, и Рита повела меня к себе в ресторан, чтобы не оставить одного без присмотру (кроме нас никто не провожал – Шура не мог отлучиться и «бросить дело к чертям», а Петрик давно уже гостит у лондонского своего мецената). В ресторане я сидел, обессиленный, боясь, что любое движение мгновенно меня приведет к неминуемо позорной развязке и всё же сознавая необходимость поскорее отправиться домой. Наконец, решив, что мне легче и надо этим воспользоваться, я – вопреки советам хозяев и собственному трезвому благоразумию – поспешно вышел на улицу, где сейчас же мне прервала дыхание неумолимо-резкая струя сырого, колючего ветра – была худосочная парижская зима. Я стремительно кинулся обратно и лег на диван у стены, по-прежнему боясь шевельнуться, изнемогая от головокружения и тошноты, и от боли, их вызывавшей, теперь невыносимо-жестокой. И эти, и другие ощущения – предвиденье близкого удушья, страх того, как будет перед всеми и что именно случится со мной, отвратительная предобморочная тоска – нарастая, смешивались в одно. Не помню яркого,

путано-долгого, затейливо-пестрого сна (как выяснилось позже, по рассказам, продолжавшегося не более минуты) – из мелькающей этой пестроты навязчиво стала выделяться смутно-знакомая женская фигура, волшебно превратившаяся в Риту (но суженно-призрачную, будто в проекции), а рядом с ней (и почему-то вдалеке) успокоительно улыбался мне Шура. Поймав мой пристальный взгляд, Рита умышленно-громко сказала: «Слава Богу, всё хорошо», – однако я в ее словах уловил оттенок тревожной неуверенности и тогда лишь начал соображать, что был обморок, похожий на сон, что, пожалуй, так и умирают, что не проснуться до ужаса легко. Ко мне вернулись боль и тошнота и прежнее опасение удушья, и казалось, от жеста, от фразы, от незначительного поворота головы, оттого, что на секунду нарушится физическое или душевное равновесие, я опять «туда» провалюсь, и у меня инстинктивно возобновилась упорная с этим борьба. Не надеясь на помощь извне и странно полагаясь на себя, я с вялым любопытством смотрел, как усердно, склонившись надо мной, Рита мягко растирала мне пальцы – бумажного цвета и ломкости, по тогдашним моим впечатлениям – и насмешливо, лениво отмечал ее и Шурины повторные вопросы («Признайтесь, вам все-таки лучше»); своим благоприятным ответом я их избавил бы от скучной обязанности, чего им обоим явно хотелось. Публика в зале, театрально взбудораженная, столпилась около нас, и я тихонько Шуру попросил меня увести, через кухню, в прохладный темный погребок, где после рвоты, возникшей от ходьбы и облегчающе-длительно-сладостной, я и на самом деле вдруг ожил, с особой эпикурейской остротой вспоминая недавнее свое состояние (как вспоминают избегнутую опасность), удобно сидя на твердом табурете и опираясь о влажную стену. Даже чувство брезгливости прошло от горячей воды и одеколона, и я, продолжая блаженствовать, неискренно заговорил «о стыде, о напрасно причиненном беспокойстве», но Шура, с обычным у него повышенным сознанием долга, победив естественную досаду и не слушая моих объяснений, поднялся наверх за врачом: как бывает в газетных происшествиях, среди ресторанных посетителей оказался известный хирург – он немедленно спустился ко мне и, пощупав мой вздувшийся, каменный живот, сейчас же распорядился но телефону, чтобы в клинике (в которой я сегодня лежу) приготовили всё необходимое для срочной и сложной операции.

Этот хирург, высокий, худой, московская былая знаменитость из немецкой не обрусевшей семьи, голубоглазый, лысый и сутулый, со свисшими «по-казачьи» усами, седеющими и жестко-густыми,

и с округленно-певучими фразами, меня как бы решил завоевать, чередуя свои интонации, переходя с одних на другие, с милых и добрых на властные и резкие, но я нелегко поддаюсь (даже если хочу поддаваться) искусственному шарму и внушению, тем более казенно-профессиональному, и сперва мне казалось невозможным приспособиться к чужому человеку, ему послушно во всем помогать, объединяя наши усилия – и волевые, и мускульно-телесные – лишь оттого, что он доктор, специалист и мой союзник в борьбе за здоровье. Конечно, у него позади заслуженно-громкая слава, постепенно здесь выдыхающаяся, как у всех в этом беженском подполье, ему приписывают суровое упрямство, бесстрашие, умение рисковать, без которого не бывает и выигрыша, он может распущенно-трусливых людей подтянуть безжалостной насмешкой (иногда, по рассеянности, в гневе, и на родном своем языке – так, перевязывая сломанный палец, он внушительно кому-то заявил: «Das ist auch keine Schokolade»), и больных у него подкупает неожиданная после упреков, горячая и мягкая заботливость, но меня покорило не это, а исцеляюще-сухое прикосновение его не по росту маленьких рук, бархатно-ласковых, умных и строгих. Тогда и мне захотелось непременно его покорить, и этим отчасти объясняется моя неподдельная стойкая бодрость, до глупости беспечное любопытство, наивно к нему обращенное, ему создавшее тот нужный «ореол», которого он и добивался, от которого зависит победа и, значит, мое выздоровление: вот почему я безбоязненно-спокоен и лежу, принимая как должное, невыносимо-противные мелкие неприятности, с одним заглушенным желанием, чтобы всё поскорее пронеслось и чтоб я мог уже гордиться прошедшим. За такое «отсутствие капризов» и будто бы «редкую выдержку» меня преувеличенно хвалят, в особенности наш санитар, неприветливо-мрачный и скупой на похвалы (в легендарно-далекие «белые» времена поручик, обойденный производством, и с тех пор безнадежный мизантроп), он одобрительно мне улыбается, но эти отзывы, улыбки и успех, и вся моя убогая выдержка – не достижение, не признак превосходства, не результат усилий и борьбы: я просто знаю, что жалкое нытье не избавит меня от болезни и что нельзя излишними хлопотами обременять усталых людей, а главное, могу не волноваться, предвидя благополучный исход. Однако чужое одобрение мне страстно хочется до Лели довести, чтобы она меня хоть «там» оценила, сравнив свой блаженный покой с моей неукоснительной смелостью и с тяжестью моих «испытаний» – в этом стремлении как-то использовать пустые, несуществующие заслуги,

вероятно, сказались и поздняя детскость, и тайная, мне свойственная расчетливость.

В ту первую ночь в операционной были все, кому быть полагалось, как бы маленький медицинский отряд – мой хирург, две сестры и санитар, и высокая докторша-ассистентка, надменно-красивая и яркая (или такой она мне представилась) – и незаметно, ради нее, захотел себя проявить, выполняя с подчеркнутой готовностью последние, наспех, распоряжения врачей. Когда налагали эфирную маску, я вызывающе-весело предложил оставить мне свободными руки, обещая «не драться и не скандалить», и свое обещание действительно сдержал. Вначале я немного испугался, решив, будто опять задыхаюсь и вот-вот совсем задохнусь, но сейчас же себя уговорил не думать и подчиниться неизбежному, потом заколотилось, как пьяное, разбухшее гулкое сердце, что-то стучало около глаз, точно свистел пролетающий ветер, голоса становились всё глуше, я медленно падал в темную пропасть и – уже неспособный бояться – наконец издалека услыхал деловито-спокойные слова:

– Кажется, пора приступать.

В ответ из той же дали раздался мой собственный голос, удививший меня самого:

– Нет, пока еще рано...

И братское, нежно-снисходительное:

– Слышу, милый, слышу.

Пробуждение еле запомнилось: в полутьме торопливые сестры и доктора, мелькающие, куда-то исчезающие, тошнотворная слабость и тяжесть, громоздкая, неудобная повязка, раздирающая боль в животе при кашле, при всяком движении – и ни единой сознательной мысли. Мне, видимо, было нехорошо: операция несколько запоздала, уже начинался перитонит, и рану зашили не без риска, промыв желудок эфиром, с тем, чтобы снова, если понадобится, ее надолго открыть и тампонами вытянуть оставшийся гной. Но к этому прибегнуть не пришлось, и моя подозрительная слабость оказалась последствием утомления, с каждым днем я крепну, боль уменьшается, и появились крохотные радости: первая ложка воды, горячий бульон, посетители – Рита и Шура. Так создалось теперешнее состояние – оторванности от прежнего мира и любопытства ко всему окружающему: я вовлекся в неясный, мне чуждый обиход и поглощен рассказами и сплетнями – о неудачах бедного хирурга (ему как-то странно «не везет», несмотря на одаренность и упорство), о скверных делах «нашей клиники», о том, что угрюмому

санитару изменяет жена с американцем (и это его доконало), что мой сосед – неисправимый морфинист. Он по пятнадцать, по двадцать раз в сутки – на улице, в автобусе, в метро – прокалывая костюм и белье, себе впрыскивал очередную дозу морфия, у него от грязи возникли нарывы, и здесь, после того как их вскрыли, после всяких лекарств и внушений, его считали окончательно здоровым и наши сестры хвалились результатами («надо браться за дело с умом»), но сегодня, когда он отсюда уехал, обнаружился ловкий обман: сконфуженная старшая сестра нашла «инструменты» в постели, между верхним и нижним матрасом, чего даже я не заметил, проведя с ним вместе несколько дней. всё это – и клиника, и морфий и сложные чужие отношения – меня привычно и близко задевает, и я не верю, что скоро восстановится полузабытая прежняя вольная жизнь, с ее простыми и страшными случайностями и с ожиданием вечных перемен.

Она опять безмерно отдалилась – у меня воспаление в легком – и новая, здешняя реальность всё наглядней вытесняет предыдущую. Ко мне вернулось печальное сознание нелепой своей неподвижности, физической тяжести, почти окаменелости, и в то же время уносчивости, непрочности, хотя одно противоречит другому: я отчетливо себе представляю, как без борьбы распадется, развеется мое исхудавшее тело, но сейчас оно приковано к месту и тем доступнее для гибельных сил, которые – извне или внутри – его таинственно и слепо разрушают. Я всегда был одинаково далек от того, чтобы собой любоваться, и от брезгливого к себе отвращения и – похожий на стольких мужчин (кроме «эстетов», спортсменов и чувственников) – не замечаю собственного тела, пока не напомнят о нем болезни, опасности и страсти, причем эти жестокие поводы, казалось бы, друг друга исключающие, нередко у меня совпадают: так, например, в больничной обстановке я своим телом невольно поглощен, я к нему как бы вплотную приблизился, из-за всей над ним постоянной и осязательно-грубой возни, из-за всех неизбежных его оголений, и это неожиданно во мне вызывает похотливую горячую возбужденность, конечно, бесцельную и бездеятельную, направленную смутно и робко – за неимением лучшего выбора – на миловидную операционную сестру (очаровательная докторша не в счет – она уж слишком надменно-недоступна). Мы выбираем столь же случайно, мы ошибаемся, неправильно оцениваем и в условиях большей свободы – в зрительном зале, в трамвае, в гостях – если ря-

дом с понравившейся нам женщиной нет другой, милее и моложе, как ошибаемся решительно во всем (и в основном, и в любых мелочах, хотя бы в определении роста), при невозможности с кем-либо сравнивать еще неизвестного нам человека, и порой, увлекаясь своим выбором, забываем о его произвольности.

Когда воспаление обнаружилось, мне было достаточно скверно – теперь опасность, кажется, прошла, я дышу ровнее, свободнее, постепенно уменьшились колоти в боку, и моя полуздоровая природа, ничем не занятое живое воображение усиливают чувственную горячку. Да и вообще в эти странные недели я поддаюсь различным восприятиям, особенно кожным и внешним, которых прежде, разумеется, не знал: так ежедневно приходит ко мне, для выслушиванья, выстукиванья легких, старенький, сгорбленный московский профессор, как и хирург, былая знаменитость, и я доверчиво сразу успокаиваюсь, едва ощущаю у груди седую мягкую бороду и теплое ухо, а по ночам спокойствие теряется из-за таких же мимолетных ощущений – меня преувеличенно пугают проезжающие на улице грузовики, и шум дождя угнетающе растет от шелеста шин и от жужжания автомобилей. Как-то заметным становится всё, что связано со сном и засыпанием – сновидения, дремота, полусны – все, что раньше (от поглощенности действенной жизнью) отметалось и грубо забывалось. Сама по себе эта вечная неподвижность естественно располагает ко сну – при легкой, быстрой моей утомляемости и раз ненужно сопротивляться и бодрствовать – и вот граница, переходные состояния возникают сравнительно часто, и наблюдаются без малейшей помехи. Иногда не успеваешь уловить, как что-то мелькает в темной пустоте, что, однако, не сгущается в сон, иногда же наступление долгого сна воспринимается отчетливо и точно. Бывают и удивительные случаи – так, недавно, лишь только я уснул, неожиданный телефонный звонок прервал и довел до сознания начало какого-то сна, разбив его на кусочки, на множество зрительных и звуковых представлений, объединенных чем-то мне близким, чем-то неясно-волнующе-женственным, смутною нежностью, которую нарушали трезвящие, громкие, досадные голоса (среди них, быть может, и мой), разговоры о картах, о делах, но меня поразило не это, а то, что сон продолжался наяву: он тянулся, медленно скользил по намеченно-легкому пути, по своим невидимым рельсам, словно поезд вдали, на краю горизонта – и вдруг неумолимо исчез. Подобная сладкая нежность и живые знакомые голоса, врывающиеся в наше пробуждение, нередко нам кажутся реальностью, потом галлюцинацией и бредом,

и не всегда для нас обнаруживается неподдельное их существо – что они как бы отзвуки сна, загадочно-страшное отражение неизвестного и чуждого нам мира. Бывает у меня и обратное – что в этот ночной таинственный мир врывается непосредственная реальность, что я во сне озабочен собой, своей любовной и творческой одержимостью, и слишком быстро пытаюсь разрешить неразрешимые дневные вопросы, с той безрассудной нелепой самонадеянностью, какая рождается и в пьяные минуты. Порой я предчувствую и тороплю пробуждение – спасаясь бегством от опасного противника, не в силах бороться с жестокими препятствиями, которых обычно встретить нельзя – но я не верю волшебному смыслу, потустороннему истолкованию снов: для меня, вопреки их навязчивости, они не ответ на наши догадки, не вторая и подлинная жизнь, у них иное назначение и цель – обновлять воспоминания, поэзию прошлого, в неуправляемой последней человеческой глубине, придавая этим воспоминаниям оттенок особой убедительности, особой трепещущей злободневности, так что внезапно ими побеждается неизбежная скука прижизненных смертей, то, чего я предельно боюсь. Привожу наглядный пример – мне как-то снилась Леля в кафе, сперва с обворожительной улыбкой, затем рассеянно-холодно-чужая и нетерпеливо кого-то ожидающая, кто воплотился, разумеется, в Павлика и уже был рядом со мной, и тогда мягко-точеные Лелины черты, расплываясь в сонном тумане, постепенно стали тускнеть и превратились в едва различимое пятно, однако, проснувшись, я сохранил очарование, свежесть, остроту ее незабываемого присутствия, хотя и не мог бы воскресить ее лицо, выражение глаз, ее сияющую ангельскую кожу. Правда, и днем, и наяву мне изменяет зрительная память, но совсем не внешние мелочи, не формальная их безошибочность нужны для оживления прошлого – оно само приблизится к нам, мгновенно оттеснив настоящее, если какой-либо внутренний толчок (пускай навеянный внешними причинами) взбудоражит и вызовет в нас необъятную, щедрую, страстную полноту всего, что кажется мертвым, что в летаргии до чьих-то заклинаний (спящая красавица в стеклянном гробу), и такая душевная, магическая память, такие вдохновляющие сны воссоздают утерянное единство и помогают нам разобраться в основном – в судьбе и в любви: ведь и любовь, раскрывающая нашу судьбу, становится с годами неузнаваемой – беспредметной и как бы отвлеченной – и в нас надолго ее пробуждают ее же тайная прелесть и выстраданность, а не соседство или образ возлюбленной, и для меня тот неясно-мучительный сон, напомнивший о счастье и о ревности,

оказался почти неотразимым – он перенес в упорядоченный здешний уклад всю мою прежнюю безрадостную яркость, всю ненапрасную, предтворческую боль, и внушил мне потребность возобновить эти давнишние, трудные записи.

Они даются труднее, чем раньше – от неудобной моей позы, от слабости, оттого что я невольно отвык напряженно и много писать – и перечитывая последние страницы, я, удивленный, в них нахожу непрерывное отражение болезни и ею вызванных бессчетных перемен: и новая, поглотившая меня обстановка, и чрезмерное внимание ко внешнему, и странно оживающие сны мне представляются просто чудесами, неизбежными именно в болезни (когда всё ошеломительно меняется), и одного только чуда не произошло – наиболее отрадного и нужного – это внезапного Лелиного приезда. Для меня ее обидное отсутствие похоже иногда на дезертирство, хотя она и ни в чем не виновата: я сам настойчиво Риту прошу по возможности Лелю не пугать и аккуратно ей посылаю беспечно-веселые открытки и письма. Зато меня навестил (как бы завершая «серию чудес») мой гимназический товарищ Лаврентьев. Ему сообщили адрес отеля (не знаю, кто – он предельно осторожен), а из отеля направили сюда. Его я помню с четвертого класса – великовозрастным, ленивым второгодником – потом кое-как, на подсказках, на хитростях, на вечном «три с минусом», он перешел через все испытания, осилил выпускные экзамены и со мною попал в университет. Лаврентьев считался «дон-жуаном» и «красавцем» – у него отличная фигура (высокий рост, широкие плечи, узкая талия, длинные ноги, всё, пожалуй, даже преувеличенное, так что пропорции едва соблюдены) и овально-круглое, худое лицо, с тонкими, правильными, чуть мелкими чертами, с героическим шрамом на морщинистом лбу (неудачное падение на катке, что явилось когда-то событием) и с умышленной игрою серых глаз, то сияющих, то нежно-задумчивых, то выразительно-милых и теплых. Он первый «лишился невинности», первый завел «адюльтерный роман» (и с печалью, возбуждавшей нашу зависть, говорил, что «порывает долгую связь»), он был единственный в жизни, в реальности, вне гимназической вялой суеты, и студентом уже зарабатывал – не от каких-либо нищенских уроков, а помогая в деле отцу, разбогатевшему костромскому подрядчику. Он порой нам глухо рассказывал и о своих революционных знакомствах, но доверия в нас не возбуждал: мы знали обычную его осторожность и давно между собой решили, что он «пустой, неинтересный и средний», и романтический его ореол давно и безнадежно поблек. Я запомнил в

начале войны экзамен по римскому праву, необходимый для третьего курса (и для отсрочки по воинской повинности), непонятно-трусливые жалобы Лаврентьева («Если не выдержу, то прямо в окопы»), свою настойчивую, действенную помощь, безмерную гордость, что он не провалился, и его бурно-веселую признательность. Затем он всё же был призван и, окончив пехотное училище, устроился где-то в провинции – адъютантом запасного полка – но свое благополучие объяснял слишком надуманно, возвышенно и сложно: «Мы должны для России, для будущего, сохранить интеллигентские кадры». В последний раз я случайно с ним встретился в Петербурге, в семнадцатом году, в беспросветные, мрачные ноябрьские дни – Лаврентьев неохотно намекал на старые большевистские связи и на свои усилия в Смольном кого-то с кем-то помирить (что нисколько меня не удивило – он с детства улаживал ссоры, умел разнимать драчунов и, без сомнения, честно заслужил полушутливое прозвище «миротворца»). О его дальнейшей карьере, военно-советской, неслыханно быстрой, достаточно известно из газет – вероятно, ему помогло это же свойство со всеми быть в ладу, уклоняться от участия в борьбе, выжидая ее результатов, с тем, чтобы вовремя противников мирить. Мне Лаврентьев теперь показался необычайно моложавым, гибко-стройным, лишь поседевшим и более морщинистым – он явился сюда оживленный и какой-то с воздуха свежий, в темно-синем безупречном костюме, и у него за словами угадывалось завидное спокойствие человека, себя считающего полезным и на месте, упоенного длительным везением и «кипучей» непрерывною деятельностью (он и сейчас военный эксперт на ответственно-важной конференции и только проездом в Париже). Мы непритворно, без малейшей отчужденности, друг другу мгновенно обрадовались, и у каждого из нас пробудилось любопытство к миру собеседника, таинственно-враждебному, волнующе-новому, и знакомые руки Лаврентьева, столь непохожие на весь его облик – большие, сильные, жесткие, с широкими крепкими ногтями, обведенными снизу белой каймой – меня вернули к давнишнему ощущению благожелательной его теплоты, нашей привычной товарищеской близости: это, быть может, также произошло из-за моей счастливой способности не поддаваться годам разлуки и нечаянно влиять на других (что не раз уже подтверждалось и в моих отношениях с Лелей), но была и неоспоримая поддержка Лаврентьева. Мы сперва говорили «нейтрально» – о гимназии, о семейных делах – и у обоих неожиданно возникло то взаимное тяготение вчерашних соперников, очутившихся рядом за

бутылкою вина, то прощающее пьяное великодушие, в котором есть оттенок влюбленности и которое, подобно любви, пускай на время, в нас что-то меняет. Так, незаметно забылись, исчезли – от одного присутствия Лаврентьева – все мои доводы против большевиков, всё к ним презрение и мстительный гнев, как исчезает всякая ненависть от наивно-сочувственной улыбки ожесточенного нашего врага, словно мы лучше, добрее, чем думаем. Разговор перешел на политику, и мы упорно оба отстаивали каждый несложную свою правоту, но каждый старался другого понять и щегольнуть «европейской терпимостью» («Видишь, мы вовсе не ослепленные фанатики»), и я невольно с этим сравнил наши у Лели грубые споры – в тогдашних моих возражениях Петрику была, несомненно, и личная задетость, чему неумышленно способствовал Павлик и без чего мы легко договорились с Лаврентьевым. Когда он ушел, обещая снова зайти, меня разбудил постучавший в комнату Шура и нарушил мое безмятежное спокойствие неприязненно-резким своим отношением к тому, что я принял «большевика». Не помогли никакие доказательства, что Лаврентьев «приличный большевик» (он избегает слова «товарищ», отзывается холодно о вождях, не побоялся меня навестить и со мной не хитрил и не лицемерил) – Шура упрямо стоял на своем: «Ваш Лаврентьев от скуки решил посмотреть, какой вы дурак, что пошли в эмиграцию, но конечно он струсит и сюда не вернется». К моему удивлению, Шура не ошибся, и Лаврентьев уехал, не попрощавшись, и всё же именно перед Шурой (боевым офицером и «героем») я гордился военными успехами Лаврентьева, точно их жалкий, сомнительный блеск должен был и на мне слегка отразиться.

Я всё более к Шуре привязываюсь – и не только из чувства благодарности за его и Ритины заботы (что иногда у него превращается в искусственно-ложное умиление) – нет, я действительно с ним внутренне считаюсь: у него не бывает отвлеченных вопросов, зато ему свойственно другое – какая-то жизненная серьезность, какая-то настойчивая трезвость, сочетание долга и здравого смысла, и слов для показу он не ищет, меня же единственно прельщают простые, но верные и веские слова. Я на себе не однажды испытывал преимущество тех, кого называют – в наше время с усмешкой – «порядочными людьми», как будто порядочность, сознание долга есть признак душевной ограниченности и всякий умный человек выше нелепых предрассудков, и «все дозволено», и прочее. Но стоит подумать о том, как было бы сложно и путано жить, если бы нас всегда окружали такие пре-

зрительные умники и нам бы никто не доверял – и вседозволенность сразу отпадает. Шуре, я знаю, сейчас нелегко, и Рита и он работают «как негры» (его же излюбленное сравнение), доходов пока «не выколачивают», и строгий, скупой их «командитер» лишних франков «из кассы» не выдает, да и сам прижимисто экономен («На себя, молодчага, тратит гроши»), однако Шура мне предложил брать взаймы у него без стеснения: «Не беспокойтесь, мы сосчитаемся». Между тем и помимо своих затруднений он неохотно расстается с деньгами («Дано, одолжено – похоронено»), к тому же мое финансовое будущее довольно шаткое и смутное, и наконец я мог умереть, но я заболел, я близкий приятель, и значит, не думая, надо помочь. Мне Шуру особенно не хочется «использовать» – я, правда, не столь безупречен в деньгах, однако с немногими друзьями до конца, до неловкости щепетилен, а к Шуре теперь у меня возникло именно дружески-теплое чувство, и в нем и в Рите меньше всего я ценю их спасительное участие: я постепенно к ним привязался, словно для этого были нужны, были отмерены какие-то годы, и со стыдом, с тоской вспоминаю свою перед Шурой неправоту, вызванную соперничеством и ревностью. И вот неожиданно произошло одно из тех невозможных чудес, которые здесь меня поражают и которых, кажется, не случалось в обычных «нормальных» прежних условиях: сюда явился Густав Тиде, напуганно-ласковый и простой, сменивший начальственную важность на благодушную снисходительность (как меняются взрослые к больному ребенку, что меня удивляло в детские дни), и уплатил мне за месяц вперед и отдельно за выполненные поручения, угадав или высчитав нужную сумму – ровно столько, сколько я задолжал в отеле, в клинике и Шуре. Сейчас на время я обеспечен, но скоро кончится это время, и надо будет возвращаться к тяжелой будничной колее, к ежедневным заботам и хлопотам, когда судьба ни во что не вмешивается и ни в чем мне уже не помогает.

Чтобы опять не задалживаться в клинике – с трудом получив разрешение врачей – я переехал к Рите и Шуре, меня давно к себе приглашавшим: мне предстоит еще неделю лежать и нельзя оставаться совсем одному, хотя кое-что и позволено (ходить в уборную, на кухню) из всего, что было запрещено, и значит, милым своим хозяевам я не так уж нелепо и беспомощно в тягость. Правда, им всё же пришлось потесниться, у них квартирка из двух комнат, и лучшая, большая, уступлена мне, однако надеюсь и уверен, что скоро смогу перебраться в

отель. Я рад «свободе передвижений», как радуюсь всякой удачливой мелочи, а для меня это даже не мелочь: я не привык за время болезни, за месяц жестокой неподвижности, к несносной, постыдной физической грязи, к отсутствию ванной, и уборной, к дурацкой, вынужденной зависимости от несчастных, замученных людей. Впрочем, мое прощание с ними вышло торжественным и трогательным: меня до улицы провожали и старый хирург с казачьими усами, и красивая, бойкая, румяная докторша, из-за которой я «подтягивался», и соблазнительная сестра, невольно поблекшая на свету, и мрачно-унылый санитар, и вот на улице, на носилках, перед собравшимися прохожими, я слегка был собою умилен и тайно – внутренне – расчванился. Мне всегда удивительно и лестно чужое доброе отношение, словно я как-то его заслужил: такие проводы уже бывали – после гимназии, после дачи, после военного училища – и мне тогда казалось диковинной, меня вдохновенно очаровывала эта чужая теплота, эта внезапная «популярность», как раз достигнутая мной – умышленно-замкнуто-одиноким: я очевидно не столь одинок и теплее, привязчивей, обыкновенней, чем с давних пор предполагаю, и моя деревянная прежняя сухость, вероятно, исчезла вместе с молодостью и осталась лишь в мыслях о себе, упорно цепляющихся за прошлое.

Я лежу на широком и низком диване (до меня – супружеское ложе), в небольшой, аккуратно прибранной комнате, удобной и приветливо-спокойной. У изголовья крохотный стол, на нем тусклоcватая лампочка (здесь вряд ли читают перед сном) и самые нужные мне вещи – книги, бритва, часы, одеколон – напротив бархатное кресло, в котором Рита подолгу сидит, оживленно со мной разговаривая и внушая мне ощущение уютно-комфортабельной прочности. Меня также весело ободряет тысячефранковка в истрепанном бумажнике: перед моим отъездом из клиники Шура неистово-азартно торговался, уменьшив долг на целую треть, и я не впервые удивляюсь точному счету любых мелочей – денег, страниц, папирос и минут. Эта новая тихая жизнь постоянно и сладостно приятна и с предыдущей просто несравнима: ведь я как бы дома, в семье, где заняты мною одним, к тому же взволнован Ритиным присутствием, непрестанной возможностью ее появлений, даже воздухом, ею проникнутым. У меня от больничной «внежизненности» появилась ненасытная потребность в осязательном женском внимании, хотя бы наивно-поддельном, а кроме Риты я не вижу никого, и поэтому на ней сосредоточилась моя нетерпеливая нежность, устранившая чувственную одержимость, еще недавно столь

обостренную. Конечно, и Рита во мне возбуждает неясное глухое влечение – мы чересчур безнаказанно вдвоем, она со мной не принуждена, не стесняется, располагается слишком интимно, полуодетая, в пижаме, без чулок – и конечно, в моем положении, в такой, сближающей нас обстановке соблазнительна всякая молоденькая женщина, однако подлинное Ритино воздействие поэтическое, нежное и чистое, и для меня в ее гибкости и грации, в ее чарующей женственной мягкости (которой Леле всё же не хватает) есть что-то милое и трогательно-невинное. Я буду странно ее вспоминать: большая, изящная, «хорошая девочка», приносящая с прогулки цветы – пускай непахучие, дешевые, городские, но это ей сентиментально подходит. У меня со студенческих времен не могло быть такого поклонения – бескорыстного, по-детски беззаботного – все мои длительно-сложные «романы» были жестокими, душными, взрослыми и, как у взрослых, обоюдно-безжалостными. Незаметно и Рита вовлеклась в роль утешительницы, сиделки, подруги, и у нас бывали неловкие ожидания какой-то возможной пугающей близости, каких-то последних решительных слов, но мы смущенно, бессильно робели (одна из редких счастливых неудач), и я реально, вовне, оставался бесправно-лишним при Шуре и Рите, как когда-то при Леле и Павлике, и стоило Шуре войти – невыносимо громко и властно – и уже, расположенно-трезвая, Рита к нему начинала тянуться, с обычной слепой своей покорностью. Я постепенно себя уговорил, что сознательно Риту щажу, что она и Шура единственные друзья, меня поддержавшие в беде, что я им бесконечно обязан и просто выполняю свой долг, не поддаваясь такому искушению, но, разумеется, это обман, лицемерно-красивая поза, малодушный отказ от «честности с собой»: на самом деле я только боюсь нелепой, тягучей «истории», беспощадной Шуриной прямоты (несмотря на показной его цинизм), разрыва, чуть ли не развода и своей дальнейшей ответственности, я боюсь и Лелиных упреков, если откроются мои «отношения» с ее ближайшей, старинной приятельницей – как бы Леля со мной ни поступала, как бы она ни отрекалась от прошлого, у меня всё та же потребность ей нравиться, быть безукоризненным, готовым считаться и ждать, мне оттого по-прежнему жаль свободы, ей предназначенной, и странно, по собственной вине, лишиться остатков надежды – и вот, для себя разоблачив истинный смысл своей добродетели, свой страх перед Лелей и Шурой, я возвращаюсь к первым утверждениям (о долге, о дружбе, о признательности) и целиком их отбросить не могу. Они лицемерны и лживы, поскольку будто бы от них зависит мое поведение, однако по

существу они искренни: я несомненно Шуре благодарен (без тайной борьбы с уязвленным самолюбием, без малейшей примеси горечи и злобы, а по тому, как благодарность ощущается, мы можем всегда безошибочно судить о чувстве к людям, ее вызывающим, и значит к Шуре я действительно привязан), но в нас, увы, мужская нелояльность, переходящая в грубое предательство, неизменно сильнее дружбы и долга, и всякая мужская «победа» сейчас же оправдана в наших глазах особым молодеческим тщеславием, и если я всё же устоял, не добивался успеха у Риты и не нарушил дружеской лояльности, то объясняется моя безупречность лишь житейской и любовной расчетливостью. От этих колебаний и выводов меня как-то сразу отвлекли ошеломительные сведения о Леле.

Шура, после ряда намеков (похожих на известный анекдот: «Супруг ваш болен... при смерти... умер»), мне искусственно-небрежно сообщил, что Леля вышла замуж за Павлика, и передал ее письма из Канн, от меня заботливо скрывавшиеся. Я отнесся почти равнодушно к ее непонятному замужеству, с каким-то внешним любопытством: «Ну что же, посмотрим, подождем», – и с чуть театральной иронией («Я игру давно проиграл, давно покорился неизбежности, и огорчаться снова – бессмысленно»). Мне даже стало спокойнее, уменьшилась ревнивая досада, я внутренне с Павликом мирюсь – он тоже исполнил свой долг и оказался более задетым, чем можно было предполагать (что для соперника всегда утешительно), и теперь он все-таки муж, любовно и жизненно к нему применяться отныне Лелина обязанность, а не каприз, не выбор, не страсть, и ему не стоит завидовать. И всё же этим замужеством я занят как-то по-новому – приглушенно-обиженно-сладостно – и в то же время, словно одержимый, с навязчиво-горькой остротой, и для меня померкло, исчезло чарующее Ритино сияние, лишь только рядом возник тревожно-слепящий, терзающий блеск моего неподдельного чувства, единственно верного и нужного: оно когда-то меня захватило, при моем поощряющем согласии, и от него освободиться нельзя, как бы к этому я ни стремился. Сейчас, ни на что не надеясь, в отчаянии, в тоске, я придумал злорадно-позднее к Леле обращение и его повторяю без конца: «Милый друг, ничего не случилось, и формальная у вас перемена не кажется мне поразительной, в нашу старую, вечную тяжбу не раз уже кто-то врывался (то Бобка, то Павлик, то Шура), и всякий раз, на долгое время, без колебаний вы жертвовали мной – из-за моей ли покорной выносливости, оттого ли, что, по вашим словам, мне “эта роль”, эта отвергнутость подходит или

вы просто предпочитали “других” – и если теперь узаконена очередная ваша “авантюра”, не всё ли равно, почему и на какой, неизвестный заранее срок».

Но Леле я спешно отправил любезно-поздравительное письмо, и тут ей пытаясь польстить, понравиться вниманием и выдержкой, знакомой, привычной болтовней (вот вы почти «хозяйка салона»), да и Леля писала не так, как полагается счастливой невесте, молодоженам вскоре после свадьбы, довольным, упоенным собой. Ее растерянно-сердечные письма – некстати – были полны заботливо-дельными вопросами обо мне, о здоровье, о моем одиночестве («Ужасно, что я не в Париже»), и только вскользь она упоминала о свадьбе, о денежном устройстве и «приветах и пожеланиях» Павлика. Меня почему-то возмутили невинные слова об «устройстве» и косвенно, странно привели к негодующим мыслям и к зависти, к желанию – опять-таки издали, в горячем воображаемом споре – бесповоротно Лелю осудить:

– Ведь вы недавно еще говорили о совместной жизни со мной и что нам не хватает лишь денег, а в последних письмах из Канн вы мимоходом сообщаете о том, как блестяще Павлик «устроен» в богатом фильмовом деле, о его ответственной работе, о съемках на юге и будущей карьере, и с обычной бесстрашной откровенностью или наивно (тем хуже) поясняете: «Мы обязаны всем Сергею Н.» Разумеется, это вмешательство, эти его услуги и помощь были вызваны вашим заступничеством, умелыми вашими просьбами, обращенными к нему в Холливуд, и я не понимаю одного – что за меня вы не просили, не вступались в то решающе-трудное время, когда я бессильно боролся за нашу «совместную жизнь» и ничего добиться не мог из-за отсутствия чьей-либо поддержки. Вы скажете, я бы не принял протекции, услуг Сергея Н., вас любившего, хотя и неудачно, и с вами денежно-щедрого, увы, потому что он любил. Я знаю вашу снисходительность к чужим материально-житейским «компромиссам», к долгам и расходам выше средств, к непочетной Бобкиной роли, и знаю, моя щепетильность – особая, узкая, только любовная – едва ли вами оценена, как и моя искусственно-гордая и вот-вот малодушная нищета, но именно вы, умно отрицающая нелепые денежные условности, вы ни разу, пока еще не было поздно, не постарались меня образумить, вам, очевидно, вовсе не хотелось наш непрочный союз закрепить, и пожалуй – тайно от себя – вы избегали такого закрепления, сомнительно и скупо любили, и значит, я попросту выдумал всё свое убогое счастье. Однако, боясь моей щепетильности, вы явно подчеркнуто пишете об охлаждении

к вам Сергея Н., что будто бы всюду нашумел его роман с немецкой актрисой и что теперь его покровительство неоспоримо-дружески-чистое и просьбы вас не унижают, но, по-моему, в ваших словах есть какая-то фальшь и подтасовка, и нужно их разоблачить. Если у нас одинаковые взгляды на то, что в любовных отношениях дозволено и что недопустимо, если и вы признаете порядочным извлекать из соперника пользу и в письмах защищаете Павлика от возможных моих обвинений, мне кажется, вы непоследовательны: не всё ли равно, кто должен помочь, кто благодетель вашего мужа – человек, неизменно вас любящий или недавно к вам охладевший и готовый таким простейшим путем отвязаться от скучных забот, раз это его покровительство в обоих случаях вызвано любовью. Если же вы с улыбкой отвергаете мою «устаревшую мораль», то были непоследовательной прежде, когда покорно, молча принимали всю нашу с вами долгую безвыходность (от стойкости, по-вашему, напрасной) и словно не хотели продлить мое счастливое, лучшее время, а оно не фантазия, не выдумка, вопреки моим сегодняшним сомнениям, и вы меня по-своему любили. Я помню грудной, дрожащий ваш голос, певучие, низкие интонации, послушно склоненную голову, необманчиво-встревоженные глаза, и для меня основное различие между вашим тогдашним чувством ко мне и теперешним, столь действенным, к Павлику – не в подлинности, даже не в степени, а в чем-то практически-внешнем, чему, пожалуй, вы удивитесь. Порой незначащая фраза, как будто лестная и милая, воскресает неожиданно в памяти – наглядно, резко и точно – и освещается вдруг по-иному: вот так – припоминая ваш голос – я отчетливо снова услыхал вашу старинную шутку о «месяце в деревне», о том, что вам хочется «раз навсегда» осуществить невыполнимую мечту, на время, на несколько недель, со мной запереться в глуши, «все бросить к черту, а там будет видно», и внезапно шутливое это желание предстало в истинном свете. У вас была упрямая цель, пускай боязливо неосознанная – меня «долюбить», как бы всего исчерпать, и затем благоразумно разойтись: вы охотно, легко поддавались моей непрерывной к вам нежности, вниманию, услугам, похвалам, но становились рассеянно-холодной, едва подымался вопрос о каких-либо решениях и планах, и меня никогда не считали своей «серьезной» жизненной опорой. В этой небрежной вашей снисходительности что-то было нелепо-обидное: я именно себя ощущал опорой, вам предназначенной – как ни странно, и в области житейской (мне казалось, попади я в колею – и преуспею не хуже других) и уж конечно в области возвышенной. Я верил, что

буду надежным союзником, способным – и вдохновенно, и умело, без колебаний, без шаткости и дряблости – отстаивать нашу обособленность, прямую и ровную нашу судьбу, и с тех пор, как вы мною пожертвовали, у меня появилась потребность отыграться, достойно отреванширoваться (по детской формуле: «Я им докажу, и тогда они раскаются, но поздно»), и мстительная эта потребность неудержимо во мне возрастает. Не знаю, какой мой громкий успех – любовный, писательский, денежный – вас проймет и чего добиваться, я только знаю, что вас бы унизил таким необычайным успехом и своим превосходством над Павликом, и к этому бессильно стремлюсь, пока же единственное мое преимущество – неоцененная вами порядочность, надменная, глупая бедность, быть может, одна из тайных причин поражения в неравной борьбе.

Все это ничтожно и мелко – я, разумеется, к Леле не обращусь и Павлика не стану оговаривать, что было бы теперь, после свадьбы, запоздалой и бесполезной жестокостью – но замалчивание таких возражений, такая гневная, скрытая горечь, такая раскаленно-немая духота оказалась нечаянным поводом для множества мыслей о прошлом, к тому же прилежно додуманных в особой отрешенно-медлительной и вдохновляющей «атмосфере болезни», в одинокие, тихие, пустые вечера. Эти упорные, трезвые мысли, с безжалостным «подведением итогов», возникают сравнительно редко или же сразу незаметно вытесняются, когда – не болея ничем, не заботясь, не помня о здоровье – мы равноправно участвуем в жизни и как-то проще смотрим на мир, обыкновеннее, пристрастнее, грубее, но сейчас я ко всему подхожу неторопливо, смягченно, со стороны, и вот естественно падает гнев, первоначально меня вдохновивший, и на самые трудные вопросы при желании можно найти безутешно-правдивые и точные ответы. Их полноте нисколько не вредит преувеличенное мое благородство, неумолимая строгость к себе, снисходительность в оценке других: мы так наивно собой упоены, что даже при этих условиях равновесие еще не достигается, и есть какая-то прелесть и сила в подобной стоической внутренней позе, в соединении терпимости и мужества, в бесконечной готовности каждого щадить, не ожидая, не требуя пощады.

Вся моя молодость и зрелые годы были мучительно-возвышенно-сложны – я одинаково шел напролом, когда ненавидел и любил, затем, утомленный, добившись покоя, и от него старался уйти, а главное, я не довольствовался половинчато-скупыми отношениями, какими обычно люди довольствуются, и непомерно тяжело ощущал свое с

ними явное несходство: мне казалось непонятным их умение скользить по событиям, внутренне разбрасываться, отвлекаться от самого нужного, чем-то искусственным себя утешать и мириться со всякой неудачей, и меня удивляли – огорчая – возлюбленные, немногие друзья, то устало, то резко уклонявшиеся от моих напряженных усилий, сосредоточенных всегда на одном, я нелепо отчаивался в их верности и не раз им пытался внушить непрерывную свою одержимость, но именно этой своей непрерывностью больше всего их как-то пугал, и каждый раз, после долгой борьбы, я печально в себе замыкался, подавляя брезгливую горечь, продолжая беспомощно любить (уже обостренно-безнадежно), лишь иногда возмущаясь судьбой, меня избравшей для бессмысленных опытов. Я стремился к воплощению в реальности тех любовных и дружеских чувств, которые были мне суждены, со всей их неуступчивой страстностью, и невольно переносил на окружающих непримененную в любви теплоту, однако в лучшие, редкие дни таких – мимолетных – воплощений я по-детски хотел осчастливить еле знакомых, случайных собеседников и нуждался в их ответной доброжелательности: у нас причудливо-тесно сплетаются чужое, общее – и близкое, свое – и мои самодовлеющие чувства не однажды во мне вызывали отраженную, всем предназначенную (из благодарности, порою от избытка) неистощимую душевную щедрость. По-видимому, ей предстоит еще разрастись, оторвавшись от истоков, постепенно мной овладеть, как бы «окрасить» всё мое будущее – заблаговременно, вслед за другими, я должен «переставляться на старость», заменяя эгоистически-личное великодушно-высоким и жертвенным: ведь это – единственная радость, нам доступная перед концом, и значит, опять-таки и в ней есть оттенок чего-то эгоистического. И я снова жалко теряюсь в неустранимой нашей раздвоенности, в колебаниях и вечных переменах – от себя к окружающим и к миру и от мира, от праздности, к себе. Неизбежность этих колебаний мне представляется всё же законной – нам равно и смертельно необходимы любовно-созерцательная замкнутость (изучая, творя, упиваться собой) и человеческая властная поддержка, ради которой мы идем на притворство, на лицемерие, на злостный обман, и в которой можем найти – пускай неполную – разгадку нашей сущности: так, мы часто к людям относимся чересчур терпеливо и терпимо, с какой-то напускной предупредительностью, и слишком лестно о них отзываемся (в расчете, что им передадут) не только для практических целей, из сострадания, прося о сострадании, но и от горького страха одиночества – и у других

нам таинственно-враждебного – от надежды на кого-то опереться или же быть чьей-то длительной опорой. И как ни откровенно-эгоистичны первоначальные наши побуждения, мне кажется, в такие минуты мы выходим из темного строя вселенской жизни, бездушной и хищной, мы бываем (себе несомненно во вред) благороднее, участливей, нежнее, просто смелее и Бога, и судьбы, сопротивляясь повелительным инстинктам соревнования, стяжательства, зависти, желая видеть спасение там, где оно едва ли достижимо – в добровольной нашей беззащитной и круговой поруке доверия...

Но иногда в оскорбительно-грустные часы падения, душевной усталости, особенно утром, зимой, после ночных оживленных разговоров и беззаботно-веселого подъема (от кофе, от женщин, от вина), в часы уныния, тупости, лени, я злобно-скептически далек и этим возвышенным свойствам, и гордости за наше «безумие», и всему «патриотизму человечества», и каждое сделанное нами усилие смягчиться, кого-то смягчить, мне представляется легко объяснимым – попыткой приспособиться к отчаянию, задабриваньем, похожим на взятку. В такие безотрадные часы я лишаюсь обычной уверенности, что осмысленно, по-своему, живу и что любовное мое напряжение, весь лихорадочно-жаркий мой пыл создают как бы взрывчатую энергию, которая мной руководит, и гнетущее это сознание непоправимой внутренней бедности, зависимости от внешних мелочей, от случайных привязанностей и взглядов, острее меня задевает, чем бесцельные (в таком состоянии), отвлеченно-холодные «общие вопросы». Невольно в эти часы я начинаю задумываться о прошлом и нахожу всё новые доказательства своих неудач или слабостей, какой-то своей неодаренности, и может быть, не очень ошибаюсь: ведь при упорстве, мной обнаруженном, я не сумел ни разу добиться того, к чему годами стремился, и многие мои поражения вызывались не чрезмерностью требований, но беспомощной вялостью порыва, и для меня унизительнее всего, с наибольшей наглядностью меня разоблачают чисто мужские мои похождения, не отягченные примесью романтики. Я не знаю, не жду, не испытал безрассудной физической страсти, готовой на риск и на жертвы, способной вынести любые издевательства, подвергнуться смертельной опасности и, если надо, «перешагнуть через трупы» – я слишком осторожно-боязлив и до этого себя не допущу – но и с теми неяркими женщинами, которые меня привлекали, между прочим, «нормально», поверхностно, и с ними я всё же бывал непростительно-постыдно-неловок. Моего дон-жуанского, тяжелого притворства

нередко хватало на то, чтобы возникло подобие интимности, приятной, заманчивой игры – и вскоре (от робости, от лени) незаметно у меня происходила перестановка на пресную дружбу, и эту дружбу я принимал с досадой и тайным облегчением. Такое двойственное чувство поймут еще неопытные юные кокетки, беспокойно флиртующие «верные жены», и пожалуй, нечто похожее говорила мне Леля о себе, когда я слегка ее дразнил полуобидным словечком «allumeuse»: «Скажите проще и я соглашусь – блудлива как кошка, труслива как заяц», – и она же, с искренней горечью (за меня и, конечно, за себя), не однажды мне ставила в пример победы, ухаживания Павлика, его покорно, привычно ревнуя и ему восхищенно завидуя («Нужно стараться – не то, что мы с вами»). Правда, я мог бы возразить, что Павлику «не нужно стараться», что у него как бы врожденный успех, а у меня постоянные препятствия – безденежье, слепая, неизлечимая влюбленность – но в чем-то Лелины упреки неизвинительно мною заслужены: я уступал во всякой борьбе, я радовался всякому предлогу для поспешных своих отступлений и теперь – как стареющие «верные жены» – хотел бы упущенное нагнать. Едва ли не самое позорное, что и все мои любовные романы, в этих записях столь возвеличенные и меня целиком пересоздавшие, мне сперва были как-то навязаны, что им предшествовал толчок со стороны, чуть не приказ или внушение той, кого я впоследствии любил: недаром каждую из трех моих «подруг» так обоснованно, так долго смущали мои признания, действительно ложные, на которых я, однако, настаивал – от малодушия, из вежливости, от жалости, после вина от пьяной умиленности, иногда и от внутренней неясности, от предвидения каких-то возможностей. Затем, неизбежно и сразу, это ко мне глухое недоверие – из-за моей неожиданной ответности – сменялось коротким временем счастья, безупречных и равных отношений, восторженной взаимной благодарности, и тогда уже я перебарщивал, унижался, просил, не доверял. Так, несомненно, было и с Лелей – я даже считал ее виновницей моего безнадежно-убогого смирения, возмущаясь и не помня о прошлом, неумолимо ею же вытесненном, но сейчас, как всегда в ее отсутствии, у меня с этим горестным прошлым возобновляется кровная связь, и постепенно я убеждаюсь, что напрасно Лелю обвинял и что скорее она переняла мои давнишние печальные свойства – непротивления, пассивности и слабости. И всё же не иллюзия, не выдумка – жизненно-страстная моя полнота, но что-то неуловимо порочное ей мешает проявиться вовне, тот избыток желаний и требований, который нельзя упорядочить и

который, от каждой неудачи, от каждой бессильно-злопамятной обиды, еще непомерно растет и наконец трагически взрывается. Однако и под тягостным гнетом таких необузданных желаний, не находящих, во что разрешиться, и не подавленных холодной головой, в испуге перед жизнью и людьми (вот основная причина всего – бездеятельности, робости, лени), я сохраняю веселую беспечность и в эту самую минуту упоен знакомой умственно-душевной лихорадкой и как-то вынужден к Леле обратиться, к ней отнести и ей посвятить свое напряженно-высокое волнение:

– Я вновь позорно и радостно сдаюсь – моя попытка беседовать с собой, говорить о себе, а не о вас, я знаю, провалилась навсегда: эти последние скучные записи, со всей их фальшивой объективностью и при всей ученической моей добросовестности, превратились в описательно-вялый дневник – и пускай вы меня разлюбили, пускай расстались, порвали со мной, я могу, я вас должен любить и без вашей ответной любви и, конечно, рисуюсь не теперь, в воображаемом с вами общении, но рисовался, исповедуясь себе. Вероятно, при встрече я вам не скажу – от осознанно-гордого отчаяния – о вашей чудодейственной власти – зато в одиночестве, на этих страницах, я спокойно готов расписаться в безутешно-счастливом своем подчинении и с такой же предельной откровенностью буду гневно на вас нападать.

Мне кажется, странная особенность повторных этих упреков – в моем стремлении не только найти исчерпывающе-ясные доводы, но и облечь их в поэтические формулы или в ударно-меткие фразы, как будто стоит их выразить иначе, и мгновенно они потускнеют, обесценятся, низко падут – до уровня мелких придирок и пустого сведения счетов. Одну из таких обобщающих формул (о вас – «ни прощения, ни мести») я как-то уже приводил, и до сих пор она передает мое к вам раздвоенное чувство, раздвоенность и всей моей природы, злопамятной, однако не мстительной. Другая, столь же правдивая, явилась у меня сама собой, в начале нашего романа – после первой с вами размолвки – она касалась «наших отношений» (вы уверяли тогда – «замечательных») и нам, быть может, еще пригодится. В те дни я боялся ее записать, чтобы не «сглазить» редчайшего везения – теперь ее мудрая скромность, любовная ее непритязательность вас могли бы со мною примирить, восстановить какую-то взаимность, и вот теперь мне надо записать, мне легко и не стыдно припомнить иронически-грустные тогдашние слова: «Я иногда вам, Леля, не показываю своих неуступчивых требований, вы скрываете свою нелюбовь, и каждый из нас отдыхает лишь

в эти блаженные часы, полусознательно, смутно понимая, что второго такого собеседника, такого друга ему не найти, что так и достойнее, и лучше». Но это – мое к вам обращение, а формула проще и короче: «Я скрываю любовь, вы – нелюбовь». Несколько позже я как-то придумал шутливо-опасный наш разговор, ваш нелепый, бесцельный вопрос: «Почему вы меня разлюбили?» – и на него язвительный ответ: «Я вас не разлюбил – и не любил». Мой ответ был ребяческой ложью, но не вы ли мне подали мысль (хотя бы косвенно – своим непостоянством), что внутренняя тяжба влюбленных и весь их спор о первенстве и силе кончаются просто и грубо – состязанием обоих в равнодушии – и я не из-за вас ли пытался участвовать в этом состязании, себе искусственно и жалко помогать. И если в идиллическое время вы часто меня принуждали так дурно о вас отзываться, то сколько же прибавилось потом озлобленных и строгих обвинений – мне всё необходимее их высказать и хочется о них позабыть.

Разумеется, всего, чем мы задеты, никакими сложнейшими способами из памяти нельзя устранить и непосредственной «ангельской» доброты, прощающей измены и обиды, почти ни у кого не бывает, кроме разве «подвижников», «святых» и людей чересчур мягкотелых, но и мы, обыкновенные люди, с эгоистическим инстинктом самозащиты, мы тоже по-разному стремимся к очеловечению, к терпимости, к добру и приблизим их осуществление, если сумеем как-то разрядить накопленную в молчании ненависть, если найдем полновесные, нужные слова, избавляющие нас от потребности в ожесточенно-безжалостных поступках. Это не только писательское свойство – в безвыходно-тяжелые минуты все одинаково ищут друзей понятливо-сердечных и умных, и может быть, писательская склонность (пускай потенциально-дневниковая) предохраняет многих из нас от напрасных, чрезмерных излияний. Попробую кратко передать один из тех мучительных случаев, которых, при всем своем бесстрашии, я прежде коснуться не мог. Это было, когда ликвидировался ваш упрощенный с Шурой «роман», после смерти несчастного Марка Осиповича и Ритиного приезда с каникул – мы проводили с ней вместе вечера, и до сих пор меня преследует картина, отчетливо-живая, как тогда: вы у себя на кушетке, а рядом устало-доверчиво-томная Рита, наивно и нежно вам благодарная за помощь, за твердую поддержку, за Шурино решение жениться, ее лицо с закрытыми глазами покоится у вас на плече, и вы тихонько ей гладите волосы, двусмысленно Шуре улыбаясь и наслаждаясь своим торжеством. Я в тот вечер еще не догадывался о

Шурином согласии жениться, об усилиях, вами примененных (да они и не смягчали происшедшего), и упивался наглядной вашей виной, мне почти сладострастно хотелось, чтобы у Риты «открылись глаза», чтобы она поняла и увидела вызывающее ваше предательство и перед всеми вас бы оскорбила – незабываемо, внезапно, осязательно, отомстив и за себя и за меня – но Рита ничего не поняла, и вы остались, как раньше, безнаказанной. Такие или схожие картины, чудовищные ваши ответы на сочиненные мною вопросы я без конца себе воображал, переводя нашу любовную борьбу из области реальной в фантастическую, однако и эти измышления были связаны с чем-то реальным и полутворчески его дополняли, мне помогая в нем разобраться, внушая несложные выводы, иногда чересчур прямолинейные. Из них едва ли не первый – что всякая женская измена непоправима, навеки непростительна: до собственного горького опыта, мечтая о высшей справедливости, я с жаром отстаивал обратное – теперь, неизбежно присмирев, я разделяю мне чуждые воззрения людей старомодных и косных, что женщин, усвоивших «мужскую психологию», нельзя, невозможно любить, остальные же нам изменяют бесповоротно, всем существом, и таких мы должны разлюбить. Это было, увы, подтверждено и вашим романом и браком, и – особенно – пьяным, шальным безобразием вашей ночи, единственной, с Шурой, несомненно, вас напугавшей, но ускорившей наше расхождение. Меня перестали возмущать и, в сущности, давно не поражают ваши упорные, частые измены, с оттенком супружеской неверности: я их заранее предвидел, готовился к уходу и к жертвам и вас не очень порицал (опять «ни прощения, ни мести»), я без рисовки искренне пытался, не осуждая, всё принимать – и вас, какою вы созданы, и любовную вашу неодаренность, постоянно меня заставлявшую любить одному и за двоих (что не искусственно и даже не смешно) – моя привязанность к вам сохранилась, вопреки моим теперешним взглядам, зато безнадежно развенчано хваленое ваше превосходство. Так я когда-то смутно оправдывал жестокости, дурные поступки, если и вы их могли совершить, и оправдывал мысли и вкусы, мне враждебные, но близкие вам – непогрешимой в чем-то основном – сейчас в безобиднейших ваших словах я ищу не то, что в них есть, а язвительно-грубые намеки, порою зависимость от тех, кого обычно я презираю. Эти придирки и это снижение – пока неуловимо, незаметно – начинают во мне разъедать столь упрямо возвышенное чувство, мои к вам суровые требования постепенно как-то слабеют, я легче мирюсь с относительным и спокойней довольствуюсь не-

многим. Я у себя нередко узнаю то вялое, «среднее состояние», еще не лишенное любви, однако уже не любовное, в котором недавно вас уличал, распространив его и на прошлое: мне казалось, так было всегда – что вы избегали со мною чрезмерной любовной полноты и меня в то же время удерживали, боясь и оттолкнуть и приблизить. Подобное «среднее состояние» скупее, хуже, скромнее любви – и тем защищенней и устойчивей: не от него ли и новая с вами выжидательно-бездейственная поза, не только обидчиво-гордая, но и сонно-приятная, душевно-ленивая. Быть может, по этой причине мне сравнительно нетрудно писать: когда мы оба в Париже и ежедневно с вами встречаемся, в пылу опасений и надежд, я должен для творческой работы непременно от вас уходить, освобождаться хотя бы насильственно, когда же, после долгого отсутствия, вы становитесь призрачно-далекой, я погружаюсь в немую пустоту, могу и совсем оцепенеть, если в памяти вас не оживлю – очевидно, моему вдохновению нужна какая-то мера любви, теперь нечаянно мною достигнутая. Но всякое наше равновесие в этой области до ужаса непрочно, и то, чем любовь моя питалась – заботы, «культивирование», ревность – по-старому ей необходимо, иначе равновесие нарушится. Я с огорчением и грустью убеждаюсь, что не ревную, что вами не поглощен, и мне страшнее любовной безответственности такое мертвое мое благополучие, разговоры, занятия, книги, редеющий воздух фотографий и писем, я не хочу им более дышать и, утомленный, вдруг ощущаю, как меня бы взволновал и освежил ваш скорый, восхитительный приезд.

Вероятно, именно сейчас я люблю осторожно и трезво, как полагается, как надо любить, как, пожалуй, и вы меня любили, без непрерывной одержимости, напротив – то странно о вас забывая, то безболезненно к вам возвращаясь. Правда, я не окончательно похож на совершенных, примерных любовников, не теряющих склонности и вкуса к удовольствиям, обществу, книгам и делам, ко всему, что мне кажется лишним – возмущая, отталкивая, нервируя – если вы рядом или можете прийти, что мне чуждо порой и в одиночестве: даже в эти спокойные дни я не ищу разумных отвлечений и завистливо думаю о прошлом, когда – опираясь только на вас, не видя окружающего мира, не пробуя в нем утвердиться, обрекая себя на двойное поражение (любовное и денежно-практическое) – я жил добровольно приятной жизнью, неоспоримо достойной и подлинной, а не мечтами о вашем приезде. Еще одна короткая формула, сочиненная мной среди прочих, меня как-то сразу прельстила – подражание декартовским словам,

почти буквальное: «Amo ergo sum». Я знаю, что вышло претенциозно и неловко, но эти слова передают всё душевное мое содержание и весь поэтический опыт: для меня человек определяется, возникает и крепнет в любви, и до нее меня самого попросту не было и быть не могло. Мне забавно и несносно перечитывать свои же собственные ранние дневники (мною по-писательски бережно хранившиеся, в минуты опасности и в годы нищеты): их аккуратные, холодные страницы, экзальтированно-заемные порывы, смешная, напыщенная их добродетель, присущая многим тогдашним моим сверстникам, всё это изредка смягчается, темнеет, чуть в отдалении мерещится любовь – не так ли точно будущих военных (кандидатов в инвалиды и в маршалы) пленяют с детства походы и чины. В самонадеянном своем фанатизме я эту веру готов предпочесть ледяному декартовскому «cogito»: нашу тайну, основу, судьбу, по-моему, нельзя объяснить вторичной, сомнительной способностью – мыслить – к тому же усвоенной нами извне, мы как-то резче, естественнее, глубже, и друг от друга, и от всех отделены столь разнородными своими страстями и неизбежной их «сублимацией», возвышающей каждого влюбленного над житейскими успехами и смертью. Я добросовестно пытаюсь понять животворящую природу любви и, потрясенный, внезапно открываю, что любовь не одержимость, не болезнь, что она – благодать, или Божий подарок, или небо, сошедшее на землю, или сила, нас чудом вознесшая на почти недоступные высоты. И в теперешнем любовном падении, в моих упреках и в памяти о счастьи как бы присутствуют отблеск и тень благодати, источник той «жизненной полноты», которая должна преодолеть повседневную вялую скуку, и я непрестанно вам признателен за ваш особый, таинственный дар (на вас самой, увы, не отразившийся) – однажды во мне пробудив, бесконечно поддерживать любовь.

Не добившись ответного чувства, я сознательно и стойко выбираю «прозябание» около вас и не пойду на иллюзорные уступки, вроде вашего «месяца в деревне», и на реальную впоследствии расплату. Мои фантазии беспочвенно-бледны, однако чище и жертвеннее ваших, и нередко подобные вымыслы показательнее всех осуществлений, так что не стыдно о них говорить: я представляю себе необъятные средства, почему-то у нас появившиеся, нашу скромную, ровную жизнь, без нелепо-тщеславных потребностей, с деловитой помощью людям – и толковой, и умной, и душевной – с излучением заботливо-нежной доброты. У меня наготове бесчисленные планы и множество мельчайших подробностей: иногда, увлекаясь, я вижу – среди совместной

нашей работы – ваше нахмуренно-строгое лицо, негодующие, синие, печальные глаза, и затем, как бы очнувшись от сна, с недоумением, с тоской перехожу к бездействию и вынужденной лени. Лишь теперь мне отчетливо ясно, какой упрямой ненасытной добротой полна «эгоистическая» любовь к одному, как постепенно она превращается в осязательно-братскую, живую любовь ко всем, и счастливым, и несчастным, с нами связанным хотя бы мимолетно – на других не хватает воображения – и как мертва «любовь к человечеству». В этой бедности нашего внимания есть что-то для нас и унизительное: мы должны отказаться от целого для сохранения крохотной части, мы ограничены жалким своим кругозором, и всякая наша попытка через конкретное прорваться в отвлеченное нас приводит к искусственным верованиям, непонятным или дурно понимаемым – оттого, наперекор их творцам, так нетерпимы их распространители (они защищают собственную веру, словно боятся ее потерять) и оттого мне враждебны большевики. И когда за чужие, непонятые схемы умирают герои и праведники, я убеждаюсь в их непроницательности, в их безлюбовной внутренней природе, и мое возмущение падает: ведь нельзя возмущаться слепыми, и у каждого своя слепота, неодаренность в чем-либо важном, участие в общем неравенстве. Тогда я бунтую не против людей, а против этой у них неодаренности и этого именно свойства – без колебаний экзальтированно знать, что выше и лучше всего, кем надо гордиться, кому подчиняться, кого неуклонно ставить в пример, как жить по такому примеру – самодовольно, жестоко и спокойно. Я ненавижу любое самодовольство – государственное, личное, семейное, за полк, за дела, за друзей и жену – и мне из всех особенно знакомо и наиболее мне отвратительно старинное русское наше самохвальство, однако меня раздражает и обратная вечная крайность – расхлябанно-темное наше пораженчество. Я повинен в одном и другом, поддаюсь патриотическим сенсациям и слезливому русскому раскаянию и безжалостно с этим борюсь: для меня основное наше достоинство – в широте, проникновении и зрячести, не мелко-партийно-служебной (чтобы врага изучить и уничтожить), но прощающей, сердечной и признательной. Боюсь показаться елейным и пресным – я к этим скудным и радостным выводам пришел от «любовной любви» (презрительно многими забытой, иным как будто неизвестной, меня же пронзившей навсегда) и своей «веры в любовь» не сочинял. Неожиданно также я вспомнил, как однажды Петрик заявил, что мы большевиков не переспорим, ничего не имея за душой, и как беспомощно я растерялся – сейчас у меня

приготовлен обычно-поздний победительный ответ о нашем добром и высоком назначении, которого мы не выполняем: мне стало яснее, чем прежде, какое лицемерие «там», сколько заведомо-фальшивых утешений, и какая «здесь» могла бы создаться благожелательная искренность во всем, безутешная, суровая, но мужественная, никого не вводящая в обман. Разумеется, правдивая эта безутешность не от безволия, бездушия и слабости и за собою их не влечет, нам следует ее воспринимать не буквально, а сложнее, обобщеннее, глубже – что мира и судьбы не изменить, однако в пределах знакомства и дружбы, доступных влиянию каждого, можно сравнительно многого достичь: необходимо только стараться, проникнуться надеждой и упорством – и около нас образуется как бы тайный мистический круг из людей, облагороженных нами, перенявших заманчиво-трудное умение опираться на собственный опыт и бережно его сохранять для тех, кого он затронет, кому он действительно нужен. И, пущенные с разных концов, такие «спасательные круги» должны разрастись, соприкоснуться, сливаясь не в мертвый формальный союз, но в огромное осмысленное целое, освобожденное от алчности и грубости, от гибельных страстей и потрясений (впрочем это уж слишком «фантазии»). Теперь я начинаю сознавать, как отношусь к писателю, художнику и всякому иному творцу: он не призван ни властвовать над миром, ни гордо от него отрекаться, он что-то улучшает в себе и что-то исправляет в окружающих, и к участию в общей работе его приводят и жалость, и любовь, и напряженная работа над собой. У меня это связано с вами, и я всё более вам благодарен за чудесное свое пробуждение, за первый, столь давний толчок, я по-старому его ощущаю и так беспечно, так просто люблю (без нового, гнетущего страха), что поневоле с уверенностью жду успокоительной вашей улыбки, далекой, но прочной вашей ответности, словно время нам как-то вернуло помолодевшую, прежнюю нашу любовь.

ФИГУРАЦИЯ

Петрик, ближайший мой друг, недавно предложил устроить меня статистом на съемки, и я смущенно принял его предложение, сознавая, что как-то опускаюсь, как-то сдаюсь в житейской борьбе, раз должен согласиться на самую жалкую в ней роль. Петрик в точности всё разузнал – оказалось, что надо поехать в далекую загородную студию и там сослаться на него. Пришлось непривычно рано встать, с неуютным ощущением предстоящей мне скуки, стыда, растворения в бедной и грязной человеческой толпе. Уже в убогом трамвае, шедшем в предместье, я начал присматриваться к подозрительно-изящным, слишком накрашенным девицам с усталыми, сонными глазами, к небритым молодцам с ночного Монмартра, к оживленным и бойким русским парижанам среднего возраста и особого, развязно-офицерского, бездельнического склада, и в них угадал несомненных «товарищей по несчастью» или будущих своих конкурентов. Я даже испугался, что придется вернуться ни с чем, без нужных мне денег, без надежды на новые скромные заработки, и что Петрик меня во всем обвинит, как обвинял когда-то Павлика в неловкости и лени.

Сойдя с трамвая вслед за другими, я за ними пошел по деревенским улицам и грязным окрестным дорогам, через площадь с памятником жертвам войны (каменный ангел и солдат с винтовкой и в шлеме), вдоль аккуратного, тихого кладбища (такого, что и смерть не страшна), пока, вместе со всеми, не попал в сараеобразное, темное, широкое, набитое людьми помещение. Убедившись, что «начальство» еще не явилось, я сел на скамейку и уткнулся в русскую книгу, стараясь не смотреть по сторонам.

– «Вы русский, позвольте познакомиться, а что вы читаете? – Олеша – нет, не слыхал». Я почувствовал какое-то облегчение от знакомства, от видимости участия, столь необходимого в этих условиях, и дружелюбно разговорился с маленьким, полным, круглолицым пожилым господином в пенсне, курившим трубку с бесконечным чубуком. Он оказался петербургским адвокатом и, обнаружив «земляка», с умилением начал вспоминать петербургские театры, названия улиц, номера и маршруты трамваев, гимназию, университет, профессоров – все, что могло его и меня увести из этой, нас унижавшей обстановки. «Здесь так мало презентабельных людей», – и, подчеркивая, что я одно из

немногих исключений, он представил меня своей жене, чернобровой толстенькой дамочке, с выражением достоинства и озабоченности на мягком, добром, курносом славянском лице. – «А вот мой приятель, барон Демь, Конного полка», – барон, высокий, сутулый, с густыми, рыжими, опущенными книзу усами, без улыбки, рассеянно мне поклонился и продолжал флегматически молчать. Напротив, маленький адвокат был до крайности словоохотлив и любезен – точно желал передо мной оправдаться в явно-обидном для него положении, он, с напускной молодеческой беззаботностью мне объяснил, что проиграл «уйму денег» на бирже, что на днях получает «доходное хлебное место», а до этого надо кое-как перебиваться: «Мы с женой за неделю должны выколотить минимум тысчонку». Он стеснялся даже за приятеля («У барона в Лондоне богатые брат и сестра, но он, к сожалению, буквально всё пропивает») и, неожиданно, скороговоркой добавил: «Мы с ним подружились на фронте, хотя собственно я не гвардеец и сам идейно пошел в простую армейскую часть, к недоумению сиятельных родственничков – моя фамилия ординарная, Иванов, однако мы происходим от удельных князей, впрочем, кому это сейчас интересно».

Вокруг нас, пока он говорил, незаметно возникло едва уловимое движение, все как-то встряхнулись, многие встали, словно готовясь к решительной развязке – наконец появилось «начальство», молоденькая барышня мулатского типа, неестественно-быстро передвигавшаяся на толстых коротеньких ножках: «Это их секретарша, мадмуазель Клейн, евреечка, но симпатичная и справедливая». Сняв на ходу непромокаемое пальто и берет, она вошла в расположенную около нас убогую комнату, с деревянными грубыми стенами, видимо, наспех сколоченными, с десятком пестрых плакатов на рваных обоях и с надписью у входа – «bureaux» – за ней туда потянулись фигуранты, особенно русские, и я, улыбаясь так же просительно-стадно, как другие, назвал свое имя и сослался на рекомендацию Петрика. Не подымая глаз от раскрытой папки с бумагами, она лениво сказала, как повторяют давно затверженный урок: «Подождите, скоро вас позовут». Затем прошли мимо нее отдельной блестящей группой, как генералы на параде, директора и главные помощники, среди них Бобка в ослепительном, до накрахмаленности выутюженном костюме – он мне ничуть не удивился и мимоходом покровительственно шепнул: «Тебе выгоднее меня не узнавать». Я понял, что он боится себя уронить компрометантным знакомством, но нисколько на него не обиделся и даже обрадовался его несомненной и действенной помощи. Мой сосед внезапно вскочил

и подбежал к седому, смуглому, статному человеку, судя по строгому виду и осанке, наиболее важному из всех, и тот, с искусственной, однако безукоризненной вежливостью крепко пожал ему руку и повел за собою в «бюро». Оттуда маленький адвокат вернулся осчастливленный но вдруг спохватился и с каким-то деланным безразличием мне заявил: «Мой старый товарищ по сословию, в Берлине мы вместе спекулировали, ну-с, а тут ему повезло – как жаль, я не успел его представить жене, правда, он звал нас в гости обоих (и, обращаясь к ней, опять с сияющим лицом), подумай, какая странная встреча». Я невольно сравнил седого, учтивого директора с Бобкой и приписал хладнокровное Бобкино предательство беспочвенному, без традиции, неразборчивому в средствах обнаженно-грубому карьеризму его (и значит, моего) поколения. Вероятно, «товарищ по сословию» не лучше, не порядочнее Бобки, однако он соблюдает хоть внешнее приличие, а я всё более ценю те, нами утраченные «фарисейские» условности, ту внешнюю форму отношений, над которой прежде столько смеялись, но которая смягчала также и самую их суть – нечто вроде ханжеской милостыни, кого-то спасающей от голода. Наблюдая за Бобкой и за его напыщенно-властными манерами, я вспомнил о предложении Аньки Давыдова стать у него секретарем и о своем тогдашнем отказе: если бы я решил согласиться, то был бы сегодня «начальством» и Бобка бы меня не стыдился. Но я об этом не жалел: заняв предназначавшееся Павлику место, я нарушил бы ваше ко мне многолетнее доверие и вас бы навсегда потерял.

Эти мои, одна за другую цепляющиеся мысли прервала мадмуазель Клейн, поименно, торопливо нас вызывавшая (вне очереди, первым Иванова с женой), мы получили какие-то квитанции и отправились в новое, казарменно-голое, холодное, сырое помещение, чем-то похожее в моем представлении на заброшенный дачный театр. Знаменитый русский режиссер, в подчеркнуто-небрежном, не по сезону светлом пиджаке, среднего роста, болезненно-бледный, жирный и лысый, с большими выпуклыми грустными глазами, как-то беспомощно стоял перед нами, давая распоряжения ближайшим своим подчиненным и механикам (в каскетках и апашеских фулярах, словно умышленно ими надетых назло подтянуто-блестящим «патронам»).

Нас постепенно расставили в нелепо-случайном порядке, причем меня поразили (что я смутно отметил и раньше) самолюбивая подавленность мужчин и оживленная, бойкая, претенциозная кокетливость женщин (так, две подруги, накрашенные стройные русские барышни, всё время ходившие обнявшись, захотели вместе остаться на «плато»,

и режиссер им с улыбкой уступил): очевидно, многие из них, начитавшись рекламных измышлений о фильмах и «ведеттах» сюда пришли с надеждой на успех, с намерением себя показать и, внезапно, чудесно прельстив кого надо, – прославиться. В данном случае этого никак не могло произойти: всё, что с нас требовалось, было слишком легко и невыигрышно – мы изображали счастливых английских поселян, приветствовавших короля и его молодую жену шумными выкриками («Long live the king, she loves him, loves»). При этом обе русские барышни в первом ряду преувеличивали английский акцент и доходящий до неистовства громкий энтузиазм, но, разумеется, их не оценили. Я удивился добросовестности Ивановых, кричавших с какой-то отчаянной лихостью и с непередаваемо-российским произношением – только барон презрительно-угрюмо сопел и молчал.

Нас отпустили на завтрак и обед – мы пили в грязном «бистро» отвратительный кофе и ели бутерброды с подсушенной, пресной ветчиной. Я вдруг поймал себя на желании мелко экономить и целиком привезти «гонорар», словно работа и отдых – различные области, и там, где дело, нужно скупиться. Как всегда получились курьезы, которых сам не придумаешь – за завтраком около меня молодящаяся русская дама кому-то жаловалась, подмазывая губы: «Моих страданий никто не поймет, а кроют все, ну веселенькая жизнь!»

Над несложной нашей программой мы провозились целый день и полночи, затем – сверхщедро с нами расплатившись – нас отправили в город на скрипучих грузовиках, точно солдат, и я, как полагается плохому дельцу, всю дорогу высчитывал убыточность «их» предприятия. Нам с бароном и обоими супругами пришлось еще сидеть до утреннего метро в подозрительном кафе на окраине, и возбужденный удачей маленький толстый Иванов без конца вспоминал какие-то конные атаки, шрапнельный огонь, титулованных флигель-адъютантов, но усталого мрачного барона не мог расшевелить, а его прозаическая и явно плебейская жена с упоением говорила о знаменательной встрече с директором, о службе, о «терме», о деньгах. Вероятно, прежде, в доэмигрантское, «нормальное» время, подобная встреча двух старых друзей, в этих условиях и в этой обстановке, казалась бы необычайно романтичной, но в эмиграции всё так перемешалось, верхи так доступны низам, так непрочны имена, положение, богатство, что, например, у той же Ивановой необычайность, неожиданность встречи не вызвала даже удивления, и она не испытала ничего, кроме зависти, обиды за мужа и надежды на лишнюю протекцию.

РАССКАЗЫ

ОТРАЖЕНИЕ

Последние годы было спокойно, а теперь опять что-то меняется, и опять у меня потребность писать ради ясности и во избежание соблазна разговаривать. Это – и многое другое – не по-женски.

Три года мы живем в тех же комнатах, так же размеренно и так уединенно, как будто дали обет. Пожалуй, у каждой из нас и есть похожее на обет. Мамá говорит, что погибла Россия, что нельзя стремиться к богатству или удовольствиям и надо как-нибудь, спрятавшись, доживать. Иреночка потухла после плохой молодости. А я дала себе слово не бунтовать и часто думала, что заодно с мамá и Иреночкой, но я все-таки живая.

Мы сидим целые дни над вышивками, мало разговариваем и не скучаем. Я люблю ездить по городу, развозить заказы, торговаться, получать деньги. Забавно в метро первого класса, где полушикарные люди и у некоторых хорошие манеры. Эти поездки случаются раза два в неделю. До обеда освобождаюсь и одна гуляю мимо заборов, зелени, и строящихся домов. Мы живем на окраине, которая на наших глазах сливается с Парижем.

После обеда появляется Владимир Николаевич – Володя. Это появление наверно самое неизменное, что есть на свете. Он всегда свежий, вежливый, в синем костюме, с коричневым портфелем. Руки аккуратные, наклоненная вперед голова и лицо удивительно петербургское, сочувственно улыбающееся, готовое и услужить и поблагодарить за услугу. В дурную минуту я могла бы побить за это, ко всем доброе, безразличное сочувствие.

Мы говорим напряженно. Выручает мамá, если в ударе. У нее без конца историй и еще больше поучений. Она очень властная дама, и, когда вспоминает, как разносила министров, легко ей верить. Советы дает будто бы сердито, на самом же деле она по-старчески мило усмехается своей несовременности. Честно говоря, мне не тяжело с мамá только после того, как перестала с нею считаться. Мы, обе дочки, не считаемся, и обе почтительные. А мамá, которая так любит командовать, никогда еще виду не показала, будто знает что-нибудь наше личное.

Напряженность вносит Володя. Это у него всегда с Иреночкой, сколько его помню, больше десяти лет. В то время молоденький

гвардейский офицер, он сделал предложение Ирине. Она предпочла его товарища, которого и после смерти не могу называть иначе, как Сашкой. Сашка был безудержный и сумасшедший и, в сущности, дурной человек, но до сих пор я верю в правоту Ирининого выбора. Вот кто, единственный, заставлял ее бодрствовать. А Володя никогда ни капельки Ирины не мог тронуть. Он замкнулся в тихой обиженности, и это состояние всегда возобновляющегося ожидания и отказа прошло через фронтовые и прочие опасности и его теперешний житейский успех в Париже.

Володя докладывает нам планы статей для немецких и французских журналов. Он пишет о русских книгах – приятно, терпимо, и в каждой статье малозаметно проходит что-нибудь основное и верное. Но Иреночка, которая знает книги больше, чем людей, не слушает. Володя – в свои тридцать пять лет – сбивается, мелко льстит ее вкусам, совсем уже проглатывает «идею», и Иреночка морщится с неприязнью. Володя единственный человек, с которым она почти груба – вспоминаю его же слова: «Вечный глупый закон неравенства отношений».

В десять часов, каждый вечер происходит следующее. У Володи нет сил переносить Иринину враждебность. Он с одинаковой всегда неловкостью обращается к мамá:

– Графиня, вы не отпустите девочек со мною на прогулку?

Иреночка не пойдет. К ней это относится из вежливости и все-таки с долей надежды. Мама привыкла к Володе, но не любит: он, по ее представлению, не на своей почве и вообще нетвердый. Мама разрешает. У Иреночки делается доброжелательное лицо и извиняющийся, огорченный голос.

– Я, правда, устала, Володя. Вы не стесняйтесь меня.

Мы выходим вдвоем, шагаем, где и как попало, садимся в кафе, пьем вино. Я рада, что у Володи выигрышная внешность, что он все-таки элегантен и может, не задумываясь, платить и в скромном месте заказывает самое дорогое.

Говорим только о задевающем – это лучшее мое время. Володя становится умен, проницателен, даже горяч. По его словам, творческие способности сказываются, если хотя бы временно прерывается мучение. Он всегда со мною говорит вообще, и, конечно, «вообще» – о себе. Мы оба это знаем, и у нас просто молчаливое соглашение. Центр споров, наблюдений, Володиных обобщений, разумеется, Иреночка. Тут и он и я неистощимы.

У Иреночки странная способность, – может быть, оттого, что она идет мимо жизни – приковывать к себе людей хоть немного любопытных, заставлять их ее пытать, стремиться привести к жизни. Вот я, сестра, взволнована ее отделенностью и возвышенностью, горда и взволнована, что мы из одного воздуха, что она и меня возвышает.

Володя никогда не повторяется. После вина и дружеского прощания с Иреночкой – то, что он называет законом последнего впечатления – у него подъем, вдохновение, бесстрашная сила. В статьях Володя гораздо беднее себя.

Мы оба ласкаем словами внешность Иреночки – какие у нее сверкающие черные волосы, матовая кожа, изящное точеное лицо, удлиненная бархатная фигура. За нее решаем, о чем она думает, как к кому относится, какое сегодняшнее настроение.

О себе я всё давно рассказала. Прошлое – невестовство, короткий брак, развод – вполне мертвое. Я и в те времена жила отраженной жизнью Иреночки и ничуть не потому, что лишена своего тона, а просто было у меня всё скучно.

* * *

Так – очень хорошо – шли эти годы. День – будни, вечер – маленький праздник.

Недели две тому назад мы оба, немного пьяные и разгоряченные, возвращались из кафе. Совсем беспечно, почти без обиды, спросила – я все-таки женщина:

– Скажите, Володя, мы так откровенны друг с другом. Я-то сама чего-нибудь стою?

– Вы – очень и очень. Никогда не говорю, у вас редкое сочетание. всё от камеи и вдруг поразительная мягкость.

Володя сказал это сердечно, но я различила мужское, испуганное. Руки у меня были голые и показались мне самой добрыми и мягкими. Я обняла его голову, умиленная только собой, своей жертвой, своим тонким телом в его руках. Пришла домой и уснула довольная.

А утро, как каждое утро, нашло к чему придраться. Конец естественности, конец вечернему празднику, между нами навсегда неловкость, обязанность, боязнь оскорбить. Как хотелось, чтобы этого не было.

При мамá и Иреночке Володя казался мне вполне чужим. Вдвоем мы говорим о безразличном – и легко в кафе после вина Володя взял

меня за руку – крепко, и я поняла, что есть в этом настоящее – для меня.

Мы перестали говорить об Иреночке и ничего не сказали решающего о себе. Я, если одна с Володей, спокойна и нахожу опору – всякого рода. Без него недовольна, сомневаюсь, не вижу в себе ничего, кроме сухости. Володя, я знаю, рад новой силе при Иреночке, от которой уходит, и мне предан.

Мы далеки от любви, но я выйду за него замуж.

ОПЫТ

Как почти каждый вечер, зашел в маленькое кафе у Этуаля и подсел к польскому журналисту Де К. (подпись), ежевечернему посетителю, тоже непристроенному и неспокойному.

За соседним столиком две дамы, довольно бойкие. Одна – американка, седая, со свежим лицом и сверкающими зубами. Другая – венгерка, еще молодящаяся, которую не раз уже замечал.

Разговор вялый. Венгерка, что-то явно подчеркивая, предложила уйти и на улице сказала:

– Де К., вы проводите мою подругу, а меня ваш приятель.

Рассуждать было нечего, шел дождь, мы в красном неудобном такси.

Я не гибкий человек, трудно перехожу из одного душевного положения в другое, особенно из любимого, грустного. Но моя старушка, как предательски окрестил неожиданную поклонницу, прижимается, и вот обязан – всегда в таких случаях – изображать беспечность и компанейство.

Разглядываю. Грубая, со старческими фиолетинками, кожа правильного, впрочем, лица, несколько грубые сильные руки, из-под откинутой накидки серые запудренные плечи. Вся она – какой мелькнула до такси – некрупная, стройно полная. Много мяса, силы, нетерпеливой страстности. Вероятно, была соблазнительна. Не по лицу глаза – умные, мутные, насмешливые.

Предупреждаю: fauché.

Ловкое нестыдное слово. Она смеется.

– Вам готовится сюрприз.

Подъезжаем к модному русскому кабаку, в котором бывал в первые богатые парижские годы. Те же офицеры в швейцарских и лакейских маскировках, знаменитая цыганка, зябнущая и скучающая, тот же маленький круглый скрипач с лицом как бы карикатурящим луну, те же шведы, американцы, уцелевшие москвичи – моя бедность не отразилась на их заведенной жизни.

Скоро двенадцать, столики быстро освобождаются, меня не узнают. Наш приход поздний и лишний. Безобразного соединения нашего никто не видит.

Я любопытен до всего нового, пусть самого мне несвойственного, еще больше люблю эту позу смелого любопытства, да и неважно и лень бояться старой накрашенной женщины, которая будет платить по счету.

– Выберите шампанское, а то они подадут за триста франков.

Новичок в двусмысленной роли, выбираю самое дешевое – за сто. Она понимает, хохочет и заказывает другое, подороже.

Тороплюсь распить бутылку один. Чтобы не испортить игру, надо как-нибудь одуреть. Но шампанское это пьется, как вода или лимонад без жажды. Так, должно быть, здоровое тело вначале не ощущает яда.

Скрипачу поручается для меня сыграть. Он берет вместо скрипки гармонику – признак особой милости – наклоняет круглую лысую голову, потом возводит глаза к новым потолочным фрескам, подбрасывает гармонику и трясет, чтобы выжать необыкновенно длинные жалобные звуки.

Венгерка гневно останавливает:

– Он русский, его шокируют наши песни.

Скрипач, ко всему привыкший, без национального самолюбия, и сонный, играет русское.

Моя покровительница давняя парижанка, ее говор вернее и проще, чем у любого беженского искусника. Но скучно болтать и слушать вздор. Пробую перевести хотя бы на выставки и картины – самая легкая в Париже тема. Провал. Скачущие, всё о новом, фразы, иногда дикие.

– Pas une occasion, c’est une sensation.

Очень неубедительны наши отношения. Никак не складывается тон и темп. Ни душевной пьяной лирики, ни взаимного доверия, ничего, что могло бы ободрить или сблизить.

Не слишком ловко она кладет под мою тарелку деньги, и мы уходим.

Свои немногие франки отдал привезшему нас шоферу, у меня нет на гардероб, а венгерка не понимает, что нужна мелочь, и у нее жадность в глазах.

2.

Дождь, такси, любовь кончилась. Едем далеко в ночное кафе. Оно длинное и не очень широкое. В середине проход. По бокам малиновые диваны и столики образуют как бы отдельные ложи. Мы в крайней. С

нами последний шофер, рослый сорокалетний француз, с висящими усами, в гетрах и весь в коже. Он молчит и, по-видимому, знает свое место.

Венгерка: «Je veux...»

Скрываю, что поражен ее бесцеремонностью. Заказываю кофе и бенедиктин. Приятно сразу после ликера – одним дыханием – глотнуть горячего кофе. Тот же вкус, не знаешь, два обжигающих или два опьяняющих напитка.

Пьянею. Венгерка вернулась, грубо ко мне переменившаяся. Внезапно внимание нашего столика обращено на маленькую, не молодую, прямо держащуюся женщину. У нее кухарочный вид и странно пристальные, мимо вас, глаза, сухие и упрямые. Что-то от юродивой.

Венгерка подбегает к ней, узнает имя Marie и просит-молит присесть к нам. Marie точно ждала этого и, точно играя на сцене, нехотя, важно соглашается. Француза и меня представляет, причем рука ее не сгибается в моей – вероятно, хороший тон.

За нами наблюдают – господин, серьезный, среднего возраста и с ним две славные молоденькие барышни, не скрывающие веселого удивления. Мне поразительно ловко – от пьянства или от уверенности, что этих людей никогда не увижу, да и они не узнают, кто и почему будет платить. Внутреннего стыда никакого. Ведь я делаю опыт, душевный и внешний, я добровольно иду на единичную авантюру.

Между тем венгерка восхищенно расспрашивает Marie. Она бретонка, больше ничего не запомнил, любознательность прошла. Временами от меня требуется любезное участие. Исполняю, как заказ. Потом предаю свой столик, курю и улыбаюсь, словно нарочно и смеха ради залез в грязную историю. Вскоре и это ни к чему, господин с барышнями уходят.

Пьянею быстро. Я не курильщик, и папироса среди рюмок всегда меня ослабляет. Хочется возрастания шума, какого-то в нем разрешения, чтобы дерзко себя развернуть. Очевидно, трезвый, я чересчур свернутый.

Заказывается новый, белый ликер. Незаметно наливаю свой в венгерскую чашку. Изумление: «Tiens, le café est arrosé».

Продолжается ухаживание за Marie, я забыт. Обе женщины кажутся грязными и противными. Француз еле разговаривает и чокается только со мной. В его непроницаемом достоинстве осуждение.

Больше не сидится. Гуляю со скукой вдоль прохода. Привычное одиночество среди людей, не требуется немедленных ответов, готовой

позы. От этого постепенно становлюсь собой – мешает шум, какая-то потеря памяти, грубое пьяное безволие.

Мною чрезвычайно занята сравнительно молодая пара в одной из лож. Дама улыбается, показывает на меня, откуда-то ее помню. У мужчины смелые до наглости голубые глаза и хорошее правильное лицо. Своим взглядом, наглым и в то же время сочувственным, он сразу меня обворожил. Уверенно делает знак подойти. Конечно, русские.

– Я вам подавала у «Донона», вы были такой джентльмен, с американкой, такой тонный. Сразу вас узнала, а вот глазам не верю.

Она права, только американка была простенькой и скучной француженкой, и ресторан много скромнее своего названия.

– Бывает, что влипнешь. Но вы не подлец, сразу видно. Садитесь с нами, со своими.

Я тронут доверием голубоглазого, не в меру благодарю и сбивчиво объясняю, что без денег.

– Ничего, мы шоферы, извозчики, ну да деньги есть.

Мы задаем друг другу тысячу вопросов. Русские до сих пор не привыкли, что их тьма в Париже, и они взаимно доброжелательны и любопытны, как земляки в казарме.

Даму нашу зовут Зоей. У нее бледное тонкое лицо, густые брови и черные удлиненные глаза – весь тип облагороженно восточный. Прическа на grande beauté, волосы гладкие, сзади узлом и пробор посередине. Но грязные ногти, и не хватает одного переднего зуба.

Мой голубоглазый красив, самоуверен и за всех говорит. Вероятно, в прошлом бойкий студент из провинции, немало потом навидавшийся.

Романа у них, кажется, нет – во всяком случае, оба заняты только мною.

Все это необыкновенно приятно: наконец, после шаткой неуютной ночи верное убежище. Ради прочности его должен доказать, что не «подлец» и не попрошайка. Дома под ключом стофранковки, которые берегу от самого себя. Замышляю план и немедленно хочу осуществить.

– Господа, мы сейчас же едем ко мне, это близко. Вы одолжите на выпивку, хорошо?

Не терпится, тороплю. Голубоглазый неожиданно советует:

– Все-таки попрощайтесь со своей венгеркой.

В последней ложе пир горой. Целую руку, никто не замечает. Вдруг француз с висящими усами, о котором забыл и думать, тяжело встает.

– Je vous emmène.

Он по-товарищески сговаривается с голубоглазым, причем у обоих одинаковые фуражки. Это мне кажется особенно трогательным, высшая точка в нарастании, неправильность и оторванность которого смутно понимаю.

Француз же покупает куэнтро.

3.

Правит он ловко, и очень скоро все у меня, в чистенькой, обычно тихой комнате.

Развешиваю мокрые от дождя пальто, одно кожаное. Зоя ложится на кровать, но сейчас же просит провести ее в ванную. Это неудобно, надо идти через коридор. Объясняю, показываю. Голубоглазый уходит за нею.

Остаемся вдвоем с французом и пьем ликер из больших рюмок. Сочиняю умиленные тосты: о сближающем труде, об «их» к нам доброжелательстве, вообще о помощи сильных слабым и не к месту, зато личное – о доверии в любви. Впервые за долгое время говорю стыдные глупости, которые, знаю, испортят пробуждение.

Француз молчит, скорее одобрительно, и всё более производит впечатление спокойной силы.

– Ах, да, я же вам должен.

– Бросьте, какая разница.

Но в отдаче долга весь смысл визита. Открываю свой личный ящичек с давно исписанными тетрадями. В одной восемь стофранковок. Хочу расплатиться, прошу сдачи, но гость мой джентльмен.

Голубоглазый зовет меня на помощь. Нашей даме нехорошо. Она трудно дышит, опираясь лбом об окно, и плачет. Естественно обнимаю, глажу по волосам. Фигура жесткая, гибкая, худая, что иногда меня трогает.

Ухаживаем за ней дружно и терпеливо, потом все трое возвращаемся ко мне в комнату, где молчаливый француз один перед бутылкой.

Снова укладываем Зою в кровать. Она продолжает плакать.

– Подумайте, дома муж, мои девочки. Господи, какой ужас, какая жизнь. Понимаете, я дрянь.

Кое-как успокаиваю и сам прихожу в безоблачно хорошее настроение. Она засыпает, мы, мужчины, пьем куэнтро, приторный и

противный напиток. Пьянею окончательно и, как всегда во второй раз, легко и весело.

Голубоглазый поддевает меня на спор. Горячусь из-за навязчивого подозрения, что не верят моей искренности.

Светло, семь часов. Мои собутыльники хотят уходить и совещаются, не оставить ли даму у меня. Я не прочь, но себя не выдаю. Как ни странно, отговаривает француз.

Необыкновенно быстро собравшись, гости прощаются и благодарят. Гляжу в окно, расходятся по двум направлениям.

Заснул крепко. Встал поздно с брезгливым чувством, что у меня были чужие, с воспоминанием о себе, чужом и грубом.

На столе бутылка. В кармане смятая стофранковка, которую француз не взял. В ящичке ключ.

Я решил, что не та тетрадь, когда не нашел в ней денег. Но и в других не оказалось.

Де К. я рассказал обо всем, кроме эпилога. Он слушал без улыбки, не то стыдясь за меня, не то очень, по-взрослому, осуждая.

ЖЕРТВА

В КОНЦЕ гражданской войны – кто думал тогда, что конец – я уезжал на юг, от красных к красным, но с поручением, им враждебным. Редко случается такое совпадение приятного и лестного, какое было для меня в этой поездке. Она значила доверие к порядочности и ловкости со стороны тех людей, чье мнение меня как бы ставило в собственных глазах. Утихала совестливая некрасивая грызня с собой, что ничего полезного не делаю, а во мне скучное русское свойство – потребность в душевном равновесии тем более острая, чем оно уязвимее. Наконец – и это главное – в городе, куда я направлялся, находилась с детьми – вероятно, застряла – бедная Валя Н., требовательный, умный, давнишний друг, стыдная любовь моих последних лет, так нелепо обнаруженная – в день ее свадьбы.

Первые медленные версты... Удачное завершение многих заискиваний и беготни; эта поездка, вот удобно осуществившаяся – в штабном вагоне – продолжала удивлять и радовать. Я не мог остановить волнения, возникшего сразу после чьего-то решающего согласия. Мысленно пожимал руки, торопился дообещать еще новое тем, кто меня послал, и благодарил других, доверчиво предложивших командировку. Хотелось и этих не обмануть – мы так легко идем на сочувствие, нас покупает успех, и часто только умом знаешь, кому верен, а иногда и ум оправдывает уже созревшую измену.

Чтобы усилить удовольствие, старался вызвать сравнение, как сейчас и как было бы в Петербурге. Там неподвижная скука в моем военном учреждении, беспросветность, отсутствие поддержки и теплоты. Здесь новые, опасные, неизвестно враждебные люди, новый, милый пейзаж – березки, кусты, осеннее болото – и вовлекающее веселье движения к заждавшимся несомненным друзьям, еще вчера недоступным, и к Вале.

Как всегда в ее отсутствии, казалось, что иначе не бывает, что не может она вдруг возникнуть – тоненькая, важная, рассудительная. И заранее любопытной – невозможной и необходимой – предугадывалась перемена отношений. Вале плохо, моя цель вытащить, помочь, и ей нельзя будет по-старому, уверенно-недовольно наставлять.

Иногда проскальзывало другое – забыть о своем, нужном только себе, проникнуться общим. Но то, более цепкое, уже захватило и понесло.

От горячности думалось: кроме времени, препятствий нет, и как же выдержать эти сорок часов. Нетерпеливость вызывала ту безостановочную лихорадку воображения, которая бывает только наедине – после значительной книги, накануне важного разговора, когда надо и не с кем поделиться – которая принимается за вдохновение и должна во что нибудь разрядиться – или потом принижающая долгая слабость.

Незаметно стал искать, как бы наткнуться на искусственное отвлечение – в трудную минуту мы готовы принять любое. Но рядом с поглотившим меня ожиданием все способы и возможности казались вялыми. Спутники, к которым пригляделся – молчаливые, на одно лицо, офицеры, спрятавшиеся в красном тылу – их много тогда перевидал и как-то стыдился. Насильственные припоминания – каждое приводило к этой томительной поездке, к большевикам, к Вале. Фотографии из чемодана, неуместный, хвастливый роман д'Аннунцио... Я изнемогал от напрасных усилий себя успокоить или толкнуть время.

После Москвы, после жестокой пустой ночи и нескончаемого дня на маленькой станции происходила последняя проверка документов. Черный, без фонарей, вечер, шум близкого леса и ветра, грубые сдавленные голоса, на коротенькой платформе, на рельсах, на мокром песке безобразная путаница, тупые вопросы, ответы, рядом шипящий паровоз и отдельно от него на каком-то пути обезглавленный длинный поезд – во всем этом был для меня кусочек риска, смысл, занятость, нетерпение поневоле забывалось.

Невдалеке шло объяснение: комиссар, гадкий, крикливый мальчишка, и дама. Она, высокая, растрепанная, испуганно доказывала, что пропуск правильный.

– Мы вас отправим, мадам, куда следует, там разберут. Вы боитесь потерять время? Ничего, мы ждали дольше.

Он издевался, подражая взрослым, довольный своей находчивостью.

– Послушайте, товарищ, я из отдела снабжения и могу поручиться. Мы вместе брали пропуск.

Я вмешался раньше, чем подумал, потом появилась, чтобы понравиться и довести до конца, льстивая убедительность:

– Вы не сердитесь, что полез не в свое дело, но жаль допустить ошибку. Сами понимаете, нам лучше иметь друзей – особенно в такое время.

Перевести в союзники его не удалось. Мальчишка оказался жесткий, несговорчивый, и уступил со злостью:

– Как вам угодно. Только на случай чего замечу ваше имя.

Я поднял за веревки и скорее понес корзину высокой дамы, чтобы он не успел передумать.

– Вы меня спасли...

– Да, спасли, спасли, – он неожиданно нас нагнал, – и прозевали место в штабном вагоне. Вы забыли отрегистрироваться в комендатуре, теперь поздно. Счастливого пути, господин благотворитель.

Меня не задевала его озлобленность. Попросту было скучно, хотелось отмахнуться. Я взглянул на нечаянную спутницу: беспомощно-близкая в своей тревоге, очень стройная – я вдруг понял, что буду рядом в темноте, и замирающе обрадовался. Не совсем отчетливо мелькало: ей за тридцать, она крепкая настоящая женщина, ничего не предрешаю – тем приятнее, может случиться, что угодно.

Не предрешать – искусство ленивых, не знаю, как у прилежных. Во внезапном, свежем, неизбежном усилии свой особенный напор: еще не наскучило готовиться, предвидеть борьбу, знать, что так именно поступить нужно. А тогдашнюю перемену настроения теперь объясняю просто: есть полоса молодости – я бы сказал, садическая – когда слезы нравящейся хоть немного женщины, чужое грубое с ней обращение вызывают не жалость, как у взрослого, а злорадную отраженную чувственность. Вот и я нес тяжелую корзину незнакомой дамы, измученной, вероятно, избалованной, и предвидел – точно и страшно – ее безвыходное согласие в грязном вагоне, среди спящих солдат.

В вагоне, действительно набитом красноармейцами, был дикий воздух: жарко натоплено и смешанный запах кожи, махорки и потных ног. По опыту утешился – привыкну.

Я бросил вещи в угол на третий этаж, почти сплошной, составленный из верхних полок, взобрался и помог взойти моей даме, всё время тихо благодарившей. Она сняла и разостлала длинное черное пальто, потом вынула другое, непромокаемое, и скатала в виде подушки.

– Знаете, нам будет совсем удобно.

2.

Я лег спиной к солдатам и свободному пространству, оттеснив спутницу в самый угол, и, казалось, мы безмерно отделены от других, всё разрешается и будет неузнано. Обняв ее за плечи, приблизив, я вытянулся грубым деревянным движением. Ни участия, ни сопротивления не было, и только руками – ледяными – она дотронулась до моего лица, причем осталось непонятным, что выражало это прикосновение. Не разобрал также, от чего именно (или от всего вместе) – ощущения ледяных рук, от увиденного вблизи слоя пыли, морщин, забот, от пронявшей насквозь беззащитности или от пугающего стыда, что вот уже подошло – неожиданно для себя я протрезвел и отстранился. В нехорошей безнаказанности всегда чувствуется западня, стерегущая нас опасность, скрытая справедливая месть, и часто мы в последнюю из поправимых минут, подготовив, добившись, слабеем, и вдруг безрассудно бежим.

И нападение и уход произошли так естественно, что мне не могло стать неловко. Повторяю, ее настроение не передавалось. Вероятно, она устала и обессилела, насколько человеку можно, и поддалась свалившейся вовремя опоре, готовая одобрить что угодно. Конечно, дружеская бескорыстная услуга в такой обстановки милее, спокойнее, но уверен – в ней, полуживой, неоттаявшей, никакой перемены тогда не случилось, и дальнейшее не было связано с теми странными минутами. У меня же возникло впечатление своей жертвы, умиленность перед собой, и я как бы оттолкнулся от грубости к благородству и доброте.

Вскоре записал наш ночной разговор и, недавно перечитав, удивился, сколько припомнил сверх записанного. Еще более удивился, как это непохоже на меня, обыкновенного и теперешнего. Но не стыжусь ни одного слова, одобряю, даже грущу – значит, не кривляние, не ложный подъем, и я бы мог остаться таким – лучше, мягче, терпимее себя. Вероятно, если бы женщины и обстоятельства вдохновляюще поддерживали, а не заставляли настораживаться, всегда бояться незаслуженной грубой выходки и шаткости каждого отношения, я бы выровнялся по той, оказавшейся исключением, ночи.

Много говорено про наши возможные «образы», их сочетания и случайный выбор. Но страшно знать одну такую свою возможность, самую нужную, навсегда утерянную и всё же несомненную, раз ее так скоро вызвало первое женское доверие.

Мы говорили тихо и легко – от простого благожелательного усилия обоим сделалось удивительно ловко. Незаметно, кажется, сразу рассказали друг другу о себе. Выяснилось, что моя спутница – баронесса Бернсдорф, у нее недавно убили мужа, вероятно, нелюбимого, ей некуда деться и пришлось отправиться в один со мной город – к сестре.

– Не понимаю, кто хуже и кто лучше в этой резне. Ужасно, что убивают. Я шесть лет слышу – того убили, и того, и еще новых. Родственники, мальчики, которые ухаживали, все подряд. Первый, помню, наш кучер. Неужели не вмешаются, не заставят остановиться?

– Но ведь теперь кто-то один начал, одна сторона.

– Может быть. Вы, вероятно, правы.

– А меня вы не приняли за большевика?

– Сами знаете, что нет. Но неужели вам это важно?

– Странно, как у вас, женщин, нет чувства чести. Нам, конечно, важно, где и с кем быть, и отчасти из-за ответственности перед такой, как вы.

– Что же, мы должны поощрять – рыцари и дамы. Но это скверная выдумка моих разбойничьих предков. Я и сама раньше не понимала и восхищалась. А вы очень милый и совсем не вояка, как хотите казаться, как вы все хотите казаться.

В иных условиях меня бы это задело. Но то, что она, уютно приподнявшаяся на локте, потеплевшая, рядом, невольно смягчало, сближало, наши мнения перемешивались, искали общего, я забывал, что ее, что сам думаю, нам хотелось поощрить, принять лучшее у другого.

Постепенно привык к темноте и подробно разглядел: взволнованный больной румянец, карие, чуть навыкате, разгоряченные глаза, темные, с сединой волосы. На руках, на лице, на черном платье копоть от дороги – это не унимало возникшего опять влечения, иного, не требующего и беспрерывного. Так бывает: если чувственность выйдет из нежности, она терпеливая, ищет душевной близости и боится помешать. Притом каждая следующая степень душевного схождения, всё, что трогает, ею усиливается, она – как фон картины. И одинаково в любви и в тех несчастных случаях чувственной нежности, которые вне любви.

Разговор продолжался сам собой, то опережая нарастающую близость, то в стороне, то становясь отдаленным ее отражением.

– Вот вы так цените доброту, отдачу себя другому – почему же вам не по душе жертвенность, жертвенная борьба, пускай ошибочная.

– Не знаю, надо иначе. И потом, каждый надеется, что именно он уцелеет.

– Пожалуй, да. И еще в одном вы правы – раз борьба, нет смирения. А главное, мне удивительно не хочется спорить. Как странно и уютно с вами, точно всё это для нас подстроено, и мы нечаянно прилепились к чему-то большему.

– Боюсь минут и секунд – вот-вот оборвется. Когда вдвоем хорошо – сколько раз замечала – входит третий, и с ним у одного непременно будут пересмеивания. Они ужасно обидные и отнимают всё, что было. Но вам я решила верить.

– Конечно, верить. Я не только вас не огорчу, но из-за вас и другие... Вы улыбаетесь – слишком сладко?

– Нет, говорите – мне невероятно спокойно.

Она выразила и мое состояние: спокойствия, благотворного отдыха было больше, чем значения в наших словах, однообразных и случайных. Всего не стоит передавать. Как счастливая полоса любви, всякое умиленное согласие облагораживает, возвышает, но и беднит: в нем мало оттенков, еще меньше противоречий, и неоткуда брать выводы. Между тем память какие-то выводы приписывает и нелепо преувеличивать – из-за дурного настоящего, из-за той незабываемой внутренней дрожи, которая каждому душевному движению, каждому легковесному слову придавала в свой час видимость смысла. И всё же повторяю: в таком безукоризненно надежном согласии, в длительной верной поддержке находишь другое – то, чем стать, окраску последующих отношений.

Эти мысли пришли теперь. Тогда я только мог наслаждаться подаренным неожиданно покоем, тихой поддержкой, отсутствием всегдашней придирчивой озлобленности.

Постепенно обозначалось утро – тоненький, пронзительно холодный свет. Поезд ненадолго остановился, солдаты вылезли, наш этаж почти опустел. Ночной уют разрушался. Мы прикрылись моей шинелью до глаз и, вздрагивая, жались друг к другу. От этого влечение росло и приказывало что-то наверстать. Неискренно с собой и вполне убедительно я предложил поцеловаться, по-доброму, надеясь на чудо и зная, что оно невозможно: моя спутница не поможет, я сам связан прежним бездействием, и к тому же, случись чудо, оно и моему успокоению напортит. Все-таки двойственно – и нежно и скрыто-остро – ощутил ее полные теплые губы. Казалось диким больше не встретиться. Чтобы обеспечить себя и самому ничего не

предпринимать, одолжил ей книгу д'Аннунцио и указал, забыв о непоследовательности, Валин адрес. Мы говорили еще долго – чем более светало, тем тише.

– Вы все-таки мало обо мне знаете. Я была когда-то проще и веселей и редко задумывалась, а теперь всё кажется неспроста. Вот на днях испугалась: в трамвае старуха, настоящая ведьма, маленькая, горбатая, и на груди огромная эмалевая брошка – голая до талии женщина, прелестная, с распущенными волосами. Что это значит?

Следовало оправдать доверие к моему мужскому всезнанию. Я мог объяснить, что в таком наивном противопоставлении опасная сила, которую люди вызывают нарочно – с целью, по капризу, иногда по безумию. Напрашивалось, что и у нас случайно вышло похоже – тот же странный разбег от противоположного – от грязи кругом, от гадкого времени, от моего первого решения – и тем более по-иному кончилось. Но мысль, уже избалованная, усыпленная долгим мягким поддакиваньем, предпочитала лениться и путаться. Вместо ответа прижался, и опять показалось, что всё объяснено.

– Неужели ошибка? Ну, увидим – вы такой или ночь такая.

3.

С Валей очень скоро стало, как всегда. После первой радости и благодарности незаметно вернулись маленькие обиды, нападения, трусливые уступки. Мы оба помнили о том, трудном, на что я вызвался для Вали, она – голой памятью, я – по новому горячо, почему-то теперь надеясь и требуя. Но никакие заслуги или усилия не могут изменить установленных прежних отношений, не прибавят любви, если к ним не примешается кусочек того, еле уловимого, что влияет на любовную ответность, и чего у меня с Валей никогда не было.

Опять приходилось завоевывать каждое одобрение, каждую улыбку старанием почти сверхсильным, заставляя слушать остроты и наблюдения и непрерывно восхищаться. Если слабел, Валя сразу морщилась – она ко мне справедлива, но придирчива, и не прощает ошибок. По-прежнему для нее одной копил выигрышные выражения и часто наедине, как писатель без тетради, гнал мысли, боясь, что забуду, что они пропадут зря.

На этот раз, чтобы не признать моей ловкости и заботливости перед буржуазным, чересчур напуганным мужем, случайно без нее проскочившим за границу, Валя даже не всегда была справедлива. Она

нарочно не пускала со мной обеих своих девочек – нельзя доверить – и высмеивала планы о себе, соглашаясь как бы вскользь.

Все-таки мне повезло – я вынужденно поселился у Вали и мог быть с нею, сколько хотел – без ревности, без соперничества и борьбы. Конечно, распределял время, чтобы не упустить возможного получаса с ней, и удивлял несуразными свиданиями почтенных людей, принявших меня всерьез и, пожалуй, несколько снизу вверх – с ними поневоле установилось соотношение провинции и столицы. Вообще, многое сбылось, о чем мечтал в начале поездки – лестные разговоры, довольство собой, возвышение перед Валей.

Прибавилось еще приятное обстоятельство: по тогдашним условиям Вале приходилось меня кормить, волноваться, достану ли пайки, спрашивать, вкусно ли она приготовила. К ней же обращался, прося пришить пуговицу или утром разбудить. Правда, мы и раньше не стеснялись, сохраняя меру, но теперь доброе сближающее товарищество оказалось единственно разумным, а разумное для Вали свято. Она выполняла всё несколько удивленно, иногда сердясь, для показа, для меньшей чувствительности, иногда – с искренней злостью. Меня ее заботы окончательно подчинили, лишили последнего сопротивления и независимости, я следил за каждым своим движением, чтобы не испортить, а особенно боялся смешного.

Кажется, на другой день после приезда Валя сообщила, что в мое отсутствие была «некая кикимора в черном», очень хотела меня видеть и оставила роман д'Аннунцио: – «Ты уж постарался ученость показать». Я, конечно, не мог ничего объяснить про ночное знакомство. К тому же, попав, хотя и в чужом городе, но благодаря Вале, в давнюю, продолжающую прежнее, колею – я всякое отступление от этой колеи припоминал, как сон, а лица, в нем снившиеся, становились призраками. Правда, во многом хотелось разобраться и знал, что разберусь, но из-за приятного спокойствия, из-за Вали – позже.

Пока же радовался, что освобожден от последствий приключения, навсегда конченного, от этой лишней и мрачной женщины, и что еще более целиком остаюсь с Валей. Раскаяния не явилось – мы так естественно ради одной жертвуем достоинством другой, и своим, и негодующе удивлены только, если жертвуют нами.

Рассчитал я неверно: «мрачная женщина» пришла еще раз, через неделю, во время нашего ужина, и я же ей открыл дверь. Она была, конечно, в черном, большая, очень грустная – я мельком подумал о нарядной Валиной бодрости. Но немедленно стало безвыходно. Валя

из столовой нетерпеливо кричала: «Кто там?» Повести пришедшую туда, на посмешище, соединять вовне двух женщин, столь для меня разнородных, нужную и скучную, живую и мертвую, эту предать и все-таки не избавиться от многодневных, легко добивающих колкостей было немыслимо. Пройти в мою комнату, где Валя тоже нас прервет и потом, вечером, найдя к чему, другому, придраться, поссорится и замучит – выходило еще страшнее. С досадой думал: хоть бы мы случайно встретились на улице, не в спешке и без Вали – я бы сумел объяснить, доказать, уменьшить обиду. Но так лишь возрастала нелепость положения, я отвечал Вале «сейчас, сейчас» и бессмысленно оправдывался перед гостьей: «А мне сказали, что вы уехали».

Она, вероятно, только теперь увидела перемену и смутилась больше моего. Помню, что посмотрела прямо, очень выразительно, не стараясь скрыть страдания – и вышла. Впоследствии в ее выразительном взгляде уловил переход от упрека к гордости и откуда-то возникли скомканные, сконфуженные ее слова. Боюсь, что это – обычное округление событий, которое так неразъединимо сливается с ними в памяти. С Валей неожиданно обошлось легко, и вечер, как почти все вечера, мы провели за картами – шутливо и уютно.

Но воспоминание о бедном взгляде заставило добросовестно восстановить всю поездку – лихорадочный пыл вначале, поиски разряжения, как незнакомая женщина его дала и грубость сменилась добротой, может быть, случайной, приготовленной для другой, которая одна и выиграла. И верно: благодаря столь нужному, счастливо найденному отвлечению нетерпеливая нежность к Вале не ослабела и не распалась. И сколько ни возмущало неравенство, особенно в возможном применении к себе, я натыкался на простейшие законы любовно-животных отношений: кому-нибудь суждено быть до конца в выигрыше, другому – до конца жертвой, и никого не уравнивает произвольное чередование ролей.

Еще упрямее старался думать, почему мне выпал трудный опыт с Валей, а не мягкая возвышающая верность этой новой, с которой было целую ночь безукоризненно и могло так остаться навсегда, если бы не Валино существование и не моя с Валей встреча и связанность. Но тут уже конец всякой пытливости – и только страшно.

МЕЧТАТЕЛЬ

1.

МНЕ случайный знакомый, мальчишка, рассказал, что Вы в Петербурге, среди немногих, кому повезло, что Вы по-прежнему изящны, у Вас те же и новые друзья, и с ним как раз частая переписка. И мне пора назвать себя, довести до Вас странную тайну, сохраненную в трудные, невыносимо грубые эти годы.

Ведь должно кончиться чудо Вашей затянувшейся молодости – простите за правду, Вы умная. И мне давно время постареть, опуститься, не ждать. Пускай трогательным, но ненужным, смешным было бы наше позднее объяснение. А так всё же видимость достоинства и надежды.

Вы обо мне не имеете представления, я Вас не любил и не люблю и однако, я не склонен искусственно придумывать или вдохновенно воображать. И разве можно воображенное не утерять за столько лет?

Вероятно, Вас искало и нашло то сложное неопределенное мое состояние, которое называется готовностью любить. Не будь Вас, оно бы направилось на другую. И после Вас подвернулась другая, и еще одна, и третья, и с ними уточнилась, возросла, может быть, исчерпалась беспорядочная душевная щедрость. Но Вас из-за дурной судьбы она еле коснулась, а с ними портилось, потому что могли быть Вы.

Естественным – пусть медленным и трудным, как всё у меня – было Ваше возникновение среди безвыходности последних петербургских месяцев. Улыбаюсь, думая о себе, как ходил по Вашему пути и пугался возможных встреч. До чего хорошо, если в новое вовлекаешься естественно и незаметно. И почему каждому суждено обязываться, потом безнадежно хватать из пустоты.

В Вас сразу было две силы – женская, ошеломляющая, и поэтическая, конечно, моя, мной найденная. И удивительно! Никогда у меня не сливаются «куски жизни» – не помню, кто сказал – и неизбежное отражение. Оно достаточно свободное и оторванное и непременно между ними полоса отдыха, отвлечений, снов. Но вот, с первого Вашего появления, Вы досягаемая женщина и Вы героиня, одно усиливает остроту и отраду другого, и это поразительное соединение – разгадка, почему Вы не потускнели в памяти.

Прежде в таких случаях говорили «вечная любовь» или «любовь небесная». Мы стали добросовестнее, трезвее, мельче. Но и у меня это кровное, живое – замолчать нельзя. А Вам узнать, как Вы нечаянно вызвали старинную скрытую силу, любопытно.

Я Вас видел три раза за те полгода. Сперва в «Привале». Это единственный случай, который и Вы могли бы припомнить. Мне показалось тогда – знакомая. Из чахоточной санатории. Но откуда сияние, совершенство простоты, бархатное спокойствие?

Сходство бесспорное, только всё Ваше, мягко удлиненное, в той выступало углами. И вот, я могу поймать неуловимую нелепую связь – Вас обоих во мне – от первого неверного впечатления. Мне сразу же пришлось Вас окончательно разделить – простите за неловкое выражение. Сознание различало: Вы, спокойная, властная, она – надоедливо, скучно несчастливая. Тем неожиданнее о Вас стихи:

А мне Вас жаль, худые Ваши руки:
В них столько ждущей Вас и столько прошлой муки –
Мне бесконечно жаль.

Это ее «руки и муки». Ваша рука – изящная, стройная, безукоризненная. Но я невольно, не кривляясь, желая через жалость завлечь любовь, Вам писал. И стихи тяжелые – не умею выразить того, что в себе слышу. Теперь убедился, а тогда еще без колебания верил.

В «Привале» кисло в тот вечер, холодно, поэты бродят непристроенные. Кажется, всего два занятых столика, наш – довольно наглые молодые люди – и Ваш. Мы от скуки, и чтобы показать знакомство и влияние, уговариваем поэтов выступить. Они не очень рады знакомству и едва отвечают. Вы, наперекор времени, еще петербуржанка хорошего тона – замечаете только своих, Вам безразлично, имеются ли другие, и будут ли Вас забавлять.

Как вы сидите, мягко наклонившись, по-старинному грациозная, как поднимаются вместе с бокалом картинные пальцы, какое у Вас лицо, бледное, изящно удлиненное, и ровный блеск темных спокойных глаз и черных волос, как уютно из-за Вас у Вашего столика – это видение самое живое и теплое в моей памяти. Перехожу в восторженность, мне не свойственную, и досадны слова, неспособные передать именно эту позу, что-то раз и навсегда за меня решившую. В старых стихах и дневниках помню Ваши описания, более жаркие, более сложные и подробные – выходило одинаково непохоже.

Вероятно, было что-то духовнее, одухотвореннее слов. Люди прежних времен, преувеличивающие, непривыкшие жить без опоры, сказали бы «божественное» и на такое видение перенесли бы утерянную веру. Говорю «утерянную» – у кого же сразу две веры?

А у меня нет ни одной, я дальше в поисках правды и несчастливее их. Но и со мной разыгралось подобие той игры – потери и замены. Без громких предположений – утрата очаровательной, едва показанной, едва попробованной жизни.

В сущности, о главном я рассказал, вернее, снова на нем споткнулся. Можно остановиться, но теперь Вам и самой хочется разузнать, чем кончилась первая встреча, как произошли другие, незаметные и для меня важные, сколько Вы значили, значите, чему вдохновительница.

2.

Продолжилось ли слияние Вас и той санаторской знакомой или я нарочно себя уговорил, или придумал предлог подойти – сейчас уже не помню. Толчок, необходимость – это шло от меня, силу преодолеть смущение придавали мои молодые люди, не подталкиванье их, не смешки, а тот беззаботный хвастливый задор, который доводит до гораздо худшего.

Подойдя, я нагнулся к Вам и спросил что-то о санатории. Это вышло неубедительно и для той удивительной ночи кощунственно. Но Вы неожиданно помогли, Ваше ответное недоумение было таким любезным и благосклонным, как будто я мог и должен был подойти и ошибиться. Не делаю ложных приятных выводов – вы отвели мое выступление вполне по-светски. Но осталась надежда: неуклюжесть сглажена, Вы меня отметили и вдруг не забыли.

Вторая встреча в театре, я в большой и громкой компании, наша ложа – центр. Вы в соседней ложе. Ужасно мало помню. Вы стоите в коридоре, отсутствующая и чем-то поглощенная. Я стараюсь показать остроумие и оживление. Это, должно быть, один из последних спектаклей с подобранной прежней публикой. Мне приятно, что мои знакомые, я сам не хуже других, что мы одного круга с Вами. От того, что веду себя уверенно и обыкновенно, как другие – ничего неправильного, слабого или смешного – начинаю надеяться. Обманчивая простота Вашего соседства, доступность дружбы, как доступными кажутся чужое близкое богатство, везение или способности – и я хладнокровно откладываю, будто бы по своей воле, то, чего всё равно

не могу добиться. Не знаю, придумались ли потом или действительно были случайно запомнившиеся подробности: бронзовые туфельки, суетливость Ваших друзей, что Вы нервничали...

Вам кажется непростительной моя забывчивость. Но она должна убедить, насколько всё письмо не Dichtung. Ведь творить – это легкомысленно сочетать бывшее и возможное, свое и чужое, это широта произвольно растяжимая. А вот держаться правды, ограничить себя совестливой передачей обрывков, непонятно расклеившихся в памяти – Вы сами видите, до чего выходит бедно.

Третья встреча – можете смеяться – манифестация за Учредительное собрание. Ее разогнали. Толпа бежит по разным улицам – и по нашей. Какие-то люди поднялись к нам в четвертый этаж – спрятаться, переждать. Нарочно, им назло спускаюсь и остаюсь на ступеньке подъезда. Мимо меня особенно тесное движение: каждому хочется безопасности, вот так спокойно идти по своему делу, тротуары как бы защитный цвет. Неожиданно Вы – почему Вы – вдвоем с приятельницей пронеслись, тяжело дыша, и тут же исчезли. Лицо у Вас в пятнах, погрубевшее от страха.

Это воспоминание нисколько Вас не роняет. Напротив, Вы ближе, и весело улыбаюсь, как ошибке учителя, как шалости тихого ребенка, шалости нерассчитанной, испугавшей его самого.

Больше Вас не видал. Рассказывать, какой Вы были после, вдали от себя – это целая молодость и начало зрелых лет. Выберу немногое, запомнившееся острее.

Бегство и тюрьма в пограничном городе, где никто не поможет. Ощущение брошенности, гнетущей потусторонности. Трудно передать, что было, никогда не мог эти два месяца воскресить, как невозможно живому видеть, осязать смерть. Между тем за все годы спешки и вечного страха что-то позабыть и растерять, тюрьма – единственная остановка. В обеспеченно медленных тюремных днях могло обозначиться прояснение, которое осталось бы на потом. Очевидно, не сумел привыкнуть: мешало незнание, когда и чем кончится, то шалая надежда, то глупый голод.

Нас столько набилось народу, что ночью на нарах люди «ворочались по команде». Общество темное – контрабандисты и самогонщики. Почему-то не было других, хотя бы из пойманных беглецов.

Я подружился с двумя. Один – недовольный большевик, фельдшер, измученный мягкий человек. С ним разговоры о ненужности зла и мести, о прощении, о добре. Мне страстно хотелось выбраться

из грязи, задобрить судьбу, поверить в хороший исход, и от жалости к себе возникала потребность утешать – не этих скучных бедняков, нет, кого-то подлинного и далекого, сладко сливавшегося с Вами. Другая дружба тоже приводила к Вам: гвардейский солдат, родные петербургские имена, восхваления прежней жизни. Я понимал их призрачность и слабел – напоминание о невозможном в такой обстановке, в эти решающие дни.

Иногда подолгу воображал, как в детстве – подробно, уютно, не видя неисполнимости. Это выручало, и в окончательно скверные минуты говорил себе, сперва иронически: ну, попробую, она... Воображению помогало ходить, и вот, без конца шагаю взад и вперед. Я не один, и нам не стыдно остальных – в тюрьме мало считаются и не мешают.

Кажется, я вел себя прилично, не заискивал на допросах и со всеми ладил, оставляя холодок. В спорах меня спрашивали – тогда хотелось, чтобы Вы подсмотрели и похвалили.

Давно знаю: я безопорный человек, с навязчивым страхом одиночества и несвободы. Любое против себя усилие – скажем, заучивать, читать, переносить опасность – я сразу отрезан от всего света, заманчивого, другим доступного. И терпеть должен ради кого-то, воображая приход и сочувствие.

Неожиданно и без оснований меня выпустили. Первое впечатление – отодвинулся, исчез предел, и нет конца возможностям и времени. Удовольствие выбирать собеседника, знать, который час, вкусно обедать значило меньше, чем эта беззаботность, пустая и легкая. Она вытеснила остальное: тяжести, определенности, даже Вас – не стало.

Уверен, иным дается навсегда то недолгое мое состояние. Его не объяснить – какое-то качание в такт событиям и дням, оттого удачливость и ни одной тревоги. Повторяю, оно длилось недолго. Вот поймите: не гонюсь непременно за плохим, но не люблю быть счастливее себя, изменять чему-то трудному, мне положенному. И тогда, среди легкости и беспечности, вдруг захотелось к чему-нибудь притянуться, вспомнить, погрустить. Отчетливо, опять по-старому, Вы возникли и ускоряли неизбежное протрезвение. А я, в новой стране, с чужими людьми, оказался всегдашний – неспокойный и тяжелый.

С тех пор бывала всякая беспорядочность – захлебывание удачей, полоса какой-то затравленности. Я шатался, мудрил, не искал – вернее, колея сама неожиданно находилась.

3.

Мальчик, о котором писал вначале, часто ко мне приходит. Как многие молодые люди из России, он самонадеян и грубоват. Я бы с ним перестал встречаться, но он один знает о Вашей жизни, видел маленькие приемы, гостей и платья, получает длинные письма. Последним не верю – они скорее коротенькие и редкие – по взятой на себя обязанности, чтобы еще один помнил.

Его рассказы поверхностны и недостоверны. За ними, вспоминая давние взволнованные мои расспрашивания, с трудом устанавливаю, как на самом деле. Все-таки стараюсь поощрять, не очень себя выдавая.

По-видимому, Вы центр уцелевшего утонченного круга. Гостеприимный дом, не мешающий муж, друзья довольно подобранные, с каждым кусочек отношения. Случайные люди тоже должны верить Вашей теплоте и безукоризненной заботливости. Мой глупеныш, пожалуй, на том и удержался.

Любопытно, ни он, ни кто другой о Вас скверно не сплетничает. В переводе на условный язык Вы «хозяйка салона», а не «любовница».

Точно представляю свое место при Вас. Вы – обыкновенная женщина, в меру умная и злая, с поэтической внешностью, со смутной потребностью ее оправдать, не слишком себя связывая. Меня до сих пор – совершенно напрасно – считают скрытым поэтом, возвышенным и сложным. Моя влюбленность – какое удобное доказательство Вашей возвышенности. На людях идиллия, наедине ничего не добиваюсь по мягкости и слабости, и Вы на мне еще срываете недовольство трудной ролью.

Вам жаль, что я стараюсь вскрыть незаслуженность, незаконность мною же расхваленного выбора, Вам досадно это упорное вглядывание и кажется, будто я ошибаюсь. Вы правы, стоило ли так трогательно начинать, чтобы кончить развенчиванием. Мне не хотелось Вас огорчать, но, однажды прозрев, не могу ослепнуть. В этом моя современность, причина неверия, нелюбви, того, что вознес Вас наполовину – теряю и нахожу.

И все-таки, какая бы вы ни были, какой бы я при вас ни оказался, страстно жалею, что обстоятельства нас не столкнули. В нашем схождении, в моей «самоотдаче», мало Вам нужной, приятной между прочим, есть что-то правильное, окончательно устраивающее каждо-

го из нас. Этого не доказать. Возможно, что мои такие решительные утверждения – позорная выдумка. Но столько лет уверен в какой-то своей о Вас правоте, столько лет отчетливо вижу то, что так хорошо сейчас называть осязаемыми словами – а за годы нельзя не простить. Подумайте, половина молодости, притом более страшная, более горькая и ответственная.

Мне хочется вспомнить еще случаи, когда особенно сильно тянулся к Вам. Выходило, как будто из-за женщины, из-за плохой любви, как будто спасаюсь от грубости и от ревности. На самом деле то же, что после тюрьмы: попав в тупик, в область чужую и бесплодную, среди разлада ищу с Вашей помощью верный тон.

Лето, маленькая гостиная в пустой квартире, тесный жаркий диван. Она – холеная иностранка со страстностью осторожных женщин, терпеливой и ненасытной. У нас давнишняя игра и теперь медленное наслаждение от того, что наконец дорвались, никто не помешает, и не будет борьбы. Она снимает, отстегнув, чулок и с улыбкой протягивает полную ногу – прохладная, мягкая кожа, ослепительный педикюр.

Неожиданно позвонили: что это – недоразумение, письмо, муж? Она неузнаваемо потускнела, сгорбилась и, схватив туфлю и чулок, грузно хромая, поскакала в спальную. У меня даже не досада – чувство такой тоскливой отчужденности, такой недоступности настоящей жизни, что хочется всё кинуть, запереться и застыть. По живому режет секундное сознание: мне суждено знать верное, идти по неверному. Снова звонок настойчивый. С горьким безразличием, не спеша, иду открывать.

Я не предвидел, что эта чужая, себя навязавшая женщина – после такого начала – захватит, исковеркает волю, будет долго мучить. Бывает полоса – длинный скучный день, вечером какая-нибудь заботливость. Привыкаешь ждать, сперва с досадой, что надоело, что рад бы избавиться. Потом легко получаемое сочувствие, искусная соблазнительность избалуют, и случайный перерыв поразит, докажет, как невыносимо снова впасть в одиночество.

В том, что дается и отнимается, незаметно опасная сила, одинаковая для больших и маленьких. Стоит ей подчиниться – и уже никак не вырваться. Нас подстерегает чужое желание, если оно густое и настойчивое, намеренная или нечаянная игра. Чаще всего мы сами создаем привычку и ее лишение.

Вот и я, по беспечности, по лени, из вежливости, сам окружил себя одним, исключил остальное. Разыгралось до смешного просто.

Но чувство получилось, как после самоуговаривания, как из необходимости – с трещинкой. Эта трещинка искусственности сказалась особенно на плохом.

Его и было больше, всё, что бывает, – страх, потом очевидность охлаждения, соперничества, потери. Но я не мог до конца горевать, не имел права себя распустить на отчаяние именно из-за смутного ощущения, что не то. Выходило достойнее, как всегда, если напрягаешься и себя пересиливаешь, но тяжелее – ни смысла, ни опоры.

Мне так приятно Вам писать правду, что не могу скрывать: всё это происходит теперь. У меня самое унизительное для мужчины время – выпрашиваю встречи и объяснения и ничего не могу объяснить: неблагожелательность мертвит, спутывает самые убедительные, столько раз себе повторенные слова. Я всё знаю – и что не должен видеть, и когда следует уходить, и как позорно стараться дотронуться, вызывая одну брезгливость, и как стыдно напоказ удерживаться от слез. Ей, самодурной, до суровости сильной и нисколько не чувствительной женщине, ясной европеянке, мешает, давно уже не льстит, моя пресная покорность. Она так далеко ушла, что и ревности не вызвать. И все-таки злорадствую: у нее уверенность, что я ее любил, люблю, что она единственная. Между тем она заместительница, Вам же, кажется, стоит присниться, чтобы с корнем, навсегда, без единого воспоминания, ее вырвать. Появись мы с Вами рядышком, ее ударит: вот настоящее, несомненное, жаль...

Вам смешно – детские мечты, маленькая любовная перед собой месть, письмо разгадано. Не буду Вас убеждать, не ради того пишу. Но так ясно иное, я так уверен, что и Вы поймете. Со всей прямотой говорю: да, есть и попытка мстить и детское воображение. Может быть, от них – поверхностный толчок. А дальше и вглубь упрямое, единственное желание немедленно, сейчас же до Вас добраться, и эта безнадежность сильнее того – о ней отчаяния. Правда, не забываю злорадствовать, что эта безнадежность сильнее, но в нас столько сочетается и одно так не умаляет другого.

Я часто думаю о людях дела. Они не боятся унизительных повторных просьб, они через скучные препятствия видят результат. Почему же у меня в самом важном нет выдержки добиваться – идти напролом или хитрить.

Вот и теперь вы около меня, с вашей помощью снова освобождаюсь от большой боли, становлюсь на какое-то грустное и мудрое свое место. С собой справиться хватает воли, и все-таки не переброшу ее

на внешнее, не постараюсь Вас увидать, построить ту нашу неравную правильную идиллию.

Вам было суждено звать издалека, разрушая привлекательность простого уюта. Во мне ослабела потребность того, что из-за Вас кажется половинным и некрасивым счастьем. Но самый жар молитвенных порываний, непримененной доброты, сохранен и скажется. Пока темные поиски, глухая работа, только возможность новой замены, в которой – знаю – мое призвание.

Я устал и как-то особенно неспокоен – может быть, из-за тона письма: честность, не вызванная отношениями, легко их прервет, а я пишу, чтобы они были. Все мы одинаково нуждаемся в чем-то вроде женского благословения и сами не рады, если добьемся его обманом. Видите – напрашиваюсь, чтобы Вы ответили, похвалили за искренность, обнадежили.

Во мне мало гордости – буду считать дни.

ДВЕ СУДЬБЫ

1.

У НАС, теперешних людей, нет легкой, обыкновенной, связанной жизни, и прошлое наше расколото: сперва один воздух, потом другой – горше. Пускай старые еще окружены прежним, а у молодых оно вытеснено, забыто – им же спокойнее. Но мы, стареющие и начинающие стареть, мы совместили обе невероятные крайности, часто их сопоставляем и тогда готовы просто улыбнуться тому, до чего они в нас и живы и раздельны. Только это не поражает нас раздвоением и слабостью, скорее придает новую медленную силу – от всего охваченного, от самой возможности прежнее и новое головокружительно-наглядно охватить. И каждый раз, как в трезвые наши дни чудом ворвется что-то из того, счастливого, воздуха – воспоминание, случайно ожившее, или человек, давно не виденный – мы по-тяжелому вдохновеннее и сильнее.

Такая неточная, еле уловленная последовательность иногда нечаянно промелькнет, обрадует – что-то найдено – и вдруг досадно забудется, пока громкий запоминающийся повод к ней опять не приведет, чтобы уже надолго закрепить. Вот эти слова о сопоставлении – боюсь, не довольно ясные – тоже как-то мелькнули, затерялись, и случайный повод, их воскресивший, недавняя встреча, сперва очаровательная, затем горько и странно обернувшаяся. Я собирался к людям, к едва знакомым, и заранее предвидел покорную скуку, которая всегда у меня бывает, если должен следить за разговором, придумывать ответы, занимать – только в минуты разряжения и лени, став зрителем, себя распустив, я любопытен к чужому и новому и чему-то учусь. Но в том случае следовало подтянуться – на всё время и без малейшего отступления.

Меня заставил пойти приятель, склонный в каком угодно кругу «искать человека», преувеличивать и потом непременно делиться своей «находкой». Я чересчур сам чувствителен ко всякому недоверию, спору или насмешке, чтобы еще других расхолаживать и обижать – и вот нехотя подчинился.

Совсем непонятно, откуда взялись у моего приятеля преувеличенные надежды и обещания – я немного знал хозяев, по ним судил о гостях и мог легко предсказать, какой будет тон и разговор: сначала

о книгах или картинах (остатки всем надоевшей светскости), потом о единственно нужном – сколько такой-то зарабатывает и почему устроился лучше других. Вероятно, всё так именно и происходило, но я ничего не заметил и забыл о своем решении подтянуться, о предвидении скуки, о времени, поглощенный одним – что близко от меня Нина Павловна Р., петербургская дама. Я помню ее с довоенных балов, с подстроенных мною, будто бы нечаянных, встреч в желто-зеленом дачном поезде, и еще теперь холодею от тогдашней какой-то благословенной недосягаемости. У каждого есть воспоминание, всё по-новому трогающее и столь остро сохраненное, что даже в мертвые дни, даже будучи вызвано искусственно, оно от первого усилия, как заколдованное, оживает. У меня одно из немногих – бальный зал, где мы, неведомые студенты, восхищенно шепчемся в своем глухопровинциальном углу, а Нина Павловна проходит мимо нас, рассеянно замкнутая, высокая и худая, и трогательно обнажена разрезом платья крепко-округлая нога.

В Париже недосягаемости нет, русские произвольно и скучно перемешались, и любые сближения, самые нелепые встречи стали возможны. Вот здесь, за столом, почти напротив, Нина Павловна, казавшаяся раньше полупризрачной, далекой, воображаемой, сейчас воплотившаяся и чудесно на себя, прежнюю, похожая – тот же маленький нос с горбинкой, спокойное бледное лицо, та же рассеянная вежливость, за которой редкая, каждый раз ошеломляющая, непонятная нам женская независимость. Нина Павловна улыбается – всем одинаково – легким шевелением губ и блеском равнодушных глаз, никого кругом не замечая и не вслушиваясь в отдельные слова, как будто она иностранка, не знает нашего языка, но доброжелательна и тактична. Я настойчиво ее разглядываю, не торопясь – времени сколько угодно – и наслаждаясь тем, что она рядом и не может противиться моему настойчивому разглядыванию. Этим довольствуюсь: я больше всего люблю то разгоряченно-мечтательное состояние, когда кажется, что хорошее непременно случится, а пока можно всякое усилие (по-богатому, по-обеспеченному) отложить, и вот особая прелесть – еще не обязался, еще приятно свободен и все-таки ничего не пропущу. Такое нелепое самоуговариванье вряд ли ведет к удаче, но за ним легкое утешение – поза благородно-сдержанная.

Направо от Нины Павловны, как раз против меня – приятель. Он назначил себе каждую минуту «искать», при этом нетерпеливо; он требователен и часто отпугивает вопросами, которые считает вопросами

«по существу», которые многим кажутся смелыми, даже нескромными. Впрочем, Нина Павловна слушает одобрительно, как будто ее веселят, как будто способ собеседника занятный, смешной, новый, и отвечает ему коротко, в тон, иногда полуулыбкой или кивком головы. Мой приятель, обрадованный поддержкой, всё уверенней руководит разговором, старается и меня втянуть, покровительственно настаивает – мы на людях спевшаяся пара, наводим друг друга на выигрышное, и ему удобно оспаривать именно мои слова – но я устраняюсь и радуюсь, что не дал себя сбить, что по-взрослому выбрал то, чего хотел, и могу, молчаливо поглощенный, без устали любоваться. Мне удивительно обращение Нины Павловны с моим приятелем: он недавний, здешний, такой же, каким сделался я – это внимание и меня возвышает. Еще удивительнее просто видеть их рядом: они несоединимое, два разных моих времени, исполнение страшного сна, вроде того, детского, в котором непонятно очутились вместе гимназические и дачные друзья, который впервые показал, что я здесь и там, что это разное, что меня на оба хватает с избытком.

2.

Я люблю под вечер, после службы, – с головой еще затуманенной – гулять по городу, о себе не думать, себя не помнить в оглушающей уличной толкотне и потом заходить, куда попало, особенно в места блестящие и богатые. Не завидую людям, тратящим без счета, нисколько не восхищаюсь, но часто их холеное спокойствие, благообразие, манеры, помогают и мне отдохнуть от дневной ежеминутной грубости, и тогда, смешавшись с этими чужими, ничего не требующими людьми, блаженно полуотсутствую, могу быть занят любимой своей игрой – молчаливых надежд и ожиданий. Такая обстановка, богатая, удобная, ни к чему не обязывающая – читальни и холлы больших отелей, где человек аккуратно скромный похож на многих других и не кажется бедняком и самозванцем.

Вот так под вечер – вскоре после того чая – я однажды долго бродил и зашел в отель на Елисейских Полях, всесветно знаменитый. По огромному парадному коридору, опоясывающему весь нижний этаж, мимо разрисованных женщин, стройных и соблазнительных, мимо витрин, где выставлены игрушечные негритянки, курчавые, в красных бантах, и мудреные эмалевые пудреницы – не спеша, устало (как будто скучая в привычном месте) – я направился в библиотечный

зал, неожиданно скромный и мрачный. Это большая тусклая комната, с грязным ковром, с тяжелой кабинетной мебелью, с книжными шкафами, которые – после шумной гостиничной яркости – кажутся лишними, как и всё это чинное, выцветшее, словно нарочно заброшенное помещение. Посередине (новое доказательство чьей-то намеренной небрежности) простой неуклюжий стол для журналов и газет. Я готовился к обычному удовольствию – взять английский «magazine», растянуться в огромном сонном кресле и пустить свое ленивое взрослое воображение по следам уже проложенным, чтобы смешались в одно (как это бывало и раньше) белокурые барышни на картинках, чинные люди кругом, мои уютные о себе и о них выдумки.

Когда вошел, единственное, что увидел – была (как и в тот день, за чаем) Нина Павловна. Она сидела у самой двери – справа – перед удобным маленьким секретером и что-то, слегка нагнувшись, писала. Мне захотелось чуть-чуть помедлить, немного еще отложить ставшую неминуемой встречу, сделать ее нечаянней и милей – я постарался пройти незамеченным и слева стал обходить длинный стол с газетами, как будто отыскивая нужную. Обойдя весь стол, поравнявшись с Ниной Павловной, остановился и сверху, сзади, взглянул – вероятно, без умысла (плохо помню эти первые минуты) – на письмо, которое она, как-то спокойно выпрямившись, держала в руках и перечитывала. Передо мной мелькнули на сине-сером листке отдельные инициалы и герб, несколько строк тонким бледным почерком, в конце слова: «должна умереть, простите».

Я остался, как был – ни жалости, ни испуга. Говорят, несчастие, внезапное горе доходят не сразу, и сперва их только отмечает беспечно равнодушный ум. Это неверно о моей тогдашней холодности; просто Нина Павловна мне чужая, почти придуманная, и не она трогает и волнует, а что-то из прежней жизни, с ней связанное, из-за нее возникающее и вдруг ошеломительно сильное – полудетские мои ожидания, глупая сладкая тоска, первая – безлюбовная именно ей преданность. Но в том случае, не придуманном, не из памяти, наглядно близком – перед изящной малознакомой женщиной, решившей умереть – я растерялся и лишь вяло соображал: вот и она в новом (странно – как все другие), и этим новым побеждена, а мне какая-то ее тайна неожиданно открылась, и значит, должен быть способ осторожно, безошибочно – умно заговорить. Я снова – только в обратном направлении – обошел длинный стол с газетами и в упор уставился на Нину Павловну, чуть не подталкивая мысленно, чтобы она, наконец,

меня заметила, и беспомощно зная, как это невыгодно – вдруг откуда-то появиться и напугать. Но она нисколько не удивилась, дружелюбно вежливая, с обычным неуловимым холодком.

– Вы... как сюда попали? Здесь грубые люди, дурной тон. Вам наверное тоже не по себе?

– Мне всё равно, где быть.

Такой ответ должен был, по расчету, меня приблизить к безнадежному решению Нины Павловны, к ее, вероятно, смертельному равнодушию, а молчание – одобряющее – еще прибавило смелости и упрямства.

– Мы много о вас говорили с моим приятелем и – представьте – впервые поссорились (неловкий прием, чтобы вызвать хоть какой-нибудь выручающий вопрос).

– Ваш друг... он забавный.

Я совсем не умею направлять разговор и поддаюсь любому его течению, даже явно мне портящему или бесцельному. К тому же и Нина Павловна меня не поддерживала, плохо слушала, отвечала незначащими фразами, где-то уже слышанными и обидно чужими. Впрочем, она была права, если в такую минуту хотела от меня отделаться. Я же не унимался, решив, что должен помочь, что именно «в такую минуту» необязательна условная деликатность, что надо себя, свое досадное неумение как-нибудь, хотя бы насильно, перехитрить.

– Вы сами, Нина Павловна, сейчас не ждете никого?

– Я здесь живу... всегда, если приезжаю с юга. Муж мой это завел, и так осталось.

– Я не знаю вашего мужа, но вас помню давно и хорошо.

– Да, я старая.

– Я вас не только помню. Вы много для меня значили, – простите, что так говорю – но ведь это история.

– Увы, история – как обидно узнавать, что я когда-то «значила». У меня ведь ничего не было – пустота.

– Какое грустное слово. У меня всегда что-то было, а если нет, так стремление, воспоминания – ведь и это заполняет, и без этого просто нельзя.

– Вот мне и хочется понять, как у других – зачем, не знаю сама. Если вам не надо уходить, там в углу свободные кресла – давайте сядемте, хорошо?

Она встала и показалась мне удивительно легкой, нарядной и ничуть не постаревшей. То, что она такая, и в то же время смягчи-

лась, потеплела, поддалась, что какое-то отношение с ней, молодой и необыкновенной – наконец, не выдумка, меня обрадовало почти по-наивному, как иногда радует ребенка взрослая поза, долго недостижимая и вдруг, чудом, удавшаяся. Мы продолжали разговаривать полулежа – в невольной уютной близости – и еле слышно, подчиняясь, как всё в этой комнате, заведенному издавна этикету.

– Итак, я что-то для вас значила.

– У меня мало меняется, Нина Павловна. Если быть собой, настоящим, и отбросить случайные желания, наносные, от душевной неудовлетворенности, мне надо, знаете что – вас вернуть и как-то в себе самом восстановить. Тогда не будет вечной путаницы, разрыва – прежнее с вами, теперешнее без вас. Всё это свяжется – не вы свяжете, какое-то от вас умиленное напряжение, какая-то готовность полюбить, которая у меня всегда, если о вас думаю. Я нисколько не горячусь и не в таком возрасте, чтобы по-мальчишески преувеличивать, и всё же уверенно говорю: от вас зависит снова для меня «значить», от вас – после того опыта довольствоваться надеждой уже нельзя. Только вы не пугайтесь, – я и теперь прошу мало, по-бедному, по-неизбалованному, вы поможете легко.

– Я старая... Поздно...

– Мне почему-то кажется, что вы и себя успокоите, найдете во мне хотя бы отвлечение, что сейчас вам трудно, у вас безвыходность. Я перестаю понимать, хочу ли вашей помощи или вам помочь, и кто из нас кому нужнее? Знаю только: если двоим, каждому наедине, скверно, и они окажутся вместе и по-хорошему – обоим легче. Я так часто вижу дальше, чем следует, и столько замалчиваю, а теперь могу, наконец, что-то сказать – простите еще раз за неловкие или глупые слова. До чего непривычно говорить правду именно вам – что вы в опасности, что я, неизвестно откуда взявшийся, всегда был и остаюсь с вами.

Я не стыдился своей грубо подделанной проницательности и построил себя, как будто угадал, вдохновенно разгораясь от собственной внезапной удачливости – от взрослой своей силы, доброты, возвышения перед Ниной Павловной. Только умом – где-то вне глухой душевной взбудораженности – я помнил еще про обман и умело же себе доказывал, что цель обмана чистая. Но в этом необходимости не было: внешний успех, выигрышная поза нас в раскаянии утешает больше, чем самая благородная цель. А какая пышная поза – спасать Нину Павловну, о ней заботиться, даже просто по-дружески сидеть рядом. Я всё более горячился, вовлекаясь в новую роль, радуясь сладкой

обязанности – бороться за Нину Павловну. Она же слушала молча, застывшая, безразличная, как бы не участвуя в борьбе. После молчания, почти не шелохнувшись, она медленно и тихо заговорила:

– То, что произошло – невероятное чудо. Вы угадали – я решила себя убить, и причина решения вам покажется обидно мелкой. Попробую объяснить. Я никогда ничего не объясняла, но вы поймете, вам хочется понять. Представьте себе всё по-иному, чем у вас – меня воспитывали, как уже немногих, для денег, для показу, чуть не девчонкой возили по разным городам за богатыми людьми, пока один не женился. Меня сделали чересчур по-женски тщеславной и бесстыдно расточительной, и это продолжалось, когда все другие обеднели. Теперь кончено: мой муж разорился или хочет меня уверить, что разорен, мне же меняться нельзя – твердо знаю – нельзя. Вот и всё.

– Вы правы, я должен вас понять – и не могу. Всё то, что вы решили – от детского неведения, и всё, как маленькой, вам надо растолковать. Но у меня вдруг нет силы – давайте отложим разговор (первое счастливое вдохновение – отложить – старый мудрый способ не потерять надежды). Подумайте о другом: мы в Париже, – сколько милых встреч, как приятно вдвоем искать, добиваться, находить, с утра помнить, что вечер не пустой, что никто посторонний не нужен. Вы смеетесь: какая идиллия. У меня просьба – не смейтесь, пожалуйста, и скажите, что вы согласны.

– Ну что же, мой друг, попробуем.

3.

Кажется, у меня выходит чересчур трогательно и гладко, и это – неизбежность; воображение учится у жизни, видит ее неровности и необходимо-грубые препятствия, но доучиться не может и, сколько ни подражает, никак не удержится от последнего вознаграждающего полета, которого цель – запомнить, осуществить всё то, что жизнью не додано, что было нам непосильно, чего по нерадивости, по глупой беспечности иногда мы сами не взяли. Я недавно узнал про то, как Нина Павловна отравилась, непростительную причину, нелепые мелочи, обычные перед смертью; случайно прочел письмо с отельными инициалами и вот, на месте, где она писала, придумал свое вмешательство и другую ее судьбу. Меня поразила не смерть, не отчаяние последних минут, не одиночество, несомненное и долгое, а собственная невнимательность, убийственная и, увы, бесповоротно

доказанная: еще накануне я так любопытно, так самодовольно-умно разглядывал Нину Павловну, – и ничего, кроме спокойной вежливости, не увидал. С ужасом себя спрашиваю: почему мое наслаждение – лениться, откладывать, оставаться безответственным? Почему и на этот раз не дано было нечаянного толчка, незаметного первого усилия – помочь? Всё то, что так глупо и гладко представило мое запоздавшее воображение – стыдясь, исправляя, веря – все это по-трудному, нежностью и упорством могло быть достигнуто: спасти, поднять человека можно, если к нему естественно влечешься, если в нем и сам нуждаешься, иначе не будет того, что только и трогает – настойчиво убеждающей, заранее благодарной доброты; у меня же никого нет нужнее, естественно ближе, чем Нина Павловна, и было бы так заманчиво, правильно и легко переложить на нее, живую, всё то, что за много лет накопилось для нее, придуманной. Мне это стало ясным в тот одинокий вечер, в тусклой библиотечной комнате, от собственных воображенных слов – такой воображенный разговор, в котором ни люди, ни обычно-разумная о себе заботливость никого не сдерживают и не стесняют, ведет к открытиям самым необыкновенным, отыскивает запрятанное, казалось бы, навсегда. Мои случайно сказанные слова о прежнем и новом, о разрыве и путанице без Нины Павловны – не утешающая ее выдумка, не способ к ней приблизиться, а неожиданная простая правда. У меня был случай связать, соединить что-то безнадежно распавшееся – он упущен, и вот я думаю: быть может, нашему поколению так именно и суждено – два времени, два воздуха, две судьбы, разрыв и трудность разрыва, и вдохновенный опыт от трудности. Тогда добиваться объединяющей исключительности и легкой, упрощенной, связанной жизни постыдно, и моя слепота, непонимание Нины Павловны, неумение помочь – перед ней огромная вина, а для себя жестокая удача.

НЕРАВЕНСТВО

Ольга Муравьева:
Записки об Андрее Завадовском

ПРЕЖДЕ я верила – по-детски – каждому слову Андрея, считала его мнение решающим и мучилась, давая ему свои первые, еще ученические тетради. Если он хвалил, я видела блаженный и скорый успех, если молчал – стыдилась, сразу не узнавала прилежных своих страниц. Андрей очень ко мне добр и боится огорчить, еще больше боится обидеть и вызвать ссору, но всегда – от скучной честности – дает понять, что думает, и по-прежнему его молчание неприязненно. Я же злобно извожусь, почему он смеет судить, почему продолжает меня считать ученицей.

Буду справедлива: в финляндской санатории, где мы оба очутились после «событий», я долго оставалась девчонкой, вне жизни, с писательской отравой – откуда – и с жарким любопытством к чужому опыту. Этот взрослый смягченный опыт имелся у Андрея и меня очаровывал – что ж, приятно, когда вас хотят поднять, научить, обнадежить. Но такие уроки не могут вестись на равных, с соблюдением учительской деликатности, без доли «condescendance» – и вряд ли у нас было безукоризненно. Впрочем, нет, я сегодня настроена и вспоминаю мстительно, а в те давние дружеские годы принимала его суждения легко, без пустых и придирчивых подозрений.

Андрей уверяет, что женщины не видят, не хотят видеть своего охлаждения, зашедшей далеко перемены и тем искренне обманывают – наполовину себя, целиком других. Это намек, что также и я не замечаю своей к нему перемены. Бедный человек! Я отлично и давно всё знаю, но он один, больной, жалкий – не мне его добивать, и разве могу забыть, сколько за прежнее ему обязана. Чтобы потом не жалеть о потерянном около него времени, заказала себе по-писательски Андрея «изучить»: он современный, умный, но зря. Прилежно ищу, чего не хватает – кажется, основательности и упрямой веры.

После санатории – несколько лет в Берлине, однообразных и странных. Вслед за Андреем и я отмахнулась от знакомых и родственников – добровольное заключение вдвоем, нелепое без любви или

ясной цели. Иногда тайно бунтовала, рвалась к людям, на свободу, но не смела свое нетерпение назвать словами и не могла представить возмущенного признания.

Мое равновесие было все-таки в том, что Андрей – превосходство, доброта, польза, единственно возможная опора, и что искать больше нечего. Во многом себя убедила сама – из-за первых его разговоров, проницательных и милых. А кое-что и он внушал, восхваляя – как-то бесстыдно – необыкновенное бескорыстие и совершенство «наших отношений».

Мама ждала предложения, но Андрей твердо знал, что я откажу или стану тянуть, и даже не хитрил. Ему и не стоило хитрить – мы постоянно бывали вдвоем, я продолжала – хотя бы внешне – подчиняться. Говорили всегда напряженно – о книгах, о любовных предчувствиях, о себе. Андрей без конца, с неприятным удовольствием, перебирал всякие про нас будто бы отвлеченные мелочи. Это удобно: можно многое сказать и признаться, в чем угодно, объясняя как бы чужой случай, ничего не требуя и себя ничем не связывая – нет прямых вопросов, бесповоротных и грубых, и ответов, после которых разрыв... Андрей сумел его избежать, умно и вовремя – и непростительно трусливо – во всем уступая.

Сознаюсь, мне уже тогда казалась невыносимой малейшая его вольность, прикосновение, невинные как будто слова «мы» и «нас». Из малодушия или жалости считала себя обязанной скрывать, поддерживать умиленность, придумывать, вместо жестокого «Андрей», ласковые новые имена: Андрюша, Аля, Алек. Последнее особенно не удавалось, и сейчас вспоминаю, брезгливо вздрагивая. Не решила, что именно в Андрее остро не по мне. Может быть, внешнее – его немужская белокурая хрупкость, ленивые, узкие, чересчур выхоленные руки или манера при всех подолгу лежать, с закрытыми глазами, с выражением какой-то нестесняющейся усталости. Нет, ужаснее другое – отсутствие достоинства, то жалкое, чего Андрей в себе не хочет признавать: он на словах сдержан и думает – этого довольно, терпеливая скрытность доказана. Между тем его настроение и нездоровье иногда так на виду, что кажутся позой – на жалость, на сочувствие, на геройство. И не только это: Андрей может не сделать усилия, нужного, благородного, но о котором не узнают. У него всегда перевешивается показная сторона, чего я раньше – из дружбы – не позволяла себе замечать.

Вероятно, права теперь – и совсем не рада грустному открытию: когда-то давно Андрей предложил уговор, правда, детский и стыдный,

но почему-то меня поразивший – каждому из нас не думать о другом дурно и стараться оправдать любую слабость или вину. И вот, после стольких перемен, мне тяжело произнести осуждающие слова – даже ради справедливости.

Из Берлина, по чьим-то советам, мама и я переехали в Париж, Андрей за нами. В Париже два разных обстоятельства нас вполне естественно разделили. Первое – наша бедность. Меха и камни кончились в Берлине, и здесь мы третий год живем, не зная, на что, и откуда сыты. Мама целый день бегает за старыми американками и должна их водить к великосветской русской портнихе – давнишней приятельнице. Я служу в газете, где вижу занятых людей и не скучаю, но работаю за гроши. Мы в отвратительном темном отеле, спим на двуспальной кровати и невероятно зависим одна от другой. Мама, бедная, устает до обморока, и мне невыносимо стыдно приходить поздно, без конца писать или поправлять. Она безропотно добрая, но каждый вечер отравлен. Андрею повезло: у него богатый лондонский дядя, который считает его «ангелом», шлет чеки и удивляется скромным тратам. Я не завистлива и не люблю жаловаться, но жизнь Андрея настолько проще, пристойнее и милее нашей, что не может у меня с ним быть равенства или взаимного легкого понимания. Он несколько раз, с искусственно-веселой улыбкой, предлагал «по-товарищески» одолжить, но напуган молчаливым моим отпором и снова заговорить не посмеет. Я ни в чем Андрея не виню – он прав, устроившись лучше нас, по-иному живя и безупречно одеваясь – но глупое «социальное» неравенство остается.

Другая причина теперешней отчужденности – главная – в моем новом доверии к себе, легко объяснимом: я попала в настоящий хороший круг, сразу была принята как своя и – не хочу скромничать – расхвалена выше ожиданий. Андрей часто говорил, что стесняется, когда им заняты, о нем заботятся, и он этого не заслужил. По его словам, «надо добиться одобрения сведущих людей, плотного воздуха заслуг» – только тогда оправдано и лестно чужое внимание, иначе, оно, как «ухаживание матери или сестры, раздражающее, если несносна возлюбленная». И вот я, его бессловесная ученица, добилась этого «одобрения», и «сведущие люди» за меня. Андрей не может не споткнуться о зависть, хотя он благороден, в себе не сомневается и, в случае поражения, кого угодно признает несведущим.

Я бываю у него по вечерам, раза два в неделю, с предупреждением за сутки – он редко один дома. Если пропущу срок, он сам, не

слишком настаивая – боясь показаться навязчивым – полушутливо, но со странными намеками, просит прийти и назначает день. Такое пригласительное, полное «смыслов», письмо, очень на него похожее, получила сегодня, и, кажется, оно толчок к этим запискам, задуманным давно.

Письмо Андрея

Оленька, родная, пишу Вам из кафе, где в первый раз. Оно около бульваров, но благообразное и неподвижное. В Париже много таких полупровинциальных кафе, и в них в это время – скоро шесть – у столиков сидят чьи-то подруги и жены и ждут. Сейчас появятся – из контор и банков – мужчины, и у каждой в глазах будет довольное и гордое: «c'est mon homme». Они правы – не надо любить, блаженствовать, изнемогать, чтобы радоваться простой и сладкой мысли: есть защита от бедности, от искушений, от страха перед людьми, сближающие успехи и веселое вдвоем непризнавание поражений. Пускай у иных эта опора случайная, ненадолго, все-таки остаются какие-то обеспеченные, осмысленно-счастливые дни.

Пишу Вам, мой добрый друг, медленно, смотрю, сравниваю, завидую, карандаш всё время наготове, вид рассеянный, кругом давно решили: поэт. Появляются первые мужчины, сначала, как водится, поцелуй, потом садятся, обнявшись или рука в руке. Быстро что-то рассказывают, должно быть, отчет за день, причем говорят больше женщины, заглядывая просительно, как будто ожидают одобрения. Иные пары немолодые, влюбленные жесты у них неуклюжие. Мне не мешает, что у всех выходит одинаково, что, может быть, они играют в любовь – без подъема, лениво, по привычке себя принуждая. Само это принуждение кажется мудрым – оно закрепляет отношения, единственно нежные, без которых нет ни опыта, ни таланта. Оленька, поймите, я думаю так не от одиночества и зависти, я кровно ощущаю этих правильных спокойных людей. И знаете, в чем они особенно правы – что не только любовное омертвение, кухня, дети, но и такие капельку лукавые свидания, в меру острое вино и что-то молодящее, заражающее в чужой нежности и возбужденности.

Напротив забавная пара. Она – веселая, изящная девчонка, белокурая, длинноногая, несколько хрупкая, на детской смешной головке соломенный, перевязанный лентой и широкий внизу колпачок, почему-

то набок, и от этого неожиданный оттенок – разухабистый и бедовый. Он – южанин, ширококостый, маленький, в дымчато-сером «богатом» костюме, неубедительно взрослый и, видимо, новичок в Париже. всё время кипит, требует, жалуется, уродливо жестикулируя, как где-то на юге – и вдруг склоняя тяжелую голову на ее плечико. Такие двое и внешне подходят и вообще отлично спелись, но представить их вместе не хочу, как будто у меня отнимают.

Кого еще описать? Вот неизбежные, как везде, неудачницы, которым некого ждать, которые пойдут за кем угодно. Их больше снаружи, несмотря на холод – все-таки там движение. Как и все кругом, они спокойные и скромные. У многих добрый, понятливый взгляд, выражающий собачью покорность: только бы найти хозяина, приласкаться и преданно служить. Пытаюсь вообразить, как осчастливлю одну такую, как незаметно она возвысится, наш уют. Всё это слишком неправдоподобно, и воображение меня уводит в область близкую и грустную.

Так слоняюсь до ночи по разным кафе, радуюсь милым людям, гадаю о них, мысленно завожу дружбу и пробую новых друзей в чем-то убедить – по своему последнему опыту. Иногда по привычке выжимаю из себя «новое», схватываю, записываю. Объясните, Оленька, зачем – у меня дома десяток тетрадей, которых никогда не приведу в порядок. А не запишу – бухгалтерское, ноющее опасение, что пропадет.

По вечерам, особенно в местах, где русские, часто вижу прежних знакомых. Некоторые кланяются, другие рассеянно смотрят мимо. Тогда тянет подойти и вызвать живые, слышные, ко мне обращенные слова. Но знаю наперед, о чем вспомнят, спросят, какие будут возмущенные жалобы и сравнения. Потом позовут в гости, чтобы поднести ту же скуку «en gros». Я, конечно, не пойду и стану бояться новой встречи и этого кафе. Ни к кому, Оленька, не подхожу и отправляюсь домой.

На моем пути – через спокойные, приличные улицы – особенно теперь, в холод, редко попадаются поздние, вроде меня, гуляки. Иногда торжественно проплывает длинная, даже в темноте блистающая, машина. Догоняю кого-то – одинокая, озябшая женщина. У меня соблазн повести к себе, какого не бывает в другое время: в воспоминании столько уединенных пустых ночей с книгой, всегда растравляющей, и с невозможностью заснуть и так успокоительно ощутить рядом женский голос, горячие колени, мягкую уютную рубашку. Это невероятно исполнимо, и тогда какая-то перемена – хотя бы на час-другой – обеспечена. Но перемены, начальной ломки, первых чужих, от себя удаляющих, слов я боюсь и прохожу дальше – так нерешительно – что у бедной

женщины надежда. Она улыбается, и в эту минуту необходимость усилия пугающе-близка, и я – виноватый и пристыженный – почти бегу.

Когда позвоню у подъезда, и откроется дверь, знаю – все кончено. Войдя к себе, подымаю шторы: напротив огромный, давно изученный дом, и я, как мальчик – исподтишка, из темноты – жадно смотрю туда, где бывают молодые женщины. Некоторые из них – очень редко в такое время – показываются полуодетые, занятые своими ночными приготовлениями. Согласился бы на любую: каждый раз не могу простить себе, что один. Потом зажигаю свет – на самом верху у меня флирт, неудобный в смысле этажей, зато отвлекающий и веселый. Правда, он бесцелен – я не спущусь, не разбужу консьержки, не буду со страхом возвращаться. Я постараюсь насильственно себя усыпить – как больной перед действием хлороформа, тоскливо недоумеваю, что надо перестать думать, воображать, грустить, надо уничтожиться и проснуться другим, беднее и проще, со всегдашней утренней скукой.

Оленька, очень без Вас нехорошо. Вы улыбаетесь: сперва докладываю о том, как весь день кого-то искал и не нашел, и вот без Вас не обойтись. Было бы легко пошутить и по-влюбленному переиначить: без Вас не обойтись, и потому никого не нашел. Но всё равно... Приходите ко мне – скажем – завтра вечером. Вы придете не поздно – да?

Продолжение записок

Несколько дней лестной для меня, но утомительной торопливой работы. Теперь об Андрее. В тот вечер была у него – боялась идти, ожидая после такого письма ненужных новых намеков, полупризнаний и неловкой скуки. Но вышло милее, чем я ожидала, как очень редко в последнее время. В разговоре со мной у Андрея бывает одна неприятная черта: он хочет сказать что-то важное, кружится около, из деликатности молчит, глотает упреки и огорчения, но так, что всё ясно и мне должно передаться. Тогда я свирепею и делаюсь к нему беспощадной. Если же Андрей действительно решает с собой справиться и говорить по-человечески – без этой ложной деликатности – с ним необыкновенно занятно и, несмотря на годы, проведенные вместе, всегда по-новому.

В прошлый раз, среди многого другого, он рассказывал о моем появлении в санатории, и я слушала с любопытством, тронутая собой

и даже волнуясь. Не знаю, как всё это передать, чтобы не получилось чрезмерной о себе умиленности. Приведу его же выражения, которые запомнила, кажется, точно.

– «В то время, Оленька – глупое и гадкое – среди общей хвастливой ненависти, страхов, споров, вы казались непонятно наивной и хорошей девочкой, словно вчера проснувшейся и до смешного в стороне – книжки, стихи, вопросы о великих людях. Видя вас, я блаженно отдыхал, просто свежел – каждый день одинаково ясная, аккуратная и серьезная. Помню ваши платья, особенно одно – голубое с кружевом, из-за которого у меня мелькнуло и навсегда с вами связалось сияющее сравнение: “нарядная, как бабочка летом”. Не правда ли, в нашей памяти с людьми сливаются самые случайные мелочи: какая-нибудь мелодия, книга, экзамен, сон. Эта связь кажется иногда ни на чем не основанной – она возникла после разлуки, после чужих людей и новых отношений. Бывает и так – основание имелось, но утеряно, а связь сохранилась: вот и вы далеко ушли от “нарядной бабочки”, а я всё еще вздрагиваю, если нечаянно припомню ту заколдованную счастливую строку.

Закрываю глаза: санаторская библиотека, вы за письменным столом, достойно первая ученица, и вдруг такое несуразное сочетание – толстая, зеленая, неудобная палочка, напряженная смуглая рука и нежнейше розовые “мулатские” ногти. И я проглядел, откуда взялись, именно у вас, маленькой и скромной, постепенно выступившие разрушительные силы – твердые мнения, вкус к газетам, честолюбивая цель»...

Повторяю слова Андрея, за ними слышу голос и невольно вынуждена подражать – ищу такие же случайно-острые сочетания, меняю ради странной их непоследовательности свой терпеливый и добросовестный порядок. В манере Андрея необычный для меня соблазн: он хочет непрерывно – без отдыха, без жалости – волновать, сам перегружен волнением и других заражает, но путем нечистым и безответственным. В его разговорах, письмах и дневниках одни и те же, увы, опасные для меня приемы: отдаленные, намекающие сравнения, подобие вдохновенной горячки, неожиданность, бьющая на чувство, сперва оглушающая, потом, если вдуматься – легкомысленная и недоказуемая. Всё это знаю наперечет – и опять (в который раз) против воли поддаюсь, как будто восстановлено наше прежнее с Андреем затворничество и глупое детское к нему доверие. Тогдашнее подчинение уже объясняла: он был в те годы опытнее, естественно,

сильнее меня и настолько уверен в своем душевном превосходстве, что и я не допускала колебаний.

Внушение оказалось прочным и долгим – после уединенной, самостоятельной, освобождающей работы я по-прежнему могу загореться от любого подобия его вдохновений, правда, всё реже и только тогда, если к нему расположена. Твердо запомнила, что влияние Андрея – моя гибель. Между нами различие в самом главном, мы оба – творческого склада, оба любопытны к жизни и к людям, но по-разному. Андрей, как он сам говорит, по каждому поводу «стучится во все двери и равнодушен к тому, какая из них его куда-нибудь приведет». Он перечислит все возможные по этому поводу решения и не захочет остановиться на единственно верном. Для него важно именно «стучаться», и это идет – почему, мне не ясно – от какого-то любовного беспокойства, от непрекращающейся любовной полноты и желания ее исчерпать. Оттого душевная деятельность Андрея представляется мне, как непрерывное напряженное течение – без цели, без задержек, без силы и желания что-нибудь предпочесть. А я намеренно скромная, я знаю, что во многом захлебнешься, и надо выбирать одно, даже с опасностью ошибиться. Я ищу хотя бы приближенной правдивости, хотя бы относительного порядка, я себя душу, добиваясь бесстрастно справедливого, достойного спокойствия, и неудивительно, что так меня привлекает, так опасно любовное беспокойство в словах и во всем существе Андрея, опасен не он сам – к нему бесчувственна до брезгливости – а какой-то от него беспорядочный неостывающий жар.

Я, кажется, увлеклась и забыла о последней встрече. Мы еще долго и дружелюбно беседовали, полулежа в проваленных кожаных креслах, напоминающих гостиничный hall, у низкого столика, с которого так удобно брать сладости, почти для этого не шевелясь. Андрей, улыбаясь, продолжал рассказывать. Я с торжеством слушала о себе, поддакивала и от тронутости хвалила все – шоколады, эклеры, удавшийся вечер, уютную комнату. По-привычке ждала, куда – в какую беспокойную область – Андрей все-таки перескочит. Он неожиданно спросил, любит ли его мама: они недавно встретились на улице, и мама по-доброму уговаривала его уехать – здоровье, тяжелый скверный город. Убеждена, что мама отлично всё понимает, хочет уберечь Андрея и только меня ни о чем не спросит, боясь, как всегда, вмешаться или обидеть. Бедная, она стесняется передо мной своей безмятежной институтской молодости и считает себя в чем-то виноватой, как будто устроила революцию. Относительно Андрея мама права: невольно и я посмотрела

на него внимательно, по-новому, без неизбежной, если часто видишься, слепоты – и ахнула. У меня действительно не хватает силы передать перемену и свой ужас, и это не пустое словесное выражение.

Кажется, не отмечала – у Андрея необыкновенная внешность: благородный овал, остро-узкий, но смягченный сияющей прозрачностью кожи, чем-то от белокурой девочки, высокая тонкая шея, трогательно – не по-мужски – нежная, и бледно-голубые, неподвижные, невпускающие глаза. Он чуточку горбится, что не портит – естественный из-за большого роста, приученно любезный наклон вперед. У него медлительные, немного картинные манеры, и этим еще усилено несомненное впечатление одухотворенности и породы. Я когда-то смеялась: если Андрею взбить локоны, он будет похож на поэта в кружевах со старой английской гравюры или на своего знаменитого прадеда, романтического русского графа в бетховенской Вене.

Сейчас необыкновенности, поэтического сияния не осталось, лицо исхудавшее, желто-серое от бессонницы и болезни, с брезгливым выражением плохого вкуса во рту, темные вдавленные пятна под глазами и другие – цвета крови, словно чем-то обведенные, – ниже висков.

– Уезжайте, родной, непременно уезжайте – мы будем подробно переписываться.

– Да я и сам решил... Все-таки, Оленька, в который раз убеждаюсь – как только вы милее, вы всё видите.

Вот оно, беспокойное, чего я всё время ждала, очередной упрек, на который Андрей должен был, по обыкновению, сбиться. Решила не замечать, как и многого другого, что меня в последние месяцы задевает и что легко поведет к разрыву, если дам себе волю. С одним только не помирюсь – почему Андрей так упорно и враждебно замалчивает мое «писательство», первые опыты, их удачу. Он знает, насколько они мне важны, в каких невыносимых условиях принуждена работать, знает, что мы доказанно старые друзья, что я по-прежнему жду его суждений и боюсь молчания – и всё же, как будто злорадствуя, молчит. Предвижу давно приготовленный мстительный ответ: «Вы сами отбили вкус к откровенности и дружбе, вы и сейчас непоследовательны – зачем выпытывать, требовать, потом уходить возмущенной». Он неправ – ему только не следует поучать и по-мелкому придираться, после чего уже оскорбительно всякое вмешательство, и я готова противиться – не разбираясь – чему угодно. То, основное, что нас разделяет, давно и прочно установлено: Андрей не хочет искреннего равенства – я слишком сильна для опеки. Увы, никогда не решусь, не сумею рас-

толковать, что рада изменить, как-нибудь выровнять наши отношения и горячо принять его дружбу, и что каждые с ним милые полчаса – все более редкие – в этом лишний раз меня убеждают. Андрей запомнил одно: нас разъединила моя «литература», она – обидчица, ее надо уничтожить, опровергнуть, осудить. Его осуждение от горечи, ему же кажется – оно от всегдашней благородной прямоты. Не стоит спорить и объяснять: он всё равно у себя не увидит ошибок, отступлений, того человечески-мелкого, чего не может не быть, даже теперешней ко мне зависти – обыкновенной, неизбежной и простительной. Мне жаль, что так бессмысленно у нас не ладится – по слабому люблю, если всё спокойно и хорошо. Мы оба чересчур благоразумны – Андрей, боясь ссоры, зловеще и выразительно молчит, я стараюсь не замечать его зловещего молчания, но это хуже, откровеннее дурного объяснения, и мы неминуемо становимся чужими.

Меня, прилежную и стойкую, оттолкнуло и то, как он живет, уединенные шатания, нелепая хвастливая уверенность, что иначе нельзя. У Андрея страх порядка, баловство своей воли и оттого неуспех, предопределенная болезнь. Он не сделает попытки бороться или работать и будет изображать презрение к соперничеству и борьбе. Без цели, без основы, он должен – выражаясь по-книжному – «распасться», и что-то страшное, может быть, уже началось.

Вот сейчас это остро поняла, растревожена и нервничаю до крайности. Очевидно, нельзя безнаказанно человека «изучать» – проникнув чересчур далеко, теряешь много своей, для себя нужной и едва хватающей силы. Значит надо, пора от него отдохнуть, вернуться к уютной трудолюбивой своей ясности и надолго в ней успокоиться.

Допускаю в сегодняшней записи сколько угодно торопливых противоречий: нет терпения – после, когда-нибудь, разберусь.

Второе письмо Андрея

Оленька, родная, вот уже третий день лежу и совершенно обессилел. Писать приходится карандашом – на согнутых коленях, под листочком бумаги тяжелая книга – воображаю, как должно получиться неразборчиво и грязно. У меня что-то скверное с дыханием, настолько беспокойное, что ничем другим не могу быть занят. Когда дышу через рот – впечатление, будто в горло с болью впивается режущая, обжигающая, чересчур свежая струя, и перед необходимостью, ежесекундной,

вдохнуть – отвратительное, беспомощное ожидание. Пробую закрыть рот, даже насильно – рукой – но после короткого успокоения кажется, что задыхаюсь, и тогда страшно. Так, по целым дням, напряженно и скучно занят собой, всё время меняю способы дыхания, пока стремительно не засну, хотя перед тем заснуть представляется чудом. Ради самого короткого отдыха становлюсь необычайно изобретательным: нарочно дышу на простыню, которую прижимаю к губам – тогда от нее теплый, спокойный, не режущий прохладой воздух. Но обман раскрывается: дышать скоро нечем.

За эти дни, кроме доктора, всё более недовольного, никого у меня не было. Пожалуй, одному и лучше: мне стыдно не быть с людьми, как обыкновенно, как себе поставил – приветливым, добрым, справедливым – а это невозможно, если что-нибудь непрерывно, по-мелкому, мучает. Никакой терпеливости нет на свете, она у невиданных, небывалых героев, я же не могу улыбнуться, если плохо – и при улыбке, вынужденной последним тщеславным усилием, всё равно внутри некрасиво. Потом станет жаль, что испорчена в чьих-то глазах моя безукоризненность, возможное впечатление покорности и мужества, покажется, что геройствовать просто, и отказаться пропустить случай было легкомысленно. Но как представил себя раньше, во время, когда всё, кроме надоедливой боли, вполне второстепенно. И, однако, эти рассуждения неверны, ничего не стоят, если придете, Оленька, Вы. Знаю, с Вашим появлением буду избавлен от невыносимой многодневной напряженности и без старания, без геройства оживу, как всегда переполненный одним Вашим присутствием. То, что мучило, не уйдет, но представится посторонним, как замороженный палец, который режут, и, может быть, такое странное преобладание чего-то важнейшего над нашим кровным лучше всего объясняет, откуда берутся чудеса.

Не правда ли, мой друг, в болезни больше, чем обычно, дозволенного, и особенно хочется себя развязать. Слечь – это целый переворот, ломка привычек и стеснительных правил, своего рода освобождение. Ждешь здоровья, а в нем новый переворот и новое освобождение. Принятые когда-то решения забыты, значительное уменьшается, и многое, что скрывалось, выходит наружу. До чего ненужным покажется именно скрывать, себя уродовать и душить добровольной тайной. Как легко и своевременно тогда сказаться – еще кусочек свободы. Оленька, Вы уже напуганы, Вы боитесь непоправимых слов и немножко за меня стесняетесь. Вы неправы: не забудьте, что пишу Вам, занят Вами, значит, я – обыкновенный, забывший о болезни и свободе и с вечным

страхом оказаться в тягость. Нет, хочу, наконец, предложить то, о чем долго раздумывал в трезвые здоровые дни, и было бы глупо и невыгодно пугать – Вы сейчас поймете, почему.

Нам теперь пришло время договориться. Я и раньше пробовал, но Вы всегда обрывали. Не буду искать обхода и назову тяжелое, преувеличенное Вами слово: деньги. Поймите, у таких, как мы, друзей оно законно и необидно, а деликатность или бескорыстие – предрассудок, ложный, пустой, иногда жестокий. Представьте себе двоих людей, у которых многолетние, свои особенные, разговоры, и представьте, после каждого такого разговора они, взволнованные, потрясенные, расходятся, один возвращается к обычному беззаботному спокойствию, другой пойдет на улицу, на поиски и унижения – разве обоим не очевидно, какая получилась безобразная нелепость, которую исправить необходимо и легко. Но тут выступает суеверие о человеческой порядочности, у всех одинаково давнее, цепкое и окончательное – что стыдно предложить и оскорбительно принять – и никакое исправление невозможно. Всё остается, как было – до новой встречи и нового напоминания о грубой, несправедливой, неравной жизни. Постепенно дурная совесть, нечистые мысли подтачивают самую верную, самую умную близость, неповторимую, редкую, которую так обидно потерять. Но что-то есть в этом суеверии, чего не перейти, и с «общим мнением», пускай чужим и заимствованным, нельзя справиться и не стоит бороться, и далеко не смешны неведомые законники и наблюдатели, равнодушные, придирчивые или строгие – мы все к кому-то привязаны, за кого-то отвечаем и боимся. Какое же спасение – неужели безвыходность?

Мне кажется, нет способа или совета, одинакового для всех, и применимо старое житейское правило о каждом случае. Вот у нас с Вами, Оленька, один такой случай, выход как будто есть, но следует подумать и рассчитать, чтобы не получилось хуже. И прежде всего надо задобрить, обмануть вероятных сплетников, упрямое и опасное «общее мнение» – не забудьте, у Вас теперь имя. Но, конечно, главное – помочь Вашей маме, снять с нее заботы, успокоить, осчастливить тем, что Вы устроены, и преподнести Вашу удачу в безукоризненном виде. Знаю, Вы уже поняли, каково мое «предложение», улыбнулись зло, и я рад, что не должен ничего сказать Вам в лицо, что всё это написал и не услышу ответа. Вы сейчас до слез возмущены и считаете многое разгаданным:

«Вот как просто: он добивается всё того же – меня для себя – подошел с новой стороны, по-тонкому соблазняет – моей писательской

судьбой и маминым мучением, самым для меня страшным – и я вынуждена с ним согласиться. Я лишаюсь свободы, потому что брак – это все-таки быть вместе, и, будучи вместе, я должна помнить, чем обязана, из благодарности жалеть и уступать. И даже если он искренно решил ни капельки себя не навязывать, не поверю – я знаю, как быстро он слабеет, как легко обращается ко мне за помощью».

Что ж, Вы правы, Оленька, я заслужил Ваше недоверие и не стараюсь спорить. Я побежден в борьбе с собой, и Вы измеряете мою безответственность и – подскажу Вам – жалкость этим поражением, а не той силой, с который мне пришлось столкнуться. Так рассуждают решительно все – и я первый – о других и только к себе справедливы. Это естественно: своего нельзя не заметить, а чужой душевной борьбы можно не увидать – она кое-как спрятана, показан плохой исход, и по нему судят. Пожалуй, так проще и умнее – не всё ли Вам равно, я сильный или слабый, боролся или нет, если чего-то не хватило, и не могу Вам не мешать. Видите, я сам признаю свою относительно Вас бесповоротную слабость и все-таки хочу вернуть доверие. Оленька, твердо обещаю Вам одно: после венчания мы разъедемся. Сперва для людей совсем недолго побудем вместе. Потом Вы останетесь в Париже – писать, а я переселюсь на юг – лечиться. Опять-таки для людей Вы меня как-нибудь навестите – и понемногу колея установится, и наша раздельная жизнь покажется правильной и законной.

Боюсь новых насмешек, что разблагородничался, что пытаюсь этим Вас тронуть и к себе расположить. Мне делается грустно от Вашего упорного сопротивления, но убедить должен – ведь я-то знаю свою правоту. Вернусь к самому началу: ни показного благородства, ни расчетливой низости в моем предложении нет. Мы двое – давнее мучительное неравенство. Я в нем – по-своему обиженная сторона, и только первый додумался, что есть выход – уравнять – одинаково выручающий нас обоих.

Ну, а теперь условимся о Вашем ответе. Если да, приходите – поговорим о нужных мелочах. Если нет, хочу быть один, очень настаиваю, и позвольте ничего не объяснять. Буду ждать три дня, потом уеду: у Вас «три дня на размышление».

Я устал, и Ваше присутствие, помогавшее писать, всё менее ощутимо. Обращаюсь, уже не зная, куда, мысли пустеют, слова не повинуются. Снова нет воздуха, и вдруг он обжигает горло. Тороплюсь окончить письмо и послать. За всё лишнее простите.

Третье письмо Андрея

Через час уезжаю, вещи уложены, меня везет на вокзал дядя, неожиданно вчера появившийся. Вслед за доктором и он молчит, потом жалеет и становится мил и сдержан. Оставляю Вам книги и несколько тетрадок, в которых нелегко разобраться. Ждал Вашего решения, теперь перегорело, и ко всему – стариковское сонное безразличие. Спасибо за стихи, мне посланные – получил их сегодня. Они отчетливо показывают, какая Вы и какой я. Попробую напоследок разобраться и объяснить.

Вы давно, Оленька, удивлены, что я замалчиваю Ваши «писания», не восхищаюсь и не браню. Вы предполагаете скрытую недоброжелательность, боязнь ее выдать и разные другие низкие соображения – я непоправимо пал в Ваших глазах.

Теперь знаю, что так и должно было произойти. Когда Вы стали взрослой и захотели избавиться от моей невольной, не в меру требовательной опеки, Вы увидели, как мы непохожи, в какие различные концы тянет каждого из нас, и насколько что-то в Вас основное противится моему. Вы поняли, нет, сперва неясно ощутили, что моя победа – Ваше поражение, что меня необходимо снизить и этим себя поднять и сохранить. Женщина может овладеть своим дружеским или иным отношением, даже чувством, его направить и повернуть. В ней сильнее, обнаженнее животная природа, оттого наивная, открытая погоня за пользой и никакого самоосуждения: грубая перемена, непростительные поступки, что-нибудь ей облегчающие, покажутся законными и не смутят. Это женское свое преимущество Вы обратили против меня, и я, по-мужски стремясь к объяснимой словесной справедливости, не искал, не нашел оборонительной опоры. Я оказался беспомощен с Вами и только, боясь последних убийственных слов, научился откладывать разговор о самом опасном, о том, что Вы шутя называете «моя литература».

И правда, хвалить не думая, через силу, скучая – это значило бы и Вас в свою очередь намеренно ронять и когда-нибудь, дойдя до равнодушия, лишиться. Быть искренним, осуждающим – уйдете Вы. Оставалось одно – молчать. Но эти три дня напрасных ожиданий показали, что никакой близости у нас нет, что Вы всё равно для меня потеряны, что бояться поздно. Только сейчас – перед самым отъездом – горько протрезвел, и вместе с болью и безнадежностью явилось странное ощущение, будто от Вас свободен. Первый признак – недоверие к

осторожности, Вами введенной и мною безвольно принятой. Мне вдруг представилось оскорбительным и смешным, что Вы столько времени заставляли меня недоговаривать, и вот ищу о нас, о нашем грустном несходстве достойных и точных, пускай разоблачающих слов. У меня потребность в каком-то завершении, но без желания Вас огорчить, и знаю, что вряд ли огорчу: Вы истолкуете всё по-своему и крепко – насколько крепче моего – стоите на ногах.

Пора установить, в чем же мы так решительно не сходимся. Помните, Вы однажды со мной согласились, что людей надо судить и различать не по их уму или доброте, а по совершенно другому, что важнее всего то душевное навязчивое призвание, которому эти полувнешние свойства подчинены. Я в основе, если можно так выразиться – человек любовного опыта. Детство, начало молодости, время до любви у меня бледное и незаметное – уловление намеков, предчувствия, подготовка. С первой почвенной, невоображенной любовью, с первой ревностью, что-то неизмеримо властное меня целиком и навсегда переделало. Маленькие о себе страхи, слабости и обиды исчезли, ежедневные привычные удобства, уютная болтовня, пустое приятное негодование – все это потускнело и куда-то ушло. Зато каждый поступок, каждая встреча стали осмысленней и сложней из-за сладкой обязанности о них доложить, узнать мнение, найти выигрышное и верное – свое. То, что кажется значительным, проходит через обработку, упорную и прочную – от высшего человеческого, влюбленного, считания – и какое-то возвышение неизбежно. Вы возразите – похожее у всех. Я наблюдал – у других это налетает, как болезнь, и делает их на столько-то времени противоположным себе, удивленным и как бы неответственным. Потом заболевшие выздоравливают, и опять у них появляются мелкие цели, заботы и отвлечения. Успокоившись, дорожа здоровьем, они редко вспоминают, как любили и болели, недолгий опыт стирается. Если вспомнят, рассудительно и трусливо стыдятся. У меня нет этой раздвоенной жизни, смены болезней и здоровья, у меня всегда одинаковая, однажды возникшая и ничем не ослабленная задетость, одинаковое, неудержимое, непрерывное течение. Одно переходит в другое, с ним схожее, его продолжающее. Короткие безлюбовные промежутки едва успевают задержать в памяти, привести в порядок старое – в чем всё их назначение – и уже предвидят новое. Оттого мои годы связаны, жизнь едина: эта связь не в чужой разделенной со всеми «идее», не в борьбе, начатой и прекратившейся, не в семейных радостях, обеспеченных, неминуемо скучных – она сотворена мною,

любовью во мне и всегда по-новому, по-острому возобновляется. И чудовищное это время принято, запомнилось без подхода личного и злобного, скорее проясненно – время служения, поисков, огромной жизненной полноты. Мне кажется, я и умирать буду – спиной к смерти, лицом к уходящей жизни, всё еще потрясенный тем, что любил и надеялся, всё еще упрямо надеясь.

Вы неверно меня поймете, если будете думать, что хочу перед Вами хвалиться, Вас в чем-нибудь унизить и превознести свое. Просто объясняю, какое оно, и нет мысли, желания поразить – мне правда сейчас не до того. У Вас, Оленька, всё иначе. Вы не можете любить или должны любить скупо, признавая это падением, слабостью, временем, недостойным себя. Знаете, я невероятно не хотел Вас такою видеть, обманывать свое чутье, прогонять очевидное – из-за трогательной Вашей смуглости, из-за «нарядной бабочки», из-за того, что недостававшее Вам придавал от любовного своего избытка. Потом поверил, смирился, но враждебными, осуждающими словами Вас, новой, не мог себе подтвердить.

Люди плохо любящие должны тратить какую-то силу, им отмеренную, на другое – говорю не о бледных и скучных. Способов растрачиванья много, один из них, редкий, Ваш – литература. Но у этих людей нет защиты от внешнего, всюду проникающего, соблазнительного и богатого мира, нет любовного прикрытия, нет ухода вовнутрь – не искусственного и хвастливого, а того любовного времени, когда только внутри соблазнительно и богато. Они должны принимать извне чужие «общие правила», начатую кем-то борьбу, «идеи», стать на чью-то сторону, добиваться похвалы тех, кто взяты на веру, добиваться прилежно и упрямо, потому что сами себя поднять, повысить не могут, и затем приятен труд, который дается легко, а готовое, предуказанное дается легко, доставляя спокойное удовольствие.

Обратное у людей моего – любовного – склада. У них, часто ленивых и безвольных, вынужденная обязанность останавливать, переделывать, ломать себя и других по своей, с бою добытой, трудной правде, которая разрастается, меняет выводы и основу, но в чем-то – в настойчивой братской ко всему нежности – одна, и которую мы зовем мудростью, опытом, иногда смирением. Откуда взялась эта страстная потребность облагораживать, будить, врываться в покой привычных и милых друзей – и тем упорнее, чем они дороже? От какого повелительного первоначального порыва идут эти огромные вынужденные усилия – ради крохотных достижений? Что-то единственное нам

приоткрывается, но не хочу, не буду рассуждать налегке и только пожалуюсь, как от этой неумолимой требовательности к людям тяжело – особенно, если двое и у них замкнутая тесная близость: долго подчиняться такой беспокойной воле нельзя, недоверие и отталкивание неизбежны, и вот – заранее неустранимое мучительное неравенство отношений. Договорим до конца: эта борьба, эти двое – я и Вы.

Теперь не надо и объяснять, как я сужу о Вашей «литературе»: неподвижность, любовная замена, ученичество, правда, не явное и не грубое. Вам повезло – таких учеников приветствуют. Как ни странно, я немного обижен и удивлен, что нет моей учительской доли. И в этом не возношусь, но поймите – мы столько были вместе, так привыкли к одной манере судить людей и подбирать слова, так иногда душевно сливались, что меня вытравить Вы могли только нарочно. Не стоит удивляться – новое доказательство Вашего упорного, злого сопротивления. Знаю – Вы и письму не поверите и всё это объясните отчаянием, завистью, постепенно накопленным мстительным чувством.

Внизу автомобильный гудок – это за мной. Прощайте.

Конец записок

Нет, не вижу зависти и мести – Андрей болен, измучен, и я должна ему помочь, как ни запоздала, как ни безнадежна теперь моя помощь. Получила письмо вечером, при маме, прочла и растерялась до слез, до тошноты, так заметно, что мама кинулась ко мне и обняла. Я выпрямилась, оттолкнула, и она, как всегда, не посмела спросить. Вдвоем стало невыносимо – торопясь, не заботясь о впечатлении, я коротко объявила, что сейчас уйду и вернусь поздно. Меня понесло – без видимой ясной цели – в каком-то припадке острой нетерпеливости. Прямо из подъезда вбежала в красное такси с поднятым белым флажком (оно медленно двигалось и не останавливалось), на ходу приоткрыла дверцу и крикнула адрес Андрея – вполне бессмысленно, раз он уже уехал. Странно, задетости, оскорбленности не было, только предчувствие потери, невероятное сознание: к нему нет доступа, он скрыт от меня этим новым, поучительным, ненавидящим тоном, и ничего переменить нельзя. Вот улицы, по которым он возвращался домой, где встречал автомобили и чужих женщин и проклинал свое одиночество. Мне стыдно за свою непонятную безжалостность, и откуда-то страх, что началось горе. Оно идет от разрозненных воспоминаний об уютной, даже

издали ощутимой заботливости Андрея, о моей блаженной высоте. И что-то объединяюще-жестокое в очевидности последних лет и нашей нелепой вражды – самолюбивых уступок, неискренних сравнений, душевного грубого торга. Без этого – доброта, дружба, равенство. Но как же я думала раньше? Какая необыкновенная путаница.

Приехали. Оказывается, я всё время надеялась, что письмо не окончательное и наивно ждала «опровержения», которое где-нибудь у Андрея найду. Не представляла, как это будет – тетради, им оставленные, даже милые и обо мне, обратились в прошлое, обескровлены этим ужасным письмом. Нет, я ожидала чуда – записочки посередине стола, подарка, что-нибудь выражающего, хотя бы устного привета.

Консьержка предупредила, что «наверху старый граф». Мне очень хотелось порыться, поискать одной, но не было терпения отложить. Я никогда не видала дядю Андрея. Он показался сперва обыкновенным и добродушным: тяжелые, еще за дверью слышные шаги, толстый, бритый, розовый, в широких роговых очках. Но глаза, как у Андрея, светлые, невпускающие, и неожиданно резкий голос – отрубленные, вырывающиеся, неопровержимые слова.

– Извините за мой pull-over (я бы сама и не заметила). Вы, наверно, та барышня, из-за которой Андрей оставался в Париже. Он кончен – вопрос недель. Никому нельзя мучиться безнаказанно.

Я застыла, одеревенела и откуда-то – из живого далека – ждала несомненного удара. Удар и был нанесен.

– Вот сохранил свои деньги – для кого? Странно, что Андрей не пробовал Вас осчастливить. Так просто – фальшивый брак. Не догадался – это на него не похоже. Да, все живут, а стоит он больше других.

Последнюю фразу он выкрикнул особенно зло и как-то в упор. Потом задумался и отвел глаза – меня почему-то поразило его утомленное, неподвижное, почти оскорбительное отсутствие. Кажется, не произнесла ни слова – и вышла.

Теперь уже ночь – второй или третий час. Пишу в кафе, маленьком, скучном, давно опустевшем. Оно скоро закроется, но нет решимости вернуться домой, захлопнуть за собой дверь, очутиться в плену. У меня одно желание – продлить эту странную свободу. Так бывало с Андреем – мне по-жуткому хорошо в его роли. Настолько в нее вошла, настолько сейчас на стороне Андрея, что воображаю, как сладкую месть, нашу встречу, его упреки и праведное злорадство. Всё сложилось обидно по-иному: мы не увидимся, и чужой случайный человек оказался мстителем.

Самое для меня грустное – Андрей никогда не узнает о своем внезапном торжестве. Если даже к нему поеду и попробую объяснить, он примет мое объяснение за раскаяние или жалость, вызванную болезнью. А главное – я больше не нужна и ничего исправить не успею. Вот так просто написать: не успею. Но ведь это, сколько бы ни пряталась, до меня дойдет, и тогда – немыслимо. Все-таки большое невезение – прозреть и платиться за прежнюю свою слепоту. Только теперь поняла, как мучился Андрей, и невольно – ради искупающей справедливости – ищу схожего, мучительного, у себя. Оно как будто найдено: мы, наконец, уравнены страстной потребностью друг к другу достучаться и беспомощностью, изнуряющей и непреодолимой. У Андрея это кончилось или всё равно прервется («вопрос недель»), у меня начинается и будет расти.

ЧУДО

Я ПОПРАВЛЯЛСЯ после тяжелой операции. Радость, какая бывает у выздоравливающих, давно прошла и сменилась неврастенической скукой бесконечного ожидания. Люди, много болевшие, знают это нетерпеливое высчитывание дней и часов, тревогу, если снова откладывается срок освобождения, раздражительность из-за всякого неудобства, недоверие к докторам, будто бы желающим нажиться.

Для последнего были поводы, впрочем, едва ли серьезные и разумные. Я находился в новой, чистенькой французской клинике, в комнате для двоих, просторной и дорогой, куда меня в полуобморочном состоянии однажды ночью перевезли друзья. Поневоле казалось, что я выйду из клиники нищим, что меня «эксплуатируют», хотя уход был добросовестный и даже образцовый.

Вторая кровать оставалась пустой, и всё мое общество составляли старый, дельный врач, ежедневно меня посещавший, и сестра милосердия, почему-то со мной «отводившая душу». Высокая, статная, немолодая, с бледно-серым, поблекшим, невыразительным лицом, она подолгу жаловалась на интриги своих «copines», на ссоры докторов, на их придирки и несправедливость. Врачебные ошибки злорадно ее оживляли, как бы жестоко за это ни расплачивались больные. Другой постоянной темой для моего развлечения и подбадривания были рассказы о страшных мучениях и смертях, в чем у нее проявлялась необычайная изобретательность.

Все это мне выкладывалось бесстрастно-тихо и монотонно, и так же, не повышая голоса, она неумеренно хвалила себя, свой опыт, свои медицинские удачи. Человек постепенно приспособляется к любому, навязанному судьбой собеседнику – на пароходе, в казарме, в тюрьме. И я привык внимательно выслушивать мрачные рассказы sœur Marguerite и жил интересами клиники, в уродливом отражении новой моей приятельницы. Меня волновало, что экономка ворует, что повар не умеет готовить, что старший врач спутал язву желудка с аппендицитом, и мои возмущенные реплики подогревали словоохотливость и вдохновение сестры.

Я забыл о существовании прежнего, вольного мира, который исчез для меня незапамятно-давно и в который я Бог знает когда вернусь. Газеты и книги посылались как будто с другой планеты и говорили о

легендарных вещах. Только изредка я с тоскою глядел на пустую кровать у стены наискосок. Мне представлялось, что будущий мой сосед снова свяжет меня с неподдельной, далекой, заманчивой жизнью, куда мне доступ еще закрыт. Я заранее мечтал, видимо, изголодавшись по людям, о дружеских с ним разговорах, о его родственниках и посетителях. Мои знакомые, после первых тревожных дней, понемногу меня забросили. К тому же наши приемные часы совпадали с их рабочим временем.

И вот исполнилась моя мечта о соседе. Меня поразили чрезмерно суетливые приготовления. С утра выносились и в коридоре с шумом вытряхивались матрацы. Белье несколько раз перекладывали и меняли. Пришли две дамы, морщинистая, сухонькая старушка и стройная, изящная, голубоглазая блондинка, лет тридцати, в коротком, до талии, меховом жакете, придававшем ее движениям особую грациозную молодцеватость. Они озабоченно осмотрели комнату и кровать, младшая отдернула одеяло, взбила подушки, а старшая, явно стесняясь, неожиданно ко мне обратилась со странной просьбой на два-три дня перебраться в общую палату. Сестра ответила вместо меня, поручившись за мое спокойствие и терпеливость. После ухода обеих дам она и столь ненавистные ей «copines» о чем-то встревоженно шептались.

Мое любопытство возрастало, но то, что вскоре сообщила sœur Marguerite, мне показалось недостаточно сенсационным. Предстоит ерундовая операция удаления несложных абсцессов. Больной – талантливый и богатый инженер, его мать – владелица каких-то заводов, ее спутница – amie, ставшая невестой. Было ясно, что дело не так уже просто, и повторные мои настояния заставили сестру легкомысленно выболтать секрет. Инженер – давнишний злостный морфинист. У него это – последствие еще фронтового ранения и длится свыше десяти лет. Он дошел до ошеломительной цифры – двадцать четыре укола в день. Шприц повсюду с собой, уколы производятся даже через одежду, из-за чего множество нагноений и необходимость операции. Мосье Морэн перебывал во всех лечебницах, где борются со склонностью к наркотикам, и у нашего персонала смутная надежда его исправить навсегда. Разумеется, честолюбивая Маргарита приписывает инициативу и все дальнейшие возможные заслуги себе.

Меня это неслучайно остро задело. Я после операции ощущал беспрерывные, невыносимые боли, и в течение десяти дней мне каждый вечер, перед сном, та же Маргарита впрыскивала морфий. Не помню другого блаженно-счастливого состояния, которое могло бы

сравниться с тем, что начинаешь испытывать через несколько минут после укола. Где-то внутри медленно разливается сладкая теплота, голова охвачена какой-то ясновидящей дремотой, боль как будто растворяется, и нарочно стараешься не заснуть, чтобы длилось без конца это неповторимое состояние.

Я просыпался под утро, заранее готовый к расплате, с тоской непривычного пьяницы, пробуждающегося от похмелья, но с тоской удесятеренной и непоправимой. В тело проникал свирепый холод, как бы жарко я ни был укутан. Боль возвращалась, усиленная горьким сравнением – только что я безмятежно засыпал. Предстоящий день мне казался огромным, вечерняя радость почти недостижимой, и всё же эти долгие дневные часы были сплошным безвольным ожиданием вечера. Чтобы время обмануть, укоротить, я снова и снова принимался считать до тысячи, припоминал стихи наизусть и никакими способами не мог добиться успокоения. Милый доктор, аккуратный, вежливый старичок, с орденской ленточкой в петлице, напуганный грозной моей страстью, с трудом ее искоренил, замучив и меня, и сестру.

Вот почему я вдвойне сочувствовал неизвестному мне и, должно быть, исстрадавшемуся человеку. Я знал, как мучительно нужен морфий, едва к нему привыкаешь, и как мучительно от этого избавиться. Конечно, при сопоставлении с Морэном, у меня была неопасная детская болезнь, и тем более чудовищными рисовались предназначенные ему испытания, тем сильнее он возбуждал мое сочувствие и любопытство.

Он появился тотчас же после завтрака, в сопровождении обеих дам, и меня удивило противоречие между его поведением и внешностью. Высокий, тонкий, чуть банально элегантный француз, блестящие карие глаза, маленькие усики – во всем подтянутость и холеность. И в то же время угрюмая молчаливость, доходящая до презрительности и грубости. Своим спутницам он отвечал односложно и явно неохотно, мне даже не кивнул головой. Я сразу понял, что дружбы не выйдет, что мое одиночество станет еще тяжелее.

Потом его оставили одного, и он непостижимо-долго переодевался в больничный халат, повернувшись ко мне спиной. Минут через двадцать вошла Маргарита с обеими дамами, попросила их обождать, а его самого повела в операционную. Женщины тихо беседовали между собой, изредка спрашивая меня, доволен ли я уходом, отношением, едой, однако, не поинтересовались, чем я болен. Их занимало лишь то, что могло быть приложимо к мосье Морэну, я же лично для них не суще-

ствовал. Мне сделалось немного обидно, но я себя преодолел, считая естественным чужое невнимание. Напротив, я восхищенно любовался невестой, ее очаровательными сильными руками, непроизвольно-изящными жестами, белокурыми волосами, выбивавшимися из-под маленькой треугольной шапочки, и не без зависти думал о том, что на месте мосье Морэна немедленно бы исправился в чем угодно ради такой прелестной подруги.

Операция быстро закончилась, и больного, столь же тусклого и молчаливого, осторожно принесли на носилках. Сестра и доктор сияли, говоря, что всё сошло благополучно. Их радость передалась обеим дамам, и я невольно за них огорчился, оттого что мосье Морэн отнесся с ледяным равнодушием к их веселым и горячим поздравлениям.

Он пробыл в клинике две недели, всё так же меня не замечая. Дамам позволяли у него сидеть гораздо больше, чем это допускалось больничными правилами. Им он отвечал по-прежнему односложно и нелюбезно. Без них читал какие-то технические книги или неподвижно лежал в халате, поверх одеяла, всегда на левом боку, лицом к стене.

Зато лечение подвигалось как будто успешно. Маргарита, взволнованным шепотом, рассказывала, как постепенно уменьшаются дозы морфия, как его обманывают, впрыскивая чистую воду. Я искренно подтверждал, что он и внешне переменился, что у него стали яснее глаза, полнее щеки, здоровее цвет лица. Мы вместе ругали те учреждения, где он был раньше, где берут деньги, обещая избавление от наркотиков, и где ничего не дают взамен. Мосье Морэн от нас презрительно отворачивался, не слыша, не видя наших секретных перешептываний. Единственное, что меня поражало – его покорность, его беспрекословное послушание. Он вяло ел всё, что приносили сиделки, соблюдал, до мелочей, госпитальную дисциплину, по первому указанию вечером тушил электричество. Лишь перед самым отъездом он со мной заговорил – мрачно, сухо, без малейшей приветливости в тоне – начав с комплимента, которого я не ожидал и не заслуживал:

– Мне хотелось напоследок вас поблагодарить, как ни странно, за то, что вы не лезли с непрошеными советами. С тех пор, как у меня эта несчастная мания, каждый, кому не лень, считает своим долгом меня поучать. То же самое, если еще не устроены, не нашли работы, вас опекают тысяча доброжелателей, но только не ждите от них ни одного дельного слова.

Я мог бы возразить, что моя деликатность и невмешательство были вызваны его враждебной неприступностью и что хвалить меня за

это не приходится. Однако, тут же я нарушил свою дискретность и не удержался от «непрошеных советов». Я сказал всё, что думал о нем:

– Вам повезло, о вас так мило заботятся. Какая у вас очаровательная невеста. Неужели вам не хочется ее обрадовать?

– Вы рассуждаете, мой друг, по случайным наблюдениям, очень далеким от действительной сути вещей. Позвольте и мне вам кое-что посоветовать. Не верьте Маргарите, она – самовлюбленная тупица. У нее счастливый дар менять события в свою пользу. Таким удачливым фантазерам живется легко.

Я вспомнил бесчисленные разговоры с Маргаритой и со стыдом убедился в его правоте. Всё, что теперь я о ней пишу, мне, в сущности, подсказано мосье Морэном, а тогда я воспринял, как унижение, свою глупую доверчивость и его проницательность. Не знаю, почему, он продолжал свои откровенные признания:

– Я женат, у меня удивительная жена, с характером, умная, одаренная, красивая. Она меня бросила несколько лет тому назад, убедившись в том, что я не справлюсь с пороком, что нам не создать уюта и семьи. Это – честное «témoignage de pauvreté». Я точно так же поступил бы на ее месте. А та, что приходит, гувернантка покойной сестры. Как видите, моей матери суждено было много горя. И страшную тревогу за меня ей нужно с кем-то разделить. Она решила верить, что сочувствие моей невесты (я услышал в тоне Морэна как бы иронические кавычки) и благородное, и доброе, и бескорыстное. Быть может, она и не ошибается. К тому же я в подробности не вхожу и не стану лишать ее последних иллюзий. У меня выработалось правило соглашаться, не спорить, не возражать. Тогда внешний мир еще как-то приемлем, на борьбу же энергии не хватает. Иногда, без оснований, надеюсь, что всё прояснится, что жена меня простит и что близок идиллический конец моих злоключений. Очевидно, я по-старому ее люблю. Впрочем, забудьте обо всем, я попросту непозволительно разболтался.

Он опять отвернулся и больше со мной не разговаривал. Только на прощанье мне грустно улыбнулся. Кажется, этого было достаточно для заискивающей любезности обеих дам.

После их ухода в моей комнате собрался чуть ли не весь больничный персонал. Явились сестры, сиделки, вороватая экономка. Позвали повара и даже кое-кого из выздоравливающих. Маргарита расхворалась, как никогда. Она подробно описала свой «метод», ссылаясь на меня по всякому поводу. Я тоже был в центре внимания, хотя и ощущал какую-то странную неловкость. Маргариту поздравля-

ли – не слишком искренно, однако, дружно – и у каждого оказались свои соответственные воспоминания.

Впрочем, она недолго могла хвалиться достигнутыми успехами. Когда убрали комнату и кровать, между матрацами нашли две пустых бутылочки из-под морфия и третью, наполовину опорожненную. Я не подозревал, каким запасом отборных ругательств располагает иная скромная сестра милосердия.

Вся эта, почти забытая, история с необыкновенной яркостью ожила в моей памяти. На днях я в вечерней газете прочел, что инженер Шарль Морэн, давний морфинист, убил жену и застрелился, не оставив записки. Мне, к сожалению, не удалось разобраться, кто именно была его жена.

СТАТЬИ И ДОКЛАДЫ ПО ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВУ

ФРАНЦУЗСКАЯ ЭМИГРАЦИЯ И ЛИТЕРАТУРА

ЭМИГРАЦИЮ упрекают, что она оторванная и мертвая. Говорят: это неизбежно, она отсечена от живого организма. Говорят еще: она бесполезна и ничего не создаст – творить надо дома, на родной земле, среди родной жизни.

В не очень далеком прошлом был пример, столь известный, вынужденного длительного рассеяния, пример параллельной деятельности внутри и вне страны. Я говорю, конечно, о Франции.

Французских изгнанников также упрекали в оторванности и антипатриотизме. Они защищались, творили для Франции – и за границей, и потом, вернувшись, у себя дома. Многие из них дожили до возвращения, кое-кто до высокого признания.

В самой Франции происходили творческие революционные процессы. Революция ворвалась во всё области, также и в область искусства. Ныне в учебниках литературы неизменно красуется глава: Médiocrité de la littérature révolutionnaire.

Говорится о первом десятилетии революции до провозглашения Бонапарта консулом. Срок порядочный, и «médiocrité», ничтожество тогдашней внутрифранцузской литературы неслучайно.

Как раз она оторвалась от того, что было воздухом искусства: от критики, преемственности, образованности. Всё это давали салоны с их неизменной традицией изящного вкуса, утонченной мысли. «Салонная» в хорошем смысле, т. е. вся дореволюционная литература, та самая, которая законодательствовала в Европе, была разгромлена. Ее представители разбежались кто куда. Новые люди выступили в каком-то диком поле.

Оказывается, как раз они остались, по выражению историка, «мертвым грузом», без единого уцелевшего имени. «Мертвым грузом» остался даже столь прославленный когда-то революционный театр. Между тем там играли прекрасные, с королевских времен, актеры, и ставились пьесы, дерзкие по новизне, по непохожести на прежнее. Они имели чудовищный успех у новой публики – и все-таки погибли. Очевидно, новая публика без старой культурной преемственности – плохой воздух для искусства.

Вначале, во времена первой горячки и террора, – и пьесы, и стихи, и проза были грубо демагогическими. Революционное общество только возникало, со всей непритязательностью, примитивностью parvenus.

Потом оно окрепло, осело, превратилось в буржуазию, в наполеоновскую аристократию. Отделившись от народа, все эти генералы из трактиров, банкиры-спекулянты, скупщики, подрядчики и их праздные жены захотели иметь свое мнение и вкус.

Писатель, который привык угождать, должен был отказаться от чрезмерной примитивности, искать пути развития.

Задача нелегкая: думать по-своему, высказывать живую мысль – могло стоить головы при терроре и многих неприятностей даже при Наполеоне. Это неудивительно: Наполеон был продолжением и завершением революции. Он присвоил себе одному ее диктаторские права.

Что же оставалось делать привычному карьеристу – внутрифранцузскому писателю? Свой голос, свое содержание – под запретом. Оставалось усложнять, чеканить, разнообразить форму.

Сперва культивировали народный язык, всякого вида грубости, чрезмерности, реализм.

Потом стали подделываться под античных писателей, у них заимствовали вдохновение, образы, форму. Это естественно: родная история, как-никак, история королей, тоже осталась под запретом. За примерами и сравнениями поневоле пришлось прибегать к древним. К ним тянулось и общество, чтобы не отставать от прежних салонов.

Но эти новые – и писатели, и читатели – не могли чувствовать античности хотя бы по недостатку образования. Вышло «кривое зеркало» – безвкусная «ампирная» литература.

Характерно, что в то же время получили стремительное развитие две области, расположенные около искусства – так называемое ораторское искусство и журнализм.

В журналистике крайние и очень поучительные фигуры: Дюмулен, запальчивый, неуравновешенный революционный демагог, и Малледю-Пан, конституционно либеральный, добросовестный исследователь нынешнего профессорского типа, непонятный и ненавистный одинаково левым и правым.

Ораторское искусство – при всей огненности Мирабо или Дантона было вполне бессодержательно. Его идеи – упрощение Вольтера, Руссо, Монтескье. Словарь – те же ложно понятые и никак не понятые Гракхи, Аристиды и Леониды.

Итак, бедность, падение, отсутствие идей. Но разве французская литература стала тогда пустым местом? Ведь то время – начало романтизма, ближайшее вслед за ним – психологический роман.

Среди стольких имен, обреченных забвению и забытых, уцелело три – разнородных и разноценных – Андре Шенье, мадам де Сталь, Шатобриан. Это они связали восемнадцатое и девятнадцатое столетия, они – ученики старых, учителя новых. Одна черта их роднит – чрезвычайно странные счеты с революцией.

Вот Андре Шенье – молодой дипломат и офицер. Он приветствует начало революции – поэтическое, благородное, почти бескровное. Но душой и стихами он в старом мире, образованном и утонченном. Жирондисты, якобинцы, террор ему чужды и враждебны. Он не скрывает своих лояльных монархических чувств с примесью либерализма. Он – внутренний эмигрант.

Арест, заключение, казнь Шенье – логичны. Его бунтующие «Ямбы» из тюрьмы тоже логичны и пережили судей и палачей.

Мадам де Сталь – дважды эмигрантка в революцию, под надзором полиции при Наполеоне. Дочь королевского министра Неккера, жена шведского посланника, она объездила всю Европу, побывала и в России.

Как никто, знала, любила и пропагандировала иностранных писателей и философов. Она первая ввела понятие европейской литературы, общеевропейских течений. В то же время верная дочь французского восемнадцатого века, мадам де Сталь унаследовала сентиментальную душу Руссо, острый ум Вольтера, либеральные доктрины Монтескье. Недаром ее называли «la marraine du libéralisme parlementaire». Ей казалось несущественным – король или президент, лишь бы палаты, право собственности, широкое развитие личности.

В ней, типичной эмигрантке, изумительное соединение французских дореволюционных традиций и европейского сознания, воспринятого, найденного за рубежом.

Шатобриан не только эмигрант, но и доброволец армии принцев. Он сражался, был ранен. В Англии, бедствуя, существуя кое-как переводами, выпустил свою первую книгу «Essai sur les Révolutions». Вернулся при Наполеоне, но с ним не поладил. После Реставрации был послом и министром и оказался умереннее и дальновиднее многих других.

Не буду напоминать о литературных заслугах и отличительных свойствах Шатобриана. Всем известно: крайний индивидуалист, романтик, меланхолик, мистик...

Но есть в его творчестве одна сторона, любопытная именно для нас. Он необыкновенно метко попал в нерв времени своими христианскими произведениями: «Martyrs» и «Génie du Christianisme».

Преследование религии революцией вызвало подъем у верующих, утверждение моральной правоты преследуемых: Шатобриан опоэтизировал, возвеличил христианскую идею, дал ей ореол, отделил современное искусство, христианское, от античного. К современному он отнес и внерелигиозных писателей христианской эры.

«Христианскость» Шатобриана – это нечто вроде европеизма мадам де Сталь, широта и терпимость, возможные только после многих уроков, после внимательного изучения своего и чужого.

Крайние взгляды Шатобриана и его всё же здравый практический смысл, свойственные большому числу людей того поколения, нашли философское выражение у другого знаменитого и непримиримого эмигранта – Жозефа де Местра.

Ближайшим другом и последователем мадам де Сталь был Бенжамен Констан, спутник ее странствий по Европе, при всех правительствах либеральный оппозиционер, впоследствии творец аналитического романа.

Возвращаюсь к началу: сама революция новых писателей не дала. Доживали старые – Бернарден де Сен-Пьер, Бомарше, последний в изгнании в Гамбурге.

Следующее поколение – Ламартин, Бальзак, Жорж Занд, Стендаль – выступило в сравнительно спокойное время. Оно связано с Шатобрианом и мадам де Сталь, через них с дореволюционной литературой.

Правда, творчество их, по темам и широте охвата, стало возможно благодаря революции, которую идейно подготовили те же Вольтер или Руссо. Искусство передает жизнь и часто ее подталкивает.

Но сильная, несгибающаяся личность могла сохраниться только в эмиграции. В ней была среда, способная ценить. В ней была память о родной земле – живой, а не умерщвленной тираническим строем. В ней была гордость неподчинения и правоты.

В теперешних русских условиях предпосылки те же, пожалуй, с большей еще остротой. Революционный режим длительнее и беспощаднее. Эмиграция полнее вобрала элиту страны. Однако соотношение и выводы требуют обстоятельного разбора.

Ограничусь одной параллелью, французской, и буду надеяться, что эта параллель – символ.

У МЕРЕЖКОВСКИХ – ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ

ВОПРОС модный и, в сущности, очень страшный – о русской литературной смене. «Там» всё больше зажимают рты. В интимном разговоре жаловался один советский писатель, имени которого, конечно, не назову, как теперь трудно оставаться писателем, то есть чтобы печатали и не запрещали. Прежде довольствовались лояльностью, сейчас – нужна активная пропаганда.

Чем яростнее «пропагандные» требования, тем, разумеется, ниже литературные качества. Там – истинная литература ушла «в катакомбы»; писатели, и официально признанные и другие, бескомпромиссные, отказывающиеся при такой цензуре печататься, где-то собираются, в глухо-замкнутых московских и «ленинградских» кружках. Там они читают совсем не то, что мы читаем в «Звезде» или «Красной Ниве». До широкой публики это «не доходит».

Не помню, когда и у кого за границей возник этот печальный вопрос о «смене». Одним из первых на него откликнулись Мережковские, со свойственной им живостью и каким-то особенным «чувствованием момента». Откликнувшись, они немедленно начали действовать.

Пожалуй, главное отличие Мережковских – Дмитрия Сергеевича и Зинаиды Николаевны Гиппиус – от большинства других русских писателей – в этой самой действенности. Они не только пишут, не только издают идеи, но и пытаются эти идеи как-то применить к жизни. В Петербурге у них – религиозно-философское общество (или они в религиозно-философском обществе), в Париже – «Зеленая Лампа».

В последние годы мне часто приходилось видеть Мережковских среди именно такой наполовину практической работы, и никогда я не мог понять, в ком именно из них двоих эта действенная сила и умение ею пользоваться заключены. То мне казалось, что Дмитрий Сергеевич, с его пророческим жаром, с общительным высоким пафосом, не может входить во все скучные мелочи и что Зинаида Николаевна предпринимает необходимые дипломатические шаги. То казалось обратное, будто З. Н., умный, тонкий и скептический собеседник, брезгливо отворачивается от «мелочей» и будто Д. С. всё преодолевает напряжением своей воли.

Надо сказать, у Мережковских – необычайный культ воли. Вероятно, не одному молодому писателю выносился грустный приговор: «Талант есть, но не хватает воли – все это ни к чему и ничего из этого не выйдет».

Мережковские, в частности З. Н., не стесняются быть строгими и справедливыми, вопреки общему мнению, что к литературной молодежи следует относиться снисходительно, что «излишней строгостью можно загубить молодое дарование». Зато лишь немногие так стараются отыскать эти самые «молодые дарования», как именно З. Н., и потому так болезненно ее затронул вопрос о «смене».

Года четыре с половиной тому назад, случайным гостем, я сидел у них в маленькой столовой, которую знает весь русский литературный Париж. Говорилось о молодых людях, что-то пишущих, никому неизвестных, нигде не печатающихся. З. Н. расспрашивала с необыкновенным участием и любопытством:

– Мы хотим, как в Петербурге, каждую неделю устраивать литературное чаепитие. Приходите в следующее воскресенье и приводите кого угодно. Единственное условие – чистота в смысле антибольшевизма.

В следующее воскресенье появилось довольно много молодежи, но, увы, молодежь оказалась великовозрастной, и вопрос о смене стал еще острее. Правда, среди пришедших – в большинстве не моложе тридцати лет – были люди интересные и даже замечательные. За все четыре года таких воскресных собраний состав гостей изменился сравнительно мало.

Каким-то сплоченным кругом, с переглядываниями, пересмеиваниями, с некоторой отчужденностью от других, явился петербургский «Цех поэтов» – Георгий Иванов, Адамович, Оцуп, Одоевцева. Особняком держались так называемые парижские поэты – Ладинский и Терапьяно – объявившиеся только в эмиграции. Ходасевич и Берберова лучше других знали хозяев дома и были приняты как старые знакомые. Молодой философ Бахтин всё время сидел молча и с явно оппозиционным видом. Таким оппозиционером остался он и впоследствии. Были еще М. О. Цетлин-Амари и парижско-петербургский критик Мочульский. Всех сразу не припомню.

Тогда же, с первого дня установился негласный ритуал приема, который соблюдался всегда. Можно было подивиться, как быстро возникают во всяком обществе неискоренимые в дальнейшем привычки.

Дверь неизменно открывает Злобин, ближайший друг Мережковских, которого я помню в Петербурге молоденьким студентом, читающим стихи, растягивая их «по-гумилевски». Теперь взрослый, как и всё мы, покуда нет настоящей молодежи.

Первых гостей Злобин вводит в уютную приемную, уставленную книгами и похожую на кабинет. Впрочем, у Мережковских обстановка буржуазная, для русского парижанина непривычная. У них квартира еще с мирного времени, когда они дружили с Савинковым и, кажется, по своей воле эмигрировали.

В приемной разговор случайный и немного сплетнический – о чьей-нибудь статье или стихах, о каких-нибудь обидах и недоразумениях. Иногда раннему и наивно-точному гостю приходится сидеть одному, пока З. Н. придет с прогулки, или же Злобин закончит свои хозяйственные распоряжения. Он любезно и крайне умело исполняет обязанности хозяйки дома и никому не доверяет секрета, где можно купить такие вкусные булочки и пирожные.

Но вот появляется в приемной, с лорнетом в руках, З. Н., стройная, тонкая, прямая и ошеломляюще моложавая.

– Почему вы не были в прошлое воскресенье?

Или:

– Читала вашу статью и, простите, ничего не поняла. Какая-то сплошная жвачка...

Бывают и милостивые мнения, но главное – З. Н. всё помнит, всё отмечает, за всем следит.

Через некоторое время быстро входит Д. С. в бесшумных домашних туфлях, не раз уже описанных, и, подавая руку, низко кланяется с какой-то намеренно старомодной вежливостью. Он среди сплетнического разговора явно нетерпеливо молчит. Ему скучны все эти толки и пересуды.

– Зина, довольно говорить о пустяках. Лучше пойдем чай пить.

Мы направляемся в столовую и там происходит неожиданная перемена. Все как-то подтягиваются, разговор сам собой становится обобщающим и отвлеченным. Д. С. оживляется и забывает о скуке.

То первое собрание было несколько натянутым и церемонным. Гости сами не заговаривали и ждали вопросов З. Н. Незаметно установилось, что З. Н. как бы ведет собеседование и, надо сказать, делает это чрезвычайно искусно.

Тогда, за чаем, говорилось, кажется, о символизме, и мне, новичку, показались удивительными точность, быстрота и находчивость отве-

тов. Впоследствии я освоился и понял, сколько за всем этим готового и условного. Но и в дальнейшем «чаепитийные» разговоры у Мережковских нередко бывали занимательными и остро-напряженными.

Понемногу гости оттаяли, перестали стесняться хозяев и как-то привыкли друг к другу. Почти все начали видеться между собой и помимо воскресных собраний. У большинства возникли товарищеские или приятельские отношения, а о «неприятельских» злословить не буду. Но тогда вначале чувствовалась еще неловкость, и резкая прямота. З. Н. невольно многих смущала. Так один небезызвестный поэт прочитал какие-то свои стихи. Все ждали одобрительных слов. Вдруг, среди общей тишины, З. Н., даже не улыбнувшись, безапелляционно сказала:

– Это вы взяли у меня...

Подразумевался не плагиат, подражание, но положение бедного поэта было достаточно нелегким. Однажды, не без труда, уговорили Одоевцеву прочитать раннюю ее «Балладу об извозчике». Очаровательно-изящная, устремив к лампе свои «зеленоватые глаза», воспетые Гумилевым, и чуть-чуть хрипло картавя, Одоевцева произносила нараспев:

Извозчик лошади говорит: ну!
Лошадь подымает ногу одну.

Приговор был неожиданный:

– Вы пишите, как Вова Познер.

– Почему не Познер, как я?

И действительно Одоевцева была права. Это она изобрела жанр полуфантастической современной баллады, и познеровская «Баллада о дезертире», в свое время наделавшая много шуму, появилась после ее «Баллады об извозчике».

О чем только не говорилось на этих воскресных собраниях. Толстой, политика, большевики, религия, Марсель Пруст, русские символисты, французские неокатолики, греческая трагедия. Всего не перечислить и не запомнить. У Мережковских свои давние продуманные взгляды. С ними постоянно несогласен Бахтин, человек любопытный и даже поразительный. Петербургский студент, он проделал германскую и белую войну и служил почти пять лет в Африке, в Иностранном Легионе. Говорит, что никогда не был так счастлив, так душевно-спокоен, как именно в Легионе. После ранения его уволили и вскоре

в литературно-утонченнейшем винаверском «Звене» появились философские статьи Бахтина, сразу его выдвинувшие. Эти статьи удивляли своей точностью, вескостью, какой-то внутренней убежденностью. Таков же Бахтин и в своих выступлениях. Он говорит мужественно, твердо, не запинаясь, и я видел не раз, как лучший русский оратор, Маклаков, внимательно прислушивался к речам Бахтина.

У Мережковских он – антихристианин, эллинист, безбожник. Всякая попытка переубедить вызывала его негодование. Помню укоры Д. С.:

– Вот вы произносите кощунственные слова, а ваша христианская душенька, наверное, томится.

Бахтин оставался непреклонным. В один прекрасный день он перестал бывать у Мережковских. Исчез и для своих ближайших друзей, заперся у себя дома и засел писать.

Другой постоянный оппозиционер Адамович. У него, если можно так выразиться, талант честности, искренний подкупающий тон и манера не «выступать», а «разговаривать». Даже и в своих докладах он именно «разговаривает», как будто перед ним не аудитория, а несколько старых его товарищей. У Мережковских он оппозиционер не извне, и изнутри, не безбожник, а сомневающийся, и потому его слова иногда особенно опасны и неотразимы.

Кроме постоянных гостей бывают и случайные. Припоминаю одну почтенную даму, которая пришла с воскресным визитом и от «умных разговоров» незаметно для себя уснула. Бывают также и знаменитости – Бунин, Алданов, Тэффи. Бунин, если не живет на юге Франции, приходит сравнительно часто. Он слушает, чуть-чуть недоверчиво, и всё же благожелательно улыбаясь. Алданов в литературном кругу известен тактичностью и деликатностью. Он всегда спрашивает, перед тем как войти, не мешает ли, нет ли каких-нибудь секретов. От Тэффи ожидают словечек и острот. Но она серьезна и приводит к случаю церковные средневековые тексты, которых никто из нас не помнит.

На воскресных собраниях у Мережковских зародилась «Зеленая Лампа». О ней следовало бы поговорить отдельно. Председателем был как-то единодушно намечен Георгий Иванов. Он им и оставался все четыре года. Петербургский акмеист, соратник и собутыльник Гумилева, Мандельштама, Кузмина, Георгий Иванов сразу угадал, каков будет «уклон» «Зеленой Лампы», с докладами о христианстве, о Розанове, о юдаизме.

– Никак не думал, что именно мне придется быть председателем религиозно-философского общества.

У Мережковских заседания «Зеленой Лампы», доклады, контрдоклады и прения обсуждались вперед настолько подробно, что иногда казалось, будто происходит репетиция. Однажды Ладинский не выдержал и мрачно заявил:

– А теперь всей труппой в Копенгаген.

Все же отношение к «Лампе» было у всех серьезное и сосредоточенное, и самые «репетиции» происходили от чрезмерной добросовестности.

В последний год, наряду с молодежью, тридцати- и сорокалетней, появилась и действительно «зеленая молодежь». Но первое появление ее было не здесь, а в других местах, в литературных кружках не очень известных, однако же чрезвычайно любопытных. И о них, как и о «Лампе» следовало бы рассказать отдельно.

ЛИТЕРАТУРНАЯ МОЛОДЕЖЬ ИЗ «КОЧЕВЬЯ»

В ПАРИЖЕ несколько лет уже существует русское литературное общество, единственная цель которого – найти и выдвинуть молодые таланты. Это общество названо «Кочевьем» – название понятное и символическое для нашего времени и связано с журналом «Воля России».

Устав «Кочевья» любопытный и до крайности демократический. Председательствуют члены общества поочереди. Во время председательствования пьют, едят, подходят к столикам, громко переговариваются с посетителями, а с близкими друзьями полемизируют на «ты». Ораторов вызывают по фамилии, не прибавляя ни «господин», ни «гражданин», ни «товарищ». Если очередной оратор отказывается или упирается, его тут же уговаривают, стыдят, иногда ругают.

Это невольно напоминает об изысканнейшем председателе «Зеленой Лампы» – Георгии Иванове – который часами просиживает молча и не шелохнувшись, вызывает предварительно записавшихся ораторов по имени, отчеству и фамилии и не позволяет себе ни малейших вольностей.

Собиралось «Кочевье» не в полуисторическом и своеобразно-живописном кафе «Ля Болэ», а в другом, очень обыкновенном и мещанском, против Монпарнасского вокзала. Там отводился для собраний специальный зал, со столиками, с обязательной «консомацией», и так как прислуга разносила кофе и пиво и затем требовала уплатить по счету, нередко в самые патетические моменты прений те заседания бывали какими-то несосредоточенными и неровными.

Однажды управляющий кафе явился во время такого заседания пьяным и, грузно ступая, начал проверять, все ли гости что-нибудь заказали. Как раз читались новейшие лирические стихи, и эффект получился для автора стихов печальный. С тех пор собрания перенесены в зал одного ученого общества и стали несколько более академическими.

Организатор и бессменный руководитель «Кочевья» – М. Л. Слоним, один из редакторов «Воли России». У него не совсем обычное

прошлое – даже и по нашему сумасшедшему времени. Юношеские дуэли в Риме, партийная подпольная работа в России, Учредительное собрание, в котором он был младшим по возрасту участником, затем Народная Армия. Сейчас Слоним больше всего – литературный человек, и надо сказать, в смысле «поисков литературной смены», в смысле помощи молодым писателям советом, одобрением и предоставлением возможности печататься – у него немаловажные заслуги. В его «Воле России» впервые печатались Газданов и Поплавский, о которых теперь говорят, Варшавский, о котором начинают говорить, и сколько еще других! По внешности Слоним – интеллигент в пенсне, с ясным и звучным голосом, с манерой как бы вразумлять и поучать, которая, пожалуй, скрадывается большой доброжелательностью и терпимостью.

Теперь, кажется, прошло то время, когда молодые русские поэты и прозаики в Париже, Праге и Белграде друг другу читали свои произведения и этим ограничивалась их литературная деятельность. Сейчас иные из них как будто бы «вышли в люди», появляются в хороших издательствах их книги, о которых спорят и говорят, которые находят сравнительно много читателей. И как ни странно, ни парадоксально, издатели «ищут молодых». В этом году «Поволоцкий» выпустил Газданова, «Москва» – Болдырева и Яновского. Все трое – питомцы «Кочевья».

Гайто Газданов – кавказец, осетин, но во внешности его нет ничего специфически восточного. Невысокого роста, подвижный, с узкими смеющимися глазами, скорее уж похож на татарина, но и этого определенно нельзя утверждать. Может быть, следствие его происхождения – физическая сила и ловкость. Спортсмены из «Кочевья» чрезвычайно завидуют его умению ходить на пальцах рук.

Отличительное свойство Газданова – ирония. Это сказывается не только в его книгах, но и в личном разговоре и особенно – в устных его выступлениях. Он нападает яростно и беспощадно и не ищет смягчающих слов. Так, однажды, на заседании «Зеленой Лампы» он «обрушился» на символизм, на религиозно-философские устремления символистов, которые назвал «провинциальным мессианизмом», на присутствовавших в зале Мережковских. Д. С. Мережковский его достаточно сурово отчитал, но Газданов всем своим видом показывал, что остается при прежнем мнении. Произведения Газданова, в частности первый его роман «Вечер у Клер», имевший большой успех, – доказательство того, как у зарубежных молодых писателей постепенно

«изживаются» влияния советские и заменяются европейскими, точнее, французскими.

Один из любопытнейших людей, выступающих в «Кочевье» – Сергей Шаршун. Он по происхождению русский чех, во Францию попал до войны, художник. Ему за сорок лет, он до этого года нигде не печатался, сам выпускал и раздавал знакомым какие-то несколько футуристические листовки, в которых иногда, между строк, попадалось что-то сильное и острое. Картины его считались «непонятными», как и роман «Долголиков», который медленно писался и без конца переделывался. С голоса, да еще в «кафейной» атмосфере «Кочевья» оценить его было невозможно.

Рукопись «Долголикова» однажды была дана критику Адамовичу, который пришел в восхищение. В «Числах» были напечатаны отрывки из романа. Интересно, что почти не оказалось средних мнений – общее порицание или равнодушие, отдельные восторженные похвалы.

Часто выступает в «Кочевье» один молодой поэт, высокий, красивый, со звонким голосом, с манерой говорить так убедительно и твердо, точно он читает декларацию. О нем, как и о многих «молодых», мнения расходятся. Одни его считают талантливым, другие – совсем мало одаренным. Если всмотреться, черты его лица чем-то знакомы, кого-то напоминают – может быть, чей-то портрет, примелькавшийся нам в детстве. Это – Вадим Андреев, сын Леонида Андреева. Невольно думаешь, насколько легче было «начинать» отцу, насколько могла быть шире его «читательская аудитория».

Здесь бывают и все поэты из кафе «Ля Болэ». Иногда собрание является чем-то вроде «устного журнала» «Кочевья». Читаются стихи, проза, рецензии, коротенькие статьи. В самое последнее время много говорят о молодом поэте Владимире Смоленском. У него действительно появляются незабываемые строки и чтение его чрезвычайно выразительно. Вот конец одного стихотворения:

Господи, ведь нам так мало надо –
Отыскать свой дом и отдохнуть.

Или другого о слепом, призывающем к помощи и на что-то еще надеющемся:

Милый, я слышу, слышу,
Милый, спасенья нет.

Обыкновенно же в «Кочевье» разбираются все выходящие русские книги, если они заслуживают малейшего к себе внимания. Сперва говорит докладчик, затем, после перерыва, ему возражают оппоненты. Посторонних, случайных оппонентов бывает немного, и, надо признаться, обычно они довольно беспомощны. По-видимому, и литературные прения требуют какого-то навыка. В большинстве случаев выступают одни и те же люди. Кроме Газданова и Слонима, – Сосинский, прозаик лирического склада, с подкупающим мягким голосом. Фохт, больше «литературный деятель», чем писатель, бывший эскадронный командир, с оглушительным «командирским» басом, и Рейзини, человек добродушный, но с юмором и большой наблюдательностью.

Рейзини, подобно Поплавскому, – один из центров русской литературной богемы на Монпарнасе. Забавно видеть, как в два часа ночи, позевывая и потягиваясь, как будто хорошо выспавшись, он появляется в кафе «Куполь». Поплавский не без меткости окрестил эти появления «утром помещика».

На некоторых собраниях «Кочевья» авторы сами читают свои произведения, которые потом при них разбираются. Нередко сами они не читают, а только присутствуют при разборке или «для информации» посылают жен и знакомых, что делали и писатели весьма знаменитые.

Очень странное чувство, когда при вас «по косточкам» обсуждают книги и деятельность человека, который должен всё это молча выслушивать. Немногим удается сохранить хладнокровие – особенную выдержку показала однажды Одоевцева. Докладчиком о ее недавнем нашумевшем романе «Изольда» выступал Варшавский, очень талантливый и своеобразный молодой беллетрист. Варшавский безоговорочно хвалил, но были со стороны оппонентов и злобные выпады. Одоевцева улыбалась всё время, как будто говорилось не о ней, и впоследствии не раз приводили в пример ее «английское воспитание».

Среди публики часто можно встретить «марксистского князя» – Святополк-Мирского. Среднего роста, несколько сутулый, с черной бородой и типично русским интеллигентным лицом, он ничем не напоминает блестящего гвардейского офицера, каким он был когда-то в молодости. Впрочем, и тогда он шел «наперекор течению», и сохранился анекдот, как на полковом празднике князь Св.-Мирский отказался присоединиться к официальному тосту за августейшего шефа полка:

– Не желаю пить за распутинских друзей!

Это неправдоподобно и вряд ли в действительности произошло, но и сейчас в беженстве князь Святополк-Мирский занимает позицию

исключительную и тоже неправдоподобную. Он – левый евразиец, яростный «большевизан». Иногда кажется, что всё это несерьезно, что «марксистский князь» только дразнит, только ошарашивает собеседников и слушателей. Кн. Св.-Мирский «резвится» и в английских литературных газетах и в Британской энциклопедии и в одном из английских университетов, где по-своему освещает русскую современность и русскую культуру.

В противоположность Св.-Мирскому у иных молодых писателей из «Кочевья» происходит совсем другая эволюция. Они не забывают русских традиций и продолжают учиться тому немногому, что может им дать советская литература, и по-новому, не со стороны, воспринимают западноевропейскую жизнь и становятся в полном смысле слова – русскими европейцами.

ПАРИЖСКИЕ ВСТРЕЧИ РУССКИХ И ФРАНЦУЗСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Избранная аудитория. – Французы о русских. – Андре Мальро и Жан Максанс. – Диспуты. – Отношение к советским писателям. – Значение собраний.

Я уже писал о Всеволоде Фохте, «литературном деятеле с командирским басом». Но у него не только оглушительный голос, у него и огромная энергия и большие организаторские способности. В самом деле, ему посчастливилось создать то, что казалось легко осуществимым, что, однако же, никому другому не удалось – постоянные встречи французских и русских писателей.

Такие встречи как будто бы напрашивались сами собой. В Париже – «цвете русской литературы» у французов и русских еще со времен Мериме, со времен Тургенева и Флобера – давнишнее взаимное любопытство, даже больше того, исключительный интерес одних к другим – как им в течение десяти лет не сойтись, не подружиться, близко друг друга не узнать? И всё же едва ли не каждый русский литератор испытывал какое-то странное чувство отчужденности, неловкости, случайно знакомясь со своим французским собратом.

Да их и немного было, этих случайных знакомств, причем французские собратья оказывались неизменно приветливыми, но с некоторым налетом сдержанности. По-видимому, их уверили, что настоящая русская жизнь только там, в России, и там же настоящая литература, а здесь, в эмиграции, в Париже, сосредоточилось всё ненужное и отсталое. Понадобилось много усилий, чтобы их в этом разубедить.

Взялся сорганизовать встречи Фохт. У него были возможности, которые облегчали ему работу. Русский кадровый офицер, он стал по необходимости французским журналистом, сотрудником «Intransigeant» и приобрел газетные и литературные связи. Однако же рекламировать собрания было не так просто, тем более, что их замыслили скорее «элитными», чем популярными. Я был свидетелем, как Фохт,

достав нужные адреса, рассылал сотни приглашений. В конце концов он своего добился. Франко-русские собрания лишь недавно возникли, но сразу же сделались многолюдными и достаточно известными.

Зал в триста человек всегда переполнен до отказа. Кое-кто не попадает, кое-кому приходится стоять. По первому впечатлению, русских и французов приблизительно поровну, и публика, что называется, избранная. Первые четыре ряда предназначены для писателей. Среди них многие французские знаменитости и большинство русских, находящихся в Париже. Часто бывают Бунин, Алданов и Зайцев. Можно наблюдать, как французы шепчутся о русских и русские о французах.

На местах президиума Фохт, молодой французский писатель Себастьян, который с ним вместе является инициатором собраний, и очередные докладчики. На каждом заседании два докладчика, один русский, один француз, причем доклады параллельные или же на ту же тему. Выступают исключительно по-французски. У большинства русских грамматически правильная речь, своеобразный «славянский» выговор и большое знание французской литературы в ее настоящем и прошлом. Французы знают лишь немногих русских писателей – Толстого, Достоевского, Тургенева, некоторые еще Гоголя и Чехова, зато знают их основательно, чрезвычайно любят и страстно о них спорят. Именно Толстому и Достоевскому были посвящены два собрания, другие два – современным французским писателям – Андре Жиду и Марселю Прусту, остальные – общим вопросам. Стенографированные речи впоследствии выходили в виде отдельных книжечек.

Забавно было видеть, как французы, в полемическом пылу, забывали о русских слушателях и вели бесконечные споры на свои узкопартийные темы. Одним из таких неистовых спорщиков являлся Жан Максанс, молодой католический писатель, маленький, с крошечными ручками, с огромной, кверху, шевелюрой. Он стремительно откуда-то выскакивал по каждому вопросу, под громкие аплодисменты пяти или шести приятелей в задних рядах.

Помню долгую его перебранку с другим молодым, быстро выдвинувшимся писателем Андре Мальро, «свободомыслящим» по своим взглядам. Андре Мальро – красивый, изящный, с постоянным нервным тиком, возникшим после жуткого и необыкновенного приключения. Талантливый молодой француз был сравнительно недавно в Китае и, по-видимому, из озорства похитил какой-то священный предмет в буддийском храме. В результате китайская каторжная тюрьма, из которой с трудом его вытащил французский консул.

Это свое приключение, современный китайский быт и революцию Андре Мальро описал в интересной книге «Победители», имевшей большой успех и сразу сделавшей ему имя. Мне случайно пришлось познакомиться с отцом Мальро, честным парижским коммерсантом. На вопрос о сыне он только вздохнул: бедный Андре не получил премии Гонкура, от которой бы так увеличился тираж его книг. Надо прибавить, что премию Гонкура труднее получить, чем выиграть в лотерею, и что ее не имеют знаменитейшие современные французские писатели. Но заботливый отец Андре Мальро смотрит на литературу по-коммерчески и правильно учитывает обстановку. Как это часто бывает в подобных случаях, сын почти коммунист и отцу нисколько не сочувствует.

Наоборот, Жан Максанс, в соответствии с религиозными своими взглядами, от коммунизма далек, и это проявилось у него в чрезвычайно драматическую минуту.

Шли прения по докладу известного, уже немолодого критика Бенжамена Кремье о новом французском романе, и по докладу Фохта – о романе эмигрантском. Кремье подробно разобрал причины блистательного развития послевоенной французской прозы и справедливо отметил ее сравнительно высокий «средний уровень»: Фохт остановился на бунинской «Жизни Арсеньева», на последних произведениях Мережковского, Алданова, Зайцева, на творчестве некоторых молодых зарубежных беллетристов, в том числе Газданова и Сирина. Им обоим возражали по существу, и прения первоначально велись в спокойном тоне. Неожиданным было выступление молодого поэта Познера.

Познера принято считать чем-то вроде «комнатного большевика». Он прекрасно знает французский язык и во французских журналах пишет о русской литературе – часто несколько тенденциозно, как несколько тенденциозной является его обстоятельная *Панорама русской литературы*, к сожалению, по-французски единственная книга в этом роде. По виду Познер – добродушный и розовый (так и хочется написать «Вова» Познер), и никак от него не ожидаешь «страшных слов». Но на этот раз он решил «страшные слова» произнести.

Познер обрушился на бедного Фохта. Фохт будто бы сообщил заведомо ложные сведения. На самом деле, в эмиграции нет писателей. «Старики» доживают свой век и потеряли талант вдалеке от родины. Молодежи просто не существует. Да и нельзя быть писателем в изгнании.

Аплодируют яростно – правда, лишь очень немногие. «Комнатный большевизм» постепенно вышел из моды, а Познер непростительно

старомоден. Его поддерживает Илья Зданевич, маленький, смуглый, черный, на коротких ногах. Он – образец литературного неудачника. Пишет без конца под странным псевдонимом «Ильязд», его никто не печатает и никто не принимает всерьез. Тем не менее он выступает «от имени молодых русских писателей». Его утверждения еще более резки, нежели слова Познера. По его мнению, весь мир должен учиться у советской литературы, а эмигрантские писатели – по меньшей мере самозванцы.

Тут уже не выдерживают «соотечественники» и с места по-французски награждают оратора весьма нелестными прозвищами. Впрочем, резкую отповедь ему дает француз – именно Жан Максанс. Он недоумевает, почему необходимо «бить лежачего» и почему изгнанник должен быть бездарным. Он напоминает также, что лучшие французские писатели, Шатобриан, мадам де Сталь и Виктор Гюго были эмигрантами и что во Франции чрезвычайно уважают и ценят теперешних русских эмигрантов. Французы и русские одинаково горячо аплодируют, но Максанс, исполнив то, что он, вероятно, считает долгом гостеприимства и справедливости, переходит к очередной полемике. Любопытно и поучительно, что ни один француз не поддержал Познера и Зданевича.

Из других постоянных ораторов на этих собраниях нельзя было не запомнить священника Жилле, француза, принявшего православие и высказывающегося, по его собственным словам, от имени «восточной церкви». У него благородная внешность, тонкие черты лица, в голосе и манере говорить что-то убежденное, вдумчивое и серьезное. Кроме того, у него редкое для оратора свойство – желание не спорить, не полемизировать, а беседовать и по-дружески высказывать свое мнение. И немного найдется русских, которые так знают и любят Достоевского и Толстого, как этот необыкновенно доброжелательный французский православный священник.

Но не раз после таких собраний говорилось в интимном кругу, что полного взаимного понимания, полного духовного объединения всё же не получается у французских и русских писателей. Какое-то различие остается, которого ничем не сгладить.

Впервые эту мысль высказал Георгий Адамович, после своего доклада об Андре Жиде, весьма дельного. Он утверждал, будто среди своей речи и в позднейших прениях ясно почувствовал, что главное, о чем он думал, от французских слушателей ускользает. Он не сомневался и в обратном – что кое-чего русские не понимали у французов.

В приятельском кругу с Адамовичем многие не соглашались и были ожесточенные споры. Всё же они имеют мужество вынести спор на трибуну и указать на то, что русские почти всегда учились у немцев. Немцы являлись ближайшими соседями русских и естественными проводниками европейской культуры в России. Поневоле именно с ними была у русских постоянная духовная связь и отсутствие всякой отчужденности.

Слова Адамовича вызвали какой-то холодок в зале, недоумение у французов, зато горячие возражения со стороны некоторых русских писателей. Трудно сказать, кто оказался прав в этом споре. На «Фохтовских собраниях», как их окрестила З. Н. Гиппиус, – иногда чувствовалась та отчужденность, о которой говорил Адамович. Но иного, пожалуй, и нельзя было ожидать. В такой полуофициальной обстановке невозможно друг к другу приблизиться людям всё же различным по воспитанию и культуре.

Зато на этих собраниях возникали какие-то общие интересы, возбуждались общие темы. Поздно вечером, после собраний, в тех же удивительных парижских кафе, в интимной, сближающей обстановке заканчивались недавние разговоры, легко появлялись новые, русские и французские писатели, друг другу понравившиеся или случайно оказавшиеся вместе, без усилий начинали говорить – не только буквально на одном языке, и той «бездны» между ними, которой пугал Адамович, как будто никогда и не было.

«Фохтовские собрания» только что создались. Если не ослабеет энергия их руководителей и не произойдет какой-нибудь фантастической «перемены декораций», к которой приучило сумасшедшее наше время, эти собрания смогут сделаться чрезвычайно занимательными и оставить некоторый литературный след.

НА ОДНОМ СТРАННОМ РАУТЕ В ПАРИЖЕ

Андре Жермен. – «Сын Лионского Кредита». – Германские и советские симпатии. – Прием в честь графа Кайзерлинга. – Т. Л. Толстая-Сухотина. – Большевики на приеме. – «Кормление зверей». – Протест по поводу отзыва о Маяковском.

В огромном по размерам кафе «Куполь», где наряду с привычными, примелькавшимися посетителями можно встретить самых неожиданных, самых неподходящих к обстановке людей меня однажды вечером познакомили с худеньким, щупленьким господином болезненно-утонченного вида. Он как-то рассеянно на меня посмотрел своими холодными, голубыми глазами, непропорционально большими для острого крошечного лица и протянул мне руку, тонкую, слабую, не по-мужски холеную. Затем подчеркнуто громко себя назвал: «Андре Жермен».

Очевидно, мне полагалось это имя помнить, но я что-то смутно и очень давно слышал и теперь не знал, с кем разговариваю. Меня представили как начинающего русского писателя, и Андре Жермен стал оживленно говорить о современной русской литературе, вернее, о некоторых своих знакомых из числа эмигрантских и советских знаменитостей. Меня очень удивила такая фраза:

– С Мережковскими я в ссоре. Они обижают моего друга Горького.

Но на Монпарнасе в полночь не следует ничему удивляться, никаким крайним и случайным мнениям, и я продолжал выслушивать скачущие быстрые фразы – о Бунине, Алданове, Алексее Толстом и о только что скончавшемся Маяковском.

– Кстати, приходите ко мне завтра вечером. Будет очень интересно.

Он протянул визитную карточку с адресом – одна из самых «богатых» парижских улиц, около Елисейских Полей. Потом со всеми собеседниками распрощался и куда-то стремительно побежал.

У меня, как у каждого русского парижанина, есть свой всегдашний осведомитель о столь нам далекой великосветской жизни. Я к нему

и направился на следующий день, чтобы вечером не вышло какого-нибудь недоразумения. Он весело улыбнулся, когда узнал про новое мое знакомство.

– Андре Жермен – ну, его знает весь Париж. Это же «сын Лионского Кредита»: то есть сын председателя правления «Лионского Кредита». Отец его недавно умер и оставил ему баснословное состояние. Он очень неглуп, занимается литературой, да и всякой другой политикой, делает это весьма талантливо и, несомненно, имеет влияние. Впрочем, по взглядам, он – довольно левый. Сближение с Германией, с Советской Россией. Он и популярен именно в таких полулевых и левых кругах, что не мешало ему быть женатым на сестре Леона Доде, хотя Леон Доде, как вам известно, редактор «Аксион Франсез» и вождь наших крайних монархистов. Правда, теперь у Андре Жермена бывает общество довольно смешанное. При всем этом в доме у него поддерживается некоторый светский тон, и вы напрасно не спросили, будет ли интимный прием или нечто вроде раута.

Я был озадачен и не знал, в чем мне пойти, а пойти хотелось после всего рассказанного:

– Попробуйте надеть самое нейтральное, – черный костюм. Там бывают гости, которым разрешены экзотические вольности в одежде, но это уже входит в их экзотический стиль, а вам это не подойдет.

Я поблагодарил любезного человека и, уже выйдя от него, пожалел, что не расспросил о «нейтральном» времени посещения. Почему-то я решил прийти в половине десятого и, только очутившись в передней с бюстами и цветами, понял недавнее предостережение и огорчился из-за своего легкомыслия. Я был в пиджаке на самом настоящем «рауте». Лакей громко и неправильно выкрикнул мою фамилию.

Я пришел, разумеется, слишком рано. По-видимому, явились только «свои» и не было даже хозяина дома. Его заменял высокий молодой человек во фраке. Он представил меня десяти пока присутствовавшим гостям и десять раз подряд неправильно произнес мою фамилию. У меня не хватило энергии его поправить. Затем, с извинениями, явился хозяин. Он попросту забыл, кто я такой и без стеснений просил напомнить. После того, он еще раз громко меня всем представил, с лестной характеристикой, тут же экспромтом сочиненной. Вскоре выяснилось, что раут устроен в честь приехавшего в Париж модного немецкого философа графа Кайзерлинга.

О Кайзерлинге передавались многочисленные анекдоты, мало касавшиеся философских его трудов. Он будто бы в гостях требует

немедленно шампанское Редерер и если его подают недостаточно холодным, или же подают другое, становится неприятен и быстро уходит.

Понемногу гости стали приходить и, действительно, как предупредил мой осведомитель, общество получилось смешанное. Слышу в одном углу разговор:

– Позвольте вам представить племянника вашей дорогой королевы.

Оказалось бельгийскую аристократическую даму знакомили с молодым, красивым и представительным принцем Вюртембергским. Рядом какого-то французского профессора знакомили с Эренбургом.

– Один из самых талантливых советских писателей.

– О, я прекрасно знаю и высоко ценю вашу советскую литературу.

Эренбург поклонился, стараясь подавить свою обычную улыбку.

Советских людей здесь, по-видимому, немало и они чувствуют себя как дома, громко переговариваются с разных концов зала и острят по поводу предстоящего угощения. Именно некоторым из них дозволены «экзотические вольности» в одежде: потертые пиджаки, мягкие воротнички, какие-то шнурочки вместо галстуков. Должно быть, это им придает неподдельный «рабоче-крестьянский» отпечаток.

В таком же отнюдь не парадном виде московский художник Ларионов. Он нисколько не стесняется и даже бравирует своим «демократизмом». Слышу, как он советует моей собеседнице, молодой русской художнице:

– А вы не задумывайтесь, подходите к тем, кто вам нужен и прямо валите о заказах.

Все же странно мне наблюдать вместе этих русских «медведей», еще усиленно подчеркивающих свой «жанр», и парижских модниц в запутанных длинных платьях, с необычайно оголенными спинами.

Откуда-то появляется моложавая седая дама, с энергичным приветливым лицом. В зале какое-то движение, хотя здесь достаточно самых разнородных знаменитостей. Мои соседи тоже оживились и шепчут между собой:

– Вот дочь Толстого.

Седая дама – Татьяна Львовна Сухотина. В Париже она популярна и везде принимается с особым почетом. И на этом «рауте» ей предназначена весьма почетная роль – председательствовать за обеденным столом.

С обедом вышла история, на первый взгляд чрезвычайно странная. К столу пригласили далеко не всех присутствующих, приблизительно одну треть. Хозяин обходил привилегированных гостей и что-то им таинственно говорил. Привилегированные гости пробирались в огромную столовую, но сам хозяин оставался озабоченным: граф Кайзерлинг, в чью честь был устроен весь прием и которого ожидали к обеду, точнее, к ужину, упорно не приезжал. Сели ужинать без него.

«Привилегированными» оказались все старые дамы, два входящих в славу французских молодых писателя: Жан Кассу и Андре Шамсон и уже упомянутый принц Вюртембергский. Остальных попросили в другую, сравнительно узкую и тесную комнату, где было устроено что-то вроде холодного буфета. Лакеи в белых перчатках подавали гостям просимые закуски и сандвичи, наливали шампанское, вина, ликеры и около стола, обильно уставленного всякими кушаньями, была невообразимая, неприличная и совсем несветская толкотня. Особенно старались «товарищи». Я видел, как один молодой большевицкий дипломат, которому на тарелке протягивали бокал вина, по-неопытности хватал тарелку, и как старый лакей, с невозмутимым каменным лицом, ни за что ее не отпускал. «Дипломат» не догадывался попросту взять бокал, оба старались не расплескать вина и со стороны это можно было принять за какое-нибудь новоизобретенное состязание.

К самому концу этого явного «кормления зверей» появился герой вечера, граф Кайзерлинг, и хозяин тут же просиял: значит, прием удался и весь шум поднят недаром.

Прославленный немецкий философ, кстати, балтийский уроженец, производит своим видом достаточно внушительное впечатление. Он очень высокий, плотный и сильный, с резкими, крупными чертами лица, с седыми усами и бородой, с властным и громким голосом.

По-видимому, знаменитый гость совершенно не был голоден – может быть, его чествовали в каком-нибудь другом месте. Через минуту после прихода он стоял посередине зала с бокалом Редерера в руке, как об этом хозяина предупредили, и буквально «сыпал» изречениями. Вокруг него столпилось много народу, особенно женщин. Кайзерлинг изъяснялся на тяжелом, неправильном французском языке и, по-видимому, ему это давалось нелегко. Лицо у него багрово покраснело, лоб покрылся каплями пота, но он, отхлебывая большие глотки и нисколько не заботясь, понимают его или нет, продолжал безостановочно говорить.

Граф Кайзерлинг – а до него Эмиль Людвиг – был восторженно принят парижскими интеллигентными и светскими кругами. Как ни странно, у парижан теперь в моде именно всё немецкое, и то же самое происходит в Берлине в отношении французских писателей и ученых. Не знаю, каприз ли это, реакция после прежней вражды или признак будущей дружбы.

Пока Кайзерлинг был в центре внимания, советские молодые люди проявляли оживленную деятельность. Они то и дело друг к другу подбегали, о чем-то шептались и вид имели чрезвычайно довольный. Нечаянно я услыхал разговор ближайших соседей:

– Большая победа! Только что подписал Галлимар!

Галлимар, владелец «Нувель Ревю Франсез», влиятельнейший и богатейший французский издатель. Он выпускает переводы советских беллетристов и, естественно, хочет быть с ними в хороших отношениях. Эти переводы, надо сказать, никакого успеха не имели, да и выбор их не всегда оказывался удачным.

Подпись Галлимара, столь обрадовавшая моих соседей, была под письмом, впоследствии напечатанном в газетах и направленном против Андрея Левинсона. Этот знающий и добросовестный русский критик, высоко ценимый также и французами, осмелился в «Нувель Литтерер» написать непочтительный посмертный некролог о Маяковском.

История эта очень тогда нашумела. Один из вождей французских «сюрреалистов», крайне левого литературного течения, устроил дебош на квартире Левинсона. Молодые советские писатели, которым надо как-нибудь оправдать свое временное пребывание за границей, затеяли «коллективный протест». К ним присоединились кое-какие монпарнасские художники, далекие от литературы и почему-то считающие себя «передовыми», и многие французы с именем, просто не говорящие по-русски и не имеющие представления о Маяковском, о правильности или неправильности мнения Андрея Левинсона. Случайно, на моих глазах вербовали таких нужных французов, и они подписывались, в том числе Жан Кассу и Андре Шамсон, недоумевая и нередко из простой вежливости.

Между тем «раут» постепенно подходил к концу. К моему удивлению, гости начали расходиться сравнительно рано, в третьем часу утра. Бесконечные комнаты стали незаметно быстро пустеть, к подъезду внизу непрерывно подкатывали автомобили.

ПАРИЖСКАЯ «ЗЕЛЕНАЯ ЛАМПА»

Детище Мережковских. – Пушкинская традиция. – Спор о советской и эмигрантской литературе. – Париж или Москва – столица русской литературы. – Формула Алданова. – Мережковский и Талин: Россия, нет, СССР. – Ораторы «со стороны»: Петр Иванов и Гилель Златопольский. – Вечера о любви.

В ОДНО из первых воскресных собраний у Мережковских – весной двадцать шестого года – возник вопрос о необходимости основать литературное общество, с публичными заседаниями, с привлечением новых, еще неизвестных, предположительно талантливых людей. Было много споров о целях, о порядке заседаний, о том, кому следует выступать, и кто явится слушателями, т. е. будут ли говорить и посторонние и окажутся ли такие собрания закрытыми или открытыми, и спорили, наконец, о том, как новое общество окрестить.

Впрочем, о названии длительных споров не было – кем-то предложенное традиционно-пушкинское название «Зеленая Лампа» сразу понравилось, и вскоре привилось. Правда, Пушкин и его друзья собирались действительно при свете зеленой лампы, а парижское объединение довольствовалось зальными люстрами и желтовато-белым электрическим освещением, но откуда-то изредка доставали настольный зеленый абажур, и пушкинская традиция восстанавливалась.

Первоначально собрания предполагались закрытыми, гостей приглашали с особым выбором, причем малейшее подозрение в «неэлитности» или в отсутствии антибольшевицких тенденций было достаточной причиной для отвода нежелательных кандидатов. Столь тщательно профильтрованные гости оказались чрезвычайно неаккуратными посетителями собраний и лишь когда эти последние стали открытыми, они сделались посещаемыми и неизменно многолюдными.

Немало споров вызвал также вопрос о предметах. обсуждаемых в «Зеленой Лампе». Были сторонники чистой литературы, но в конце концов победили Мережковские, настоявшие на соединении также и других тем – религиозных, философских, а главное, политических.

Всем известные религиозно-политические взгляды Д. С. Мережковского – о необходимости христианской коалиции против безбожной советской власти, о пропагандировании всесветного крестового похода (я передаю весьма упрощенно) – не подходили ни к одной из русских газет, ни к одному журналу, и Дмитрий Сергеевич нескрываемо считал своей трибуной именно «Зеленую Лампу».

Конечно, молодежь, часто выступавшая в «Зеленой Лампе», этих взглядов не разделяла или же следовала им частично, еще дальше от них были приходившие на собрания профессиональные политики и политические журналисты, и прения нередко доходили до большой резкости и остроты. Некоторые из учредителей – Ходасевич, Берберова – навсегда из «Лампы» ушли, но в темах докладов, в выступлениях оппонентов неизменно сохранялось что-то ударное, действенное, своевременное, и «Зеленая Лампа», как лишь немногое другое, оживляла парижскую русскую литературу.

Внешняя сторона собраний почти всегда одинаковая. Слушатели предупреждаются, что «начало ровно в восем сорок пять». К девяти зал обыкновенно полон, и продающий четырех- или пятифранковые билеты, обычный помощник Мережковских во всех начинаниях, молодой поэт Злобин чрезвычайно доволен достигнутыми результатами. Публика добродушно переговаривается, в первых рядах: Бунин с супругой, Алдановы, Зайцевы, Тэффи. Часто бывают Вишняк, Бунаков-Фундаминский из «Современных записок», Демидов и Талин из «Последних новостей», С. Маковский, изредка В. Маклаков.

В четверть десятого за кулисами некоторое волнение. Нет Мережковских, нет Георгия Иванова и, разумеется, нет докладчика. Докладчики по разным причинам обязательно опаздывают, а молодой философ Бахтин, прекрасный оратор, но крайне рассеянный человек (как и подобает молодому философу), однажды откровенно проспал. Как ни мила публика, как ни приучена к постоянному русскому опаздыванию, но и она не выдерживает и в зале поднимается топот и шум. В эту минуту чудом являются все те, кого ждут, и происходит торжественное шествие к столу с зеленым сукном, столь похожему на экзаменационный. Впереди – З. Н. Гиппиус, высокая, тонкая, необыкновенно прямая, с лорнетом в руке, затем Георгий Иванов, уже настроившийся на председательствование, элегантный и невозмутимо серьезный, далее Д. С. Мережковский, нетерпеливый и стремительный, за ним докладчик и намеченные оппоненты. Президиум медленно рассаживается и заседание открывается.

Одно из первых же собраний – по вопросу об эмигрантской и советской литературе – оказалось чрезвычайно резким. Тогда еще это являлось модным вопросом, в эмиграции всё еще находились люди, считавшие, что там, в Совдепии, не может быть ни личной порядочности, ни дарований, и с особенным раздражением выслушивавшие противоположные мнения. А противоположные мнения были не менее наивны и прямолинейны. Кускова и Прокопович утверждали, что большевики исправляются, вот-вот совсем исправятся, что настоящая жизнь, плодотворная деятельность только «там», что пора возвращаться и «засыпать ров». Напоминаю об этом, чтобы легче передать тот раскаленный воздух, который сразу почувствовался на описываемом собрании «Зеленой Лампы».

А раскалиться было от чего. З. Н. Гиппиус высказывала в докладе свою обычную непримиримость и твердость, неизменную в отношении того, что имеет малейшее касательство к большевикам. Молодежь, как всякая молодежь, не остановилась на этом и пошла еще дальше. Один за другим выступали молодые поэты Довид Кнут, Нина Берберова, Терапьяно, с громогласным заявлением, что в советской России литературы, да и вообще искусства нет, что живо ее продолжение только за рубежом, в эмиграции, что в Париже зародилась молодая русская литература. Кто-то дошел до самонадеянного утверждения, что «Париж – столица русской литературы», утверждения, впоследствии ставшего темой самых яростных споров.

С жестокой отповедью выступил неожиданно Талин (Иванович), старый социал-демократ, правый меньшевик, известный когда-то сотрудник петербургского «Дня», а сейчас «Последних новостей», редко говоривший о литературе. Его специальность – вопросы политико-экономические, и в своем деле он, кажется, человек знающий, к тому же горячий полемист, язвительный оратор.

Талин постарался разбить доводы молодых писателей. «Столица русской литературы», конечно, Москва. Дальше следовало обычное утверждение, что нельзя писать без родного воздуха, без почвы, без дома, если «дома» происходит такая коренная перемена. Когда-то, в одной анкете, Алданов кратко охарактеризовал подобного рода соотношение эмигрантской и советской литературы:

– Необходимые для писателя условия – родина и свобода. У нас нет родины, у них нет свободы.

Вывод получался пессимистический. Но и Талин и его молодые противники в «Зеленой Лампе» думали иначе. На поддержку молодежи

с неожиданной запальчивостью выступил Мережковкий. Его оратором назвать нельзя. Он в своих выступлениях дружественно настроенный собеседник и в то же время необыкновенный актер. Говорит, особенно вначале, как будто бы с вами одним, с вами вместе ищет, соглашается, вас же мягко убеждает. Затем вдруг вспылит, вспомнит что-то, что вызвало его негодование, и тогда вся речь – язвительное, беспощадное, безостановочно-нарастающее обличение, с каким-то странным смехом, от которого становится иногда жутко. Успех таких обличающих его речей всегда большой и для противников оглушительный.

На этот раз Мережковский обрушился на Талина, задавая ему язвительные вопросы, разбивая его построения, доказывая, что сейчас России нет, что СССР – нечто совсем другое. Талин, бледнея, его перебивает:

– Там все-таки Россия.

– Нет, СССР.

– Россия!

– СССР!

В этом сопоставлении был как бы голый скелет огромного, по существу, вопроса, длительного неразрешимого спора, конечно, не разрешившегося и на том памятном заседании.

Бывали и собрания гораздо более мирные, с добродушными репликами, с явным сочувствием публики. Особенным успехом пользовался традиционный ежегодный вечер стихов, на котором выступали не только участники «Зеленой Лампы», Мережковские, Злобин, Адамович, Георгий Иванов, Одоевцева, Оцуп, а из молодых Ладинский, Поплавский, Терапьяно, Довид Кнут, но и частые ее гости или прежние участники: Бунин, Ходасевич, Берберова, Кузнецова. Помню случаи, когда в конце вечера к председателю подходили русские рабочие или шоферы и трогательно благодарили за стихи, далеко не легкие и не всем доступные.

Отдых и отвлечение для публики – маленькие споры между супругами Мережковскими. Нередко, когда Дмитрий Сергеевич более всего воодушевится, Зинаида Николаевна вдруг перебивает его своим капризным ироническим голосом:

– Ну, поехал!

Или:

– Дмитрий, это совсем не к делу!

Дмитрий Сергеевич в таких случаях на минуту теряется.

– Нет, уверяю тебя, это к делу.

Впрочем, Зинаида Николаевна не всегда бывает столь безжалостно-иронической. Имеются области, в которых она неизменно серьезна, к которым относится с каким-то некритикующим, неосуждающим сочувствием, в частности, ко всему касающемуся борьбы с большевиками.

На собраниях «Лампы» выступали не только профессиональные литераторы, журналисты, политики, но и люди из публики, иногда чрезвычайно любопытные. Так, одно время на каждое собрание являлся и часто выступал замечательный в своем роде человек, Петр Иванов Старый, почтенный господин, внешне удивительно чистый и аккуратный, с серебряно-седыми волосами, с белой выхоленной бородой и румянцем, что называется, во всю щеку. Петр Иванов стал некоторому кругу лиц известен еще в большевистской Москве. Там он безбоязненно произносил церковные проповеди, ходил из дома в дом, утешая больных, помогая, кому и чем можно. То же самое делает он и в Париже, обходит больницы, отыскивая тех русских, у которых нет ни родственников, ни друзей, и заставляя богатых соотечественников им помогать. Петр Иванов – истинный христианин. Он признался, что молится и за большевиков, которых считает попросту заблуждающимися. В его выступлениях, в самом голосе есть у него что-то благожелательно-доброе и приятно видеть, как он, став рядом с очередным оратором и приложив руку к правому уху из-за глухоты, внимательно слушает кощунственные порою, с его точки зрения, слова.

На одно из собраний «Лампы», посвященное вопросу о взаимоотношении христианства и юдаизма, был приглашен известный еврейский деятель Гилель Златопольский, киевский сахарозаводчик и посейчас крупный делец. Златопольский самоучкой сделался выдающимся ученым юдаистом, и его выступление в «Лампе» умное, осторожное и тактичное, было в свое время сенсационным.

Едва ли не самыми сенсационными собраниями оказались два «вечера о любви». Публика соблазнилась этим названием и наплыв ее был такой, что половина не могла попасть. Каждому из участников предложили выбрать какой-нибудь род любви или какое-нибудь ее свойство и только об этом говорить. Так, например Тэффи говорила о божественно-христианской любви. Одоевцева – о любви–жалости, Поплавский – о любви «роковой». Оцуп – о героической любви «старосветских помещиков», сохранивших ее наперекор старости и однообразной жизни. Мережковский выбрал тему для русской публики новую,

и, казалось бы, щекотливую – о «сексуальных меньшинствах» – но горячая его речь была выслушана серьезно и по-взрослому.

Правда, в конце последнего вечера неизвестный, подписавшийся «рабочий из Биянкура», неожиданно подал весьма странную записку. В ней говорилось, что русскому народу нет дела до каких-то изощренностей и беспочвенных вопросов, которыми занята интеллигенция, что народ уже однажды ее по заслугам бил «слева направо» и вскоре будет еще бить «справа налево».

Прочтенная вслух эта записка сочувствия у публики не встретила, но всё же навела на грустные мысли о вечном расхождении духовных верхов и низов, о том, что находятся люди, для которых вопрос «о любви» беспочвенный, а не насущный, не самый главный в теперешних русских условиях. Нечто по этому близкое сказал тогда Мережковский, кажется, выразивший общее мнение участников собрания.

О ЛИТЕРАТУРНОЙ МОЛОДЕЖИ

Грустное чувство испытываешь, когда в одном городе теперешнего русского рассеяния случайно попадаешь на собрание русской молодежи, затем увидишь то же самое в другом городе, далеком и незнакомом. Откуда эта упорная склонность заниматься делом, как будто бесцельным – писать для кого, для какого читателя – и притом еще безнадежно-невыгодным? Кажется, нечто похожее происходит и в тех многочисленных беженских столицах, где мне побывать не пришлось. Представляю себе, что так же где-то собираются и что-то обсуждают «мальчики и девочки» (и, конечно, люди постарше) в Москве, в Петербурге, в загадочной для нас и, вероятно, мрачной, вероятно, жалкой советской провинции. Ведь не все же там веруют в Маркса и без колебаний идут за его пророками.

Можно было бы подумать, что всё это – прежние студенческо-гимназические самообразовательные кружки, но и такие, по-видимому, везде имеются; в тех же немногих литературных кружках, которые я знаю, и по которым (разумеется, гадательно) сужу об остальных – в них в большей или меньшей степени есть доля студенческого и наивного, однако же есть и какой-то явный профессионализм, писательские поиски, пытливость и нередко – беспощадная взаимная строгость.

Всем этим старательным и добросовестным молодым людям придется немало над собой поработать и помучиться – больше, чем их «братьям по судьбе» – молодым литераторам в любое другое время – чтобы чего-нибудь положительного достигнуть. Я говорю не о внешнем успехе, хотя и он труден, как никогда, но о той подготовительной работе, без которой невозможно обойтись. Каждому надо нащупать, найти свою технику, свой способ себя передавать – и в этом отношении у теперешней русской молодежи нет ни руководителей, в высоком смысле, ни самых обыкновенных учителей.

Азбучной мыслью является, что всякая эпоха требует непременного своего выражения и люди других поколений не совсем правильно ее предчувствуют, не совсем точно впоследствии о ней знают. Вот почему, как бы нам ни были дороги Лермонтов, Гоголь или Толстой, – они говорят о своем, а не о «нашем времени», и учиться только у них недостаточно. У кого же учиться именно о «нашем времени», кто поможет

нам преодолеть писательский «приготовительный класс»? Не всем же дано быть Ломоносовыми, да и стоит ли на приготовительный класс тратить половину жизни? Были же когда-то школы, направления, взаимная их критика и борьба, возможность одну из них выбрать, к ней присоединиться или, от нее отталкиваясь, найти что-то свое.

Сейчас еще выступают отдельные довоенные писатели, порой по заслугам прославленные, и пишут они ничуть не хуже, чем прежде, но они слишком уж не переменились, а мы перемену ощущаем – и не только от войны и революции – а какую-то огромную перемену вообще. В эмигрантской молодой литературе что-то лишь смутно пробивается, советская литература многолюднее и богаче, но и в ней дарования не определились, новизна сомнительна, современность часто навязана извне, а в последние годы – от усиливающейся большевицкой требовательности – грозный, мертвый застой. Страшно сказать, русской литературной жизни сейчас не существует. Может быть, эти полуслучайные, полунаивные кружки – зародыш ее, зародыш будущих школ и направлений, место, где новые люди появятся или где их впервые признают.

Среди беженских наших столиц имеются, по крайней мере, две – Париж и Берлин (в Лондоне русских чересчур мало) – где наглядно видна напряженная, пускай чужая, однако же примечательная интеллектуальная жизнь, где на чужих нам языках выражено что-то по-новому искреннее и волнующее, чего по-русски еще никто не сказал. К этому поневоле тянутся русские парижско-берлинские «мальчики и девочки», и опасность поглощения, о которой предупреждают старшие, несомненно, реальна и велика. Но о тех, слабых, что будут поглощены, не стоит задумываться – очевидно потеря небольшая – некоторым же, более стойким, это лишь поможет как бы развернуться и свое найти, окажется для них столь недостающим «приготовительным классом».

НА ЛИТЕРАТУРНЫХ СОБРАНИЯХ

На русских литературных собраниях последнего времени всё сильнее звучит, всё чаще повторяется одна определенная тенденция, причем она выступает у людей, как будто противоположных друг другу, и преподносится в самых разнообразных сочетаниях. Это, в сущности, тенденция политическая – литература давно в загоне и служит только предлогом, тем, что французы называют «point de départ». Основа же таких политических выступлений, главным образом, писательской молодежи – смутные поиски нового, смутное недовольство старым и весьма отчетливое пренебрежение к двум понятиям, на которых старое держится, к понятиям личности и свободы. Их заменил другой фетиш, неожиданный для русской, да и всякой молодежи, и этот фетиш – сила.

Точка зрения лучших: победа того или иного коллективного движения, той или иной современной жизненной силы всё равно неизбежна. Будут ли это большевики, гитлеровцы или фашисты, в конечном счете победят они или кто-то из них. Ведь за фашистов или большевиков – массы, безработица, всё печальное наше время. Их либерально-консервативные противники выдохлись, устарели, явно растеряны, и не стоит связывать свою судьбу с теми, кто обречены на поражение. Значит, надо ставить на победителей, не ошибиться в своем выборе и постараться кое-какие крайности смягчить.

К тому же вожди и руководимые ими массы правы. Капитализм и всякая парламентская канитель довели мир до небывалой войны и небывалого кризиса. А вот в России пятилетка, гитлеровская Германия пробуждается, в Италии тоже происходит что-то отрадное и удачное. По-видимому, в этих благословенных странах кризиса нет, или он неопасен, или (как в гитлеровской Германии) его бы не было, люди не голодают и войны уже невозможны.

Выдвигается еще одно соображение: нельзя быть в стороне и ничего не делать среди такого отчаяния. Наша обязанность к кому-то присоединиться и кого-то поддерживать, и у нас пока имеется выбор – защищать большевизм, правый против левого, или же левый против правого. Таков приблизительный смысл многих горячих выступлений молодого поэта Поплавского. Впрочем, Поплавский для

всякого движения союзник малонадежный и может завтра с величайшим негодованием нападать на свои вчерашние воззрения.

Гораздо опаснее, чем подобные колеблющиеся политики, считающие необходимым как-то оправдать свои слишком резкие мнения, еще их стыдящиеся, другие, объединившиеся под именем младороссов. Их ораторы тоже выступают на литературных собраниях, чудовищно-легко разрешают самые трудные вопросы и спорят презрительно развязно и наивно. Конечно, опасность не в их каком-либо умственном превосходстве – у них слишком наглядно отсутствуют и превосходство и самая «умственность» – и не в бестолковой идее рабоче-крестьянского царя, а в культе силы, наиболее последовательно проводимом именно у них и неудержимо притягательном для теперешней молодежи. Младороссы сменили евразийцев, их, очевидно, сменят другие, еще не родившиеся партии, но преклонение перед силой однажды возникло и уже преемственно передается.

Нечто более сложное, но в чем-то с ними соприкасающееся, прозвучало в недавнем докладе Марины Цветаевой «Поэт и время». Началось с заявления, что матерьяльное устройство на земле есть цель низкая и мелочная. Говорилось о Рильке, гениальном одиночке, боровшемся со своим временем, о Шатобриане, далеком и враждебном революции и потому создавшем новую, романтическую школу. Вывод оказался неожиданным: поэт должен быть со своим временем, в наши дни он должен быть с революцией, только революционеры его поймут.

Но самое уязвимое было не в противоречиях, не в сумбурности и неясности высказанных мыслей, всё же искренних, пламенных и страстных, а в тоне какого-то горделивого самоупоения, какой-то снисходительности к устаревшим и отставшим. Приблизительные слова, заканчивавшие доклад Цветаевой, были, что вот она отсюда перекликается с Пастернаком, и это есть истинная современность.

И в прениях продолжалось это общее самодовольство, эти охания, восхищения и похвалы, что-то кастовое, высокомерное и совершенно неприемлемое. Так, один из ораторов, Б. Сосинский, окрестил доклад необычайным эпитетом «почти гениальный», а пылкий энтузиаст А. В. Эйснер признался, что от восторга он просто не может говорить. Единственный диссонанс был внесен Н. А. Оцупом, требовавшим, при громких возражениях, большей скромности и большей осмотрительности.

Однажды мне пришлось попасть в Евразийский семинар, где тот же Эйснер прочел доклад под названием, рабски подражающим Ста-

лину: «Генеральная линия русской литературы». Конечно, генеральная линия – это революция, диалектика, тема, чем, по мнению докладчика, всегда была сильна русская литература. Душа, человек, психология, по его словам, «ерунда». «Анна Каренина» была бы сейчас (цитируется Шкловский), несвоевременна и неуместна. Вся теперешняя литература – одни попутчики, которым «пока» (на сколько еще лет), с большевиками по пути.

Надо было оправдать и почетное звание евразийца, и вот вспомнилась тяга Пушкина, Лермонтова и Толстого на восток – очевидно, по поводу «Кавказских пленников» и «Хаджи-Мурата» – какие-то рассказы Пильняка о китайцах, Тихоновские очерки, а заодно Мельников-Печерский и Мамин-Сибиряк. Всё это, смешанное с пышными словами о русском мессианизме, невольно меня подтолкнуло на одно забытое выражение, применявшееся к некоторым людям в дореволюционных литературных кружках, выражение достаточно красноречивое – «не подозревает»...

Я говорю не обо всех собраниях и далеко не обо всех ораторах. Но те, о ком я говорю, как бы отравлены одним ядом, как бы пронизаны лучами, явно идущими «оттуда», влияющими и на других, более стойких и зрелых. Должно быть, и на самом деле велика эта сила, обездаривающая, мертвящая и самодовольно-слепая.

О ПРУСТЕ И ДЖОЙСЕ

ДЖОЙС теперь модный писатель – не в том смысле, что им принято и необходимо увлекаться, но он сумел расшевелить и очаровать элитного читателя, нашел у него сочувственный, нередко восторженный отзвук, подобно тому как Ремарк, случайно или законно, «попал в нерв» читателя среднего и гораздо менее взыскательного. Джойса без конца превозносят на всех европейских языках, и как раз на страницах «Чисел» люди, на мой взгляд, безупречного вкуса и чутья, утверждали, что именно он – величайшее достижение современной литературы, преемник или соперник Пруста, в чем-то даже его превзошедший. Мне эти восторги и эти сравнения кажутся необоснованными, безмерно преувеличенными, и объясняются естественным пристрастием ко всему новому, только что узнанному и найденному.

Центральное произведение Джойса – «Улисс», роман, писавшийся в течение семи лет, начатый в злополучном четырнадцатом году. На девятистах убористых страницах воспроизводится один единственный день (притом «день как день» – ничем не отличающийся от других) ирландского еврея Леопольда Блюма, человека довольно обыкновенного, неглупого, хитрого, сочетающего в себе некоторую умудренность, пожалуй, даже мудрость, живую любознательность и житейскую мелочность. Большое внимание уделено его собственным о себе полусознательным, крайне откровенным мыслям, даже спорам и мнениям друзей, «психоаналитической» исповеди жены. Вообще такая обнажающая исповедь, никому не предназначенная и оттого предельно-честная – в этом почти всё творчество Джойса и в этом его наибольшая уязвимость.

У него бесконечное количество разбросанных коротеньких откликов на самые второстепенные восприятия. Им всё время упорно сопротивляешься, и если вдумаешься в причину сопротивления, то она обнаруживается с какой-то очевидной убедительностью: перекидывающиеся с одного на другое мимолетные впечатления героев «Улисса» безответственны, запутаны, не отобраны, ничего не обобщают, и ни к чему, нас задевающему, не ведут. У читателя нет доверия ко многому, что Джойсом высказывается, а то, чему веришь, не всегда трогает и не всегда представляется нужным, основное у него смешивается с

бесчисленными пустяками, и буквально ничто им не подчеркивается. Если и в жизни часто перемешаны важное и мелочи (не так уж часто и неоспоримо, как это принято думать), то несомненный подвиг и дело искусства – приведение в ясность, тщательный выбор и подчеркивание.

По-моему, безоговорочное преимущество, победа и очарование Пруста в том, что он говорит о задевающем, отыскивает для каждого данного положения или персонажа отчетливую «психологическую линию» и с упрямой, железной последовательностью ее проводит через оправданно-длинные свои фразы. Ведь бывают не только отвлеченные мысли, но и мысли душевно-сердечные – о наших чувствах, о непосредственной человеческой деятельности. Их не строят, они подсказываются изнутри и, органически связанные с неуловимой текучей нашей жизнью, «обрастают», и огромная трудность и суметь их высвободить и показать – достаточно бережно, не умертвив и не порывая их связи с живой жизнью. И вот, мне кажется, одна из целей прустовского творчества – ради жизненности содействовать «обрастанию» и ради ясности самую мысль называть.

Быть может «психоаналитические» короткие мысли Джойса в чем-то похожи на легкие волны, бегущие одна за другой, а «психологическая» мысль Пруста как бы огромный водяной столб, в себя вбирающий все окрестные воды и обрушивающийся со страшной силой. Я знаю, до чего бездоказательны подобные, слишком картинные сравнения, но этим ничего и не доказываю и так поступаю лишь для наглядности.

Быть может, я обоих названных писателей друг другу противопоставляю несколько схематически, но противоположение их невольно как-то напрашивается вследствие противоположности литературных их методов. Пруст отбирает и обобщает и оттого кажется беспрерывно напрягающимся. Он также явно распоряжается своим материалом. Наоборот, Джойс как бы механически записывает свои впечатления в их случайной и неуправляемой последовательности, его цель – поддаваться этой последовательности, он неминуемо подчиняется матерьялу, и должен находиться в состоянии душевного «транса» и разряжения. Опять-таки о способах не следует спорить, но способ Пруста представляется мне достойнее, а результаты его ощутительнее.

Джойс ни к чему страстно и упрямо не приковывается, ни на чем не задерживается, он лишь скользит по различным второстепенным, внутренним и внешним, явлениям, и нередко мы у него находим какое-

то легкомыслие, какое-то неуважение к тому, что он делает. Вследствие этого он вовлекается в постоянную словесную игру, в словообразования намеренно «гротескные» (вроде нелепого «Лаунтеннисон»), будто бы соответствующие мышлению чуть ли не каждого героя, на самом же деле чрезвычайно преувеличенные, не жизненные и вовсе не занимательные. У Пруста никогда не бывает самодовлеющей словесной игры.

Другое следствие такого неуважения к собственному творчеству и такого легкомыслия – вечная ирония, нескрываемый авторский смешок. Это сердит, расхолаживает читателя и напоминает о том, что ирония всегда больше от головы, чем от сердца. У Пруста через многие десятки страниц неожиданно возникают остроумные, намеренно-смешные положения, часто не связанные с предыдущим и, быть может, преследующие ту же цель, что и анекдоты чеховского профессора, пытающегося развеселить и освежить начавших скучать, утомленных своих слушателей. К такой, всё же простительной «демагогии» никогда не прибегает Толстой, и не он ли в этом смысле наиболее высокопробный пример.

Внешняя обстановка у Джойса – главным образом, рестораны и пивные, где происходят многолюдные товарищеские попойки, участники которых обмениваются бесконечными парадоксами о науке, политике и любви, причем эти парадоксы обыкновенно неубедительны и лишь оглушающе эффективны. Пьянство и разговоры героев Джойса – без просветления, без поэзии, без возвышенности. В нем есть сила, и не приходится ее отрицать, но сила его грубая и чересчур уже бесполезная.

Форма произведений Джойса разнообразнее, чем у Пруста. Последний и не стремится к разнообразию. Все четырнадцать томов его «Поисков утерянного времени» проникнуты единым дыханием, являются как бы развитием одной фразы. Джойс перепробовал все – и «психоаналитическую исповедь», и сказочное драматическое действие, по-видимому, происходящее в чьем-то пьяном воображении, и стилизованное повествование о всяких событиях в изложении и очень интеллектуальных и очень простых людей – и всевозможные замыслы Джойса обычно изобретательны и новы. Особенно удается ему один прием – ставится иронически-бессмысленный вопрос (скажем, «почему Блюм отправился туда-то?») и в ответ дается перечисление причин, неопровержимо-точных и, большей частью, нелепых. Так целая страница посвящена доказательствам полезности воды. Всё это на

границе научности и шутовства, всё это читателя забавляет (а читатель порою готов дать над собою немного поиздеваться), но простая добросовестная серьезность, искренние усилия всегда предпочтительнее.

Едва ли не главная особенность Джойса – какой-то сгущенно-эротический воздух в его книгах. Любви, любовного содержания нет и в помине. Только телесная сладострастно-чувственная сторона отношений – и реализм описаний, доведенный до предела. Весь долгий эпилог – бесстыдные эротические воспоминания жены Блюма, женщины «с птичьими мозгами», с физиологией, вытеснившей всё духовное. День и ночь ее мужа, большинства его приятелей и знакомых – сплошные навязчивые видения, и такая же, хотя и не всегда благоприятствующая им действительность. В связи с этим в необыкновенном почете еда, желудок, пищеварение, уборная. Многие превозносят Джойса именно за подобную его, просто головокружительную, откровенность.

Несомненно, физиология – один из важнейших элементов человеческого существования, но еще несомненнее, что вовсе не Джойс это открыл, и что прославление уборной мы уже находим у других писателей – правда, оно у них до такой степени не являлось преобладающим. Мне кажется, соответствующие «заслуги» Джойса, новизна его «пищеварительных открытий» несоразмерно преувеличены его поклонниками. Бывают случаи, когда писателю удается высказать то самое, что его современники смутно чувствовали, но чего не могли додумать и договорить, и один из таких писателей – Пруст. Бывает и по-иному: писатель только называет собственным именем то, что другие отлично знали и без него, однако сами назвать стеснялись и не хотели. Нередко в этом новизна Джойса, на мой взгляд, наивная, недостаточная и поверхностная.

О СУДЬБЕ ЭМИГРАНТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Когда возникала эмигрантская литература, ее снисходительно приветствовали (все-таки – «общее дело»), но старые народники и радикальные экономисты, дававшие и доныне дающие тон, к ней относились, разумеется, скептически. Было много зловещих предсказаний, злорадно приводились неопровержимые доводы: оторванность от почвы, отсутствие аудитории, – эмигрантское искусство должно погибнуть. Старшее поколение что-то допишет, что вывезено еще из России, младшее, без быта и устоев, не напишет ровно ничего.

Иногда говорилось о том, что можно и следует работать, даже без надежды на творческую удачу, что надо послушно принимать уроки «традиционной русской литературы», то есть оставшихся в России писателей, сохранивших быт и устои и запасшихся «новыми темами». Самые благожелательные утверждали (не веря себе и своим словам), будто существует «единая русская литература», при некотором участии и эмигрантов.

Все это жизнью давно опровергнуто, и у бесчисленных пораженцев эмиграции остается последнее утешение – банкротство издателей, нищета и равнодушие публики, физическая гибель их собственной литературы. Борьба никем не поддержанных людей с почти непреодолимыми препятствиями расшевелила иные вялые сердца и вызвала сочувствие, но прохладное и бездейственное.

Когда я осмеливаюсь писать о мрачных предсказаниях, опровергнутых жизнью, у меня нет ни самонадеянности, ни похвальбы «нашими достижениями». Нельзя же не понимать, что всё «висит на волоске», что каждое усилие, внутреннее и внешнее, дается неимоверно трудно, что здесь писателю не хватает и тех минимально-благоприятных условий, которые обычно не замечаются – родной, кровно-близкой обстановки и награды, хотя бы ее далекого миража. Награда, карьера – до чего это плоско! Но человек устроен так, что задыхается, если не ждет поощрения. И вот, наперекор всякому правдоподобию, о эмигрантской литературе можно сказать, что она как-то существует и резко отделена от литературы советской.

Не всё старшее поколение дописывает, не всё младшее бесплодно. Быта не создалось, Россия превратилась в легенду, но если творческая потребность велика, то неисчерпаемы и творческие возможности. Сама Европа, в которой мы живем, истерзанная той же войной и теми же социальными противоречиями, не впервые нашла спасительный путь – вероятно, не единственный, не для всех обязательный, но ведущий к тишине и чистоте от огрубляющей и оглушающей злободневности – путь внутреннего опыта и внутреннего человека. Это вовсе не означает, как многие думают, надменно-холодной, презрительной замкнутости, ухода или бегства от страшной реальности. Но душевное напряжение, необходимое писателю, не соответствует энтузиазму бойцов на баррикадах, и тот, кто стремится что-то сказать, будет остро нуждаться в тишине и чистоте, без которых не вымолвит ни единого слова. Он не останется безразличен к событиям, он должен быть страстнее, пристрастнее других, ко всему восприимчивей, во всем уязвимей. А главное, тем, что происходит вокруг, он поневоле смертельно задет; затронуто любимое его дело. Но ему предназначена особая роль – не прямого, а косвенного воздействия: до него происшедшее доходит после интуитивно-личной проверки, после таинственного внутреннего взвешивания, и лишь его иррациональные выводы передаются читателю. Только так он совестлив и силен и может оказаться в жестокой борьбе опасным врагом или ценным союзником. Принимая же непосредственное участие в споре, он становится плоским «агентом пропаганды»; этого добивались от писателей большевики и этим они добили свою литературу.

Даже верные ее рыцари сходятся на одном – «душа» или «дух» из нее испарились. Разжевываются темы, продиктованные Сталиным, наивные люди еще принимают их всерьез, объявляют самыми важными и новыми, за что едва ли очень признательны советские прозаики и поэты. Дайте им свободно выбирать, и они, вероятно, забудут навсегда тошнотворно однообразные свои темы. Опять-таки, без всякой эмигрантской заносчивости, думаю, что в здешних нераскупаемых книгах, в беспризорных, никем не изданных рукописях есть хотя бы смутное «жизненное дуновение», присущее всему, что выражено свободно, по глубокой, неотразимой потребности.

Этого не видят тайные и явные недоброжелатели всякого творчества, всякой новизны, поборники эффектов, острых словечек, коротеньких мыслей, увлекательных сюжетиков. Но и в кругу неподдельно-одаренных писателей возникают сомнения, уныние, испуг перед

слишком трагической судьбой. Здесь уже не русское мазохистическое пораженчество, а честное отношение к безутешной действительности, которое опаснее всех доводов со стороны: оно может сломить любую сопротивляемость. Попытаюсь спокойно пересмотреть каждый убийственно мрачный аргумент, направленный замученными людьми против себя и своей работы.

Мы разобщены с аудиторией – Россией; для кого, для чего наши напрасные усилия? Едва ли сумею разрешить этот вечный, недоуменный вопрос, но вот несколько положений. Россия интеллектуально в летаргическом сне; было бы самонадеянностью думать, что можно за нее и вместо нее продолжать какую-то самостоятельную деятельность. И однако надо верить праведному внутреннему знанию, что никакие усилия не гибнут, не пропадают и для будущего, всегда непохожего на настоящее, что-нибудь пригодится. Пусть наше поколение «génération sacrifiée»; разве боялись своей обреченности те, кто готовили и предвидели революцию? К тому же многое для эмигрантских писателей сложилось благоприятно – конечно, в области духовной и душевной (внешнее, увы, предельно-безотрадно). Они дышат «воздухом Европы» и могут органически, непосредственно усвоить всё, что и в годы ее помрачения в ней осталось плодотворно-живительного. Они никогда не забудут России, сохраняя к ней постоянное страстное любопытство: есть такая любовная незаменимость, которая лишь усиливается после разлуки, после потери и от загадочности любимого существа. Это сочетание Европы и чего-то неустранимо русского, мне кажется, приводит и уже привело, не к жалкой раздвоенности, а к некоторому «синтезу», к возможности частичных успехов и открытий. В нашей памяти и опыт прежних эмиграций, больше сделавших для культуры своего народа, чем слепые, фанатические «хозяева положения», обеднявшие культуру ради одной идеи, навязчивой, спорной и заимствованной.

Другое постоянное возражение «изнутри», из рядов эмигрантской литературы и критики, похоже на обвинения и нападки извне: почему в эмигрантских писателях так мало «общественного», почему они вдохновляются и заняты «личным». Для примера выдвигают советские лозунги – о коллективе, солидарности и братстве. Хочу поделиться одним своим наблюдением, которое пока неизменно подтверждалось. Я замечал, что люди богатые, но скупые и неблаготворительные, особенно горячо отстаивают социализм. Они как бы чувствуют свою бессердечность и смутно мечтают о *вынужденной* щедрости. Так же иные равнодушные скептики хлопочут о «солидарности и братстве»,

не видя, насколько это ближе и доступнее без насилий и жертв, без революций и Чеки. Каждый может создать в каком-то своем кругу атмосферу благожелательности и доброты или примкнуть к уже создавшемуся кругу, но те, кому такое стремление чуждо, настойчиво требуют странной компенсации – навязанного, готового, принудительного «братства». «Любовь к человечеству» легка и быстро приемлется, как всё несбыточное и взятое из головы. Любовь к человеку несравнимо труднее – нужны и непрерывные усилия и природная душевная одаренность.

Но перейду к существу вопроса. Естественно, что в мире, где власть безымянной толпы порабощает всякую внутреннюю предприимчивость, всё человечески-талантливое и смелое возмущенно борется за себя; и происходят обратные преувеличения. К тому же «личное» не означает эгоизма; только в теплой, живой его конкретности рождаются внимание, терпимость и нежность.

Еще одно соблазнительное утверждение: иногда, ради жизненного подвига, необходимо отказаться от искусства, эмигрантские же писатели поглощены своим искусством, не считаются с жизнью и претендуют на чью-то поддержку: «Не такое нынче время, чтобы нянчиться с собой» (по-моему, черствые, неожиданные у Блока слова, ненадолго навеянные большевицким бездушием). Но обвинять эмигрантских писателей в каком-то «искусстве для искусства», в отходе от действительности, в робости перед жизненной борьбой, несправедливо и просто неверно: именно они настолько охвачены реальностью, как никакие их предшественники и современники, и, при самом безрассудном желании, от реальности не могут уклониться. Отказываться от одного ради чего-то другого – порою важно, с этим спорить не приходится; но общий призыв к отказу от искусства, для какой-то жизни, есть лишь проявление вечного русского максимализма и, пожалуй, обидное «угашение духа». Куда сложнее научиться «совмещать» искусство и жизнь, и многие этому научились.

Последнее, что мне хотелось указать – общие разговоры о «кризисе искусства», о механизации человека и творческих приемов. Это – тема широкая, почти необъятная, и даже поверхностный разбор чужих суждений должен быть подкреплен разработанным материалом. Эмигрантская литература – всего лишь частный случай, но в связи с ее фактической «воздушностью», у ее представителей такая уязвимость, что для них опасны и эти разговоры. Независимо от правоты или ошибочности пессимистических взглядов на современное ис-

кусство, нельзя их толковать чересчур прямолинейно и сейчас же наивно к себе применять. Поспешные дедукции часто обманчивы, и у каждого писателя своя отдельная судьба, не связанная ни с какими общими законами. Разве были эпохи благополучные, без кризисов, без мрачных и грозных чьих-то предсказаний? И когда я встречаю упорное сопротивление подобным теориям о «конце литературы», для меня это признак «творческого здоровья» и не только высокий, но и поучительный пример.

МАЛЬРО
(ФРАНЦУЗСКИЕ «ТРИДЦАТЫЕ ГОДЫ»)

Во Франции с каждым годом учреждаются всё новые литературные премии. Интерес к ним не уменьшается, огромное их число не вытесняет популярности тех немногих, которые введены уже давно, и в первую очередь – Гонкуровской.

Система премий имеет хорошую и дурную стороны. Читатели узнают о книгах того или иного малоизвестного автора, вовлекаются в споры, в оценку соперничающих между собой произведений, иногда это заставляет самостоятельнее работать критическую мысль. Но самый принцип литературных конкурсов, соответствующий духу времени, с его возможными спортивными рекордами, «развязывает» грубые страсти и едва ли облагораживает писательскую работу и цели. К тому же книги, нередко превосходные, но случайно не обсуждаемые на конкурсах, не собирающие хотя бы нескольких голосов, остаются в тени и ускользают от внимания публики.

Наибольшую борьбу, соревнование и шум неизменно вызывает присуждение Гонкуровской премии. Прошлогоднее решение привело даже к довольно громкому процессу между некоторыми Гонкуровскими академиками и лицами, обвинявшими их не только в несправедливости, но и в нечестности.

В этом году академики, увенчавшие книгу молодого, но уже прославленного писателя Андре Мальро «La Condition Humaine» одобрены почти всей критикой, и споров пока не ведется. Вскользь лишь отмечалось, что самый проницательный французский критик Леон Доде, когда-то заставивший своих товарищей избрать лауреатом Пруста, имя для многих из них одиозное, и в прошлом году выдвигавший Селина, подал теперь свой голос не за Мальро, а за Рене Беэна. Быть может, это объясняется неприемлемой для Доде политической левизной Мальро. Но и Селин далеко не «правый», и возникает вопрос, что «левее» – половинчатый коммунизм Андре Мальро или всеотрицающий анархизм Селина.

«La Condition Humaine» (приблизительный перевод – «Человеческая доля», «Условия человеческого существования»), как и предыдущие романы того же автора, «Победители» и «Царский путь» – ряд

эпизодов бесконечно растянувшейся азиатской революции, подробное описание массовых движений, характеристика китайских вождей и русско-советских вдохновителей. В последней из этих трех книг передаются шанхайские события, борьба Чанг-Кай-Шека, в союзе с коммунистами, против Манджурского правительства, окончательная над ним победа, затем разрыв и расправа с коммунистами.

Как в советских романах, умышленно выведено по одному представителю различных интересов и течений: русский дисциплинированный большевик Катов, «разлагающийся интеллигент» европеец Жизор, смутно склоняющийся к большевизму, но отравленный цивилизацией и опием, его сын, полуяпонец Кио, разновидность революционного Гамлета, китайский террорист Чен, преодолевший свое религиозно-западническое воспитание, и умный, хищный «империалист» Ферраль, возглавитель консорциума французских банков. Имеется еще туманная, любопытная фигура барона Клаппик, циника и остроумца, ко всему равнодушного и медленно опускающегося на дно, и множество других второстепенных героев.

Все эти люди действуют с необыкновенной стремительностью, быстро падают и поднимаются, приобретают и теряют надежду. Их цели почти всегда грандиозны, их жестокости и страдания невероятны. От них зависят миллионы человеческих жизней и, разумеется, миллионные суммы. Ими вызываются или против них направлены сражения, заговоры, полицейские и парламентские интриги. Всё безмерно преувеличено, нагромождено одно на другое. И всё легковесно, вернее даже, легкомысленно.

Невольно впадаешь в недоумение – откуда этот головокружительный успех? Почему самые утонченные и добросовестные французские критики спешат заявить о своем восхищении? Нет ли в книге неоспоримых достоинств, искупающих все недостатки? На мой взгляд, у автора два счастливых писательских свойства, едва ли, однако, достаточных для оправдания того шума, который поднят вокруг его романа. Одно из них – короткие, удачные формулы, метко и точно передающие, главным образом, поверхностную, внешнюю сторону отношений, усилий и страстей, я сказал бы, сторону физиологическую или физическую. Дальнейшие углубления ему как будто недоступны, да и эта «физическая» наблюдательность проявляется чрезвычайно редко, несравненно реже, чем у стольких писателей среднего уровня, и перед нами, за немногими исключениями, – страницы, лишенные внутреннего содержания. Второе писательское достоинство Маль-

ро – неудержимый, неистовый темперамент. Это, несомненно, его выделяет среди бесчисленных сочинителей романов, слишком благонамеренных, корректных и вялых. В этом же, очевидно, разгадка его огромного успеха. Но темперамент, при отсутствии соразмерной душевной поддержки, превращается в какую-то безостановочную скороговорку и порою начинает раздражать.

Внимательно читая роман Андре Мальро, приходишь к неожиданному выводу, что здесь не творчество, а только импровизация, часто беспомощная, местами блестящая, но всегда неровная, как всякая импровизация. Это подтверждается и рядом погрешностей: так, один из героев где-то встречается с двумя китайцами, причем говорится, что Пея среди них нет, а затем Пей беседует с данным героем. Иногда навязчиво кажется, что все персонажи, один за другим, как бы выходят из подчинения авторской воле. Их слова и поступки на них непохожи, теряется жизненность и читательское доверие. И еще странное противоречие: книга о сложнейших переживаниях усваивается, «проглатывается» незаметно. Нам представляется, будто мы слушаем чью-то горячую, многословную речь, какое-то непосредственное обращение, не требующее особой напряженности ни от слушателя, ни от увлекшегося оратора.

Люди, близко знающие Мальро, о нем отзываются, как о незаменимом собеседнике. Быть может, в этом сказывается всё тот же импровизаторский дар, приятный и нужный в публичных выступлениях, в дружеском интеллектуальном разговоре, но ведущий к творческой безответственности. Я также думаю, что личное влияние и шарм объясняют восторги иных рецензентов.

Один русский читатель, не литератор, недавно мне расхваливал «удивительных китайцев», выведенных Мальро, с огорчением добавив, что русские – «явная клюква». К сожалению, мне не удалось проинтервьюировать какого-нибудь китайского читателя. Допускаю, что он бы отметил как раз обратное. Действительно, китайские персонажи «европеизированы» до самой последней степени, даже предельно типичны и знакомы. Имеются и Дон-Кихоты, и Гамлеты, и романтики, и скептики, и бунтари. Если дать им европейские имена, ничего, пожалуй, не изменится.

Кстати о скептиках и Гамлетах. Эдмон Жалу считает открытием Андре Мальро образ сомневающегося революционера. Жалу один из наиболее начитанных французских писателей и словно забыл на минуту Достоевского, Тургенева, Чехова, чуть ли не всю советскую

литературу. «Сомневающиеся революционеры» Мальро стремятся к возвышенной смерти («mourir le plus haut possible»), не могут себя заставить кого-либо убить, один из них предварительно прокалывает собственную руку и этим облегчает свою совесть, что представляется уж очень неправдоподобным. Повторяю, отсутствие «crédibilité» едва ли не основной порок всех произведений Гонкуровского лауреата.

Я потому так подробно остановился на его романе, что самый роман и успех Мальро мне кажутся чрезвычайно симптоматическими. По замыслу «La Condition Humaine» – книга действенная, сильная, волевая. А. Жид, в предисловии к повести, написанной известным летчиком о подвигах, опасностях и достижениях «мирной» авиации, торжественно провозгласил, что время анемичной созерцательной литературы прошло. Ей на смену должна явиться литература активная и бодрая. Вслед за тем вышли другие «авиационные» романы, другие книги о беспощадной житейской или политической борьбе. Сам Андре Жид занял определенную политическую позицию, открыто присоединившись к коммунистам. Теперешняя литературная победа Мальро – наиболее показательное в этом отношении событие.

Его произведения по темпу противоположны прустовскому «au ralenti», несмотря на претенциозные заголовки «La Condition Humaine» – «три часа утра», «четыре часа утра» и т. д. Каждому часу посвящено немало страниц, но лишь потому, что в эти промежутки происходит несчетное количество перемен. Результат получается неожиданный. Стремительность темпов, «активность» автора и его персонажей нередко создают впечатление некоторой пряной остроты, но короткие по необходимости размышления исключают всякую возможность глубины. Душевная сила, напряженность и динамичность, медленно возникавшая в романах «au ralenti», постепенно передавались захваченному ими читателю, овладевали надолго, навсегда, вызывали упорное, напряженное «со-творчество». Действенно-быстрые романы Мальро как бы скользят по душевной поверхности, однако легкий читательский отклик мгновенно изглаживается из памяти.

Мне кажется, Пруст, написавший свою эпопею перед войной и во время войны, был истинным предтечей и вдохновителем французских «двадцатых годов», той незабываемой эпохи, когда французский психологический роман оказался в центре мировой литературы. Сейчас литературная гегемония переходит к англичанам, усвоившим прустовскую тяжелую серьезность и как-то сумевшим ее освежить английскими национальными чертами – налетом грусти, юмором, благородством

персонажей. «Тридцатые годы», отчетливо обозначившиеся в книгах Мальро, отмечены легковесностью, понижением уровня и должны для нас явиться поучительным уроком – что активность жизненная и книжная никогда не совпадают и не могут совпасть.

ФРАНСУА МОРИАК – АКАДЕМИК

ИЗБРАНИЕ и прием в Академию Франсуа Мориака оказалось весьма значительным литературным событием. Было много восторженных комментариев, в руководящих писательских кругах чувствовалось несомненное и единодушное удовлетворение.

Стало общим местом, что передовая французская литература с давних пор от Академии оторвана; в самом деле лучшие ее представители в девятнадцатом столетии – Бальзак, Стендаль, Бодлер – в «бессмертные» не избирались. Некоторые из них неоднократно выставляли свою кандидатуру, но их столь же неизменно «проваливали». Кто-то при одном из таких провалов остроумно и едко сказал: «К сожалению, голоса не взвешивают, а подсчитывают»...

Поэтому избрание подлинного писателя – в последние годы Валери и Мориака – вызывает подъем и кажется чуть ли не чудом. Мориак действительно один из тех немногих счастливчиков, которые признаются «элитой», читаются широкой публикой и оказываются приемлемыми для академии. На первый взгляд он пишет легко и понятно, в противоположность Клоделю и Прусту, Жиду и тому же Валери. У него возвышенная религиозно-буржуазная мораль. Он ни с кем не воюет и никого не отпугивает.

Если вчитаться, Мориак не так уж ясен и прост. Он как будто послушный ревностный католик, но с неожиданно-гневными пророческими обличениями, с аскетической устремленностью, с осуждением благополучной веры и жизни, с каким-то глухим протестом против жизни вообще. Мне кажется, лояльным церковникам должно становиться не по себе, когда они читают его мрачные, тяжелые романы или пессимистическую, непримиримую книгу о «долге христианина». Можно подумать, вот-вот он сорвется в непозволительную ересь. Но в конце концов, покорное смирение побеждает.

Самые замечательные его произведения – «Тереза Декеру», «Поцелуй прокаженного», «Змеиный узел» – проникнуты особой атмосферой, удушливой, скрыто-злобной, беспощадной. Впрочем, у Мориака нет окончательно неудавшихся книг. На каждой из них отпечаток его писательской опытности, его страстного ума и воззрений, в каждой – этот сгущенно-удушливый воздух.

Обычно, его герои безвольные или дурные, жертвы и мучители, в свою очередь раздавленные собственной гнетущей одержимостью. Они живут в безобразном мире провинциальных сплетен, грубого стяжательства и злобных, тиранических отношений. Всё это усугубляется повышенной совестливостью автора, постоянным ощущением греха. Не всегда наступают раскаяние и просветление, и часто они кажутся неоправданными, особенно для человека неверующего, не прошедшего таким же путем. В подобных случаях повествование как бы чрезмерно убыстряется, и возникает досада на пропуски и недоговоренности. Зато в каждом романе между строк смутно чувствуется иной мир, суровый, чистый, без малейшей слащавости.

И вот, самое неожиданное у Мориака: вся эта сложность, многопланность и тяжесть умещается в книгах сравнительно коротких, где соблюдены безукоризненная композиция, отчетливый сюжет, нарастание, развязка, в книгах, написанных ровными, гладкими фразами, при полном почти отсутствии своеобразия в языке и стиле. Невольно является вопрос, не есть ли это писательская ошибка, напрасное умаление себя, и не возникает ли некоторое несоответствие между тоном и содержанием, мыслью и словом, не нарушается ли цельность писательского задания и выполнения. Мы подходим к общему, неизбежному, вечному противоположению французского «сделанного» романа и «текучего», жизнеподобного, русского, отчасти также английского.

Мне пришлось однажды видеть Мориака, незадолго до его избрания в Академию. Очень высокий, худой, в меру моложавый для своих 48-ми лет, буржуазно подтянутый, с розеткой Почетного легиона, почему-то меня удивившей, воспитанный, без чрезмерной, предусмотрительной любезности, он был наиболее видным гостем того литературного салона, куда я случайно попал, и к нему постоянно, по каждому пустяку обращались. Он отмалчивался, ссылаясь на болезнь горла, и, действительно, говорил хриплым, еле слышным голосом, и вдруг оживился, когда начали спорить о Прусте. После чрезвычайных похвал, он заявил убежденно, даже запальчиво: «И все-таки Пруста нельзя считать романистом, он не осознавал того, что пишет, таково и личное мое впечатление от нескольких разговоров с ним: он был скорее “lieu de passage”». Это непереводимое французское выражение должно, по-видимому, означать среду, что угодно воспринимающую и затем бессознательно излучающую воспринятое. Мне почудилось в раздраженном его упреке осуждение той самой стихийности и «текучести», которая, быть может, Мориаку представляется чем-то вроде необузданного хаоса.

ПОПЛАВСКИЙ

Кажется, никто так не умел раздражать приверженцев академизма и рутины, как неизменно раздражал их Поплавский. Но мы, его союзники и друзья, не имеем никаких оснований преуменьшать значение Поплавского и скрывать свое восхищение. Где-то у Вовенарга не без резкости сказано, что всегдашняя умеренность мнений, всегдашний страх кого-либо одобрить, кем-либо восхититься до конца, есть признак человеческой слабости. В этих словах дано определение особого литературного снобизма, и от такого трусливого снобизма Поплавский страдал, как лишь немногие, и с ним боролся сознательно и страстно.

Бывают люди обыкновенные и в то же время бесспорно замечательные, похожие во всем на других, но то, что у других вяло и бледно, у них сгущается и обостренно выражается. Бывают люди необычайные, неповторимые, ни на кого другого не похожие и при этом вовсе не замечательные – их отличия и вся их обособленность неинтересны и жалко-скучны. Поплавский был редким примером и замечательного и необыкновенного человека. К его истокам и душевному центру просто нет и не может быть путей: мы не найдем аналогий ни с кем, и любая проницательность бессильна при отсутствии схожего опыта. Пожалуй, единственное, что нам остается – об этом судить, точнее, догадываться по отдаленным и сбивчивым намекам в его разговорах и стихах.

В них Поплавский неоднократно доходил до упрямой, мучительной веры, такой непреложной, такой обоснованной, что ее бы другому хватило на долгие годы, на целую жизнь, но этой вере Поплавский изменял, взволнованно отстаивал следующую, и не всегда удавалось понять, что была только видимость измены, что сохранялось абсолютное единство. Так у некоторых мнимых дон-жуанов каждая новая, неожиданная любовь – очередное высокое воплощение всё той же единой любовной потребности. Я думаю, слушая Поплавского, с ним споря, с ним изредка соглашаясь, мы все одинаково ощущали, что эти лихорадочно-грустные слова, разноречивые как будто возражения, стремительно-резкие, смелые выводы, что они совпадают, сливаются в одно, что у них несомненно общий источник, что за ними упрямая воля. И такое внутреннее единство неоспоримо для нас подтверждалось особенностью акцента и тона в каждой строке и фразе Поплавского.

Его мысли, поиски и стремления были всегда на каких-то высотах, он упорно пытался проникнуть в непроницаемую тайну природы и для себя упорядочить мир. Его поэзию можно назвать – едва ли условно – «поэзией метафизики». На свои углубленные, тревожные вопросы он находил различные ответы, каждым из них увлекался и мучился, пробовал закрепиться на чем-либо одном и сам себя старался уверить, что вот уже найден окончательный ответ, что пора успокоиться, медленно обдумать надежные, твердые воззрения, не оглядываясь на всё остальное. Но такой «идеологической передышки» у Поплавского быть не могло. Судьба наделила его ужасным, безжалостным даром – быстро и полно исчерпывать любое очередное открытие – и он опять куда-то устремлялся, куда мы с трудом за ним поспевали. Однажды о Лермонтове кто-то сказал применимые к Поплавскому слова: «Во всю свою короткую жизнь он вечно куда-то спешил, точно предчувствовал свой близкий конец».

К этим духовным блужданиям и поискам поневоле примешивалась умственная игра – неизбежное свойство одаренности и молодости – но ее становилось всё меньше, и она никогда не была самодовлеющей. Поплавский упрямо бился над тем, что порой нам казалось развлечением, он болел метафизической одержимостью и страдал от чужого недоверия, от мелких придирок и насмешек, от того, как легко его уличали в пустых и – основных – противоречиях. Последнее было даже естественным: едва привыкали его друзья к одной незыблемо-стройной системе, едва начинали ее понимать и смутно, во многом, с ним соглашаться, как он отталкивал, разочаровывал и словно бы спорил против себя. И только с годами сделалось ясным, что разгадка была не в «системах», а в том лирическом кипении, которое щедро их создавало.

Жить соответственно мысли или мыслить соответственно жизни – вот две возможности творчески жить. Поплавский придерживался первой, и люди противоположного склада нередко удивлялись тому, как отчетливо-точно совпадали результаты их жизненного опыта и «абстрактные» выводы Поплавского. Очевидно, его абстрактная природа неуловимо, по-своему, питалась неподдельной жизненной полнотой: недаром вся деятельность Поплавского – по крайней мере в последние годы – превратилась в аскетический подвиг.

Поневоле возникает вопрос – была ли в бесчисленных у него переменах и в быстрой эволюции взглядов какая-то ясная линия, какая-то нечаянная планомерность? Ошибиться в этом легко, разо-

браться можно лишь смутно, да и ранняя смерть Поплавского прервала такую «эволюцию» и спутала все вероятности, обрекла любые предположения на то, чтобы остаться недоказанными, но – сознавая недоказуемость своего утверждения – я отвечаю, что «линия» была. Ее приблизительный смысл – в заглавии второго романа, в решении: «Домой с небес».

Тот Поплавский, которого когда-то мы знали, был эстетически-презрительно-одинок. Его пленило то, что он слышал и чего не слышали другие – нечеловеческая музыка искусства, особого, ревниво-недоступного, – и ею он упивался, готовый «сладостно погибнуть», однако «с доброй надеждой» – единственно через нее, через эту нездешнюю музыку – возвыситься и как-то спастись. В то именно время писались его лучшие, по-моему, стихи, изысканно-прелестные и вместе опьяняющие, утонченные и неожиданно-сильные, с музыкальной сложностью, с отчетливым подъемом, переходившим в какой-то полет. Поплавскому это удавалось, как удавалось впоследствии иное, как становилось искусством и музыкой всё, чего ни касался мимоходом его уверенно-смелый талант.

Не помню его отношения к тогдашним читателям и слушателям. Мне кажется, в последней своей глубине он надеялся на скорое признание, не заботясь о внутренней связи между ним и столь чуждой ему аудиторией, лишь пытаясь ее ошеломить, иногда непоэтическими средствами. Признания он не получил – чрезмерная замкнутость и новизна мешали установлению связи, затрудняли необходимую подготовку.

Затем сверх-музыкальный полет, неизбежное расширение темы, постепенно его привели к желанию как-то охватить все темы, весь мир, всё явное и тайное, и он стихами уж не довольствовался. Отсюда попытка мистического синтеза – начало «Аполлона Безобразова». Я убежден, что для него прозаическая форма, внезапный к ней переход были огромным, решающим событием, с чем многие, правда, не согласны. Но и сам он это подтверждал, и я на этом не буду останавливаться. Пожалуй, важнее другое – то, что в период «Аполлона Безобразова» его поразила и потрясла жестокая раздвоенность мира, с которой, конечно, не справились ни ирония, ни покорность, ни мистика. Страдание победило абстракцию, и появилась потребность в сострадании.

Оно первоначально пошло по легчайшему, готовому пути. Я помню растерянного Поплавского, который каждому повторял: «Кто не ужален социальной несправедливостью, тот меня сейчас не поймет».

Ненадолго возникло у него увлечение научным марксизмом, навязчиво-пристрастные разговоры о России, о счастье человечества. По ним судить о подлинном Поплавском, попрекать его «человечеством» было столь же близоруко и бессмысленно, как попрекать и «кокаинными видениями». Просто те, кто придирались к нему, совершали логическую ошибку, принимая за целое крохотную часть и осуждая короткий этап на протяжении длительного процесса.

От социальной, социалистической жалости был естественный, новый, последний переход – к личному, доброму, милому вниманию, к осязательной братской любви. Впервые это наметилось в удивительном очерке Поплавского – «Христос и его знакомые» – и вскоре сказалось буквально на всем: его чудесно потеплевшая проза, вдохновенные ночные беседы, какой-то мягкий, не озлобленный юмор, изменившиеся отношения с друзьями, окрашенная любовью судьба, неоспоримо об этом свидетельствовали. Напечатанный в «Числах» чарующий «Бал» нам представлялся когда-то исключением. Прочитанные позже – перед смертью – отрывки из второго романа доказали какую-то прочность намеченного прежде пути, его для Поплавского живую органичность.

Эта лирическая, властно заражающая проза, где психология сочеталась с обобщениями, где мы героев узнавали и любили, где жизненная конкретность сливалась с музыкальностью – это было, по-моему, лучшее, чего Поплавскому добиться удалось, что являлось не надеждой, а достижением, в чем он мог бы еще развиваться. И непонятная гибель Поплавского для нас, его старых друзей – навсегда «открытая рана». Для верных друзей русской литературы это – большое, непоправимое несчастье.

МЫ В ЕВРОПЕ

«КРУГ». БЕСЕДА ОДИННАДЦАТАЯ, 3-ГО МАЯ 1936 ГОДА.

Присутствовали: Блох, И. Бунаков, В. Вейдле, Б. Дикой, Г. Гершенкройн, Г. Иванов, Л. Кельберин, А. Ладинский, С. Савельев, П. Ставров, Ю. Терапьяно, Н. Фельзен, Г. Федотов, Л. Червинская, С. Шаршун, В. Яновский.

Был заслушан доклад Н. Фельзена на тему: «Мы в Европе».

ЛЮДИ интеллектуально-творческого склада, бежавшие из советской России, непосредственно не столкнулись с той Европой, какая им когда-то мерещилась, с Европой духовных поисков и непрерывных творческих достижений – для них реально существуют, за самыми редкими исключениями, лишь средние немцы и французы, тяжелый труд, непосильные заботы, скучное, серое, мещанское окружение.

Будучи в стороне от европейского избранного круга, эмигранты должны ощущать реально-близкое его отражение и в той буржуазно-рабочей среде, куда случайно каждый заброшен, особенно в больших городах. Эти люди на скромном нашем пути, их чувства, заботы, настроения нередко описаны в книгах, а улицы, воздух, небо, дома незаметно создают как бы фон современного европейского искусства. Журналы, газетные статьи воспринимаются живей и обостренней, чем если бы мы их читали в Москве или в русской провинции. Словом, надо только захотеть – и европейская культура «доходит».

Легче всего говорить о том поколении русских людей, еще не старом, уже не молодом, которое попало во Францию и занято, поглощено литературой. Оно, естественно, сперва ознакомилось с целым рядом французских писателей десятых и двадцатых годов, с Жидом, Прустом, Мориаком, Валери. Впечатление было ошеломляющее – независимо от направлений и таланта, русских читателей не могла не поразить неподдельная искренность тона, отсутствие эффектов и красот, серьезность жизненного подхода, всё, что наметилось еще до войны от бессознательно-грозных предчувствий, что укрепилось после войны и трагической ее безутешности, что возникло также и в России,

у Розанова, Блока, Ахматовой, и было потом заглушено барабанным боем Маяковского и казенным горьковским оптимизмом. Удивило у французов и другое – официальное, мертвое, советское братство у них переиначилось и ожило. Вместо туманного, абстрактного человечества, появился живой человек, страдающий от одиночества и замкнутости, всеми силами стремящийся к людям, к тому, чтобы как-то преодолеть неизбежную нашу разобщенность, чтобы людей и сблизить и примирить. Эти книги нас не утешали, сближение, добро не достигались, но была в них навязчивая прелесть непритворной жизненной правды и неотразимый писательский личный пример. И Пруст, и Жид, и остальные пытались, каждый по-своему, найти из безвыходности выход и в чем-то его находили, нередко сомнительном, искусственном, что заражало меньше, чем поиски – в католичестве, в творческой работе, в особой, теплой концепции коммунизма или в гордом самодовлении мысли. Для тех, кому недоступны религиозные и партийные верования, для них наиболее приемлема именно прустовская апология творчества, с ее созданием жизни, потенциально-возможным в соединении любви, вдохновения и памяти. Такое полнейшее слияние того, что дается нам даром, и того, что достигается долгим трудом, соответствует нашему опыту, и прустовский личный пример – великолепного последнего гуманиста, охватившего всё человеческое, искусства, науки, отношения и время – этот мучительный творческий подвиг оказался не напрасным и не случайным. Как ни печально, творческая область всё очевиднее нуждается в защите, и ее, на наших глазах, пытаются снизить, уничтожить взаимно-враждебные течения и силы.

Против воли ее подрывают те, кто относится к искусству и творчеству слишком требовательно, любовно-боязливо. Это опасность как бы изнутри – не меньшая, если не большая, чем опасности, грозящие извне. Это как бы сомнения верующих, колебания и слабость защитников, и – зная предмет своей веры так обстоятельно, как не знают враги – они поневоле ей наносят самые острые и меткие удары. Их печальный диагноз современности и мрачные их предсказания покоются на трех утверждениях: *распад человеческой личности*, *исчезновение христианской культуры*, *победа и возрастающее влияние толпы*.

Прежде всего, о внутреннем распаде, об утере какого-то нашего единства – это ошибка, и для меня ее опровержение приблизительно сводится к следующему: душевный мир с веками усложняется и должна усложниться его передача, анализ становится тщательней, а синтез труднее уловим, и люди слишком нетерпеливые, привыкшие к иным

образцам, до синтеза добраться не могут и заблуждаются вполне добросовестно. Между тем для писателя открылась необъятная область бессознательного, и ему от нее не уйти. Вопрос не в том, что это полезно, или что это – праздное любопытство, заслоняющее важнейшие, вечные темы, вопрос надо ставить иначе: мы так устроены природой, что на вещи, однажды увиденные, мы глаз уже не закрываем, и стараемся в них разобраться – до предела, почти беспредельного. В этой новой таинственной области, конечно, легко заблудиться, вместо выбора заняться перечислением, утратить порядок и форму, подчиниться душевному хаосу, и, пожалуй, в таком-то именно смысле представляется странно разрозненным, – гениальной и обидной неудачей, – незавершенное творчество Джойса, но это не предрешает дальнейших неудач, не умаляет явных достижений, пускай их немного, или даже одно, зато подтверждающее возможность успеха, и, главное, в наибольшей усложненности – возможность сохранения цельности.

На этом я остановился не потому, что хотел защищать какое-то, мне близкое течение, а потому, что этот вопрос – об усложнении или о распаде, о внутреннем нашем единстве – едва ли не самый основной для будущего культуры и, в частности, искусства. Если на высшей степени культуры единство безнадежно утрачивается, то остается одно – капитулировать перед варварской и грубой толпой: в ней есть еще душевная свежесть, человек из толпы как бы действенная почва и в состоянии что-то создать примитивное, но цельное и страстное, на что уже не способен человек, проникнутый культурой. Только надо из этого сделать неизбежный трагический вывод: весь пройденный, трудный, мучительный путь тогда повторяется сначала, и правы циклические теории, но, конечно, «руки опускаются». Вопрос о единстве – в самом центре сегодняшней темы о нашем «романе с Европой»: усвоив, угадав ее мечты, постаравшись понять ее усилия, мы восприняли и все ее сомнения, и многие из нас их ощущают с остротой, европейцам неведомой.

Второй вопрос, не менее важный – о том, что современная культура целиком создана христианством и на него уже не опирается, без чего сохраниться не может. Вопрос и деликатный и сложный, и надо к нему подойти со всей нам доступной добросовестностью и с чувством исторической реальности. Без натяжки культура и христианство не сливаются, да и не в очень многом совпадают. Была и дохристианская культура, чуть ли не полностью вошедшая в нашу, была и послехристианская, как она с христианством ни связана. Конечно, гуманизм

и ренессанс, и братство французской революции, и лучшее, что есть в социализме, и всё искусство последних веков еще преемственно-близко христианству, но отрыв, несомненно, произошел: ведь утеряно главное – вера, изменилась и жизненная, и творческая тональность, а люди, по-прежнему верующие, творят, если рождаются творцами, в этой новой, измененной тональности. И нельзя отрицать, что послехристианская Европа создала огромные ценности, и эти ценности не отзвук, не отблеск ушедшего прекрасного мира, но какой-то самостоятельный мир. И в теперешней смертельной борьбе за добро, за личность и свободу против ненависти, классов и рас, христиане лишь желанные союзники среди других, не менее надежных, однако не единственные бойцы, как иные из них себе представляют.

Третий довод, выдвигаемый теми, кто нас предупреждает о гибели культуры – опасное влияние толпы, поощряющей изнанку культуры и равнодушной, даже враждебной к возвышенным ее достижениям. В этом много печального и верного. В большинстве современных демократий, особенно тех, что возникли внезапно, по приказу революционных властей, без долгого переходного опыта, в них массы наивно поверили обещаниям партий, вождей, иногда взволнованно-искренним, и отказались от права собой управлять, добровольно подчинившись диктаторам. В дальнейшем громоздкий аппарат диктатуры, в разных странах с одинаковой неумолимой последовательностью, умертвил всё действенно-живое и в культурных и в народных слоях, и будет неимоверно тяжело не только рабство прекратить, но и внушить вчерашним рабам неизвестное им чувство свободы, и, пожалуй, еще тяжелее будет найти ту меру свободы, которая в них не разбудит неодолимых, анархических инстинктов. Но и в странах либерально-устойчивых – бессознательно, от детского неведения, и тем грознее – массы наступают на области высшей культуры, соблазняя многих ее деятелей широко оплаченным, грубым «заказом» и легкой славой, наградой за безвкусицу, карая непокорных презрением, жестокой неизбежной нищетой. К сожалению, газеты, кинематограф, издательства потворствуют этой безвкусице, и незаметно она распространяется, вытесняя достойное и лучшее. Я вовсе не хочу утверждать, что прежде было идеально, что буржуазия, аристократия, придворные круги понимали искусство, научные открытия, но их спасала традиция снобизма. Теперь побеждаемым классам в изнурительной борьбе за свое существование не до снобизма и каких-то изысков, а классы, постепенно подымающиеся, до этого еще не доросли. Так или иначе, сохранение культуры будет

зависеть от воспитания масс, что сейчас непосредственно важнее разрешения социальных вопросов и без чего, без смягчения характеров, без какого-то облагораживания душ не могут быть разрешены и эти социальные вопросы.

К Европе, колеблемой страстями, сжигаемой внутренними сомнениями, вплотную пришлось подойти молодым эмигрантским писателям. После первых наивных восторгов наступило время испытаний, восхищение сменилось разочарованием. Диктатура в иных цивилизованных странах, опасность того же в других, победа низких, дешевых идей над интеллектуально-духовным бескорыстием – у нас появилось впечатление, что Европа изменила себе. Она перед нами предстала «en robe de chambre», если можно так выразиться, в черновом, неприкрашенном виде, гигантской опытной станцией, со всей лабораторною грязью, и многих из нас оттолкнула. Правда, из пепла и грязи, в эти критические страшные годы, возникают на наших глазах чудесные новые творения, но мы их едва замечаем. Есть одна специальная, быть может, причина: мы, литераторы, живущие во Франции, невольно следим за ее литературой, а по каким-то законам чередования в ней происходит явное снижение, и литературой ведущей становится английская, о которой мы знаем понаслышке, по разрозненным случайным переводам. Но даже в ослабленной французской литературе, где старшее поколение выдохлось, где младшее просто не талантливо, и в ней иногда появляются незабываемо-значительные книги. Продолжается стольких облагораживающее возвышенное творчество Бергсона, и кого из нас не задел углубленно-тревожный голос Селина. Однако воспринятые нами сомнения нередко перевешивают радость, умерщвляют творческую надежду и облекаются в темные обобщения, враждебные искусству и культуре, и с ними приходится бороться, как и со скептиками, влюбленными в культуру, но прежде, чем им возражать, всё же надо коротко отметить, куда идет наша писательская «смена», насколько она отразила, захотела, смогла отразить то, что усвоила в европейской литературе.

Нельзя не отметить одного – что самое количество людей, начавших писать в эмиграции и литературно более чем грамотных, если вспомнить, принять во внимание не только Париж, но и Берлин, Варшаву, Прагу, Белград, Прибалтику, и Дальний Восток, это количество непропорционально велико по отношению ко всей эмиграции. По-видимому, жизнь на чужбине, освежающие чужие влияния вызывают творческий подъем, как это было и во французской эмиграции. Ото-

рванность от собственного прочного быта меняет, суживает темы, но и отчасти их углубляет. Язык не может обогатиться простонародными, меткими словечками, но не всегда и не каждый писатель заимствует свой словарь у народа. Показательные русские примеры – Достоевский, Тютчев, Баратынский. Второе, что сразу поражает у молодых эмигрантских литераторов – подверженность прозы иностранным влияниям и в этом смысле забронированность поэзии. За исключением разве Поплавского, жадно ловившего всё ему созвучное у французских предшественников, у ряда современников, от Рембо и Бодлера до Кокто, остальные эмигрантские поэты продолжают русскую традицию, ничем не прерываемую с десятых годов. Мне кажется, этому несколько причин. Во-первых до революции русская поэзия достигла высокого уровня, была в необычайном расцвете. Она постепенно избавилась от тех фиоритур и красот, которых полное отсутствие пленило нас и в Европе.

Путь эмигрантских прозаиков оказался как раз противоположным – по схожим, но обратным причинам. Послечеховская русская проза не питательна для начинающих и ищущих. Немногие новаторские попытки, – Андрей Белый и Федор Сологуб, – несмотря на талант обоих авторов, не удались и внутренне порочны. Мастерство иных эпигонов едва ли может кого-либо увлечь. Между тем европейский роман – и по форме, и по жизненной силе, по широте, по какой-то человечности – опередил современную русскую прозу, и поневоле молодым эмигрантским писателям пришлось учиться у иностранных романистов и отчасти у русских поэтов. Появилась другая опасность – как бы утраты национального лица и растворения в европейской беллетристике. Всё, что в ней было нового и острого – и ценного и даже сомнительного – и Джойс, и Пруст, и Жироду, композиционные поиски Вирджинии Вульф, сюрреалисты, немецкая новелла, всё это как-то отразилось в произведениях наших прозаиков. Не всегда для такого перекликания необходим ученический пыл или хотя бы основательные познания в современной европейской литературе. Что-то неоспоримо «носится в воздухе» и непременно доходит до тех, кому это родственно-близко. В русскую прозу, чуть ли не впервые, проник теперь, через Сирина, каламбурно-метафорический блеск, опять-таки вовсе не бесцельный, прикрывающий бедную, голую суть бесчисленных людей-авторов, создаваемых нашей эпохой, и подчеркивающий то, что нам надо в себе и других преодолеть. И всё же эмигрантская проза не утонула в иностранных течениях, и у каждого нашего прозаика

легко найти и русские истоки. Дыхание Европы дало эмигрантской литературе то, чего так недостает литературе советской и что несомненно окажется плодотворным.

Мнения оппонентов сводились к следующему:

Автор считает распад личности, отраженный в искусстве наших дней, следствием утоньшения проникновенного анализа художника. Синтез становится поэтому труднее – отсюда впечатление распада. Но ведь искусство не совершенствуется во времени и не зависит от постепенно прогрессирующих методов и трудовых навыков. В современных лабораториях глубже и тщательней проникают в строение вещества, чем во времена Гомера, Данте или Толстого. Но много ли в современной литературе произведений, превосходящих творения этих авторов и «по анализу» и «по синтезу»? Художник не лаборант. Его способность к тому, что докладчик называет синтезом, не зависит от душевно сложного или примитивного объекта наблюдения. Источник «синтеза» в самой душе художника и обмеление этого источника происходит совсем не по причине усложнения наблюдаемого душевного мира. Те, кто говорят о распаде человеческой личности, указывают на это, как на тревожную тенденцию; не исключена, конечно, и в наши дни возможность творческого синтеза у великих, подлинных художников, но элементов, питающих эту возможность, становится в жизни всё меньше. Указание докладчика, что, согласившись с наличием распада личности в нашу эпоху, мы тем самым будем вынуждены признать смену культурных циклов – есть скорее подтверждение, чем возражение. Мы действительно стоим на грани закончившегося культурного цикла и распад этим и обусловлен.

Почему докладчик думает, что если искусство питалось идеями, составляющими сущность христианства, – до исторического христианства или после падения веры, – то тем самым оно было внехристианским?.. Европу XIX века и даже наших дней никак нельзя назвать «послехристианской», как это делает докладчик. Не принадлежат ли французские писатели, о которых так любовно говорил докладчик, к христианской, даже церковно-католической среде французского общества. Вера угасает, но дает еще достаточно тепла для взращивания великих произведений искусства. Для этого вовсе не необходимо, чтобы художник сознательно ощущал свою принадлежность к рели-

гиозной общине. Христианством или его наследием он питается часто бессознательно.

Толпа презренна и не для черни пишет поэт. Зависимость славы и материального благополучия художника от приемлемости его творения для масс, лишенных элементарного вкуса – явление печальное, содействующее деградации искусства. Но так ли уж прав докладчик в своем прямолинейном обобщении? Во все времена поэты презирали чернь, но никогда не мечтали о том, чтобы их творения были приемлемы для узкого круга лиц с повышенным вкусом.

Творцы шедевров итальянской живописи вряд ли писали своих мадонн для людей, разбирающихся в «изысках». «Традиция снобизма», которой докладчик придает совершенно незаслуженное значение, стимулировала искусство как раз в эпохи его упадка, и под опекой «снобизма» взращивались и рафинированные, внежизненные стилизации, век которых был очень короток. Не для «снобов» и не для «черни» творит художник. И Шекспира и Толстого, вероятно, очень удивило бы, если бы им сказали, что искусство спасает традиция «снобизма»...

РАВНОДУШИЕ К СВОБОДЕ

Когда-то умирали за свободу, теперь умирают за рабство, говоря, даже искренно думая, что воюют и жертвуют собой уже за «настоящую» свободу.

По поводу испанских событий часто спрашивают: «На чьей вы стороне?». Я бы ответил: «Не только ни на чьей, но твердо и резко против обеих». Не сомневаюсь, что я не один, что всюду, и конечно, в Испании – в Барселоне, в Мадриде, в Бургосе – ни правые, ни левые, а просто люди, обыватели, солдаты, рассуждают именно так же, однако, нет реального центра, нет силы, к которой можно примкнуть, и которая борется с крайностями. Между тем в обстановке гражданской войны, как и в эпохи войн религиозных, невольно выдвигаются крайние, то есть фанатики обоих направлений, и другие, с ними несогласные, должны отвечать за всю их нетерпимость и жестокость.

Грозный признак нашего времени – ослабление в каждой стране ее политического центра (кроме Англии, в которой частично переняли вековую либеральную традицию и консерваторы, и трудовики). Мне кажется, воссоздание центров сейчас нужнее всего. Но искусственно этого не сделаешь, их чем-то надо оживить, чтобы не было вечных упреков в отсутствии стремлений и в косности, в ленивой «золотой середине». Увы, никого не вдохновляет то, что могло бы многих связать – потускневшее понятие свободы.

Чувство свободы подобно чувству чести: оно врожденное едва ли не у всех, но его необходимо культивировать, иначе оно ослабеет и незаметно заглохнет, пропадет. Теперь же культивируют обратное, и те, кому свобода мешает, упрямо воздействуют на «массы», поступая, разумеется, правильно: эти массы и лучше, и хуже, и, главное, видимо податливей, чем о них полагается думать. Они нуждаются, как дети, в воспитании, и только воспитание в свободе им может привить свободолюбие, умение свободу ценить и желание ее защищать. В конце концов, от них лишь зависит свободу сохранить или утратить, а рабство бывает соблазнительным и прикрывается другими именами.

Эти наивно-безответственные «массы» напоминает любая молодежь, даже лучшая, начитанная, знающая, но лишенная жизненного опыта и внимательно-доверчивая к тем, кому не лень ее «обрабаты-

вать», и на ее печальном примере могли бы многому теперь научиться беспечно-ленивые сторонники свободы. Молодежь повторяет за взрослыми, за вождями, за льстивым их окружением, что дисциплина, коллектив, солидарность, выше отдельных, разрозненных мечтаний, что идеал социальный (классовый) или расовый (вот псевдонимы, прикрывающие рабство) есть неподдельный и высший идеал, за который не стыдно убивать и почетно принести себя в жертву. По недомыслию «дети» повторяют и последний, жульнический довод вождей и кандидатов в вожди, что в буржуазно-демократических странах остается одна лишь свобода – умирать без всякой помощи с голоду – как будто в большевистской Москве не умирают с голоду «лишенцы» и как будто рабочие в Париже не в силах за себя постоять (правда, в степени еще недостаточной). По-моему, с этой молодежи и надо как-то начинать, хотя бы с самых неопытных и юных, и не следует чрезмерно отчаиваться: пусть сыновья презирают отцов, но часто внуки похожи на дедов.

Борьба окажется долгой и трудной. Помимо сравнения различных «идеалов», помимо того, что придется доказывать, насколько они несовместимы (или класс, или раса – или свобода), людей придется также лечить и от пленительной рабской психологии. В опеке, в готовых жизненных формулах, в законной возможности не думать, в автоматических, стадных порывах, таится особый, глубокий соблазн, едва ли в точности оцененный. К тому же многие это называют любовью к системе и к порядку.

Конечно, рабство, «железный порядок», невыносимее, опаснее всего для людей разнородного творческого склада. Их призвание – самим находить и отбирать то, что им кажется верным и нужным – чего диктатура не допустит. И этому прямое подтверждение – вся неудача советского искусства, несмотря на количество и качество талантов. Очевидно и всякая борьба за свободу – в пробуждении творческих склонностей, в том, чтобы каждому хотелось добиться – не каких-то формальных достижений, но просто личного своего отношения к общественной жизни, к миру, к себе.

Сейчас свобода – мертвое для многих слово – и «дурно пахнут мертвые слова». Одна из причин – постоянная ложь, защита свободы ее ненавистниками в бесконечных столкновениях друг с другом. Вторая – лицемерно-фальшивые союзы, где вовлекают в борьбу за свободу опять-таки злейших ее врагов. Но главная, первая – в ней же самой, в том, как уродливо ее понимают, во что постепенно она превратилась. Увы, либеральная свобода, без братства, любви и тепло-

ты – эгоистически-бездушно-ледяная. В ней всё труднее становится жить и она всё нагляднее нуждается в «коррективе» симпатии и жалости. И здесь бывает неизбежная ошибка: корректив принимается за сущность, как принимается за целое часть, и с легким сердцем жертвуют свободой ради сомнительного «равенства и братства». Результат получается такой, что он уродливей отказа от братства во имя и в пользу свободы: в той же России, где «строят социализм», люди как будто забыли о жалости.

Но если расширить понятие свободы (о чем говорилось не однажды), если можно свободу спасти, то не пора ли практически действовать, опережая «конкурентов» в энергии, в дальновидности, даже в приемах, не применяя, однако, насилия – ведь и они начинают с убеждения.

Перехожу не без робкого смущения к маниловской части статьи.

Наша среда, нам единственно близкая и нам доступная – только эмиграция. Значит, ею и надо ограничиться и в ней произвести какой-то опыт. Мне кажется, множество людей – и партийных, и далеких от политики, и рабочих, и «буржуев», и писателей, и лидеров, спорящих между собой, – еще не поздно теперь объединить в надпартийном «Союзе Свободы», одинаково непримиримо-враждебном и правой, и левой диктатуре. К его услугам были бы, наверное, газеты, журналы, прекрасные лекторы. Я думаю, искренность, умение, упорство, пропаганда, разумно-горячие слова могли бы увлечь, расшевелить изменивших или равнодушных, особенно из самых молодых, из самых «беспризорных» эмигрантов. И разве цель и смысл эмиграции – не в этом, не в защите свободы?

Я боюсь, что отстаиваю прописи. Но трагичность нашей судьбы – в том, что забыты именно прописи.

I. ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ РОССИИ

О КНИГЕ Жида говорили до ее выхода, и люди, посвященные в тайны, с улыбкой утверждали, что нам, русским эмигрантам, она будет приятной. После ее выхода и всего поднятого ею шума нередко нас спрашивают: «Ну что же, вы довольны?» Надо сказать правду, мы не можем быть довольны: то, что Андре Жид нам сообщает, если полностью ему верить, так грустно и так трагично для каждого русского, как ни одно другое свидетельство о теперешней России. Мы долгие годы жили надеждой, будто советская власть перестраивает Россию на свой, нам отвратительный лад, но будто живая подсоветская Россия молчаливо и стойко ей сопротивляется и, попреки большевикам, духовно как-то сохранилась. Андре Жид, против своей воли, нашел у советской власти все те отвратительные пороки, которые и мы ей приписывали, однако русский народ кажется ему послушно и безоговорочно приемлющим власть.

Вся Россия, от верхов до низов, живет, по его наблюдениям, в атмосфере революционного благополучия: никаких сомнений в себе, за границей еще хуже, ни малейшего желания что-либо у себя изменить. Когда-то Жид уверовал в коммунизм, оттолкнувшись от буржуазной Европы, от ее лицемерной морали, от жестокого социального неравенства. В коммунизме он искал не только братство и теплоту, но и духовное бесстрашие и честность – этого он в советской России не увидал, и неожиданно его потянуло назад, в свободную Францию, ему пришлось оценить то, чего он раньше не ценил, остатки гуманизма в либеральной части Европы.

О книге Жида написано много, ее, действительно, в своих целях использовали, как он того и боялся, реакционеры, хотя каждое его обвинение применимо и к ним. Русским критикам его книги представилось (или, естественно, захотелось, чтобы так именно было), им представилось, будто Жид восхищен всем русским и разочарован во всем советском. Но это глубоко неверно: Жид нигде не отделяет России от советчины. Если что-либо ему нравится – дети, заботы о них, рабочие клубы – то нравится ему и деятельность в этом направлении большевистской власти, и те, кого большевистская власть так деятельно опекает. Если что-либо для него невыносимо – самодовольство, равнодушное единогласие – то и здесь явно сливаются требования

власти и покорность народа. Единственное разграничение, которое он упрямо проводит – советской власти, Сталина, с одной стороны, коммунистического идеала, с другой. Невоплощенному этому идеалу он хочет остаться верным.

К его книге можно подходить с двух разных концов: в ней есть «загадка Жида» и есть «загадка России». Первая тема неистощима, запутанна и нас Бог знает куда заведет, но кратко надо разобраться и в ней, чтобы понять, попытаться разрешить вторую, для нас теперь столь ответственно-важную. Всякому внимательному читателю после любой книги Жида ясно, что его стремление шире, чем написать «высокохудожественное произведение», что он бьется над основным толстовским вопросом, так хорошо у Толстого выраженным: «Что же нам делать?» И сразу очевидно огромное между ними различие: Толстой, ставя этот вопрос, как бы отказывается от своего прошлого, от «Войны и мира», от всего своего писательского призвания. Говорит тот же человек, который написал «Войну и мир», но говорит аскетически просто и сурово, без малейшей художнической позы, избегая применять свое дарование, напротив, его почти убивая. Жид ни одной секунды не перестает быть артистом (несравненно меньшим и более слабым, чем Толстой), и в его поисках правды нужно учитывать эту неискоренимую артистическую позу, долю воображения, мысль о впечатлении, вероятного читателя, от тени которого Жиду никак не избавиться. Даже интеллектуальная честность «Возвращения из России», буквально всеми критиками подчеркнутая, иногда смутно-подозрительна: так, казалось бы, разочарование Жида в советском укладе, после предшествовавших «immenses espoirs», должно было его довести до предельного отчаяния, но вся книга выдержана в объективно-спокойном тоне. Видимо, артист победил человека, любознательный наблюдатель – измученного «поборника правды». Ведь не мог же он в несколько месяцев преодолеть свою горечь и так стройно-изящно увиденное передать. И как хватило у него сил написать бодрые строки, что «С.С.С.Р. не перестает нас поучать и удивлять», – по поводу вмешательства большевиков в испанские события, – когда такой праведный гнев у него вызвали советское лицемерие и советское рабство. Толстой бы, наверно, этого не простил за вмешательство в испанские дела. Не буду, однако, преуменьшать безупречной искренности Жида – у каждого свои возможности, и никому через них не прорваться – но думаю, что стройность, цельность всего описанного в его книге, печальное тождество большевизма и России, отчасти есть композиционная, артистическая цельность. Иначе

он поразился бы собственной своей непоследовательности: его в то же время восхищает братская теплота русской толпы, отдельных русских людей, и отталкивает сухое их бессердечие к беднякам, причем он меланхолически замечает: «Это происходит из-за того, что власть запретила частную благотворительность». Мне кажется, многое стало бы понятным в советском быту, если бы точно себе уяснить, насколько вяжется характер русского человека, русского народа, с обликом и задачами большевистской власти. Только это и заставляет большевиков усиливать террор, несмотря на восемнадцать лет диктатуры и внешнюю прочность ее организации.

Разумеется, одной «композиционной стройностью» ошибку Жида нельзя объяснить. К ней его привела, как ни странно, крайняя доверчивость. Подобно стольким другим туристам, он поверил всему, что услышал, вопреки скептическим оговоркам умного человека, постоянно в книге приводимым. Тут повторяется неизменное и жалкое явление: левые туристы верят всему, что им показывают в советской России, правые не верят ничему. Но в противоположность остальным левым туристам Жид показанного, рассказанного ему не одобрил. Он, действительно, поверил, что каждый советский гражданин ждет предписаний из Москвы для выработки своих мнений по каждому вопросу, что любой писатель горячо приветствует «генеральную линию», что тайной, внутренней оппозиции нет, что нет и критики, что никого не задевает возрастающее социальное неравенство, что молодежь стремится лишь к дозволенной «марксистской культуре». Он забыл, что часть услышанного им говорилось «не за совесть, а за страх». Откуда иначе расстрелы, переполнение тюрем и лагерей гепеу. Всё то, что Жиду сообщалось, он принял за чистую монету и приписал пресловутой пассивности русского народа. По его убеждению, народ разделяет изменчивые стремления власти, всё более антигуманистической, и, вместе с большевиками, он осуждает и русский народ во имя того, что «выше меня и России», во имя «человечества, культуры». Оттого для нас неимоверно-печальна книга Жида. Мы отсюда, издалека, ничего не видим и не знаем, невольно набрасываемся на всякое чужое свидетельство и можем в ответ, увы, лишь эмоционально возражать: нет, мы чувствуем, что это не так и до такой степени русский человек не успел переродиться, мы лучше понимаем его, чем самые проницательные иностранцы. Но, конечно, они будут упорно настаивать на своем.

Разочаровавшись в России, Жид не изменил своему коммунистическому идеалу. Но, в сущности, нас интересовала не «идея», а самый

«стиль жизни», и худшие наши опасения о стиле советской жизни Андре Жид полностью подтверждает. Ничего его так не поразило, как свойства, давно нам известные, известные также большевикам и названные ими по-своему – «подхалимство», «головокружение от успехов» – свойства, иногда неприятные властям и все-таки ими поощряемые. Жид предполагает, что в замкнутости, оторванности от мира, в большевистском самодовольстве – разгадка относительного счастья советских людей: «Leur bonheur est fait d'espérance, de confiance et d'ignorance». Он подымает вопрос о «слепом счастьи» ограниченных людей и этого счастья не признает и не хочет. Ему дороги старинные гуманистические принципы, которым должен противиться всякий правоверный марксист – что без выбора, отбора, свободы, без чьей-то борьбы «против течения» нет ни прогресса, ни культуры, ни творчества.

II. УМИРАНИЕ ИСКУССТВА

(ПО ПОВОДУ КНИГИ В. ВЕЙДЛЕ: «LES ABEILLES D'ARISTÉE»)

Книга русского критика о положении современного искусства, о явном неблагополучии в нем, о его надвигающейся гибели, книга, насыщенная опытом и знаниями, продуманная автором, к сожалению, не могла выйти по-русски, и приходится о ней судить по французскому переводу, правда, безупречному. Глубокий ее пессимизм, несомненно, разделяется рядом писателей и деятелей искусства, симптоматичен для нашего времени, и мне кажется, ее содержание необходимо подробно изложить.

Автор в ней разбирает все виды современного искусства, начиная с самого из них показательного – романа – и пытается установить, как происходила их эволюция за последние полтора или два столетия. По его словам, основной порок теперешнего романа и всех других родов искусства – падение творческой фантазии, ее замена то жизненным документом, то формальной изощренностью, иногда скучной подделкой под классический роман, нередко «монтажом», особенно в американской и советской литературе.

Автор приводит множество примеров этой замены. Так, по его убеждению, наиболее замечательный из романистов двадцатого века, Марсель Пруст, в огромной своей эпопее, наряду с чисто-художественным вымыслом, передает эпизоды и душевные состояния, чересчур биографические, документированно-точные, не преображенные вдохновенной писательской волей. Слишком пристальное внимание к своему «я» затемняет это самое «я», разлагает его на мельчайшие составные элементы, после чего творческий синтез уже невозможен. В результате происходит разрыв между личностью творца и его творчеством, вытеснение, подавление творчества личностью творца, неверие писателя в свое «Dichtung», нежизненность, условность персонажей.

Другой реформатор современного романа, Джеймс Джойс, создает в «Улиссе» необычайно искусную, но вполне произвольную схему. Сближаясь с сюрреалистами, он вводит в свой роман подобие исповеди, «автоматическую запись», порой неотразимо убедительную. Но у читателя непрерывно сохраняется впечатление механизации творческого процесса, как и механизации душевного мира джойсовских героев. Такое же впечатление возникает при чтении многих произведений Пиранделло, Андрея Белого, Вирджинии Вульф. Гораздо более живой и жизненный писатель, Герман Брох, постепенно и как бы вынужденно переходит в своей трилогии от классического романа к почти искусственному соединению раздробленных отрывков, напоминающему опять-таки монтаж. У всех этих лучших современных писателей, по мнению автора книги, одни и те же печальные свойства: ощущение безвыходности, какой-то творческой бескрылости и чувство оторванности среди чуждого им, застывающего, коснеющего мира.

Все же Вейдле считает блистательной удачей романы Пруста и менее яркой, но столь же бесспорной – трилогию Броха. Только самый их путь представляется ему тупиком, а их победа – случайностью, чудом, которое едва ли повторится. Невольно хочется ему возразить, причем я сознаю оспоримость своего возражения. Мне кажется, способность «создавать миры» не исчезла, и всякое достижение, как бы мало их не было, это подтверждает. Напоминаю известные слова того же Пруста: «Le monde n’a pas été créé en une fois, mais aussi souvent qu’un artiste original est survenu». Значит, он верил в созданный им мир и в жизненность его персонажей. Без сомнения, сочувственным читателям эта вера передалась, но, конечно, мир Пруста субъективнее «миров» Толстого и Флобера, резче окрашен авторской личностью,

создан как бы целиком по образу и подобию автора, что его не лишает художественной силы и убедительности. Еще мне кажется, будто вся наша современность – это открытая смертельная борьба между живым человеком и тем, что его поглощает, что убивает души, сознательно их заменяя механически-мыслящим, бездушным аппаратом. Преувеличения бывают и с той и с другой стороны – чрезмерный автоматизм героев Пиранделло и Джойса, гипертрофия душевности (а не «холодный анализ») у Пруста – и в процессе борьбы такие преувеличения законны.

Разбирая поочереди все остальные искусства – поэзию, музыку, живопись, архитектуру – Вейдле и в них находит аналогичные явления. В поэзии он раскрывает другой, худший порок – устарелость, исчерпанность форм, строфы, структуры стиха. В периоды юности народов великие поэты создавали общенародный язык, сейчас, в поисках освежения, они создают свой отдельный поэтический язык, глубоко чуждый народной стихии и ее не питающий. Оттого по-разному бесплодны произведения эстетов, Парнасцев, даже «чистая поэзия» Малларме и Валери, предпочитающего «vers calculés» тому, что он называет «vers donnés». Немногие исключения, вроде Бодлера – поэты, жертвующие собой, переносящие в поэзию все живые свои душевные силы. Им суждено гибнуть в окружающем их мире науки, политики, прогресса.

И в музыке, по мнению Вейдле, чрезмерная «человечность» уступает место беспросветному формализму, стилизации, «механической музыке», порой лишь забавляющей слушателей. Автору кажется парадоксом (и в этом он сам себе возражает) музыкальный расцвет девятнадцатого века.

Новейшие течения в живописи – импрессионизм, экспрессионизм, кубизм – довольствуются частью вместо целого и разлагают творческую ткань. Всё живое постепенно ими изгоняется из живописи, художник презирает «портрет», не может творчески его преобразить, и с ним успешно конкурирует фотограф.

Безнадежно утерян тот «общий стиль» эпохи, который когда-то поддерживал искусство, не убивая индивидуальности творца. Утрату стиля, бесстильное искусство, ответственность каждого только за себя автор называет «романтизмом» и считает его особенно губительным для архитектуры.

Механический детерминизм, по словам Вейдле, есть основной принцип современной жизни, перешедший в искусство и его всё

нагляднее подтачивающий изнутри и извне. Он сказался даже в композиции – «все ружья должны стрелять» – и такое утверждение заранее сковывает творческую работу. Опасность этой несвободы, чрезмерной сознательности художника давно уже понята иными творческими людьми. Еще Китс выдвинул свое антирациональное «negative capacity», что было страстным призывом вернуть искусству его первоисточник – чудо, вымысел, миф. Но для этого необходимо религиозное, то есть христианское возрождение человечества. Автор предсказывает, что или вновь оживет христианство, или культура будет поглощена механической цивилизацией.

По примеру Китса, ищут выхода из тупика и некоторые позднейшие писатели. Одни возвращаются к темам детства и наивной детской фантазии («Le Grand Meaulnes»), другие изображают простую, неприхотливую жизнь (Гамсун, Рамюз), третьи обращаются к миру бессознательного (Кафка) и сами же его рационализируют. Появились и замечательные христианские писатели (Клодель, Дю Бос, Мориак). К сожалению, церковь, с ее бюрократической организацией и мертвой обрядностью, навстречу им не идет. Под угрозой гибели – и церковь, и вся наша культура.

Мне кажется, в книге Вейдле, достаточно правдивой и верной, несколько сгущены краски и односторонне указан метод спасения. Действительно, в периоды детства народов искусство было ближе, понятнее людям, «среднему человеку», и долго сохранялась взаимная связь народной массы и творческой элиты. Теперь усложнилась жизнь и души так называемых «передовых людей», стал шире «écart» между ними и массами, и к этим усложнившимся душам, к этой неизбежной, вне «общего стиля», ответственности каждого за себя, к этой нашей трагической взрослости должно приспособляться искусство.

А мы живем торжественно и трудно
. . . . . .
Но ни на что не променяем пышный
Гранитный город славы и беды
. . . . . .
И голос музы еле слышный.

Да, конечно, «еле слышный». Но от настойчивости творца зависит, чтобы он был несравнимо слышнее. Однако автор «Гибели искусства» прав, утверждая, что люди искусства нередко свое дело предают,

подчиняясь механизируемой жизни и всей опустошенной и мертвой «дурной современности».

III. РАЗРОЗНЕННЫЕ МЫСЛИ

В ИСТОРИИ одна крайность неукоснительно вызывает другую, ей противоположную. Так, массовые движения воплощаются в герое, вожде, культ героя создает напряженное внимание к человеку, обострение, гипертрофию индивидуализма. В дальнейшем возможно обратное. Один из примеров такой последовательности – французская революция, Наполеон, Байрон, Стендаль, романтическая школа, психологический роман. Пример обратной последовательности – конечно, грубо схематический – Ницше, Шпенглер.

Быть может, из шекспировских монологов вышли «комментарии» современного психологического романа.

Кто-то из французов когда-то сказал: теперь нельзя так писать, словно не было Толстого и Достоевского. В наше время эти слова надо повторить о Марселе Прусте.

В Джойсе соединение двух отрицательных свойств современной литературы – механически-душевного (психоанализ, сюрреализм) и механически-словесного (каламбуры, игра со словами).

Психологический роман, психологизм в искусстве – потомок и преемник лирики. И тут и там – человек о себе, я и мир, кусок жизни, частица времени, минимум событий и внешнего драматизма. Происходя от лирики, психологический роман нуждается в поэзии и единственно ею спасается.

Ахматова, как ни один русский поэт, близка западному психологизму двадцатых годов. У нее та же предельная честность и внутреннее бесстрашие, те же напряженно-правдивые формулы. Ее словесное новаторство всего очевиднее в умении сочетать прилагательные. И пожалуй, самый ее паузник предвосхищает лирическую прозу.

Почти вся поэзия Ахматовой – как бы развитие знаменитых тютчевских строк:

Он мерит воздух мне так бережно и скудно,
Не мерят так и лютому врагу...

Вечное расхождение: «тема», которой требуют критики, и «атмосфера», которую дает писатель.

Чрезмерная «конкретность», «антиметафизичность» многих из нас заставляет ненавидеть не зло, а тех, кто его совершают.

Люди, распространяющие вокруг себя атмосферу мягкой доброжелательности, не нуждаются в искусственном братстве. Напротив, его добиваются равнодушные, скупые эгоисты, с оттенком «социального раскаяния», однако бездейственно-вялого.

В эмиграции может возникнуть творческая новизна, которой не создадут нивелированные революционные массы. Но и эмигрантский средний человек консервативно-неподвижен, как никакой другой. В нем даже нет интеллектуального снобизма, сопутствующего жизненной благоустроенности. Поэтому трагически-велико расхождение между эмиграцией и творческой ее верхушкой.

У писателей, появившихся в эмиграции, нет «резонанса», опоры в родной им стране, и потому их имена «не звучат».

«Творческий человек» не должен приспособляться к тому, что победило, а должен быть предтечей того, что победит – в наше время готовиться к восстановлению свободы. Правда, теперь он – андерсеновский «гадкий утенок».

ПРОПИСИ

«В НАШЕ время нельзя писать о чувствах, о “ней”, о себе и смысле жизни, о мироощущении, о слишком низких или чересчур возвышенных предметах», – так говорили во все времена, но теперь на этом настаивают особенно упорно и негодующе-страстно, с особым оттенком праведной злобы. Возражать почти невозможно – на наших глазах происходит чудовищная, «планетарная» борьба, в которой нельзя оставаться нейтральным и бесстрастным. Выбор должен быть сделан, писатель должен быть там, где добро и справедливость, они явно, бесспорно в одном лагере, в другом их не было и нет или они исчезли, уничтожены. Но писатель продолжает твердить, упрямо и тупо «долбить» свое – о любви, о смерти, о мироощущении – как будто в борьбе участвовать не хочет и презрительно к ней равнодушен. Ее участники и все, кому важен исход, кто надеется, боится, всё более отчаивается, они, в свою очередь, равнодушны к писателю, и удивляться этому не надо. Но у него на их упреки давнишний готовый ответ, не то скромный, не то заносчиво-гордый: «Я не умею непосредственно бороться – мое действие только в созерцании, и оно, по сравнению с вашим, на долгий срок и огромной взрывчатой силы, и защищаем мы одно и то же, человека и душу, единственное, чем я поглощен». До участников борьбы не доходят эти слова, им кажется, у них другая, конкретная, цель, другой, не столь туманный идеал – такой-то политический строй, демократия, свобода. Писатель мало задумывается о «строе» (второстепенная, скучная деталь), он даже не прочь помечтать об утопическом равенстве, о национальном реванше, не предвидя, к чему это может привести. Лишь попав в большевистско-фашистскую ловушку, утратив право на творчество, он жалеет, как никто, о погубленной свободе, и о законах, ее охранявших. Побежденный большевиками или фашистами, перед тем свободный гражданин, приспособляясь к новому порядку, стремясь прежде всего накормить себя и семью, то есть вынужденный этому новому порядку служить, забывает о внезапно онемевшем творце: ему не до книг, не до картин или музыки, он под угрозой голода, ареста, расстрела. Но оба – гражданин и писатель – в одно и то же время теряют самое ценное для каждого из них, правда, не замечая того, что теряет другой: с исчезновением такого-то,

второстепенного для писателя, строя умирают души, туманный идеал для рядового борца за этот строй.

Мы достаточно реальны и не верим, что писатель воспламенит, оживит души и что политик, депутат, публицист пробудит в художнике партийный энтузиазм. Значит, ничего не надо менять, взаимное понимание, искренний союз недостижимы и всё остается по-старому? Конечно, человеческую основу переделать нельзя, но кое-какие, для многих обязательные выводы из этих предпосылок возникают. Едва ли не первый – осторожность, политическая, умственно-духовная. У писателя всё же есть незаметное влияние, трибуна – газета, книга, журнал, устный доклад – и вот, выступая публично, он должен быть честным, ответственным за свои выступления, и, насколько возможно, дальновидным. Ему легко читателя и слушателя соблазнить своими смутными утопиями, которые подрывают любой свободный режим, которые для него поэтическая фантазия, игра, мимолетное сегодняшнее увлечение, но в которые неискушенным людям хочется верить: им не добраться до сложной и скрытой писательской глубины, однако обаяние писательского имени возвышает и очищает давно им известные спорные идеи. Сколько таких мальчиков и взрослых, соблазненных какой-нибудь случайной статьей, потом яростно борются за будущих насильников, за тех, кто заставит лгать или молчать злосчастного автора статьи. Мы знаем «левый грех» Андре Жида, оскорбительно, болезненно нас поразивший – немало таких «левых» и «правых грехов» в Европе и в русской эмиграции. Мне кажется, именно писателю это не прощается: он должен, в первую очередь, предъявить неумолимые требования к самому себе, ограничить свою собственную свободу для спасения свободы вообще и должен сопротивляться не только открытым ее врагам, но и тем, кто ради позы или просто так, от легкомыслия, ее предают.

Второй вывод – для сохранения «режима свободы» необходимо, чтобы в данной стране жизнь продолжалась, чтобы крестьяне пахали землю, рабочие работали, инженеры строили, доктора лечили, правители управляли. Но есть и мозг страны, неуловимый «дух народа», иррациональные усилия философов, ученых, каких-то мечтателей, занятых искусством, то есть чем-то почти всегда неактуальным, далеким и чуждым всему, что происходит вокруг – реформам, революциям, войнам. Лично художник еще порой на это реагирует – как обыватель или гражданин, – его искусство неизменно о другом. Надо пристально всмотреться в его произведения, надо хотеть их полюбить,

чтобы увидеть неразрывную связь между ними и самой вульгарной злободневностью, связь, которая иногда обнаруживается лишь с веками и воздействие которой сказывается только в веках. Мы не знаем, создал ли Достоевский «âme slave» или «âme slave» создала Достоевского, нашел ли Шекспир среди англичан людей, ищущих справедливости и во всем сомневающихся, или такие англичане и не-англичане появились после Шекспира. Но мы знаем, что какие-то человеческие свойства, какие-то особенности человеческих отношений, мнения, ломавшие окружающий мир, общественный порядок, историю, стали навязчиво-четкими благодаря Платону, Шекспиру, Достоевскому, и что они своих героев не выдумали, а как бы невольно участвовали в неуяснимом общем движении. Разумеется, легко возразить, что среди писателей мало кандидатов на роли Достоевских и Шекспиров. Однако и гении «не падают с неба», они внутри искусства своей эпохи и – даже от него уходя – его питают, им сами питаются, от него незаметно зависят и вряд ли без него осуществляются. Для того, чтобы жизнь продолжалась, необходимо, чтобы продолжалось искусство, хотя бы творцы и не творцы одинаково считали, будто искусство от жизни оторвалось.

Все, что следует сказать о роли писателя в нелепой и страшной нашей современности, вдвойне применимо к литературе эмигрантской: эмиграция – жертва несвободы и, по своему первоначальному замыслу, как бы символ борьбы за живого человека и невозможности примириться с теми, кто его умерщвляют, ее литература должна с удвоенной силой эту «идею эмиграции» выразить, должна оживлять души, защищать человека и любовь, но она не идет по легкому пути непосредственных обращений, она остается в недоступно-холодной для многих области искусства, и вот эмиграция не хочет, не может ее, свою литературу, понять и от нее раздраженно отталкивается. Зарубежный русский писатель оказался в таком одиночестве, какого себе не представляют его западноевропейские собратья, и близоруко в этом обвиняет русских рабочих, шоферов, безработных. Трудно придумать более трагическое недоразумение и более жестокую безвыходность. Чем бы ни кончилась борьба, победой одних или других или новой мировой всеразрушающей войной, при нашей жизни ошибка не выяснится и правда не откроется – что рабочий и шофер продолжают сопротивляться большевистскому гнету, как бы ни искажались при этом положительные их цели, и что писатель то лучше, то хуже, но упрямо выполняет единственное свое назначение. Неподдержанный ближайшим окружением, обреченный на бедность и неизвестность,

эмигрантский писатель для европейской публики, для своих англо-французских «конфреров», даже и не писатель: он – дилетантствующий, печатающийся в каких-то бестиражных журнальчиках рабочий, шофер, безработный. Ни до кого, ни в Европе, ни в России, не доходит его голос, его искусство и темы, и то неизбежное соревнование идей и самолюбий, которое как-то продолжается в наглухо замкнутой эмигрантской литературной среде.

Любопытная подробность – в ней сравнялись и всё неподдельно-значительное, и всё паразитически-ничтожное: их уравняло общее несчастие. В атмосфере гибели, разгрома невольно исчезают качественные различия, всех одинаково жаль, никого не выделяешь. Кое-кто выгадал, незаслуженно оказался в мученической роли. Вероятно, истинным художникам, платящимся жизнью за искусство, невыносима обязательная солидарность, братство, соседство людей легкого труда, короткой мысли, украденных достижений. Из-за всего этого еще уменьшается сочувствие к тому, что сочувствия достойно.

Почти невозможно обратиться к эмигрантским писателям с призывом, с каким нужно обратиться ко всем другим свободным писателям: «Господа, делайте свое дело, остальное приложится». Бодрящие слова звучат бесконечно фальшиво. Очень страшно, что за двадцать лет никто не сказал: «Господа, как вам ни тяжело, как это ни удивительно, вы делаете свое дело». Такое единодушное зловещее молчание должно кого угодно смутить. И всё же, через сомнения, без поощрений, писатель пишет. Если не все графоманы, значит судьба, действительность мудрее любых бодрящих советов.

Писатель (и не только эмигрантский) пишет, но трезво знает, что его живое искусство пока не победило, что оно, как и всё в мире творчески-живое, на волосок от поражения, которое не в силах предотвратить. Он также знает, что бездействовать нельзя.

ЛЕРМОНТОВ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Перечитывая произведения какого-либо популярного классика и желая из них что-то существенно-живое извлечь, нужно стараться воспринимать их, как новые, как будто читаешь впервые, отрешившись от прежних готовых оценок, но это нелегкая задача, особенно для человека немолодого и обладающего жизненным опытом. Мнение о таком писателе у каждого составлено, вернее, навязано ему чуть ли не с детства, способность к освежению впечатлений у нас с годами притупляется, мы более душевно косны, чем это нам кажется и бережно любим не только нашу молодость, но и всю атмосферу, в которой она проходила – природу, бытовые привычки, мировоззрение, традиции, когда-то нам внушенные. Вот почему так трудно заставить себя внимательно перечесть поэму, роман, стихотворение, нам памятно-близкие с детства, и научиться о них судить на основании всего последующего нашего опыта и выработанных опытом вкусов.

Историки литературы и критики помогли недостаточно самостоятельным читателям изменить или расширить традиционные взгляды на Пушкина, с его будто бы «светлой гармонией», на «космическую поэзию» Тютчева, на гоголевский «смех сквозь невидимые миру слезы». В отношении Лермонтова такой пересмотр еще не произведен, быть может, смутно намечен, и до сих пор его действительные, живые, человеческие и писательские черты искажены для нас внутренно-противоречивой условностью приписанного ему «злодейского байронизма» и чрезмерно у него выделенных, в ущерб остальному, пресловутых «звуков небес». Между тем именно Лермонтов как бы вдохнул в русскую литературу непосредственное, не стесненное прежними эстетическими канонами чувство жизни, и лишь после него Толстой, бесконечно его «открытие» углубивший, мог внести в мировую литературу тот напор, то многообразие жизненности, какого не было в ней с шекспировских времен. Оттого непостижимо-обидно, что лермонтовская живая, взволнованная и волнующая поэзия, однородная в прозе и стихах, обездушена, умерщвлена бессмысленно-цепкой, хрестоматийной инерцией. Такая писательская судьба вероятно страшнее, несправедливее полного непризнания.

Разумеется, сравнение с Шекспиром и Толстым не означает, будто Лермонтов достиг равной им силы и выразительности. Он умер слишком молодым, не успев духовно и творчески окрепнуть, едва себя проявив. Но послешекспировская литература не пошла по пути, предуказанному «Гамлетом» и «Макбетом», не обращалась, как шекспировские герои «от сердца к сердцу», и с трудом пробивалась к этому пути через преграды классицизма, революционности, сентиментализма, романтизма. Правда, и тут неоднократно достигалось совершенство, а шекспировская «жизненная полнота» возрождалась кое-где, прорываясь в «Исповеди» Руссо, в лирических отрывках у Гете и английских поэтов, но только в девятнадцатом веке произошло «возвращение к Шекспиру», и его умышленно-бесформенные, текучие, как жизнь, монологи превратились в реалистический или психологический роман. Жизнь вошла в искусство не контрабандой, а законно, властно, в нескольких произведениях, почти параллельных – одним из первых был «Герой нашего времени». В этом смысле Лермонтов как бы связывает Шекспира и Толстого (непонятно к Шекспиру несправедливого) и может с ними обоими быть сравнен. Чрезвычайно важно для уяснения творческой его основы – суметь уловить, как сам он жил и как жизнь воспринимал. «У меня врожденная страсть противоречить; целая моя жизнь была только цепь грустных и неудачных противоречий сердцу или рассудку». Эти слова Печорина о себе применимы, конечно, и к Лермонтову, если судить по скудно дошедшей до нас его биографии, по немногим его нам известным любовным, дружеским и родственным отношениям. Мешала ли ему эта «врожденная страсть противоречить», установленная свидетелями еще с ребяческих его лет, или так горестно складывалась его судьба, но основная черта и произведений и биографии Лермонтова – трагедия предложенной и непринятой доброты. «Я был готов любить весь мир, – меня никто не понял»... («Княжна Мэри»). «И входит он любить готовый, с душой, открытой для добра... и вместо сладкого привета, раздался тягостный укор»... («Демон»). В сущности, Лермонтов понятливо и кощунственно оправдывает Демона, который, полюбив, стремится к нравственному просветлению и которого рок (или Бог) загадочно-жестоко отталкивает. Та же тема и в знаменитом стихотворении «Три пальмы». Они ропщут: «Без пользы в пустыне росли и цвели мы». Но вот кому-то польза принесена, и те, кого пальмы «приветствуют», их беспощадно срубают и жгут. К той теме «непринятой доброты» Лермонтов упорно и постоянно возвращается. Убедившись в том, что его благородных

усилий никто, ни люди, ни Божество, не оценят, он представляет себе свою жизнь, а может быть, и жизнь вообще, безутешно суровой: это вечная борьба и вечная необходимость готовиться к расплате, иногда безрадостное, тяжелое вдохновение «среди сомнений ложно черных и ложно радужных надежд». Свою жизнь Лермонтов понял правильно, такой неблагодарно-жестокой по отношению к нему она и была. Тот, с кого он списал одного из немногих безупречно положительных своих героев, благожелательного, умного доктора Вернера, сказал о нем после «Героя нашего времени»: «Pauvre sire, pauvre talent!» Но и эту, неблагосклонную к нему, жизнь Лермонтов, подобно преследуемому судьбой, умирающему «Мцыри», странно и страстно любил и в ее безутешную конкретность проник так глубоко, как не удалось никому из русских его современников.

Принято считать, что Пушкин наметил все пути, по которым впоследствии русская литература пошла. Вероятно, так оно и есть. В частности, знаменитый монолог Татьяны («Онегин, я тогда моложе, я лучше, кажется, была») – чудо живого разговора, «обращения от сердца к сердцу», простой человечности, героически мудрого смирения. Но большинство намеченных Пушкиным возможностей Лермонтов сознательно углубил и заострил, как бы вновь их открыв и доведя до предельной отчетливости. Одна из постоянных, навязчивых его тем – тема «душевной памяти», основы всякого творчества. «Нет в мире человека, над которым прошедшее приобретало бы такую власть, как надо мною. Всякое воспоминание о минувшей печали или радости болезненно ударяет в мою душу и извлекает из нее всё те же звуки»... («Княжна Мэри»). Форму психологического романа создал он, по крайней мере, в русской литературе, отлично зная, что делает, защищая правоту своего дела. В удивительном предисловии к «Журналу Печорина» сказано: «История души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа, особенно, когда она следствие наблюдений ума зрелого над самим собой и когда она писана без тщеславного желания возбудить участие или удивление». В этих словах своеобразный и точный ответ на старинное противоположение: moi personnel и moi universel. Читая произведения Лермонтова в хронологическом порядке, мы поражаемся быстроте эволюции от обязательных в его время условностей к бесстрашной жизненной правде.

После стихотворения «Опять, народные витии, за дело падшее Литвы», слепо еще подражающего Пушкину, после нарядно-

сусального, ложно-простонародного «Бородина», в предпоследний год жизни Лермонтова появляется «Валерик», вместе со стендалевским Ватерлоо, одно из первых в мировой литературе описаний битвы, как она есть, без фальшивого героизма и напыщенной жалости. «В приклады!... и пошла резня. И два часа в струях потока бой длился; резались жестоко, молча, с грудью грудь». Притом, как именно в жизни бывает, для человека, описывающего сражение, оно лишь страшный эпизод, а сам он, как всякий человек, поглощен своей личной судьбой, своим настоящим и прошлым. «С людьми сближаясь осторожно, забыл я шум младых проказ, поэзию... но вас забыть мне невозможно. И к этой мысли я привык, мой крест несу я без роптанья: то иль другое наказанье – не всё ль одно?..». Эта естественная и откровенная занятость собой позволяет очевидцу и участнику сражения не только наблюдать его как бы со стороны, но и рассуждать о нем беспристрастно, возвышаясь над временным и случайным. «Я думал: жалкий человек... чего он хочет?... небо ясно, под небом места много всем, – но беспрестанно и напрасно один враждует он... зачем?...».

Та же перемена происходит в творчестве Лермонтова, чего бы оно ни касалось. Сперва безрассудно смелые герои его юношеских трагедий, даже о смерти Пушкина ошеломительно краткое: «С свинцом в груди и с жаждой мести». Потом в изображении дуэли Печорина с Грушницким у края пропасти второстепенная, но какая выразительная, какая реалистически-правдивая подробность: «Выстрел раздался. Пуля оцарапала мне колено. Я невольно сделал несколько шагов вперед, чтобы поскорей удалиться от края». Нужно ли другое опровержение условно-байронической цельности Печорина, требующей позы абсолютного бесстрашия и холодного презрения к смерти?

Но особенно эта перемена сказалась в оттенках патриотизма Лермонтова и в его ощущении России. Упрощая, схематизируя вопрос, мы приходим к выводу, что бывают два рода патриотизма – стремление к могуществу своей страны, сопряженному с тяготами и жертвами, и любовь к своему народу, к его повседневному быту и поэзии, желание, чтобы он достиг наибольшего благополучия и свободы. Та и другая разновидности патриотизма редко встречаются порознь, но обычно одна из них у нас преобладает и как бы окрашивает наши воззрения и цели. Исключительность Лермонтова в том, что у него патриотическая тема, обе крайности, выступают именно в чистом виде. В ранних его стихотворениях («Два великана», уже упомянутое «Опять народные витии...») Лермонтов, если можно так выразиться, беспримесно «им-

периалистичен», в более поздней и зрелой «Отчизне», которую столько поколений гимназистов заучивали наизусть, не понимая ее смысла, чувство России совершенно иное и для своего времени непостижимо-новое. «Ни слава, купленная кровью, ни полный гордого доверия покой, ни темной старины заветные преданья не шевелят во мне отрадного мечтанья».

Зато – «с отрадой, многим незнакомой, я вижу полное гумно» – и – «в праздник, вечером росистым, смотреть до полночи готов на плясы с топаньем и свистом[1] под говор пьяных мужиков». В этих нескольких строках, как и в психологическом романе, Лермонтов – предтеча дальнейшего огромного литературного движения, народнических мотивов, даже русско-напевных ритмов Некрасова и Блока. Может быть, поэзию России надо было ощутить и передать, чтобы одухотворить и другую сторону русского патриотизма. А «поэзию России» Лермонтов уловил и в крестьянском ее своеобразии, и, конечно, в природе, которую описал не громкозвучно и приподнято-красноречиво, как многие позднейшие лучшие наши пейзажисты, а с пленительной мягкостью, предупреждая Чехова, столь его любившего. В той же «Отчизне» – «ее полей холодное молчанье, ее лесов дремучих колыханье, разливы рек ее, подобные морям». И в «Княжне Мэри» – о более суровой, кавказской природе: «Я не помню утра более голубого и свежего! Солнце едва выказалось из-за зеленых вершин, и слияние первой теплоты его лучей с умирающей прохладой ночи наводило на все чувства какое-то сладкое томление». Таких примеров можно привести без числа, они у всех в памяти.

В конечном счете Лермонтов, как и Пушкин, гармонический русско-европейский человек, и это сочетание у них обоих не идет в ущерб их «русскости». Не побывав в Европе, они ее ощущают, понимают и любят. Белинский поражался разносторонности познаний Лермонтова: «Образованием он повыше Пушкина»... При всей пламенной страстности своей природы, Лермонтов обладал критически-прозорливым умом и редчайшим у русских писателей чувством меры. Подобно Пушкину, он был далек от политического, религиозного или патриотического сектантства, в некоторой доле свойственного уже Тютчеву и внесшего в мировоззрение Гоголя, Достоевского, частично даже у Толстого, дух нетерпимости и злобы к инакомыслящим, инаковерующим, к Европе, наперекор обличительно-громкому их

---

[1] Вспомним у Блока: «Там с посвистом да с присвистом гуляют до зари».

христианству. Странно, что русская литература началась с пушкинско-лермонтовской внутренней свободы и затем перешла к неистовому фанатизму Достоевского. Может быть, Гоголь и Достоевский – этапы, через которые нужно было пройти, а может быть, какой-то реальный вред был ими принесен. Во всяком случае, к душевной широте, к заветам Пушкина и Лермонтова русская литература вернуться должна.

РЕЦЕНЗИИ

БОРИС ПИЛЬНЯК. ОЧЕРЕДНЫЕ ПОВЕСТИ. Круг. Москва. 1927.

Иногда бывает, что писатель, чьи произведения кажутся сложными и темными, сперва почему-либо понравится, но потом своей «непонятностью» оттолкнет обиженного, недоумевающего читателя, а может быть, и критика. Если же он вовремя переменит, «прояснит» свою манеру писать, то может еще вернуть читательское доверие и даже вызвать энтузиазм: каждому лестно так легко и просто преодолевать то, что недавно имело репутацию большой трудности. Многие не замечают, что вместе с тем исчезают очарование, сила и новизна.

Нечто подобное произошло с Пильняком. После периода славы, очень скоро к нему пришедшей, после комплиментов всесильного тогда «самого» Троцкого, он быстро начал падать, его замалчивали, отрицали, сочли безнадежно путаным и скучным, и только теперь отношение к нему снова как будто изменилось к лучшему.

В «Очередных повестях» перед нами действительно другой Пильняк, потерявший свой прежний задор, поскромневший. Уже в «Повести непогашенной луны», наделавшей столько шума политической стороной – намеком на убийство Фрунзе – и литературно явно неудачной, чувствовался намеренный поворот в сторону стилистического упрощения. В «Очередных повестях» сделан дальнейший огромный шаг в этом направлении. Первая из них, напечатанная в свое время в «Красной нови» – «Иван Москва» – является еще переходной. Другие и особенно последняя – «Китайская повесть» – написаны короткими, обрывистыми фразами, которые сокращены частым применением тире и должны производить впечатление сгущенностью, сконцентрированностью содержания и мысли. Но тут и обнаруживается душевная бедность автора, его невежество – все то, что скрывали прежние как будто «дерзкие», длинноты. Пильняк не лишен таланта, но «оголившийся» кажется мелким, лишенным своеобразия, бледным. Лучшая вещь – «Жених в полуночи» – стилизованный быт Поволжья. «Китайская повесть» – дневниковая запись, несомненно авторская, сверх меры болтливая и откровенная. Среди других откровенностей – бравада незнанием языков, что едва ль полезно для писателя, которому надо еще много учиться – и не только у соотечественников.

ЛЕОНИД БОРИСОВ. ХОД КОНЕМ. Прибой. 1927.

«Ход конем» – заглавие, напоминающее название выпущенного несколько лет назад сборника статей Виктора Шкловского, и это совпадение, вероятно, не случайно. Виктор Шкловский, как известно, считает себя «изобретателем» формального метода, верным насадителем его в русской критике и истории литературы. В книге Леонида Борисова преобладает в высшей мере композиционный «формальный» элемент, и само заглавие определяется не содержанием романа, а методом, каким он написан. Его особенности: постоянные, намеренные, часто неоправданные скачки от одних лиц к другим, от будущего к настоящему, от последующих положений к предыдущим. Всё это искусственно до наивности, но автор не стыдится и настаивает на своей искусственности. Одна глава, если можно выразиться, «примерная», называется: «Равносторонний треугольник». Ее первая часть, чьи-то письма и донесения – «основание», вторая – выводы из этих писем – «углы». Намеренная искусственность выражается и в частых лирических отступлениях, всё более свойственных советской прозе, и в постоянном вмешательстве автора в живое течение рассказа, что расхолаживает и вредит читательскому вниманию и сочувствию. Вот образец такого вмешательства – после описания смерти героини: «Похороним и мы ее в своей памяти и займемся тревогами и страстями живых людей, обитающих в нашем романе. Но вот в их число желает попасть»... Затем вводится и как бы «рекомендуется» читателю новое лицо.

Сюжет довольно своеобразен и старательно разработан, причем умело использованы некоторые эффекты детективного романа: преступление, неизвестность, кто виновник, неправильные предположения и погоня за ложным убийцей. Подробно описывается клиника для душевнобольных в теперешнем «Ленинграде». Один из пациентов, полуинтеллигентный солдат Галкин, потерявший на войне ногу и лишившийся рассудка, рассказывает о своей любви, перешедшей в ненависть, к некой молодой даме. На следующий день он убегает из клиники, его видят входящим к этой даме, потом обнаруживают ее труп. Галкина пытаются задержать на станции Любань, но он куда-то исчезает, и никакие поиски и облавы не приводят к цели. «Угрозыск» не сомневается в его вине, но странный одноногий преступник неуловим. Оказывается, он попал в заброшенную, по общему мнению, пу-

стую дачу, где, однако, живут маленькие беспризорные. В это время у Галкина начинается просветление, и он сам отдается в руки милиции и приносит повинную. Но случай обнаруживает истинного убийцу, как водится в советской книге, спекулянта и провокатора. Его арестовывают, а Галкин, не выдержавший потрясений, кончает с собой. В романе еще множество персонажей, между которыми, как иногда у Диккенса, открываются самые неожиданные связи и отношения, и судьба которых находит композиционно-надуманное, искусственное и ненужное завершение в эпилоге.

Леонид Борисов приятно удивляет редким для советского писателя качеством: некоторой долей гуманности. Он жалеет своих героев, хвалит добрых и за добро, любит разные благородные рассуждения и готов проявить «великодушие» даже к эмиграции. В своем желании всё примирить, он додумывается до слова: «Петер-лен-град». Гуманная основа сказывается не только в известной терпимости, столь редкой сейчас в России, но и в теплоте тона, притом лишенной слащавости. Благодаря этому быт, наперед заданный, у стольких русских писателей общий и одинаковый, оживает, теряет свои «бытовые» мертвые черты. Особенно тепло и живо, просто по-человечески, изображены малыши-беспризорные, о которых так много теперь пишется сентиментального или неимоверно-грубого.

У Леонида Борисова есть дарование, но ему следует оставить, «избыть» известную предвзятость, общепринятую в советской литературе: отказаться от обязательно-искусственных методов, неоправданно сложных построений и особенно от ложно-патриотической «ура-советской» мании величия.

ЕЛ. ИСАЕВА. РАССКАЗЫ. Э. И. ЭТТИНГЕР. Рига. 1927.

Перед нами коротенькая книжка автора, вероятно, печатающегося впервые. Налицо обычные недостатки, свойственные новичку: обилие «ярких» описаний, настроения сбивчиво-нагроможденные, не ставшие литературой, «сырые», иногда неубедительный, неправдоподобный сюжет. Таков первый рассказ «Весной». Начало его поэтическое: старый человек гуляет по саду, радуясь утру, солнцу, весне. В это время его сын, вернувшийся после кутежа и грубо им оскорбленный,

стреляется. Вместо раскаяния или горя неожиданное восклицание: «Болван, испортил мне утро». Жанр госпожи Исаевой – нечто среднее между сюжетным рассказом и стихотворением в прозе. Последнее требует особо тщательной отделки. Между тем попадаются погрешности непростительные, например: «ее выброшенное беспокойство» – или – «постучав половина десятого в дверь». Автору было бы полезно построже за собой следить, не злоупотреблять «лирикой» и, не гоняясь за легкими эффектами, передавать, по-видимому, знакомую ему, провинциальную обстановку и обыкновенные, невыдуманные отношения. Все эти условия до некоторой степени соблюдены в лучшем рассказе сборника – «Эсфирь».

НОВЫЕ ДАННЫЕ О ДУЭЛИ ПУШКИНА

Известная работа П. Е. Щеголева «Дуэль и смерть Пушкина» вышла третьим изданием («Госиздат», 1928), со включением некоторых материалов, обнаруженных после революции и уже опубликованных (например, в книге А. Полякова). Новое у Щеголева, – это результаты экспертизы почерка, которым был написан диплом, приведший к ноябрьскому столкновению Пушкина с Дантесом. Экспертиза, произведенная судебным экспертом Сальковым, подтвердила – насколько вообще может рассчитывать на безошибочность этот способ установления личности виновного – то, о чем уже раньше говорилось и писалось, а именно, что текст пасквиля был переписан кн. П. В. Долгоруким, знакомым Геккерна, эмигрировавшим при Александре II и стяжавшим себе известность выступлениями против русского правительства и высшей аристократии, а также скандальным процессом об анонимном письме к кн. Воронцову. Не менее убедительно, чем судебная экспертиза, звучит публикуемая Щеголевым неизданная статья кн. В. Ф. Одоевского (1860 г.), где в ответ на нападки Долгорукова о нем говорится как о господине, который занимался «переносом анонимных подметных писем и действовал на этом поприще с большим успехом: от них произошли многие ссоры, семейные бедствия и, между прочим, потеря, которую Россия доныне оплакивает». Впрочем, в отношении современников к Долгорукому многое остается до сих пор неясным.

Третье издание книги Щеголева старается также убедить нас, что пасквиль метил через голову Пушкина в Николая I как оскорбителя супружеской чести поэта. Жена упоминаемого в документе Нарышкина

была отмечена вниманием Александра I: следовательно, автор диплома имеет в виду царя, раз он называет Пушкина коадъютором гроссмейстера и историографом ордена. Щеголев с увлечением уличает царя в разных неблаговидных поступках и приписывает Пушкину намерение вести «тонкую игру», чтобы одновременно погубить Геккерна – автора или вдохновителя пасквиля – и поставить в глупое положение Николая. Но эта часть работы Щеголева весьма мало доказательна, несмотря на несколько преувеличенный пафос автора, «бичующего» распущенное общество.

При всей спорности некоторых тезисов Щеголева, книга его читается и перечитывается с неослабным вниманием. Вредит автору вульгарный стиль, который выступает в тех случаях, когда он касается «страсти». Например: «Любовный пламень, охвативший Дантеса, опалил и ее, и она, стыдливо-холодная красавица, пребывавшая выше мира и страстей, покоившаяся в сознании своей торжествующей красоты, потеряла свое душевное равновесие и потянулась к ответу на чувство Дантеса» (стр. 64).

РАМОН ГОМЕЦ ДЕ ЛЯ СЕРНА

Сравнительно молодой испанский писатель, не без труда добившийся признания у себя на родине, в короткое время стал известен и даже популярен в Париже. Его книги переводятся и выходят во множестве изданий, самые строгие критики хвалят его, и французский писатель с большим именем – Валери Ларбо – объявляет, что по прочтении первой поэмы – «gregueria» Гомеца он был восхищен и почувствовал ненужность собственного творчества.

Рамон Гомец де ля Серна родился в 1891 году, выступил в печати шестнадцатилетним мальчиком и успел напечатать около 60 произведений. Он выказал необычайную энергию, и деятельность его весьма разнообразна: художественная проза, стихи, журналистика, лекции. Кажется, последние-то и способствовали его известности. Темы выбираются такие, что кого угодно собьют с толку (о газовом освещении, о рыбах). Кажущаяся докторальность и серьезность тона иных смешит, а других оскорбляет, но равнодушных все-таки нет. Обстановка выбирается тоже самая неопределенная: так, один недавний доклад происходил в цирке, со спины слона. По нашим понятиям это грубая реклама. Очевидно, испанцы снисходительнее.

В сущности, и в книгах Рамона Гомеца проявляется то же стремление смешить, забавлять, «эпатировать», вообще, «ублажать» читателя. С необыкновенной легкостью нагромождаются и распутываются самые странные несообразности. Люди и положения мелькают быстрее, чем на экране. За переменами невозможно уследить. Особенно характерны сравнения: они далеки от сравниваемого предмета и поражают тем, что меньше всего к нему относятся. Они не сопоставляют с предметом органического целого, а насильственно притянуты, «механичны». В этом смысле Гомеца можно было бы уподобить новейшим французским прозаикам и тем объяснить неожиданный его успех во Франции. Но сам он горячо – и справедливо – такому объяснению противится. Он куда непосредственнее, более слит с жизнью, гораздо «легче», чем Моран и Жироду. Он разнообразит, украшает жизнь, но, в сущности, только ее повторяет и своего творческого духа не вносит. Читать его – отдых и развлечение, и успех Рамона Гомеца в той же плоскости, что успех кинематографа, и для нашего времени характерен.

Он нисколько не «конгениален» молодым французам и остается испанцем до мозга костей. Самое ему близкое – Мадрид, улица, толпа, яркие южные зрелища. Одна из его книг, наиболее нашумевшая – о цирке. Им создан свой особый жанр поэм в прозе – «greguerias». Они очень ценятся в Испании, но по отзыву самого автора непереводимы ни на какой другой язык. Несмотря на всё это, Рамон Гомец де ля Серна чрезвычайно строг к соотечественникам. Он считает их литературно-отсталыми и «в наказание» собирается ставить свои пьесы – в ближайшем будущем – не в Мадриде, а в Париже.

ЗИНАИДА САРАНА. ДВАДЦАТЬ ОДНО. Брюссель. 1927.

Странное заглавие объяснено стихами довольно неуклюжими: «Сорву я банк, десяткой красной. Сейчас мне двадцать один год». Поэтические опыты госпожи Сарана совсем беспомощны. Ей не только неизвестны элементарные правила метрики, у нее не только отсутствует слух и вкус, но бывают строчки прямо оскорбительные, например: «Усталость и Любовь, широкие, как море, пока не прогремят архангельские трубы». Встречаются подражания Ахматовой, довольно прямолинейные: «В рюмке Росси, тонкой, длинной, Ваше имя навсегда» или «Ведь есть же где-то крыльев трепетанье». Кое-что

от Надсона. Но опасаемся, что даже сколько-нибудь порядочной «надсоновщины» у госпожи Сарана не получится.

АЛЕКСАНДР ЯБЛОНОВСКИЙ. ДЕТИ УЛИЦЫ. Возрождение. Париж. 1928.

Рассказы Яблоновского в литературном смысле мало претенциозны: коротенькая, легкая, почти «фельетонная» фраза, приключения героев развиваются приблизительно так, как ожидаешь, множество бытовых мелочей, иногда остро подмеченных. В чтении эти рассказы нисколько не утомляют, и в то же время интерес к ним не искусственно подогретый, а жизненный. Но «жизненность» книги и дарования Яблоновского связана с двумя пороками. Один из них, постоянный и неотъемлемый – «фотографичность», буквальное воспроизведение действительности, отсутствие автора и каких бы то ни было выводов и обобщений, вследствие чего безнадежное «terre à terre». Другое прегрешение, не часто встречающееся, не органическое, навязываемое как бы дурной волей – мелодраматизм некоторых положений, особенно заключительных сцен.

Центральное место в сборнике занимает большая повесть «Дети улицы». Это – довоенный Киев, вернее, его подонки, поучительный и разнообразный человеческий материал: «днепровские пираты», неуловимые для полиции, неизбежный «вор-джентльмен», воровские подруги – «шмары», их кавалеры «гусаки», а главное – «дети улицы», оторвавшиеся от семьи, бездомные, обреченные на преступление маленькие существа. Они не могут не попасть в руки опытных развратителей, которым нужны как незаменимые помощники в «работе». Мальчики участвуют в грабежах, получают «долю», швыряют деньги, обзаводятся юными любовницами – все, «как взрослые» и, как взрослых, их бьют в участках и тюрьмах. Они предшественники теперешних «беспризорных». Да и взрослые герои Яблоновского – несомненные кадры многочисленных «банд», которые успешно «боролись с населением» во время гражданской войны на юге.

День за днем прослежено «начало одной карьеры»: маленький воришка Васька превращается в своего рода знаменитость. Он сперва показан милым мальчиком, тоскует по матери, помогает уличной цветочнице Женьке, с которой у него, против всех обычаев milieu – платонический роман. Несмотря на его помощь, двенадцатилетняя Женька

попадает в притон. Случайность приводит ее в исправительную школу, откуда она взята на воспитание «хорошими людьми». У Васьки такой счастливой случайности не происходит. Последняя, мелодраматическая, встреча – на водах, на Кавказе: только что выпущенный из тюрьмы, ловкий, опытный вор и образованная изящная барышня. Между ними – стена.

Другие рассказы покороче, но тоже описательные. Если целью автора является занимать и точно воспроизводить известную обстановку и происшествия, то цели этой он достигает.

ЕВГЕНИЙ ЧИРИКОВ. МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ. Возрождение. 1927.

Рассказы Чирикова, написанные большею частью в эмиграции, в Праге, повторяют его старые, довоенные темы: о робких молодых людях, о женщинах, необыкновенно обольстительных, о студентах в косоворотках и о разных таинственных приключениях. Повествование почти всегда ведется от имени какого-нибудь уездного интеллигента, так что автор не отвечает за литературные промахи рассказчика, но такие выражения, как «простить ей красоту наших безумий», пожалуй, не попадаются больше у самых отсталых провинциальных «бытовиков».

Самое серьезное и ответственное в книге – по-видимому, очерк «Между небом и землей». Описана поездка на Валаам – монастырский пароход, толпа, жаждущая молитв и чудесных исцелений, излюбленные Чириковым споры о добре и зле, простонародные пререкания о всемогуществе веры, о ненужности докторов, – все давно знакомое и «поданное» тоже по-знакомому. Впрочем, читается это легко и кое-кому может понравиться.

ИВАН ЛУКАШ. ДВОРЦОВЫЕ ГРЕНАДЕРЫ. Возрождение. 1928.

Основные приемы Лукаша – патриотический пафос, чересчур аффектированный, и стилизация старины, несколько подозрительного качества. В отчетной книге больше последнего. Тут и Пушкин, и Жу-

ковский, и Фальконет, и Екатерина Вторая с кавалергардами и всякая живописная петербургская и московская старина. Даже в рассказах о современности («Дворцовые гренадеры», «À quoi pense l'empereur») выведены люди далекого прошлого, наивно и даже трогательно недоумевающие. Нельзя отрицать известного напора в произведениях г. Лукаша, но налет какой-то «сделанности» вредит им чрезвычайно и расхолаживает самого благожелательного читателя.

З. Ю. АРБАТОВ. ТАНЯ ВЕТРОВА. Concorde. Париж. 1928.

Роман написан довольно беспомощно. Действие его происходит во время революции, когда самое невероятное было возможно, но поступки и похождения героев книги всё же мало правдоподобны, как, например, убийство надерзившей горничной почтенным судебным деятелем. Сюжет сам по себе занимательный: первая влюбленность молоденькой девушки, трагически совпадающая с событиями семнадцатого года. Но разработана эта фабула неумело, и литературные приемы автора несколько наивны. Он не может отрешиться от официально-газетных и даже канцелярских выражений: «Она впивалась в круглые фотографии павших и раненых воинов, еженедельно печатавшиеся в столичных журналах». Попадается безвкусица: «Он боролся с желанием привлечь ее к себе и пить ее красоту большими, дух захватывающими, глотками». Что обидно: кое-что передано живо и при большем литературном умении роман был бы интересен.

GEORGES BERNANOS. L'IMPOSTURE. Plon. 1927.

Предыдущая книга Бернаноса «Sous le Soleil de Satan» сразу дала ему большое имя, и Леон Доде, человек не в меру экспансивный, где-то назвал его вторым писателем современной Франции (первый – Пруст). «L'imposture» есть лишь начало трилогии, вторая часть которой – «La Joie» – должна появиться до конца года. Новый роман не имеет такого исключительного успеха, как «Под Солнцем Сатаны», и несколько разочаровал поклонников молодого писателя – отчасти потому, что

не представляет движения вперед. В нем изображен тот же круг, повторены те же темы: католическая бюрократия, ее приспособление к теперешнему «языческому» миру, неизбежность борьбы с упрямыми ослушниками, которые не понимают чрезмерной гибкости церковного начальства и в своем упорном сопротивлении доходят до подвижничества. Они – святые, и тема «святости» – вот, в сущности, главное и единственное, что занимает Бернаноса.

«Святой» нового романа – аббат Шеванс, трогательно наивный старичок, боящийся одинаково своей консьержки и епископских канцелярий, сконфуженный несколькими «смешными» историями, с ним приключившимися (чересчур громкие обращения неверующих, подвиги, чудеса «неудобные», когда церкви приходится соблюдать осторожность и оставаться в тени). Искуситель – аббат Сенабр, прославленный историк, один из самых видных представителей парижского духовенства, холодный и сильный человек. Бессонной ночью он вдруг открывает, что никогда не верил, в страхе зовет на помощь, – сам не зная почему – Шеванса, полуграмотного заштатного священника, общее посмешище, и умоляет его об исповеди. Но Шеванс, несмотря на внешнюю простоту, проницательный до ясновидения (по Бернаносу, необходимое свойство «святости»), не верит искренности своего высокопоставленного собеседника и считает его покаянные слова позой и «обманом». Для Шеванса элегантный аббат не безбожник, не богоборец, а гораздо хуже – безразличный; подчиняясь высшей силе, не владея собой, он проклинает Сенабра, который ударом кулака сваливает «святого», потом, пристыженный, помогает ему подняться и снова молит об исповеди.

Таков первый из четырех эпизодов книги. Каждый по-своему тяжел и чрезвычайно подробно передает события какого-нибудь кратчайшего промежутка времени, последовательность нескольких часов. Последний эпизод – умирающий «святой», убежав из дому, в бреду, тоже ночью, ищет Сенабра, чтобы его исповедать и простить.

Герои Бернаноса, самый воздух его произведений – где-то далеко от нашей простой и, на их мерку, безответственной, беспретенциозной жизни. Любимые эпитеты автора – «ужасный», «страшный», «незабываемый». Сразу берется тон столь высокий, что срыв кажется совершенно неизбежным. В то же время эти высокие, неуловимые душевные «парения» исследуются с точностью почти математической, и метод исследования напоминает лучших современных художников-психологов. Но Пруст или Жид доступны – при всей нашей рядом с

ними ограниченности – хотя бы частичной проверке. Мы как-нибудь можем судить о ревности, о честолюбии или о восприятии игры на рояле. Бернанос с чрезвычайной уверенностью разбирается в области, вряд ли многим доступной, ибо кому же понятна «психология святости», анализу которой автор «Imposture» старается придать видимость научности, в чем подражает Прусту, Флоберу и Стендалю. У Бернаноса есть какая-то убедительная серьезность тона, но нет к нему окончательного доверия. Ни одно его утверждение не находит встречного отклика, и всё время остается неприятное подозрение: а вдруг эта огромная, напряженная и сложная работа – искусственно задуманный и тщательно выполненный «обман».

О. САВИЧ. ВООБРАЖАЕМЫЙ СОБЕСЕДНИК. Petropolis. 1929.

Вот книга, не похожая ни на какую другую советскую, сразу удивляющая и благородством тона, и отсутствием привычных вывертов, и серьезностью задания – книга о «вечном», а не о временном. Описывается, как тов. Обыденный, «незаменимый специалист» и подчеркнуто средний человек, предчувствует смерть, к ней приближается и умирает. Тема в традициях русской литературы, но книга Савича достаточно самостоятельна, умело и умно построена, с каким-то редким у нас равновесием внешних и внутренних наблюдений. Даже эпиграфы к отдельным частям выбраны всегда метко и со вкусом.

В повествовании соблюдена последовательность, постепенное некоторое повышение, но не тона, а смысла. Вначале изображена семья Петра Петровича Обыденного и «распределитель суконного треста», где он служит – с такой мягкостью, с такой симпатией к провинциальной советской жизни, может быть, смирением перед этой жизнью, с такой предельной наглядностью, каких никогда не было в самых бодрых, самых «пролетарских» романах. Преданная жена Петра Петровича, вместе с ним молчаливо радующаяся «ученым» спорам детей за столом, дети, сослуживцы – старшие «Петракевич, Лисаневич и Язевич» и младшие, почтительные «мальчики» – Райкин и Геранин – все они не только ясно показаны, но и одухотворены тем еле скрываемым «вторым планом», который составляет особую прелесть книги Савича.

Первое нарушение сложившегося спокойного быта – неожиданное, на именинах, выступление опереточного танцора – Черкаса, противополагающего этой ненужной бездушной жизни свое искусство. Петр Петрович как-то сразу убеждается в его правоте, в ненужности всего, что он делает сам, и когда Черкас разоблачает собственную бездарность и претенциозность, Петр Петрович видит другое противоположение своей жизни, уже надвигающееся и самое страшное – смерть. Он пытается взбунтоваться, нарушить спокойный ход своего существования странным поступком, присвоением смехотворной суммы, которую сейчас же возвращает, но всё это смерти не отдаляет и лишь приводит к потере места и к печальному отчуждению от всех. Бессознательно ища успокоения, Петр Петрович ведет долгие разговоры с воображаемым Черкасом, потом с другим, «воображаемым собеседником», со своим двойником, принявшим смерть и, по-видимому, ее воплощающим. Это композиционно самое опасное место и, пожалуй, вышло оно несколько искусственным. Куда более удался действительный разговор с сумасшедшим соседним мальчиком Володей, упорно повторяющим одни и те же слова, на первый взгляд бессмысленные. Мясо он называет «падалью», жалуется, что «дома темно», и без конца твердит выражение, звучащее у него зловеще: «Думай – не думай, думай – не думай»...

Савич – молодой советский писатель, уже печатавшийся, но эта книга для него огромный скачок вперед, и, читая ее, испытываешь чувство признательности, что бывает редко.

МИХАИЛ ШОЛОХОВ. ТИХИЙ ДОН. Кн. 1 и 2-ая. Московский рабочий.

Роман этот, изображающий казачью среду перед войной, во время войны и в начале революции, почти прославил своего автора; во всяком случае, дал ему широкую известность, несомненно им заслуженную. У Шолохова большой талант, не худосочный и не мнимо-«черноземный», какие во множестве преподносятся читателю различными пролетарскими издательствами. Шолохов – казак, знает и любит то, что описывает, он кровно привязан к этой – то семейной и хозяйственной, то воинственно-вольной – жизни, равнодушен ко всему постороннему, и потому так искусственны у него интеллигентские рассуждения не-

которых героев, коммунистические проповеди и споры. Мертвость большевицки-благонамеренных «типов» и жизненность, любовное изображение «типов контрреволюционных», а также воздаяние должного личной нравственной чистоте Каледина, Корнилова, Алексеева вызвали бурю в советской критике и множество недоумений по поводу нового пролетарского писателя.

Самое замечательное – что Шолохов как бы «открывает» непосвященным своеобычную казачью жизнь, столь не похожую на крестьянскую. Недаром в романе постоянно противопоставляется «мужик», «русский», с одной стороны, «казак» – с другой, и даже неуклюжая русская «баба» и нарядная, бойкая «казачка». Иногда кажется, что Шолохов пишет на каком-то не русском, «казачьем» языке, и это выходит у него настолько естественно, что перестаешь замечать «региональные», местные обороты и выражения, и поневоле в них погружаешься. Он, действительно, «открывает» казачество, которого никто до него не пытался изобразить изнутри: были прекрасные наблюдения извне, были и неизбежные «фанфары».

Книга эта написана, как уже не раз указывалось, под некоторым влиянием Толстого. Несколько повествовательных центров, неожиданные переходы от одного к другому, нередко удачные их скрещивания, попытка встать на точку зрения каждого персонажа, ее объяснить и оправдать – все это, конечно, от Толстого. Французы называют подобное произведение – не основанное на едином сюжете и плавно текущее, как жизнь, как время – «roman-fleuve» (роман-река) и считают его русским изобретением и преимуществом, французской литературе почти недоступным. У Шолохова, как и в «Войне и мире», множество отдельных сюжетов, но в основе – «кусок времени», «кусок жизни» огромного круга людей. Впрочем, его роман – не бледное ученичество и не подражание: у автора свой строй фразы и, главное, свой внутренний тон.

Он также наделен даром необыкновенной внешней изобразительности, и ему одинаково удаются картины прежней, приятной, «сытой» жизни, и ужасы и тяготы войны. Война – модная сейчас тема, и среди ее обличителей Шолохову принадлежит совершенно особое место. Прежде всего, он описывает среду, если не рожденную для войны, то привычно к ней готовую, и для этой среды чувство чести, воинские традиции – не пустой звук. Кроме того, Шолохов редко прибегает к сентиментальным и гуманным призывам, редко пытается разжалобить или возмутить читателя, его описания сурово бесстрастны – до

жестокости – и вот, как бы не сразу им постигаемое, медленное, но бесповоротное осуждение войны куда убедительнее, чем разоблачения мягкосердечных интеллигентов, воевавших против воли и с отвращением.

Основной недостаток Шолохова – вялость в изображении всего неказачьего, «русского», ему чужого, и неожиданно проявляющаяся на таких страницах литературно-техническая беспомощность. Этот недостаток искупается жизненностью, поэтичностью бесчисленных отрывков, где описываются казаки. Прекрасны в романе многие сценки, хозяйственные, военные и, особенно, чувственно-любовные, до беспощадности отчетливые и тяжелые.

П. Е. ЩЕГОЛЕВ. КНИГА О ЛЕРМОНТОВЕ. 2 тт. Прибой. 1929.

Эта книга составлена из многочисленных воспоминаний о Лермонтове, писем его и к нему, юношеских дневников и тех стихотворных и беллетристических отрывков, которые письмами, воспоминаниями и дневниками затрагиваются. Всё это подобрано чрезвычайно умело, причем автор сборника почти отсутствует, лишь изредка указывая в примечаниях на сомнительность иных материалов, но участие его, «опытная рука», чувствуется на каждой странице. Связность как бы цельного рассказа, острые противоположения некоторых свидетельств, искусство выбора и сочетания, необыкновенная драматичность лермонтовской жизни и наша малая о ней осведомленность – благодаря стольким разнообразным причинам книга читается, как увлекательнейший роман. В ней не очень много нового и сенсационного о Лермонтове, но самый жанр такого подбора документов, особенно при столь искусном расположении, интереснее, благороднее, «чище», чем модные теперь и слишком произвольные «романтические биографии».

В книге имеются «эффекты», какие не всегда достигаются в настоящем романе. Так, прекрасно изображены родственные Лермонтову помещичьи семьи, с множеством его cousins и cousines, влюбленных друг в друга – перед нами возникает незабываемый быт помещичьего дома Ростовых, со всеми полудетскими трогательными влюбленностями. Прекрасно также передано нарастающее негодование петербургского общества после смерти Пушкина, распространение

знаменитых стихов о дуэли, впервые прославивших Лермонтова, их неожиданно-громкий отклик.

Книга издана, что называется, роскошно и с несомненным вкусом.

IRÈNE NÉMIROVSKY. DAVID GOLDER. Grasset. 1929.

Ирина Немировская – двадцатичетырехлетняя наша соотечественница, пишущая по-французски. Ее роман «Давид Гольдер» напечатан в серии «Pour mon plaisir», которую лично составляет Грассэ и в которую попасть большая удача. Среди трех первых книг этой серии – «Enfants terribles» Кокто и «Les Varais» Шардонна. Роман госпожи Немировской вызвал единодушные восторги критики, имеет исключительный успех у публики и считается «révélation» литературного сезона.

Он написан с необычайным умением и мастерством, и в нем выведена – размашисто и резко – некоторая часть «новой финансовой знати», наиболее циническая и беззастенчиво-корыстная. Давид Гольдер, родившийся в каком-то русско-еврейском глухом углу, давно забыл о своем происхождении, как не помнит жена его «Глория» своего первоначального еврейского имени. Он поглощен многомиллионными рискованными спекуляциями и часто бывает на волосок от нищеты. Но ни жена, ни дочь его, не то офранцуженная, не то американизированная Joyce, не задаются вопросом, как и откуда он достает деньги, и тянут с него для сумасбродной «аристократической» жизни в Биаррице, сколько могут. В беспощадной денежной борьбе Гольдер обманывает и разоряет своего компаньона и становится причиной его самоубийства. Затем он заболевает, и Глория уговаривает врача скрыть от мужа степень грозящей ему опасности, чтобы только он не перестал работать и наживать. В бестолковом горячем споре она сама слишком много ему рассказывает, и среди другого – что Joyce, единственное существо, которое Гольдер как-то еще любит, не его дочь. Гольдер злорадно забрасывает дела – для удовольствия отказать в деньгах – и ему, казалось бы, уже не подняться. Но вот Joyce, влюбленной в сиятельного «gigolo», нужны деньги, и Давид Гольдер неожиданно преображается. С обычным своим брюзжанием, внешне цинический и грубый – и это кажется особенно правдивым – он совершает настоящий подвиг,

«изобретает» последнее сложное дело, едет для заключения его в Москву, живет в отвратительных условиях и сознательно жертвует своей жизнью, чтобы оставить миллионы взбалмошной Joyce, привычно и беспомощно ожидающей его поддержки.

В романе Ирины Немировской много силы и пафоса, несвойственных «среднему французскому уровню» и потому заслуженно отмеченных. К сожалению, роман несколько внешний и о внешнем. В 1926 г. была напечатана прелестная ее повесть «Le Malentendu», написанная с меньшим блеском и не имевшая успеха «David Golder-а», но более острая, более убедительная и как-то ближе к «действительной человеческой сути». В повести показано любовное «женское» и, с предельным для женщины беспристрастием, «мужское». Не помню другой романистки, столь искренней и точной в любовном своем анализе, и, может быть, это – вопреки успеху «Давида Гольдера» – настоящая тема госпожи Немировской.

JACQUES CHARDONNE. EVA OU LE JOURNAL INTERROMPU. Grasset. 1930.

Все книги Шардонна, писателя, не достигшего большой славы и вряд ли к ней стремящегося, но имеющего своих верных читателей и почитателей, все четыре его книги об одном и том же – о любви и браке, о том, как трудно сочетать любовь и каждодневную будничную жизнь, о том, как трудно любовь сохранить. Шардонн честно и мужественно показывает отдельные случаи, мы можем от них переходить к тем или иным обычным, легкомысленным обобщениям, но у самого автора их нет – и не ставится никаких «проблем». Он старается изобразить жизнь немногих людей – почти всегда в отрывках, почти всегда на протяжении долгого времени – и умение передавать и создавать людей у него несравнимо выше, чем у писателей того блестящего «среднего уровня», которыми так сильна теперешняя французская литература.

Впрочем, романы его далеки от среднего французского уровня и по композиции и по стилю. В них нет готовой и, надо сказать, нередко приятной легкости и стройности, в них неустанные поиски, частичные победы, бывает также неудачное и неуклюжее. Главное же, они не являются развитием одной идеи или сюжета, в них чувствуется попытка дать какое-то «жизненное течение», то, чему французы так

давно и напрасно учатся у русских и английских писателей. Подобно «Сентиментальному воспитанию», кое-чему у Стендаля и Мопассана и, конечно, всему Прусту, книги Шардонна во французской литературе – для нас отрадное исключение.

«Eva» – многолетние краткие записи человека, который жертвует ради жены и своей любви к ней буквально всем – карьерой, состоянием, друзьями. Пытаясь угадать ее желания, он уединяется с ней и с детьми сначала во французской провинции – после Парижа – затем в Швейцарии, где Eva родилась и где с необычайной стойкостью они переносят унижения и бедность. Вообще оба они деликатны, умны и благородны, может быть, чересчур сдержанны и скрытны, что ведет к взаимному непониманию. Впоследствии оказывается, что жена не хотела жертв, которые мужем приносились, что она не любила его и в свою очередь жертвовала собою. Они расходятся, Eva выходит замуж за другого, и самое убедительное у Шардонна – то спокойствие опустошенности, с каким принимается мужем ее уход, мужем, которого прежде так задевала малейшая перемена настроений, малейший ее каприз.

В романе удивительное «единство тона», фраза эмоциональна, своеобразна и сгущенно-содержательна, нет лишних, отвлекающих от главного, разговоров, поступков и действующих лиц, есть только это «главное», и оно сильнее захватывает, от него труднее оторваться, чем от любой книги с внешне-увлекательным сюжетом.

Сейчас имеются писатели, иногда с громкими именами – среди них Моруа и Лакретель – которых можно было бы обвинить в каком-то «разжижении», снижении прустовских тем и прустовского тона. Жак Шардонн, несомненно, близкий этому направлению и менее, чем, например, Моруа, знаменитый, достойнее и самостоятельнее других.

MARC CHADOURNE. CÉCILE DE LA FOLIE. Plon. 1930.

Когда читаешь одну за другой новые французские книги, то хочется останавливаться не на тех из них, которые принадлежат к блестящему и гладкому среднему уровню, а на других, немногих, которые, будучи лучше или хуже этого завидного среднего уровня, выделяются чем-то неуклюжим, неровным, каким-то нескрываемым авторским усилием. Таким исключением была несколько искусственная и запу-

танная книга Шадурна «Vasco», вышедшая два года тому назад, таким же исключением является и «Cécile de la Folie».

Фамилия героини с некоторой наивностью символизирует необычность, мятежность, иррациональность душевного ее склада. История рассказывается несложная. Молоденькой барышней, ученицей консерватории попадает героиня в имение богатых родственников, где влюбляется в своего кузена, честолюбивого, скрытного, умного мальчика. Для нее это – любовь навсегда, для него – только идеал любви, то, чего он хочет достигнуть, чем дорожит, чего старается не упустить и что ему, в конце концов, не удается. Студенческая жизнь, война, послевоенный Париж, с доступными и, казалось бы, заслуженными удовольствиями, совершенно его меняют. Всё же Cécile, требовательная, бескомпромиссная, твердая, несмотря на жизненные и творческие неудачи, остается чем-то для него высшим, последним его судьей, и к ней он изредка обращается, вечером или ночью, с бессвязными, стыдливыми о себе признаниями, с язвительными насмешками, как бы отмщающими за подобное унижение. Она, усталая после уроков музыки, которыми кормит отца и брата, терпеливо выслушивает его исповеди и поддерживает в нем надежду измениться и как-то подняться. Во всем этом много от Достоевского, да и в книге не раз говорится о русском духе, о русской музыке, о необходимости поехать в Россию. Конец романа печальный и, к сожалению, мелодраматический. Герой «чувствует» во сне, что Cécile решила утопиться, отыскивает ее на берегу Сены, привозит домой, но слишком поздно: она смертельно больна и в его присутствии доигрывает на рояле последние аккорды.

Недостатков в книге сколько угодно: стремление во что бы то ни стало оригинальничать (так, «части» романа названы почему-то «периодами»), упомянутый мелодраматизм конца, явные неправдоподобности и порою дурной вкус – такие выражения, как «Париж – теплая самка», или «слоновая потребность в нежности», конечно, непростительны и недопустимы. Но недостатки Шадурна искупаются сухим, жарким тоном, соответствующим характеру и переживаниям Cécile de la Folie, порывистостью, страстностью, силой авторского таланта, жизненной верностью и всё же исключительностью прелестного образа героини. Любопытно, что в некоторых вопросах, касающихся и морали и междучеловеческих отношений, Шадурн проводит точку зрения, понятную нам, русским, и для французов вряд ли приемлемую. Подобно Монтерлану, Шадурн – вне основного прустовского течения современной французской литературы.

JULIEN GREEN. LE VOYAGEUR SUR LA TERRE. Plon. Paris.

Грин, молодой французский писатель американского происхождения, в несколько лет создал себе большое имя двумя романами: «Adrienne Mesurat» и «Léviathan». Сравнительно меньший успех имело его почти юношеское произведение «Le Mont Cinère». Общее признание, можно даже сказать, слава Жюльена Грина, несомненно, оправданы и легко объяснимы. Простые, как будто бы тусклые, фразы его книг незаметно читателя втягивают, им овладевают. Действие тщательно разработано и с неуловимой последовательностью приводит к жестокому концу, всегда трагическому, всегда беспощадному.

Но сила Грина не в этом, а в какой-то резкой его непохожести на всех других французских писателей, что не раз уже отмечалось и обычно приписывается его происхождению, чужеродным влияниям и традициям. Вероятно, такая зависимость у Жюльена Грина и существует, но еще вероятнее, что его самобытность глубже этих случайных причин, этих посторонних на него влияний, и ею одной объясняются и его достижения и успех.

Особое свойство и как бы цель его писаний – накопление, внушение ужаса, возникающего из мелочей и приводящего к неизбежному конечному взрыву. Всегда описывается скромная провинциальная среда – французская или американская – размеренно-аккуратные, на первый взгляд спокойные люди. У них самые обыкновенные желания и привычки, но эти желания и привычки понемногу превращаются в какую-то одержимость, которая, в свою очередь, становится необузданностью или безумием. Герои непременно действуют себе во вред и словно бы нарочно выбирают наиболее для себя плохое.

Нередко получается при этом искусственность, явная надуманность, и нужен весь большой и неоспоримый талант автора, чтобы читателя убедить и победить, и часто его таланта бывает недостаточно.

Четыре рассказа, объединенные под заглавием «Le voyageur sur la terre», написаны, по-видимому, раньше тех романов, которые создали славу молодого писателя, и в них сильнее выступают свойственные ему недостатки – искусственности, необоснованного, во что бы то ни стало, трагизма. Каждый рассказ – обязательно со смертельным исходом, не всегда подготовленным предшествующими этой смерти событиями.

Лучшая и, очевидно, центральная вещь в книге «Les clefs de la mort», «Ключи смерти». В имении немолодой вдовы поселяется беззастенчивый авантюрист. Он ее шантажирует, пользуется ее деньгами и вынужденным гостеприимством и ни за что не уезжает из имения. Шестнадцатилетний сын хозяйки решает его убить и каждую ночь подходит с ножом к его комнате, но чья-то невидимая сила каждый раз мальчика останавливает. После одного подобного нелепого покушения он попадает в комнату своей приемной сестры, загадочно молчаливой девочки, с большими задумчивыми глазами. Оказывается, мешала она и она же искупает его вину: раз он навлек смерть на маленькую усадьбу, то кто-нибудь из ее обитателей должен погибнуть, и умирает молчаливая девочка.

Во всем этом много недоговоренного и наивного, но уже чувствуется будущий автор произведений значительных, обладающих редкими достоинствами и, к сожалению, обидными недостатками.

MARY WEBB. SARN. London

Кажется, ни в одной литературе не наблюдается такого явного женского засилия, как в литературе английской, особенно в области психологического романа или новеллы. К числу самых талантливых писательниц, наряду с Вирджинией Вульф, Кэтэрин Мэнсфильд, Клеменс Дэн, Розамонд Леман, принадлежит и недавно умершая романистка Мэри Уэбб. Жизнь ее была короткой и несчастливой, признание явилось, как это часто бывает, обидно поздно – почти сейчас же после ее смерти. Наиболее прославленное ее произведение – «Сарн».

Сарн – название крестьянской усадьбы. Героиня – дочь, а затем, после смерти отца, сестра владельца этой усадьбы. Она умная, стройная, изящная девушка, обезображенная «заячьей губой». Это – ее крест, причина постоянной горечи и сомнений. Через весь роман проходит и бесконечно повторяется простодушно-жестокая жалоба ее матери: «Я не виновата, что заяц перебежал мне дорогу». После множества приключений и перемен большинство персонажей романа гибнет, усадьба сгорает, но как раз героиня – неожиданно для себя – находит мужа, уют, достойную ее личную жизнь.

В романе изображена деревенская Англия, какою она была лет сто-сто двадцать тому назад. Нравы еще грубые, притом отягченные преступлениями, совершаемыми то одним, то другим героем «Сарна».

Здесь и безжалостные избиения, и поджоги, и самое отвратительное убийство. Но всё это смягчено незлобивым прощающим юмором, очаровательными описаниями природы, чисто английской поэтичностью, всегда читателю передающейся и всегда в меру.

JACQUES DE LACRETELLE. LES HAUTS PONTS. SABINE. N. R. F. 1932.

Во французской литературе наблюдается странное явление. Писателям тесно в рамках короткого романа в 200–250 страниц, навязанного издательствами и, по-видимому, отвечающего вкусам «широкой публики». И вот они ищут выхода из этого положения, выпускают те же, сравнительно небольшие, сюжетно законченные книжки, но романы становятся продолжением один другого, превращаются в серии, иногда многотомные. Таковы, например, «Тибо» Роже Мартен-дю-Гара или огромная эпопея Рене Беэна, писателя малоизвестного, но выдвинутого Леоном Доде, одним из самых замечательных «угадчиков» нашего времени.

Объявлено о выходе такой же серии романов Лакретеля, под общим названием «Les hauts ponts» – «Высокие мосты». Это название имения, за обладание которым борется семья, то богатеющая, то разоряющаяся и унаследовавшая имение со времен еще дореволюционных. Удивительно, как тема собственности, усадьбы, торгового дома, а также тема семьи всё непрерывнее повторяются во французских книгах. К первой относятся «Les Varais» Шардонна, «Saint-Saturnin» Шлемберже, «Bernard Quesnay» Моруа. Ко второй – «Cercle de famille» того же Моруа, вышеназванные «Тибо» и сколько еще других. Большевики бы в этом усмотрели буржуазный «социальный заказ» или «поэзию умирающего капитализма». Может быть, в этом и есть инстинктивное сопротивление здоровых слоев надвигающейся анархии и разрушению.

Лакретель – писатель утонченный, безукоризненного вкуса, пожалуй, несколько бледный. Им написаны вещи разнородные, неровные, порою очень талантливые. Лучшие из них, мне кажется, «Lettres espagnoles», «Âme cachée» и «Silberman». Всё это – книги современные, сложные, чуть-чуть импрессионистические. Только что вышедшая «Sabine» – первая часть серии «Les hauts ponts», попытка создать роман классический и о далеком прошлом.

Действие происходит вскоре после Франко-прусской войны, в дворянской усадьбе, в глухом уголку Вандеи. Сабин, героиня романа, моложавая, тридцатипятилетняя женщина, смутно тяготится размеренной жизнью, предписанной мужем, Александром Дарамбэр, человеком во всех отношениях чрезмерно себя сдерживающим. Он одинаково боится денежных трат, сильного чувства, новых воззрений. Бедная жена слепо верит в незыблемость его правил, но у нее восторженное сердце, душевная широта, природная беспечность. Ее тянет к иной, любовно-жертвенной и волнующей жизни. Однако Сабин отравлена духом времени, дома, среды. В последнюю минуту ей страшно очутиться в непривычной роли. И по разным причинам не удаются оба ее «романа» – печальные, наивные, до смешного невинные. Всё ограничивается бездеятельной дружбой в одном случае и безобразным разочарованием – в другом.

В конце, как и подобает классическому роману, ряд непоправимых несчастий и смертей. Умирает от чахотки Сабин, умирает ее муж, имение продается из-за долгов. Молоденькая Лиз, их единственная дочь, унаследовавшая энергию и дельность своей прабабушки, той, которая положила начало семейному богатству, твердо решает опять добиться богатства и выкупить имение. Это и будет, вероятно, темой одной из следующих книг.

Перед смертью и Сабин и ее муж в какой-то степени «прозревают», жалеют о неудавшейся жизни и с благодарностью вспоминают лишь минуты отступлений от «незыблемых правил». Быть может, в этом и мораль лакретелевского романа.

Мне кажется, «Сабин» не из лучших его книг. В повествовании и слоге имеется какая-то искусственность, которая мешает читателю сосредоточиться и увлечься. Но, как всегда у Лакретеля, в романе много тонких наблюдений. В нем также обычная у него серьезная и умная рассудительность.

ЕКАТЕРИНА БАКУНИНА. ТЕЛО. РОМАН. Парабола. 1933.

Книга Бакуниной – одна из самых искренних и бесстрашных, какие приходится читать. Это – сплошное медленное усилие превратить «крик отчаяния» в осторожные, точные, конкретно-правдивые слова.

В душевной добросовестности, в отсутствии легких, иллюзорных утешений – современность и сила автора.

Вся книга о бедности – материальной и духовной. Описывается эмигрантская семья – одна из множества – деклассированная и несчастная. Внутренние отношения, уродливые с самого начала, еще усугубляются нищетой. Ей ничего нельзя противопоставить, нет опоры и цели, чтобы с ней бороться, и она лишь подчеркивает всё нелепое и дурное в отношениях – столь частый, неразрешимый «порочный круг».

Внешний быт и ему соответствующий внутренний изображены с жестокой беспощадностью – последнее обнажение, без единого пропуска. Героиня, теперь забывшая свое далекое интеллигентское прошлое, торгуется на рынке, стирает белье, моет полы. Опустившийся муж, себялюбивая, скучающая дочь между собою и с ней ничем не связаны, и каждый молча тяготится повседневностью. Они – случайные, недружные попутчики, без малейшей взаимности, да и всякой доброты. Есть какое-то «равнодушие гибели» в романе Бакуниной.

Все то, что «сейчас», вся статическая сторона чрезвычайно автору удалась. «Вчера», «история», романическая последовательность менее убедительны, порою даже необоснованы. И сразу не те – простые и полновесные – слова, какие отыскивались для сегодняшнего дня, сразу цветистые спорные образы, как будто найденные другим человеком.

Еще сравнительно лучше передана многолетняя связь героини с доктором. Верная и меткая формула – «отдаваться за (чью-то) душевность». Но слишком всё убыстряется, в результате явная скомканность и диспропорция между настоящим и прошедшим. Эпизод с англичанином, предельно откровенный, мне кажется, совсем неудавшимся, хотя меньше всего в нем цинизма и порнографии. Об этом говорить не приходится – чересчур безнадежный и грустный фон. Просто читатель, по-моему, не задевается и недостаточно верит. Видимо, не прочувствована задетость самой героини – и оттого не нашлось более нужных и неотразимо увлекательных слов.

Всегда справедливее писателя судить по бесспорным достоинствам, у него обнаруженным. Видишь будущие возможности и то, что уже достигнуто, за что нельзя не выразить признательности достигшему. Бакунина сумела, как немногие другие, показать людей душевно опустошенных, недоумевающих о неприглядной своей жизни, и страшный быт ее героев не только узко-эмигрантский, но и в каком-то смысле типический.

JACQUES CHARDONNE. L'AMOUR DU PROCHAIN. Grasset. 1933.

Шардонн за последние годы выдвинулся более, чем кто-либо другой, из числа французских романистов, за исключением Мориака и недавно прославившегося Селина. Автору «Эпиталамы» и «Клэр» свойственна особая, меткая и формулообразная манера письма, что дало повод некоторым критикам посоветовать ему написать книгу афоризмов. Шардонн послушался и выступил в роли «моралиста», как это понималось в XVII столетии.

К сожалению, его попытка оказалась сравнительно неудачной – при тех требованиях, какие именно ему предъявляешь. Повидимому, он всё же в основе своей романист, и прекрасные его формулы были только выводами из чисто беллетристических ситуаций. Быть может, он и несколько исчерпался в своих книгах, и та сплошная насыщенность, какую ожидаешь найти в сборнике афоризмов, теперь уже для него недостижима. Едва ли он и политический мыслитель, а о политике говорится слишком много.

Все же встречаются у него отдельные острые замечания, напоминающие Шардонна-романиста. Среди них – мысль о «брачной любви» (passion conjugale), свойственной только женщинам. Есть тип женщины, которая, будучи к мужу, по существу, равнодушна, страстно цепляется за него и с ним не могла бы расстаться. Другое, на мой взгляд, правильное и тонкое наблюдение – что «немного людей достаточно сильных для того, чтобы быть добрыми».

Даже и в области политики у него бывают удачные формулы. Одна из них, как бы итог множества споров – о «легкости любви к человечеству» (l'amour de l'humanité est facile). Интересно мнение, что немецкие промышленники, инстинктивно-слепо, но словно предугадывая события, сами произвели «пятилетку» в виде грандиозного планового «грюндерства», готовя почву для правого или же левого большевизма. всё это было написано до Гитлера.

Обидно только, что истинную «любовь к ближнему» Шардонн увидал в деятельности Сталина, признавая его жестокость и ошибки. Такие суждения не следовало бы высказывать писателю вдумчивому, проницательному и человечному.

СЕРГЕЙ ШАРШУН. ПУТЬ ПРАВЫЙ. Роман. 1934.

«Жизнь его была пришибленно-дика» – этими суровыми словами как нельзя более точно и выразительно определяет Сергей Шаршун своего героя. Михаил Самоедов (фамилия, по-видимому, символическая) живет необыкновенно трудно, возвышенно и страшно, он – герой в самом буквальном смысле. Обреченный, в силу предельной своей независимости, на полное одиночество, на жестокую отгороженность от мира, он постоянно находится в особой разреженной атмосфере, где нет у него ни утешений, ни друзей, где он всегда наедине с самим собой и только перед собой отвечает за свои поступки, решения и мысли. Но эта ответственность вовсе не пустой звук: Самоедов постепенно сознает свой истинный путь – «путь правый» – духовного и творческого восхождения.

Весь роман представляется нам как бы подробной, au ralenti, хроникой внутренних и внешних событий, нередко случайных, произвольных, но в итоге последовательных, причинно-обоснованных. Отдельные главы этой удивительной книги органически вытекают одна из другой, между ними непрекращающаяся связь, чего никак нельзя было предположить по отрывкам, прежде печатавшимся в «Числах». Элемент фантастики, столь выигрышное свойство Шаршуна, почти исключен из романа, намеренно лишенного всяких, хоть немного сомнительных эффектов. Остается голая суть, то, что французы называют «essence», и в праведной ее беспощадности, в ее верной и сложной передаче больше поэзии и душевного напряжения, чем в ряде книг, на это именно претендующих. В «Пути правом» отсутствует литературная демагогия – сюжетная увлекательность, дешевая словесная пряность и то нагромождение ужасов, которыми злоупотребляют иные писатели. Да это автору и не нужно: чувства, переживаемые глубоко и серьезно, изображенные с какой-то стыдливо-сдержанной, но убедительной остротой, с какой-то нарастающей внутренней горячностью, сами по себе задевают взыскательного читателя и невольно претворяются в искусство.

Основная тема романа – тема «любовного креста», впервые, кажется, появившаяся в русской литературе в необычайном лермонтовском «Валерике»:

Мой крест несу я без роптанья:
То иль другое наказанье –
Не всё ль одно? …

Любовь Самоедова превратилась в крестную муку не из-за ее безответности, не из-за глупых внешних препятствий, а из-за странного характера героини, Наденьки, одной из многих теперь опустошенных, призрачных душ. «Жизни у нее не было, была лишь – “не смерть”»: вот краткое определение трагической ее сущности. Судя по намекам, разбросанным в книге, между Наденькой и Самоедовым когда-то возникли влюбленно-дружеские отношения, разнообразные и порою тяжелые. Наполовину излечившись от них, Наденька всеми силами оберегает ледяное, мертвое свое спокойствие, запрещает Самоедову к ней подходить и ради безопасности окружает себя какими-то безразличными ей людьми, едва замечая, как они друг друга сменяют. Самоедов упрямо и беспомощно борется за свое счастье, и у нас создается впечатление, будто человек с жаркой и страстной кровью изнемогает в тщетных попытках оживить манекен. Сцена действия – монпарнасские кафе, прекрасно описанные, как и бессчетные эпизодические персонажи, иногда явно портретизированные. Отдельные смешные и правдивые штрихи, вроде «кокетства новым манто из серого каракуля», подмеченного у героини за минуту до решающего с ней объяснения, окончившегося весьма грустно, такие трогательно-верные мелочи придают всему повествованию особую прелесть и жизненность.

Но как бы ни был герой, по вине своей природы и биографии, одинок и оторван от мира, он не может довольствоваться этой бесцельной любовью, он боится, чтобы его не поглотили «черные воды индивидуализма», он ищет выхода, которого не находит. Знаменательно посещение им русской церкви и последующий неожиданный экстаз. «Ему хотелось броситься, сказать ей: “Наденька, я прямо из церкви – как нестерпимо влечет в Россию!” – зарыдать, припасть к ее ногам». Тема России и, отчасти, религии, проникнутая благородством и человечностью, неизменно возвращается на протяжении всей книги. Однако «выход», быть может, временный, открывается Самоедову в антропософии, подобно Андрею Белому, с которым автора многое сближает – вечные поиски, кажущаяся внутренняя неустойчивость, местами даже строй его фразы. Мне, увы, представляется вероятным, что ни Андрей Белый, ни герой романа Шаршуна окончательного разрешения в антропософии не нашли, и налицо то же печальное одиночество.

Первопричина страшной оторванности Самоедова – в его несходстве с другими людьми. Перед нами редкое сочетание человека и необыкновенного и примечательного: как часто существо, ни на кого не похожее, оказывается всего лишь курьезом или монстром. И самый мир Шаршуна, отличный от всякого иного, не является чем-то гротескным или вымышленным. Это мир живой «теплой» реальности, только преображенный особенностью, исключительностью автора.

Книга Шаршуна не вполне ровная – некоторые, наиболее слабые страницы производят впечатление чересчур «протокольных» записей, чересчур напоминают дневник неподдельный, а не такой, что является лишь ответственной литературной формой. Искусство у него порой словно бы вытесняется жизнью: в этом смысле показательно заглавие другого произведения того же автора – «Герой интереснее романа». «Primum vivere», конечно, основа и начало любого искусства, но тут скрывается опасность, которую необходимо преодолеть. В огромном большинстве случаев это Шаршуну удается, и атмосфера, им созданная, волнует и заражает также и эстетически.

Мне кажется, писателя надо оценивать по его достижениям и «верхушкам», по всему лучшему, что он дал, что в его силах продолжать и развивать и за что мы должны быть ему благодарны. И для меня роман Шаршуна – одна из самых значительных русских книг за последние годы.

Б. ТЕМИРЯЗЕВ. ПОВЕСТЬ О ПУСТЯКАХ. Петрополис. 1934.

Вот книга, не похожая ни на что другое в эмигрантской литературе, не примыкающая ни к каким ее течениям и движениям. Напротив, «Повесть о пустяках» слита с иным миром, противоположным эмигрантскому, с литературой советской, и еще точнее – с некоторыми романами эпохи нэпа. Принадлежность к известной школе, формальная и внутренняя связь с какими-либо предшественниками или современниками не всегда означает, что автор – подражатель, что он под чьим-либо влиянием. Но часто у различных писателей данного периода есть как бы общая атмосфера, обусловленная общими для них причинами. По-видимому, творчество Темирязева сложилось в то же время и при тех же обстоятельствах, как и творчество некоторых советских писате-

лей «двадцатых годов», и только позднее проявилось. Надо пояснить, такая «общность» не в сюжете, не в месте действия, не в характере персонажей, а в чем-то более неуловимом, что и определяется словом «атмосфера» и что находит свое выражение в стиле.

Основное у Темирязева, сказывающееся и на его стиле – безмерное удивление перед тем, что на его глазах произошло. Он настолько поражен случившимися переменами, что не остается места для жалости или восхищения. Если можно так выразиться, он почти наслаждается невольной сказочностью биографии, судьбой целых семей, учреждений, городов. Отсюда постоянные, умышленно-пестрые сопоставления, которые у автора естественнее, чем у большинства родственных ему писателей. Темирязев, мне кажется, страстно пережил эпоху, и его отношение к ней, как и всё его творчество, достаточно самостоятельно. К тому же он природно талантлив.

Но подобно множеству людей, потрясенных своим временем и внешней стороной, а не существом человеческой жизни, он обреченно поверхностен и, пожалуй, это понимает, судя по заглавию книги. Некоторые отрывки доказывают, что он способен на большее:

– «Господи! Наконец-то! – бормочет она, задыхаясь, и вдруг – неудержимо, восторженно, страстно, благодатно, сладостно, удивленно, всепрощающе, с болью, с трепетом, с жалостью, в предельной искренности, в последней душевной раскрытости – разражается рыданиями».

После таких, весьма редких в книге, строк досадуешь на то, что автор намеренно «скользит по поверхности» и занят непрестанным «изобретательством», которое, по собственному его признанию, ценит в художнике больше всего.

О НОВЫХ ФРАНЦУЗСКИХ КНИГАХ

«ГАЗЕТНЫЕ СТАТЬИ»

Мориак справедливо назвал собрание своих статей «дневником» («Journal»). По-французски получается игра слов: «journal» – дневник и «journal» – газета, но и в переводе статьи Мориака не утратят своего первоначального дневникового смысла. Это ряд откликов, глубоких и острых, на всевозможные темы – и злободневные, и внутренно-

интимные. Надо иметь большое дарование, бесконечный опыт и такт, чтобы с такой свободой и мастерством касаться вопросов, казалось бы, посторонних искусству (до Виолетты Нозьер включительно), и всегда оставаться на одинаково-высоком писательском уровне. Мориак достигает несравненного совершенства – на протяжении всей книги у него ни единого срыва.

Среди множества тонких и верных его замечаний хочется выбрать одно и применить его к самому автору. Он утверждает о Руссо и о Шатобриане, что человеческое в них богаче, нам ближе и милее, чем вся их блистательная литература. Он предпочитает «Исповедь» и «Воспоминания» всему тому, что составило славу обоих великих его предшественников. Как ни расценивать романы Мориака, но в этих «дневниковых» статьях, не стесненных условностями, им же себе навязанными, есть какая-то трогательная искренность, которой в его романах не найти. Он совмещает в таких записях предельную точность и поэтичность выражений. Мы как бы постоянно «соприсутствуем» во всех его сомнениях и поисках и разделяем обнаженную его тревогу. Мне кажется, что именно у Мориака «человеческий документ» когда-нибудь перевесит литературу. Должен оговориться, это соотношение далеко не общее правило: Достоевский и Пруст – обратные примеры. У них всё человеческое сосредоточено как раз в литературе.

В «Дневнике», в котором столько разнообразных суждений, нас поражает цельность тона и содержания. Это объясняется одной особенностью Мориака, являющейся, на мой взгляд, «психологическим чудом»: он помнит каждую минуту всего себя, весь переменчивый свой жизненный путь – семью, детство, карьеру, неудачи. Первый духовный толчок как-то навеки с ним сроднился – отсюда прелесть и свежесть внезапных переходов с одного на другое, единство жизни и творчества, сознательное побуждение не зазнаваться и не мертветь. Академические лавры внушают ему ребячески-грустное чувство, что это пришло слишком поздно, что этим он не порадует своих родителей. Тут же, рядом, очаровательная и внутренно-скромная мысль, вернее, вздох сожаления о том, что Бодлер не стал академиком, что за это мать ему простила бы многое.

От сохранившейся душевной молодости – и воображаемый разговор с Гретой Гарбо, мечтательно-детский в своем возникновении, но проницательный и мудрый в своих выводах. Вероятно, самое значительное у Мориака – его религиозно-общественные искания. Они тоже каким-то чудом сливаются с личной судьбой, с биографическими

данными, и нас тем более, тем ощутительнее волнуют. Он отвечает на иные, близкие нам вопросы – о напрасных путешествиях людей, которым не сидится на месте, которые боятся уединения с самими собой, о погоне за наслаждениями из-за недостижимости счастья, о безысходной человеческой слабости. При этом в религиозных своих утверждениях Мориак, избегая ханжества, бывает, как лишь немногие другие, терпим к окружающим и безжалостен к себе.

Порой его доводам нельзя сопротивляться. Говоря об «эротической литературе», о горькой опустошенности бесчисленных ее героев, он предлагает написать книгу «Старость леди Четтерлей», и действительно ничего страшнее не придумаешь.

Кажется, ни одного из французских писателей так не задело большевизанство Андре Жида, как оно уязвило Мориака. Он не может примириться с тем, что Жид изменил прежнему принципу «внутреннего развития» и соблазнился «материалистическим прогрессом». Он указывает и на причину перемены: Андре Жид надеется в новом обществе найти ту свободную мораль, ту ненужность раскаяния, которой «старому миру» не привить, и не замечает, какие железные законы беспощадно сковали это новое общество.

БЕСКОНЕЧНАЯ СЕРИЯ

Речь идет о серии романов Жюля Ромэна, выходящей под заглавием «Люди доброй воли» («Les hommes de bonne volonté»). В своем напыщенно-наивном предисловии автор предупреждает, что вынужден пока скрыть количество томов им задуманной эпопеи, так как боится читательского испуга. Он однако заранее уверен в неотрывном внимании читателя, в силе воздействия новых своих методов. Он пространно объясняет эти новые методы, их отличие от системы его предшественников – Бальзака, Золя, Марселя Пруста. Но сами объяснения настолько неопределенны, что уловить и передать их нельзя. Тут и широкое, искусственное понятие «унанимизма», и желание следовать кинематографическим приемам и множество других, столь же туманных указаний.

За короткое время вышло шесть книг – это, по-видимому, лишь самое начало. В первой из них, «6 октября», описано именно 6 октября 1908 года – Париж, улицы и домашняя обстановка бесчисленных героев Жюля Ромэна. Действительно, как в иных модных фильмах, нас

заставляют смотреть сменяющие друг друга отрывки картин, казалось бы, не связанных между собой. В дальнейшем «метод перебрасывания» сохраняется, но дана возможность ненадолго сосредоточиться и на одном. Это утомительно, и нам представляется неоправданным; персонажи путаются, настроение не создается. Описательная сторона заполняет десятки страниц подряд и раздражает своей бесцельной добросовестностью. У читателя ощущение ненужно-сложного лабиринта, где нет выхода и легко затеряться и куда просто не хочется вступать.

Пересказать происходящее невозможно. У автора, очевидно, стремление охватить парижскую жизнь за последние четверть века, всю целиком, от ее верхов до низов. Он с одинаковым апломбом рассказывает о политических деятелях, о биржевых спекулянтах, о рабочих, о скромных буржуа. Огромность охвата идет в ущерб его глубине. В потоке случайных, мгновенно забываемых мелочей изредка мелькают забавные мысли и наблюдения. Их едва ли хватило бы на занимательную повесть. Многотомного романа они никак не подпирают.

Мориак, в своей статье, озаглавленной «roman-fleuve», не возражает против этого рода произведений, хотя и считает его не свойственным латинскому духу, зато он обрушивается на «roman-exprès-long», роман, нарочито растянутый. Правда, он старается не обидеть Жюля Ромэна, но невольно подозреваешь, что упрек обращен именно к нему, и, пожалуй, трудно с Мориаком не согласиться.

РОМАН В МИНИАТЮРЕ

Читая книгу Маргерит Юрсенар «Le denier du rêve», не удивляешься ее успеху у французских критиков. В ней поэтическая острота сливается с жизненной подлинностью, и как-то убедительна итальянская обстановка, хотя и передана французской писательницей. Старый вопрос о возможности постигнуть чужие нравы, людей и настроения, здесь, кажется, благоприятно разрешен.

Но во всем, и в композиции, и в соотношениях героев, есть какая-то словно умышленная укороченность. Даже метафоры и сравнения, нередко изобразительные, вдруг обрываются и не доводятся до конца.

Каждой детали, каждой мысли, развитию характеров уделено так обидно мало места, что роман получается «миниатюрный» – другого слова не подберу. Дело даже вовсе не в размере, вероятно, «Адольф»

Бенжамена Констана не длиннее. Но главные герои и несколько эпизодических фигур, введенных автором в эту удивительную книгу, размещены в ней с какой-то спокойной неторопливостью. Читателю «удобно», у него достаточно времени с ними сблизиться. Медленно нарастающая трагичность атмосферы постепенно доходит до своего законного завершения и полностью овладевает читателем.

Трагичность «романа» Маргерит Юрсенар тоже неподдельная, как и всё здесь, пожалуй, неподдельно, но вот неровное, чересчур «короткое дыхание» мешает глубине и неотразимости воздействия. Между тем развязка предельно заострена. Ряд хаотических лиц и быстро мелькающих сцен последовательно концентрируется вокруг одной героини, и она, никем не поддержанная, всеми осмеянная, решается на политическое убийство, сознавая свое одиночество и нелепую безнадежность такого поступка. Покушение не удается, Марчелла Сарте платится жизнью. Как ни странно, правдоподобие достигается, но впечатление слишком скоро рассеивается.

ГЕРОИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ

«Хотя книга английского писателя Чарльза Моргана, “Фонтан”, имела исключительный успех, это всё же прекрасная книга», – так начал свою лекцию о ней один из лучших французских критиков, Шарль дю Бос. Впрочем, он сейчас же поправился: «В сущности успех всякой книги – ни за, ни против ее достоинств». Но от себя добавим, что успех именно этого романа отраден – в нем нет ни классовой демагогии, ни авантюрного сюжета, ни соблазняющей иных разрушительной силы, всего, что импонирует современному читателю. Напротив, Чарльз Морган говорит о творческой борьбе, о душевном здоровье, о бескорыстном интеллектуальном героизме.

В первые месяцы войны, после мрачных антверпенских боев, группа английских морских офицеров интернирована голландцами. Большинство англичан тяжело переносит вынужденное бездействие, в то время, как их товарищи находятся на фронте. Но один из них, тридцатилетний Льюис Алисон, отчасти доволен сложившимися обстоятельствами. Он всю жизнь смутно стремился к созерцательному одиночеству, но различные дела, по необходимости им предпринятые, неизменно его отрывали от размышлений. Теперь он может, наконец, погрузиться в систематическую работу; он начинает ее с не совсем

еще определенными целями, но и такая подготовительная стадия его необычайно увлекает. Удивительно при этом уважение к его труду со стороны приятелей, рядовых английских офицеров. Авторитет Алисона настолько велик, что ему предлагают стать во главе заговора – попытки бежать на родину, чтобы снова отправиться в армию.

По чувству долга он немедленно соглашается, как ни хочется ему продолжать свою уединенную работу. Но заговор вскоре раскрыт, и молодые люди должны до прекращения войны оставаться в Голландии. Строгий режим постепенно смягчается, и Алисона приглашает к себе библиотекарем богатый помещик, барон ван-Лейден, женатый вторым браком на англичанке. Ее дочь, Жюли, в замужестве графиня Нарвиц, жена прусского полковника, родилась в Англии и считает себя англичанкой. Ей необыкновенно приятно постоянное присутствие соотечественника. Между ними возникают сначала неровные и сложные отношения, затем прочная любовная связь.

Было бы ошибкой думать, что основа их внутреннего сближения – патриотическая. Это скорее только нюанс, однако нюанс весьма показательный. Жюли и Алисон находят друг в друге единомышленников в самых возвышенных вопросах, они ведут бесконечные разговоры, всегда неожиданные и обостренно-содержательные, их взаимные требования до беспощадности суровы, и это приводит чуть ли не к прустовским любовным конфликтам, причем у автора обнаруживается необычайная проницательность и глубина. И вот на фоне такого «au dessus de la mêlée» особенно трогательна патриотическая непреклонность.

Во время теннисного турнира Жюли узнает о ютландском поражении. Голландцы-германофилы злорадствуют. Жюли скрывает свой гнев и обиду, играя лучше, чем когда бы то ни было, «с той выдержкой, которую всегда соблюдала по традиции». Кажется, у одних англичан сохранилось это молчаливое благородство и умение без позы его передавать.

Счастливый роман Алисона прерывается с появлением Нарвица, мужа Жюли. Он трижды ранен, отравлен газами, искалечен и, в сущности, приезжает умирать. Ему больше и незачем жить. Германия разгромлена, революция неизбежна, новый мир, уже намечающийся в конце войны, ему беспредельно отвратителен. В Нарвице своеобразно сочетаются прусский аристократ, страстный приверженец индивидуалистической культуры и человек антично-стоического склада. Всё это – ценности, уничтоженные войной. Но, главное, что Нарвица отталкивает от жизни – доказанно-давняя нелюбовь к нему Жюли.

Несмотря на свое безразличие к мужу, она перестает встречаться с Алисоном, повинуясь врожденной порядочности и чувству чести. Любовники разлучены, их будущее неясно. По странному инстинкту, Нарвиц хочет познакомиться с Алисоном, о котором ему рассказывали хозяева. Их знакомство, их отношения и разговоры – едва ли не самое замечательное место в книге. Они во всем между собою несхожи, их разделяет еще неоконченная война, но что-то есть неуловимо-общее, что важнее внешних перегородок: они оба – люди самостоятельно и ответственно живущие, с воззрениями, опирающимися на личный их опыт, с обоснованным уважением и любопытством друг к другу, с одинаковой потребностью беспристрастно и как-то поэтически воспринимать мир. Вся книга Моргана – изумительное соединение поэтичности, точности и внутренней справедливости.

Алисон понимает, что Нарвиц духовно старше, зрелее его, что он больше выстрадал и большего достиг на том пути, который обоими избран. Неожиданная жертва этой близости – Жюли. Для нее дружба любовника и мужа неприемлема. Она старается о первом забыть, и, от жалости к Нарвицу, безупречно с ним нежна, что вначале у него вызывает необычайный жизненный подъем. Врачи говорят уже о чуде, но чудо продолжается недолго. Внезапно Нарвица осеняет, откуда у Жюли это жалостливое внимание: ее переродила любовь.

Происходит последнее объяснение, на мой взгляд, неудавшееся, обреченно-мелодраматическое. Нарвиц перед смертью как бы возвращает Алисону Жюли. Без громких слов, без неискренних протестов тот принимает предложение умирающего, пожалуй, нестерпимо-великодушное.

Вся книга насыщена особой духовной энергией, каждая фраза полновесна, эпизодические персонажи так же верны, как и главные. Центральная тема романа, если можно в сложнейшем произведении какую-либо тему считать основной, это – действенное, творческое созерцание.

«Созерцательная жизнь столь же редка, сколь всеобщее стремление к созерцанию, ибо оно для души то же самое, что половое влечение для тела, великая сила, движущая человечество». Такова «навязчивая идея» Алисона, а в дальнейшем Нарвиц обрушивается на теперешнее «мышление массами и классами», противное человеческой природе. Ведь мы одиноки в смерти и любви. Он также говорит о ложной действенности так называемых активных людей, противопоставляя им людей созерцательного склада, подлинных творцов и созидателей мира.

И в книге Моргана есть что-то созидательное, какая-то высокая надежда, притом вторичная, продуманная, а не наивная. В ней ощущается героическое сопротивление времени, и ее просветленную веру было бы интересно сравнить с жестоким неверием, с безутешностью Селина. Очевидно, современный человек одинаково соблазняется тем и другим и не знает, что ему выбрать.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ НЕУДАЧА

С огорчением приходится отмечать, что последние книги Моруа как-то бледнее и слабее предыдущих. Судя по первым его произведениям, по «Доктору О'Грэди» и «Полковнику Брамблю», по отдельным страницам «Климатов», по содержательной биографии Дизраэли, он человек талантливый и умный. Что заставляет его писать столь небрежно?

Последний роман Моруа «Инстинкт счастья», явно ниже прежнего уровня. Банальная выдумка – жена скрывает от мужа, что единственная дочь – не от него. Он благороден, всё знает и молчит. Им помогает в затруднениях почтенная старая дама, которая тоже всё пережила и всё прощает. Тут же младшее поколение, «без запросов», деятельное и простое. Сентиментальные «отцы» немного чуждаются спортивных «детей». Но всё к лучшему, те и другие очень милы.

На протяжении двухсот пятидесяти страниц так обидно мало «новых слов», живых, смелых, собственных мыслей. Поневоле досадно за подлинного писателя. Боюсь, Моруа – одна из бесчисленных жертв обязательной теперь, грозной литературной сверхпродукции.

И СМЕХ, И ГРЕХ

N. R. F. выпустило любопытную книгу «Люди спешат» («Les hommes sont pressés»). Автор ее – некая Жюльет Пари, по-видимому, наша соотечественница, скрывшаяся под псевдонимом. И русским и французским читателям стоит ознакомиться с книгой г-жи Пари. Это – забавное, остроумное, пускай не всегда правдоподобное высмеивание советского, эмигрантского и западно-буржуазного мира.

Книга составлена в виде столь модного ныне «монтажа», но и самый этот прием явно вышучивается и снижается. Дневник эми-

грантского «эстета», Дмитрия Бурова, чудом попадающего в Москву, чередуется с письмами оттуда же французского инженера-дельца, Клода Оливера, с агентскими телеграммами о невообразимой чепухе, происходящей во всем свете, с отрывками речей фанатической коммунистки, Наташи Буровой, достойной или недостойной дочери своего отца, с переведенными на французский язык бесчисленными строками романсов и стихов – от Пушкина до Белого и Гумилева. Выведены и другие, между собой несхожие персонажи – чекист Дубенский, утерявший свой былой советский энтузиазм, американский миллиардер Додд, пытающийся заключить выгодную сделку с большевиками, его перезрелая супруга, стремящаяся всё к новым сексуальным ощущениям, прелестная их белокурая дочь, увлекшаяся коллективизмом и «темпами», тетка Оливера, олицетворение скупости и провинциальной узости взглядов.

С непостижимым умением автор находит надлежащий тон для каждого из своих героев. Правда, они изображены условно и как бы в идеально-типическом аспекте, но не становятся безжизненными марионетками: их видишь, им сочувствуешь, их узнаешь.

«Люди спешат» – все в книге стремительно-торопливо. Меняются пейзажи, настроения, отношения, едва успеваешь к чему-либо привыкнуть. Но это не утомляет, скорее освежающе развлекает. У автора нет серьезных и возвышенных претензий, но цели своей – уродливо сгустив, разоблачив основные черты людей, живущих по большевистской или буржуазной шпаргалке – этой цели она несомненно достигает. Полное неправдоподобие начинается, когда автор чрезмерно шаржирует.

Кое-что напоминает Эренбурга, его «Приключения Лазика Ройтшванеца». Только Жюльет Пари живее, умнее, талантливее советского беллетриста. В ее описании персонажей есть какая-то мягкость, какое-то соблюдение человеческого достоинства, отсутствие которого делает невыносимым чтением Эренбурга.

ОЧЕРКИ И ФЕЛЬЕТОНЫ

МЫ СПОКОЙНЫ... МЫ СПИМ...
(Маленький фельетон)

Мы стали безумно апатичны. Нет ничего, что выбило бы нас из привычного состояния доверчивости, тупости и покорности судьбе. Мы передаем без колебания любые слухи и подчиняемся любой действительности. Кто-то за нас делает историю, историю совсем необычную, а мы эту историю перевариваем, и как скверно перевариваем!

Говорят, старый режим, с его мелочнейшим на каждом шагу попечением, приучил нас к несамостоятельности, переходящей в безграничный, чисто азиатский фатализм. Возможно. Только то, что он начал, благополучно закончили последние события: война и революция.

Помните, господа, как беспрекословно мы исполняли всё, что от нас кто-то требовал: сперва призывались, потом голосовали, а самой сути, борьбы народов и борьбы идеалов, понять не хотели и не могли, и всё делали плохо, без веры и без огня, трусливо прячась здесь, лениво отвиливая там.

Мы полностью сохранили наше крепостное мировоззрение и наш крепостной темперамент. Мы и сейчас готовы положиться на кого угодно, кроме себя, и каждый может прийти и владеть нами. Из уст в уста передают, и очевидцы подтверждают, что в большевистских войсках, идущих на балтийский край походом, преобладают китайцы. Почему китайцы? Чем мы их обидели? Чем их взял Троцкий?

Между тем они идут, и с каждым днем возрастает эта своеобразная желтая опасность.

Как же мы готовимся их встретить? Враг у ворот – безумолчно кричат газеты, и что же, это придает нашим человеческим сердцам львиную отвагу, это пробуждает в нас геройство древних римлян или хотя бы современных парижан? Нет, мы не так глупы. Мы уверили себя, что за нас волнуются английские адмиралы и французские дипломаты, и в хорошую минуту мы даже подтруниваем над медленностью «томми».

Так было всегда. Всегда кто-то думал за нас, пытался нас выручить, и газеты кричали о предстоящей гибели, и бывали случаи, что нас не выручали, что гибель наступала. Но только нас это не образумило.

Я вспоминаю, как в один прекрасный день вся мыслящая Россия уверовала в чехословаков. Не задумывались, кто чехословаки, откуда они взялись и зачем спасают нашу исстрадавшуюся родину.

Еще меньше интереса было к их силам, к их военачальникам, к их боевой подготовке. Казалось достаточным, что они хотят свергнуть большевиков, что об этом в Самаре хлопочет Авксентьев, который так заботливо думает за нас. Думают за нас и Деникин и Скоропадский, и есть наивные люди, о которых пекутся Виниченко с Петлюрою.

В самом деле, и в данную минуту чего же бояться в Риге, когда в Париже, по сообщению «Фоссовой газеты», Маклаков – каждодневный гость всесильного Клемансо и хлопочет за всех бывших подданных бывшей Российской Империи.

Враг у ворот. Мы спокойны. Мы спим. А если враг распахнет ворота, мы разделимся на две партии. Одна, более многочисленная, приспособится ко вражеским порядкам, а другая – меньшинство – соберет свои пожитки и разбредется куда глаза глядят. И будем жить под китайцами и ждать помощи от чехословаков.

НАИВНЫЙ ДАРВИНИЗМ
(Маленький фельетон)

Прежде, чем перейти окончательно к злобам и мелочам текущего дня, мне хотелось бы охватить испытующим оком прошедшее, привести в порядок растрепанные чувства и мысли, словом, использовать ту «передышку», которая любезно предоставлена нам судьбой. При этом у меня живейшая потребность покопаться, по русскому обычаю, в себе и окружающих, чтобы яснее выступили характерные особенности нашего милого безвременья. Тут-то во всех и во всем поражает одна роковая черта – приспособляемость.

Давно было доказано, что неприспособленным к жизни породам суждено вымереть. Но есть предел приспособляемости, и этот предел несомненно перейден. Всем же известно, что избытки порою вреднее недостатков.

Начало болезни произошло четыре с половиной года тому назад, и почин дала чистая публика. Началась война, солдаты поехали в окопы, а чистая публика приспособилась к грязным делам.

Прошли года, и в мировых законах возникла основательная путаница. Солдаты поехали домой на «красных бархатных диванах» пульмановских вагонов, а чистая публика поехала из дому на деревянных нарах отвратительных теплушек. Предварительно чистую публику обчистили.

В кратчайший промежуток времени произошли сильные изменения. Приказы сменились декретами, доблестная армия – красной армией, а симпатичный матрос Деревенко, носивший на руках наследника, симпатичным матросом Дыбенкой, носившим на руках госпожу Коллонтай. Вот тогда приспособляемость и дошла до размеров, каких еще мир не видал. Где начало и где конец? Как привести огромнейший материал в систему?

Важную роль в этом движении сыграли малые народы. Они приспособились к большим аппетитам и каждый к одной из враждебных коалиций. Последний вид приспособления был назван ориентацией. Под влиянием событий все ориентации свелись в конце концов к одному знаменателю. Установилось это не сразу. Была борьба. Некоторые кавказские народности меняли ориентацию по большим праздникам.

В наших старых политических центрах, в обеих столицах болезнь дала жуткое зрелище. Основа ее оказалась в том, что большевики приспособились к власти, а прочие партии к негодованию.

К власти приспособились также и некоторые великие люди. Они сами назвали это уверованием. Так поступили Максим Горький и Федор Шаляпин. Впрочем, остальные великие люди явились непокладисты и не уверовали.

Население обеих столиц, без различия религий, приспособилось к длительному посту. Кроме того, старики приспособились к неуважению к своим сединам, люди зрелые – к уничтожению аттестатов зрелости, а молодежь к узаконенным гражданским бракам и к разводам без малейшей канители.

Отдельные группы населения проявили в развитии болезни немалую самостоятельность. Купцы и офицеры приспособились к тому, чтобы не ночевать дома, грабители к усиленной ночной работе, всякого рода собственники к отсутствию собственности. Всего не перечислишь, и те, кто видели улицы Петрограда или Москвы в последние месяцы, не забудут самые разнообразные и самые неожиданные виды приспособления. Даже лошади приспособились к тому, чтобы испускать дух на холодной, скользкой мостовой.

Из столиц болезнь перебросилась на провинцию. Населению некоторых губернских и уездных городов пришлось приспособиться к небытию. Деревня приспособилась к борьбе с продовольственными отрядами. Сверх того, деревенскую бедноту с величайшими усилиями приспособили к кулакам.

Таково то величайшее зло, более серьезное и губительное, чем многие думают, зло, которое следовало бы ввести в рамки. Но мы уже не пытаемся бороться с ним, мы махнули рукой, видя, что всё кругом им охвачено, что даже русский флот приспособился к Неве, а древний Кремль к совнаркому.

И вот, мы, интеллигенты вообще, приспособились к тому, чтобы и этому и никакому злу не противляться, тихо лепетать «не тронь меня», и плакать по ночам, что мы уже не интеллигенты.

ПАНМОНГОЛИЗМ
(Маленький фельетон)

Панмонголизм! Хоть имя дико,
Но мне ласкает слух оно.

Владимир Соловьев.

Недаром это двустишие избрано эпиграфом к знаменитому стихотворению Блока «Скифы», которое с полным правом считается манифестом взбунтовавшейся, ставшей на дыбы России.

Привожу на память чистосердечные признания «манифеста»:

Да, скифы мы! Да, азиаты мы,
С раскосыми и жадными очами!

И дальше, деликатная угроза:

Расступимся! Мы обернемся к вам
Своею азиатской рожей!

О, мы были все свидетелями осуществления этой угрозы. К нам, действительно, обернулись «азиатской рожей», и мы даже не разглядели, было ли у них и другое, европейское лицо.

Чего хотели от нас эти странные угрюмые люди, такие важные и недоступные в течение четырех месяцев, такие быстрые в последний день? Во имя чего пировали они, сидя, как татары после Калки, на наших хрустящих ломающихся костях? Почему совершали непонятные акты политической мудрости, мобилизовали враждебную себе молодежь, спорили с какой-то другой Совдепией из-за Двинска, зачем вернулись после первого бегства в обреченную неприятелю Ригу и, главное, свезли обратно весь свой скарб, всё награбленное «награбленное»? Правда, многое станет ясным, если вспомнить реноме присяжного

поверенного Стучки в адвокатском сословии в Петрограде во времена не столь отдаленные. Он считался пятым с конца по уму.

Но долой сплетни! Я хочу вернуться к своей основной теме и запечатлеть все восточные черты, проявленные нашими недавними гастролерами. Лучшие из них были фанатичны.

У каждого варвара, у каждого дикаря свой божок, свой идол, которого то молят, а то стращают и подгоняют, смотря по обстоятельствам. Наши рижские молодцы, вслед за своими русскими хозяевами, верили в Мировую Революцию и мне до сих пор неясно, как она не произошла. К антантскому и немецкому пролетариату обращались с сердечной мольбой, с дружеским укором, с подмигиванием на Венгрию (берите с нее пример!), со словами «печали и гнева». Когда же всё это не помогало, мировую революцию делали здесь, по методу гоголевской гамбургской луны. Кто не помнит вечные забастовки в Глазго, демонстрации в Лионе, волнения даже в Севилье и Гренаде, где «живут, как известно, испанцы», которые, думается мне, еще очень далеки от большевиков.

Наряду с фанатизмом невольно бросается в глаза чисто азиатская жестокость этих калифов на час. О ней больно и тяжело писать, и траур, в который облеклись лучшие семьи в городе, слишком многое говорит пережившим.

А их, несомненно, восточное влечение ко всякой пышности, уличные процессии по любому поводу, будь то мертворожденная революция в Баварии или похороны никому неизвестного Пеннеса, их китайские пагоды на Эспланаде, набеленные столбы, вся эта кричащая и хвастливая пестрота – как не шла она нарядной европейской Риге.

Странное дело! Как истинные азиаты, большевики никого и ни в чем не старались убедить. Или уверуй сразу, или голову с плеч долой. Приходилось до поры да времени, «до немцев» уверовать, т. е. молчать, выражая на лице согласие и прочие добрые чувства. И мы научились молчать и мы дичали внешне и внутренно, а главное, теряли надежду.

Нас почти уверили, что монголы и монгольствующие действительно завладевают миром, что желтая опасность перестала быть опасностью и вылилась в московский Интернационал, что какой-нибудь ерундовый Бейка непобедим.

Но Бейку побили, незваных гостей спустили с лестницы, ex Oriente lux спрятался, и европейское начало торжествует. Еще легкие сдавлены желтой пылью, еще мозг заморочен желтой бранью тезисов Зиновьева,

еще в желудках монгольская пустыня Гоби, однако и это всё пройдет. Только трудно теперь, познавши все прелести монгольского пленения, примириться с тем, что пол-России в его цепкой власти.

Я сижу в тихой и скромной обстановке, я, поверьте, незлобный человек, однако, монгольщина отразилась и на мне в виде неудержимой жажды мести. Восточное поверье говорит, что нет более сладкого чувства у человека, и, кажется, оно право. Не я один заражен этой болезнью, порожденной законом дикаря или, что схоже, методом классовой борьбы. Не раз я слышал обывательские мнения по поводу большевистских превосходительств, весьма схожие с моими.

– Повесить безотлагательно.

– Сперва посадить на четвертую категорию, а потом повесить.

– Сперва повесить, а затем заставить извиниться перед Милюковым.

Не знаю, что вернее. Я невольно перехожу на более серьезный тон, и хочется бросить им те слова, которые в своем чванном, уже дважды мною процитированном «манифесте» бросили они:

Виновны ль мы, коль хрустнет ваш скелет
В тяжелых нежных наших лапах.

ПРОЩАЙ, ЛЮБОВЬ!
Фельетон

У меня характер неположительный, и я, с раскаяньем в душе, вношу легкомысленные ноты в общий строгий тон нашей серьезной рижской прессы. Что делать? Хочется взять отпуск от политики и заняться вопросами иного порядка, впрочем, тоже соприкасающимися с революциями, реакциями и войнами.

Я подойду к явлениям вчерашней, сегодняшней и завтрашней жизни с точки зрения влюбленного – не в героев современности, не в борьбу народов и классов или хотя бы в самые вздорные слухи (таких любителей развелось особенно много) – нет, просто влюбленного в женщину. Чем сейчас живет и дышит такой господин? Как отражается на нем наше безвременье?

Представьте себе: веселый месяц май (по-старому), сирень, прохладный ветерок, на небе, как полагается, днем – солнце, а ночью – луна и звезды. Из года в год, из поколения в поколение люди

при таких обстоятельствах влюбляются по всем правилам, указанным поэтами, художниками, а также теоретиками полового подбора.

Все мы знаем, что с зарождением чувства зарождаются и препятствия: естественные в виде холодности объекта любви, искусственные в виде родителей, далеких расстояний или безденежья. Так было во все времена, при всех режимах, одинаково в верхах и низах.

Но вот разразилась мировая война, и элемент разлуки покрыл собою всё остальное. Правда, внесены были всевозможные коррективы: к раненым приставили сестер милосердия и сиделок, набрали ударниц, а коммунисты так даже и девушек с ружьями (honny soit qui mal y pense). Не знаю, насколько помогли все эти меры. Думаю, что очень мало.

Хорошо или плохо, военная война кончилась, осталась гражданская война, да еще мирные переговоры и налаживающаяся мирная жизнь в далеком, недоступном для нас мире. Там, вероятно, и с любовью дело налаживается. У нас же в полосе гражданской войны с этим обстоит плохо.

Представляю себе день влюбленного. Утром собрался ехать на природу – хлопочи насчет разрешения. Пришел в умиленное состояние и хочешь поднести цветы, оказывается, твою любимую валюту не принимают, и надо менять деньги с чувствительной потерей на курсе, отчего страдает и качество букета. Наконец, вечер, чудный майский вечер, когда каждая аллея, в которой нет свидания, чувствует себя обиженной и осиротелой. И что же? Сиди дома, ибо осадное положение, и никак не выхлопотать Nachtausweis, а если и выхлопочешь, то с ним гулять всё равно не весело.

Я давно занят этой трагедией и придаю ей исключительно большое значение. Пусть не улыбается читатель, ибо я смотрю на данный вопрос вполне объективно, как моралист и, кроме того, сторонник продолжения рода человеческого. Подумал ли кто-нибудь, как это отразится на числе браков и рождений. Что будет с поэзией, музыкой, живописью, которые теряют свой источник вдохновения.

Не представляю себе, к каким ухищрениям в декамероновском вкусе прибегают теперь возлюбленные, чтобы видеться и больше, чем видеться. Или молодые люди, которым надлежит влюбиться, суживают деятельность до пределов своего дома. Не хочу также вникать в вопрос, как влияют на любовь партийные разногласия, как смотрят на возможность счастья своих детей либеральные Монтекки, сторонники блокады, и консервативные Капулетти, сторонники натиска. Я знаю

только, что с любовью обстоит плачевно, и только прочное водворение гражданского мира может спасти положение.

А там, где решаются судьбы государств, в далекой Версали тоже плачет любовь. Лига Народов – самый новомодный брачный институт – трещит по всем швам. Иным не дают пожениться, у иных забирают приданое, а одна итальянская красавица, обиженная своим заокеанским кавалером, даже убежала от возмущения.

ДВА НОЧНЫХ ПАРИЖСКИХ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Обманчивость успеха. – Артистический русский ресторан. – Пьяное «бистро». – Разговор с молодой незнакомкой. – Неожиданные большевицкие обольщения. – Случай на Елисейских Полях. – Полицейский протокол. – Новое разочарование.

Видимость успеха нередко обманчива. Вспоминаю два сравнительно недавних случая, когда мне на личном опыте пришлось особенно наглядно в этом убедиться.

Я как-то ужинал с приятелем в скромном русском «бистро», на Монмартре. Не буду называть его имени, известного большинству русских парижан, особенно среднего достатка и даже ниже, чем среднего. По замыслу устроителей там должны были собираться бесчисленные русские артисты, выступающие в ночных учреждениях Монмартра – ресторанах, дансингах, кабаре.

Такой ресторан, с гостями из русских ночных артистов, на Монмартре уже имеется. Артисты приходили после утомительных своих выступлений, усталые, но довольные и веселые, плотно закусив и выпив, ночью, иногда под утро начинали увеселять друг друга, пели, танцевали, садились за рояль. Покойный Саша Макаров чудесно высвистывал свои песенки. Гулеско, давний любимец петербуржцев, с виду мрачный и тяжело-грустный турок, очаровывал своей буквально говорящею скрипкой. Володя Поляков из московской знаменитой цыганской семьи, высокий, крепкий, чернобровый и белозубый, что-то постоянно напевал своим басом. Помню, меня удивило приветствие его закадычного приятеля цыганского танцора Юры Михайлова, легкого, быстрого, с неожиданной во рту коллекцией почерневших золотых

зубов, по-видимому, косвенным результатом какого-то жестокого столкновения. Приветствие это было: «Здравствуй, цыган – лошадь украл?» – и казалось непонятно, что так говорит именно цыган.

В этом ресторане, довольно благообразном, люди незаметно сидят до утра и со странно-непривычным чувством развертывают и читают утренние газеты. Но в том русском «бистро», в котором я со своим приятелем однажды ужинал, получилось совсем не так, как этого хотели его владельцы. Артисты приходили лишь изредка, компания сменялась каждый час, и шло беспробудное, неприятное, громкое пьянство.

В описываемый вечер мы с друзьями тоже немного выпили, и ужин, как говорится, затянулся далеко за полночь. Мои собутыльники, наговорившись вдоволь о политике, о литературе и о бессмысленных, с нашей точки зрения, французских нравах и обычаях, стали постепенно расходиться. Я, живущий на противоположном конце Парижа, поневоле должен был остаться и ждать утреннего метро; т. е. высидеть до половины шестого.

Я начал присматриваться к окружающим. Около меня была большая и многим известная компания грузинских князей, говоривших то по-грузински, то по-русски, сравнительно трезвая, во главе с патриархальным высоким седым господином, популярным в русских военных кругах. Напротив нас – очень близко, в узеньком ресторанном зале – сидели три русские дамы, две постарше, одна помоложе, неопределенной профессии и социального положения. Младшая была или представлялась совершенно пьяной. Тонкая, стройная, интересная, она проигрывала от недостаточной общей холености, от какой-то неаккуратности в одежде, от подчеркнуто вульгарных манер.

Вскоре старшие ее приятельницы ушли, и она начала в упор глядеть на моих соседей-грузин, занятых своими, ведшимися полушепотом, явно дискретными и серьезными разговорами. Неожиданно она подняла рюмку и громко сказала:

– За здоровье армянского народа!

Я плохо разбираюсь в отношениях между собой различных кавказских национальностей. Но тост вышел крайне неуместным. Мои соседи мрачно замолчали, и только белобородый патриархальный князь нравоучительно заметил:

– Среди всяких народов бывают хорошие люди.

Молодая дама тоже заметила, что сделана непоправимая ошибка, и перенесла всё свое внимание на меня.

– Вы кого-нибудь ждете?

– Нет, я буду один.

– Ну, тогда я к вам пересяду. Мне домой еще не хочется.

К такому головокружительному успеху я вовсе не привык. К тому же мне действительно предстояло до утра сидеть одному, и я оживленно разговорился с этой несколько загадочной новой знакомой.

Она спросила меня, не занимаюсь ли я делами. Я не обратил внимания на вопрос и ответил что-то неопределенное. Неожиданно моя собеседница вызвалась мне помочь:

– У меня отличные связи в банках. Я вам устрою кредит, конечно, не очень большой, и всякие льготы в смысле платежей. Напрасно вы мне не верите. Я могу сделать очень много.

Пришлось объяснить, что я литератор, назвать свое имя, которое было ей, разумеется, совершенно незнакомо. Но она задумалась и стала будто бы сосредоточенно припоминать:

– Ах, да, читала и помню. Вы пишете недурно. Скажите, как вы относитесь к советской власти?

Это было высказано как-то без всякой подготовки. Я растерянно пожал плечами, и, по-видимому, мое молчание было истолковано, как частичное одобрение.

– Вы, вероятно, пишете нейтрально. Я не зря спрашиваю: я могу вам быть полезна.

Меня всё больше интриговал наш неожиданный и странный разговор, и я решил поддакивать, соглашаться, просить на словах о чем угодно, чтобы выяснить, кто моя таинственная собеседница, мистификаторша или действительно советская агентша. До этого мне только приходилось слышать о подобных случаях уговаривания и выспрашиванья. Здесь же мне казалась непонятной, неоправданной смелость первого шага, и «работа» выходила какой-то топорной. Впрочем, я рассуждал, что ведь как-нибудь должны чекистские сыщики приступать к решительным разговорам и по моему мирному виду новая приятельница могла предполагать, что я если и не поддамся ее чарам, то, по крайней мере, не донесу в полицию. Единственное, что еще смущало, почему она выбрала именно меня, большевикам явно неизвестного и неинтересного. Но и это легко было объяснить ее опьянением, предыдущими неудачами, прошедшей впустую – для оплачиваемой сыщицкой работы – ночью.

Через полчаса я уже добился некоторого к себе доверия, и она ласково и обещающе меня приглашала:

– Приходите завтра днем, у меня будут жена Луначарского с сестрой и еще очень хорошенькие женщины. У меня бывает чрезвычайно весело, и, уверяю вас, вы не раскаетесь. А там мы поговорим и о субсидии, и о том, чтобы вам печататься в «Госиздате». Только – если вы действительно пишете нейтрально.

Она, несомненно, увлеклась и преувеличивала, но какая-то доля правды, какие-то возможности чувствовались в ее словах. Понемногу она протрезвела, однако, продолжала настаивать на своих уговорах и обещаниях, и так было велико внушенное мною доверие, что она позволила себя проводить и дала на прощание свою визитную карточку. Жила она в солидном буржуазном доме, у одной из парижских застав, а на карточке значилось: «мадам Мари де Зуева». Я не явился к ней на прием и, по русско-интеллигентской дряблости (как она и рассчитывала), не донес на нее в полицию. Через несколько месяцев я узнал, что «Мариша Зуева» действительно существует, что она неразлучная подруга свояченицы Луначарского и что после неудачных попыток втереться в состоятельную эмигрантскую среду, она себя показала уже нескрываемою большевичкою.

*

Другой случай кажущегося успеха быстро превратился в нечто совсем другое, произошел также в Париже, но вначале казался еще более романтическим. Я однажды вечером куда-то спешил по «улице Елисейских Полей» и вдруг чуть ли не вплотную ко мне – я шел по краю тротуара – подъехал элегантный двухместный «Ситроен» и остановился. В нем сидели две дамы, хорошенькие, молодые или моложавые и на первый взгляд прекрасно одетые. Одна из них, та, что сидела за рулем, неожиданно ко мне обратилась:

– Мосье, нет ли у вас спичек.

К сожалению, спичек у меня не было, но красивую автомобилистку это не смутило и она спросила, который час, явно решив вступить со мною в разговор. Я ответил, что половина двенадцатого.

– Куда же вы направляетесь так поздно?

– Я хотел посидеть в каком-нибудь кафе.

– Но в кафе скучно. Поедемте куда-нибудь лучше. Садитесь между нами, мы с подругой немного потеснимся.

Я подумал о финансовом потрясении, которое может у меня вызвать такая поездка и попробовал откровенно в этом признаться:

– Поймите меня – я не американец.

Произошла легкая заминка, но обе дамы настаивали на своем и несколько неопределенно приглашали меня к себе. Мне поневоле представлялось, что вот начинается необыкновенное «шикарное приключение» – автомобиль, таинственные незнакомки – все то, что описывается в иных романах и чего не бывает в действительной жизни. Сладкие мои мечтания прервала весьма прозаическая подробность: около нас стоял полицейский – не знаю, откуда он появился – и уже собиралась толпа. Полицейский был самый обыкновенный – честный, усатый и добродушный, но допрашивал он с некоторой строгостью:

– Мадам, зачем вы обратились к этому господину?

– Он наш хороший знакомый.

– А как его фамилия?

Дамы недовольно промолчали. В публике засмеялись. Я тоже не мог объяснить, как фамилия новых моих знакомых, и все-таки попытался их и себя выгородить:

– Дамы просили у меня спички и хотели узнать который час, и, уверяю вас, мы больше ни о чем не говорили.

– Ну, да, да, это старо – всегда «спички» и всегда «который час». Мадам, покажите ваши документы.

На обеих женщин был составлен протокол. Я с ужасом думал, вот втянулся в дурацкую и даже непонятную историю, что у меня иностранный паспорт, что расправа коротка – возьмут и вышлют из Франции. Сознание безысходности и несправедливости совершенно меня подавляло. Между тем дамы, не попрощавшись, обозленные, резко-быстро отъехали. Я тоскливо ожидал, что сейчас и меня «запротоколят», но против ожидания, всё обошлось благополучно.

– Можете идти, вы мне более не нужны.

Тогда я осмелел и сам начал расспрашивать о причине строгости с бедными женщинами.

– Да они зарегистрированы у нас, а в Париже запрещается заниматься этой профессией в автомобиле и подъезжать и приставать к пешеходам. Поверьте, на них составлен далеко не первый и не последний протокол.

Так печально кончилось это мое «шикарное приключение», столь же неприятное для самолюбия, как и «приключение большевицкое», и, пожалуй, не менее поучительное.

КОРОЛИ ПАРИЖСКОЙ БИРЖИ И ЕЕ ЖЕРТВЫ

Парижане – поголовные игроки. – Магнаты биржи. – Конституция Ротшильдов. – Шум и толкотня на парижской бирже. – Сплошной картеж. – Сеансы одновременной игры. – Знакомство с Устриком. – Его борьба с крупными банками. – Попытка сблизиться с крупным немецким концерном. – Неудачное свидание.

Большинство французов, особенно парижан, очень азартные люди, и это, кажется, вопреки общему мнению, единственное у них отступление от чрезмерного житейского благоразумия. Как известно, чуть ли не все они поголовно копят деньги, но скопив, не держат их без всякого приложения в банке или сберегательной кассе, а ищут – хотя бы для части этих денег – «своих путей», нередко через биржу и через самые рискованные операции, к которым относятся сосредоточенно и серьезно.

Я знал одну очаровательную парижанку, веселую, милую и кокетливую. Про нее муж говорил, что пять раз в неделю она чуть ли не после обеда (по-нашему – ужина) ложится в кровать и, надев огромные роговые очки, изучает вечернюю биржевую газету, а утром, едва проснувшись, уже читает утренние сведения. Муж галантно прибавляет:

– У нее собственный счет у биржевого маклера, и я, конечно, не вмешиваюсь в ее дела. Кстати, она играет удачнее меня.

У нас также была кухарка, сварливая, старая бретонка, которая в дни падений и крахов так готовила, что ни к чему нельзя было прикоснуться. Упрекнуть ее тоже казалось невозможным. Ее бесцветные голубые глаза выражали молчаливый отпор и надежду, что все-таки мы поймем горестное ее состояние. Правда, в дни повышений, всё более редкие, она кормила на славу и бывала чрезвычайно изобретательной.

Средоточие всей этой азартной силы, захватывающей едва ли не всю столицу и, вероятно, половину страны – прославленная Парижская Биржа, которую туристы посещают столь же усердно, как Пантеон и Эйфелеву башню и на которой в свое время были сделаны величайшие европейские состояния и в первую очередь среди них – ротшильдовское.

Между прочим, теперь эти магнаты уже не «играют» в вульгарном смысле этого слова. Огромное имущество Ротшильдов, неделимое (не считая приданых ротшильдовским девицам – и довольно завидных, но ничтожных по сравнению со всей остальной наследственной «массой») и управляемое по какой-то старинной негласной конституции, разумеется, давит на биржу и «ведет» некоторые, важнейшие бумаги. Но здесь всё предусмотрено, известно наперед, и элемент неожиданности почти отсутствует. Перед войной один из молодых Ротшильдов вздумал играть за собственный счет и проиграл довольно основательно. Другому бы не сдобровать, но за него заплатили что-то около сотни миллионов и отправили его путешествовать. Вернулся он излеченным от биржевой болезни.

Трудно себе представить тот непрерывный шум и вой, который подымается на парижской бирже за несколько минут до половины первого и длится приблизительно два часа. Это внутри и снаружи – в кулисе продавцы и покупатели акций, представители банковских и маклерских домов выкрикивают курсы и предлагают свои бумаги. Взмах карандаша – и предложение принято и оба контрагента что-то быстро записывают в свои книжечки. Степень взаимного понимания доведена до предела, и если всё же бывают иные недоразумения, то лишь от недобросовестности, нередко вполне откровенной и даже издевающейся.

В сущности, вся парижская большая биржа – соединение множества отдельных бирж, на каждой из которых котируются пятнадцать-двадцать однородных бумаг. Курсы тех бумаг, что котируются внутри биржевого здания, немедленно изображаются электрическими буквами на особых высоких, отовсюду видных досках. Поручения для тех или иных сделок пишутся на специальных листках, которые разносятся бесчисленными хулиганистыми мальчишками. Многие из таких мальчишек, с детства приученные к игре и к использованию клиентов, впоследствии «выходят в люди» и делают карьеры самые неожиданные, но пока до карьеры они составляют бич парижской да и всякой биржи, всегда мчатся куда-то густой, ничем не останавливаемой толпой, и в голову им не приходит вас посторониться или обойти. Из-за них толкотня на бирже невообразимая. Притом еще новичку – а новичка сразу узнают каким-то непонятным образом – просто не дают проходу. С него сбивают шляпу, его уверяют, что он чей-то однополчанин и должен товарищей угостить, его ругают хладнокровно и нередко остроумно.

Вокруг биржи в бесчисленных прилегающих кафе сидят владельцы биржевых контор, мелкие маклера и постоянные профессиональные игроки. Среди последних двух категорий много русских, в прошлом самого разнообразного социального положения: имеются москвичи, петербургские купцы-гостинодворцы, помещики, гвардейские офицеры. Биржевиков дореволюционных между ними сравнительно мало. Большинство жалуется и, судя по разговорам, живется им неважно и профессия выбрана неудачная. Не менее их жалуются греки, румыны, турецкие армяне, которых тоже не перечесть. Один как раз удачливый игрок, в прошлом блестящий гвардеец, смеясь, объяснял мне свою тактику:

– Сперва я советуюсь с нашими русскими, затем с греками и румынами, а потом поступаю наоборот.

Свежий человек, который попадает в такое кафе, будет поражен одним странным явлением: в ожидании биржевых курсов буквально все посетители играют в карты. Прежде играли в «белот», введенный в моду знаменитой «мюзикхольной этуалью» Мистенгет. Теперь в этих кафе, как и повсюду, в моде единственно бридж, игра коммерческая, спокойная, разрешенная полицией. Но играют здесь крупно, азартно, по особой, прямо разбойничьей записи, и так увлекаются, что многие, рассеянно просмотрев последние биржевые курсы, которые их разоряют или обогащают, тут же сердятся на партнера из-за ерундовой ошибки, кричат, выходят из себя.

Эти люди настолько отравлены азартом, что им всегда нужно ощущение игры – и притом двойной или тройной. Я знал одного старого парижского биржевика, полуфранцуза, полувенца, элегантного, умного и ловкого, который без игры тотчас же начинал киснуть. Он придумал такое развлечение: в часы относительного делового затишья он приглашал «на гастроли» в свою контору хозяев и служащих из соседних контор. Служащие играли между собой в «белот», а он сам и хозяева крупно «ставили» на своих служащих и, кроме того, еще крупно играли между собой. Само собой разумеется, у каждого из них были купленные и запроданные бумаги, заключенные пари относительно ближайших скачек, и каждый из них, таким образом, сразу азартничал в нескольких разнообразных направлениях, как шахматист, дающий сеансы одновременной игры с двадцатью противниками. Когда в шесть часов конторы закрывались, мой приятель направлялся в хорошо известный стольким русским полушикарный карточный клуб – «Серкль Осман» – и буквально бежал по улице.

Вся эта «деятельность» кончилась для него плохо, несмотря на его ловкость и проницательность: он в короткое время «проел» собственное состояние, приданое жены, наследство очень богатого брата, но и сейчас он не унывает, ищет и находит какие-то посторонние бумаги, дела, и заработанные путем головоломных комбинаций деньги торопится спустить на бирже, на скачках или в клубе.

*

Сейчас много говорят о крахе Устрика и связанных с ним банков. Мне как-то пришлось с ним познакомиться, и несколько ближе я знал кое-кого из его соратников и друзей. Устрик не был бессмысленно-слепым игроком, как те, кого я только что описывал, но не был низкопробным спекулянтом, каким его изображают газеты. Он в течение десяти лет являлся центром влиятельной международной группы, желавшей не играть и не спекулировать, а властвовать на бирже, вести за собой биржу, как это делают Ротшильды, Лазары и Варбурги. Цель была слишком высока, слишком недостижима, и Устрика убили не сумасшедшие рискованные операции, а те самые с мировым именем, старые крупные банки, которым он хотел быть и становился равным.

Борьбу с Устриком, спекуляцию на понижение принадлежавших ему ценностей можно было видеть на бирже совсем наглядно: предлагали его бумаги, сколько бы их ни брали, всякие «Ольфра», «Эустансион», «Пежо», «Бланшиссери де Таон», изо дня в день, по всё более пониженным ценам, одни и те же таинственные люди, и после каждой новой сделки бумаги предлагали всё дешевле. Борьба происходила неравная и Устрик наконец не выдержал.

Но я помню его в более счастливые времена. Ему однажды предстояло принять представителя огромного немецкого концерна, и меня вызвали в качестве переводчика. Немец был, конечно, «Herr Doktor», сухощавый, косоглазый брюнет спортсменского типа, моложавый для своих тридцати восьми лет, даже несколько мальчишеского вида. У него было странное для немца свойство – опаздывать не на десять-пятнадцать минут, как иногда опаздывают в Европе, а на добрых полчаса или даже на час, как обычно опаздывают в России, и всё это почти без извинения, с какой-то уверенностью в своей правоте.

И в данном случае он опаздывал: какие-то заинтересованные в свидании лица, обиженные, уходили, другие, еще более заинтересован-

ные и свидание устроившие, терпеливо ждали и уговаривали Устрика не обижаться. Через три четверти часа после назначенного времени доктор М. появился, как всегда, спокойный и хладнокровный:

– С этим сложным парижским сообщением никуда вовремя не попадешь.

Устрик решил невежливого немца наказать. Надо объяснить, что он – южанин, марселец (Марсель и в смысле анекдотов и в смысле произношения нечто вроде нашей Одессы), и что, как многие южане, он любит порисоваться и поактерствовать! Он принял доктора М. в своем огромном деловом кабинете, похожем на дамский будуар, с коврами, с мягкой мебелью, с голыми белокурыми красавицами знаменитого японского художника Фужита. Устрик, холеный, тщательно, чуть-чуть фатовски одетый, сидел с утомленным видом, наполовину скрываемый грудой каких-то «досье».

Переводить мне почти не пришлось. Оба собеседника молчали, к огорчению людей, устроивших эту встречу. Каждый из них двоих ждал, что другой «сдастся» и выскажется первый. Неловкое, презрительно-молчаливое свидание длилось недолго. Когда мы уходили, немец как бы вскользь мне сказал:

– Wissen Sie, der Kerl ist nicht solide.

Я с удивлением вспоминаю эти его слова. В то время Устрик был на самой вершине успеха и на бирже являлся наиболее действенной, наиболее заметной силой.

ИЗ-ЗА ОДНОЙ ВИЗЫ

Конец двадцать третьего года – строгости, визы, тяга русских в Париж. – Моя поездка из Берлина, благополучное начало. – Недоразумение с бельгийскими жандармами. – Вынужденный донос. – Ночное путешествие через оккупированную область. – Пересадка, драка в пивной. – Трир и Тионвиль. – Наконец «прекрасная Франция».

Несмотря на то, что в наше время существует два социалистических «интернационала» и буржуазная Лига Наций, стремящиеся как-то объединить мир, никогда еще перегородки, существующие между отдельными государствами, не были столь крепкими и столь

трудно преодолимыми. Правда, незаметно и постепенно происходит какое-то их смягчение, кое-где гражданам дружеских стран легче представляются или же для них вовсе уничтожаются визы, не так строго осматривается багаж, сравнительно просто увеличивается срок пребывания в данной стране.

Но это еще самое начало улучшений, почти не коснувшееся незадачливых, вроде меня, «нансеновцев». И все-таки семь лет тому назад было значительно хуже, и каждое путешествие напоминало поездку через фронт или открытие новых земель: всё, что встречалось, дышало враждой к путешественнику, всюду скрывалась таинственная опасность. Об одной такой, впрочем, исключительно неудачной поездке, совершенной семь лет тому назад, в самый разгар строгостей и запрещений, я хочу подробнее рассказать. В этой истории есть и смешная сторона и поучительная для нашего времени мораль.

То были годы общерусской тяги в Париж. Соблазненные возможностью устроиться, отовсюду съезжались русские беженцы – из Болгарии, из Югославии, из Германии. Никто еще не подозревал, что в ближайшем будущем Париж завоюют русские рестораторы, шоферы и портнихи, которые тогда и сами не подозревали о своем призвании.

Поддаваясь массовому гипнозу, один мой приятель и я решили перебраться из Берлина в Париж. Из нас двоих он был человек методический, а я рассеянный, и потому он взялся всё привести в порядок – визы, билеты, плацкарты. Он даже уложил вещи в моем чемодане, и я отправился как бы «на всем готовом».

Тогда не только порядки, но и самая картина мира была несколько иной, чем теперь.

Рурскую область занимали союзники, в Кельне на каждом шагу попадались английские офицеры. В Кельне же у нас появилась французская поездная прислуга, и уютный «шпейзевагон» сменился более шикарным – международным.

У немцев было время голода и экономии. Если вы специально не заказывали «доппельтцукер», вам давали к кофе ровно один кусок сахару, и я помню, меня в международном вагоне-ресторане поразила именно сахарница, из которой разрешалось брать сколько угодно сахару. Вообще, подача была быстрая, «гарсон» приветливый и толковый, публика нарядная, и мы с приятелем предвкушали удачную поездку и очаровательную жизнь во Франции. К тому же мы выехали сразу после рождественских праздников, и кто-то нам сказал, что в Париже – это самое веселое время.

Вышло не совем так, как мы готовились и ожидали, и всё произошло из-за причины совсем неважной. На бельгийско-немецкой границе, в Аахене, который бельгийцы и французы весьма непохоже называют «Экс-Ля-Шапелль», к нам подошли бельгийские жандармы и попросили паспорта. Мой приятель задумался и стал серьезным. Затем он со стыдом лишь признался:

– Знаешь, мне говорили, что бельгийскую транзитную визу можно получить в вагоне, и у нас обоих ее нет.

Я, в свою очередь, тоже сделался серьезным и объяснил жандармам наше положение. Они осмотрели наши паспорта и решительно заявили, что дальше пропустить не могут. Как ни странно, теперь установился порядок, указанный моим приятелем и визы ставятся прямо в вагоне, но тогда это было иначе или к «нансеновцам» это не относилось. Мы оба взмолились – что же делать? Один из жандармов посмотрел на часы.

– Попробуйте сбегать в бельгийское консульство. Поезд простоит, по крайней мере, полчаса.

Мы решили, что я побегу, а мой приятель останется с вещами, и какая-то надежда снова у нас появилась.

Консульство оказалось недалеко от вокзала, дежурный чиновник принимал посетителей, которые стали в очередь – довольно внушительную. Я объяснил тем, кто уже стояли близко к заветным дверям, что тороплюсь на поезд, что мне надо скорее получить визу, чем каждому из них, но особого сочувствия не встретил, а проходивший мимо служитель консульства еще прикрикнул и поставил на последнее место. На все мои объяснения он односложно ответил:

– Успеете!

Я почему-то решил, что многие из публики едут с этим же самым поездом и, видя, что они не торопятся, успокоился и стал терпеливо ожидать. Мой черед, наконец, пришел. В визе нам было решительно отказано и разъяснено, что мы можем ее получить только в Берлине. Когда я с этим веселым известием подбегал к вокзалу, от него на всех парах удалялся наш поезд.

Я остался один, на пограничной станции с двумя паспортами, без билетов, без денег и без вещей. Всем этим заведывал мой приятель и всё это он, несомненно, увез с собой. Я быстро рассчитал, что и ему со всеми вещами, деньгами и билетами, но без паспортов, нисколько не лучше, чем мне, и что нам необходимо друг друга найти.

Я некоторое время ходил по перрону и обдумывал, как ему дать обо мне знать. Казалось, что выхода нет, что лишь при счастливой случайности мы можем с ним «встретиться», как вдруг меня осенила неожиданная и, пожалуй, необыкновенная мысль. Не раздумывая долго, я твердыми шагами направился к указанному мне домику жандармского унтер-офицера и сделал на своего приятеля самый настоящий донос: – Должен вам сообщить, что господин такой-то по недоразумению переехал границу без визы и без паспорта. Потрудитесь его переправить обратно с ближайшим поездом.

Правда, я привел смягчающие обстоятельства, что его паспорт у меня и что мой приятель думал, будто визу я получил и еду в другом вагоне. Унтер-офицер, как полагается, рослый и усатый, угрюмо меня выслушал и позвонил по телефону на бельгийскую сторону в Эрбесталь и вскоре мне сообщил, что господин такой-то уже задержан и через два часа прибудет в Аахен. Мне оставалось терпеливо ждать, ознакомиться с Аахеном и пообедать. К сожалению, погода стояла несносная, город под проливным дождем показался малопривлекательным, а для обеда время было неурочное, в немногочисленных ресторанах что-то скребли, терли и только накрывали на стол и поесть ничего не дали.

Мой приятель вернулся удивленный и несколько недовольный. Он считал, что «проскочил» и совсем забыл о бельгийско-французской границе. Мы устроили военный совет – как быть дальше, не возвращаться же нам из-за таких пустяков в Берлин. Кассирша, которой мы объяснили наше положение, решила, что самое правильное для нас ехать через Трир к Тионвилю, где Германия непосредственно соприкасается с Францией и где бельгийская виза, следовательно, не нужна.

Вспомнилась гимназия, уроки истории. Когда-то мы что-то зубрили про архиепископа Трирского. Теперь эти книжные города воплощались в жизни.

Чрезвычайно любезная кассирша долго изучала расписание поездов и, наконец, нас утешила.

– У вас будет крайне неудобная поездка, с четырьмя пересадками и везде вам придется по часу или больше ждать. Вы поедете к вечеру и попадете в Трир лишь завтра утром.

Нам пришлось послушаться ее совета. Другого выхода у нас не было. Вскоре началась самая тяжелая часть нашего путешествия. Мы сели в какой-то поезд, похожий на дачный, совершенно пустой и холодный. Затем пошли пересадки и другие поезда, которые были

пустые, как первый, или же наполненные бельгийскими и французскими солдатами. Мы вместе с ними спали на неудобных деревянных скамьях.

Еще вечером мы застряли на два часа в небольшом городе Дюрет и догадались пойти в кинематограф. Не помню, в каком другом городе мы просидели полтора часа в пивной и оказались свидетелями скандала, едва не перешедшего в драку. Разгулялись солдаты с местными молодыми людьми из-за женщин, ради которых, на мой взгляд, не стоило бы особенно ссориться. Они сидели у стойки, пили пиво и безучастно смотрели на затевавшийся из-за них скандал – немолодые, накрашенные, в достаточной степени нечистоплотные.

Впрочем, до драки не дошло, и всю ссору и препирательства мгновенно и незаметно потушило чье-то своевременное предупреждение. Вообще создавалось впечатление, что порядки в занятых областях строгие, и оккупация – по крайней мере, тогда – чувствовалась на каждом шагу. На вокзалах, на улицах расхаживали патрули, солдаты и офицеры, несмотря на позднее время, всюду встречались без числа. Мы двинулись дальше, и опять началась тряска в дачных поездах и скучные ночные пересадки, с бесконечным ожиданием на каких-то захолустных станциях.

Разбитые, мы приехали утром в Трир и, узнав, что у нас еще свободных несколько часов, не стали осматривать достопримечательности исторического города, а взяли комнату в гостинице с латинским замысловато-поэтическим названием, легли спать и крепко заснули.

Немного подбодрившись, мы отправились в путь и благополучно перебрались через французскую границу. При нашем уже ясно обозначившемся невезении, обстоятельства так сложились, что нам пришлось чуть ли не до вечера застрять в маленьком эльзасском городке Тионвиль, где уже должны были попасть в парижский поезд.

Мы обошли город вдоль и поперек и себя уговаривали, что наконец-то находимся в «прекрасной Франции», что здесь всё иное, необыкновенное и волнующее. Но город был провинциальный, грязный, размытый дождями. Единственное, что запомнилось, – сравнительно многоводная темная река и на низком берегу, недалеко от моста, мраморная, если не ошибаюсь, доска, с трогательной надписью «Ла Мозель», как будто «Ла Мозель» нуждалась в вывеске или в том, чтобы быть представленной.

Еще запомнился здоровый, вкусный обед в загородном домике, по-видимому, являвшемся «харчевней» или по-французски «оберж».

Обед при нас же сварила добродушная толстая хозяйка и немного сердилась, что мы угощаем и без того откормленного огромного кота. Привел нас в эту «оберж» молодой француз, к которому мы обратились на улице и который решительно заявил, что все остальные рестораны в городе принадлежат «бошам».

Вспоминаю, как за последние годы буквально на глазах исчезло это презрительное слово «бош», оставшееся после войны в Европе, но во всяком случае, можно сказать, что отношение французов к немцам в корне переменилось и что к некоторым бывшим союзникам они относятся гораздо хуже.

Мы сели в поезд – для нас уже самый последний – и вскоре проехали через Верден, но в темноте ничего не различили, и только имя его напоминало о совсем недавнем кровопролитии. Поезд нас уже безостановочно нес к долгожданному загадочному Парижу. Это было как раз накануне Нового года.

АНКЕТЫ
И АВТОБИОГРАФИЯ

САМОЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПОСЛЕДНЕГО ПЯТИЛЕТИЯ

В истории каждой литературы бывают периоды, когда один писатель, одно произведение резко возвышаются над остальными. Трудно судить о современности, но мне кажется, что в теперешней русской литературе неплохой уровень, а блистательных исключений нет. Имею в виду не средний уровень литературной грамотности, а тех нескольких, каждому известных эмигрантских и советских писателей, которые по заслугам признаны и критикой и публикой.

Но для меня выбрать, выделить кого-либо из них, дело нелегкое и, быть может, несправедливое. Если же говорить о людях, выступивших в последние годы и себе имени еще не сделавших, то среди них замечательным явлением мне представляется Шаршун.

Помещенные в «Числах» отрывки из его романов «Долголиков» и «Путь правый», на мой взгляд, просто поражают силой голоса, каким-то мученическим напряжением, от которого мы давно отвыкли. К сожалению, эти романы полностью нигде не напечатаны. Предвижу упреки в литературном снобизме, но верю также, что найду единомышленников.

ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ О ЛЕНИНЕ?

Что сказать о личности и о стиле Ленина? Через весь автоматизм, через всю одержимость условными формулами и верованиями пробивается какая-то человеческая, необыкновенно грубая сила и страсть, какое-то практически-хитрое и однако не лишенное своеобразного вдохновения упорство. Его пафос – путь к добру, как он понимает добро, через любое зло – пафос фанатиков, инквизиторов, иезуитов. И лишний раз поражают эти, свойственные фанатикам огромнейшего полета и мелким маньякам, расчетливость, гибкость, чутье, неизменно им помогающие в достижении намеченной цели.

Деятельность Ленина часто сравнивают с деятельностью Петра Великого. На мой взгляд, эти люди на редкость друг другу противоположны. Петр собственными глазами видел ту европейскую жизнь, которая ему казалась лучше и выше русской и которую он хотел в

России ввести. Он олицетворение национальной и личной скромности, «первый западник», явный предшественник Пушкина и Чаадаева. Ленин пытался изменить, перевернуть весь русский быт по выдуманным книжным теориям, чужим и своим, и верил, будто Россия укажет миру новые пути и по ней мир перестроится. Большей национальной и личной самонадеянности представить себе нельзя.

ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО

Вопрос о личности и обществе поставлен сейчас самой жизнью с небывалой остротой. Не будет преувеличением сказать, что от того или иного разрешения его зависит будущее европейской культуры.

Эмиграция в борьбе с советской идеологией отстаивает свое толкование этого вопроса. Но по традиции стоя «за личность» и за ее незыблемые, верховные права, она, кажется, не всегда отдает себе отчет, какие существуют основания для этого взгляда... Эмоции нередко играют ту роль, которая принадлежит исключительно разуму. Особенно относится это к нашей молодежи всех направлений и толков.

Редакция «Встреч» нашла интересным обратиться к четырем даровитым молодым эмигрантским писателям с просьбой высказаться по данному вопросу. Она принимает ответственность лишь за свидетельство или показательную ценность присланных ответов, а никак не за самые взгляды и их развитие.

Анкета будет продолжена в следующих номерах «Встреч».

Ред.

Какая странная судьба выпала людям нашего времени – с удивлением видеть, как в одном государстве за другим разрушается строй, оберегающий личность и свободу, уступая место режиму диктаторов и рабов. Самое удивительное, что эти революции производятся и поддерживаются самими народами, как будто им опротивела свобода и страстно хочется быть порабощенными. Те из нас, кто еще сохранили необходимое душевное равновесие, кто не растерялись, не проклинают, не слишком радуются, у тех невольно появился огромный, своеобразный «революционный опыт». Он помогает отчетливо разобраться не только в смысле теперешних переворотов, но и множества прежних, столь заманчиво изображенных слишком абстрактными, «кабинетными» учеными.

Мы, люди страшного, переходного времени, отлично знаем, что всякая революция меньше всего – «во имя чего-то», и главным образом – «против кого-то», и что ее положительный идеал бледнее, слабее отрицательного – «священной ненависти». Мы также знаем, как революции возникают – накопление страданий до отказа, до взрыва. То человеческое отчаяние, которое у единиц превращается в любовь, терпимость и жалость, у масс неизбежно вырождается в ненависть к действительным или воображаемым «виновникам», в жажду истребления и мести. Массы готовы чем угодно пожертвовать – свободой, благосостоянием, нередко и жизнью – лишь бы кого-то беспощадно покарать.

Мы знаем теперь, каков «пореволюционный коллектив» и откуда в нем жертвенная, неподдельная дисциплина: эта солидарность именно в ненависти и мести. Кажущееся братство – для избранных, для «своих» и прикрывает общую злобу к общим врагам. Меняется облик этих врагов – буржуи, инородцы, рабочие, марксисты, – но самый дух злобы остается неизменным: уничтожить, прогнать всех тех, кому «живется лучше, чем нам», или упрощеннее – тех, кто «не мы». И еще одно поразительное наблюдение: страдания от революций не уменьшаются, они скорее даже усиливаются, но их годами почти не замечают в опьянении удавшейся мести. Когда наступает разочарование, их высказать никак уже нельзя, уже властвуют цензура и полиция, уже революция выдвинула очередную правящую клику, себя защищающую «железом и кровью».

Мы все загипнотизированы настоящим, и нам может казаться, что диктатуры – надолго, навсегда, что наша эпоха создает новые государственные формы, что поглощение личности коллективом есть достижение, которое надо приветствовать, что страны, оставшиеся либерально-правовыми, устарели и должны многое нагнать. Действительно, сейчас для каждого ясно и несомненно – идея силы вытесняет идею свободы, в ней больший престиж, большая притягательность и настойчивость. Но разве победитель не бывает неправ, разве каждая победа незыблемо прочна? Если бездействует наше воображение, то хоть память должна нам доказать, что рушится самая безграничная власть, что всякая внешняя и внутренняя эмиграция всегда доживала до своего торжества или, по крайней мере, его прозревала. Свободомыслие и народолюбие, свойства истинных, не-«шкурных» эмиграций, неотъемлемо вошли в человеческие сознания, сохранились и поныне в лучших сердцах. Горько и страшно возрождение рабства, однако,

оно только мрачный «зигзаг истории», и его противники вовсе не жалкие эпигоны, а чем дальше, тем бесспорнее – предтечи реального будущего. И тот же «зигзаг истории» им стремительно помогает: мы знаем, как увеличиваются вожделения тирании, как она ненасытна, как неизбежно «зарывается» и, вовлеченная в авантюры, «расшибает себе лоб». Конечно, это не уменьшает трагичности настоящего.

Предыдущие строки достаточно уясняют мое отношение к личности и коллективу. Я думаю, личность надо отстаивать против любых на нее посягательств – государства, толпы, корпораций и «вождей» – и верю в конечную ее победу.

В судьбе, в унижениях личности, поглощаемой коллективом, есть одна особо-трагическая деталь – положение творческого человека. Стефан Цвейг недавно писал, что от пафоса французской революции, от пореволюционной диктатуры Наполеона осталось крохотное творческое наследие – «Марсельеза», и больше ничего. По его мнению, иначе и не бывает там, где нет свободы, где действуют принуждение и «заказ». Между тем гибель творческой личности имеет безмерное социальное значение: без новаторов в любых областях мы были бы духовно и материально в «пещерном веке». И в государствах, где новые ценности не создаются, пещерный век наглядно возвращается – не только духовно, а также и материально. Таковы современная Россия и Германия: ведь нельзя же новыми ценностями считать пятилетку и «очищение расы». Если правда, что в мире господствует классовая борьба, то у людей творческого склада должен был бы возникнуть свой «классовый подход» к революции, диктатуре и коллективу. Он, в сущности, не раз уже обнаруживался, хотя бы во времена Шатобриана и Гете. Гетевский страх перед всякими потрясениями, это – вечная мольба творческого человека, взывающего к варварской, наглой толпе: «Noli tangere circulos meos». В такой мольбе, в таком печальном и гневном окрике проявляется, конечно, безудержный эгоизм, но отчасти и праведный социальный инстинкт: для кого творческие усилия? – для той же толпы.

Мне представляется – хотя и в меньшей степени – эгоистическим и то очарование, которому поддается поэт, воспринимающий революционную стихию (блоковское – «слушайте музыку революции»): в этом нет ни жалости к судьбам людей, ни желания вникнуть в живую конкретность. Вольтер когда-то восхищался творческим подвигом бесчисленных поколений, вопреки непрестанному ужасу стольких внешних и внутренних войн. Быть может, упрямое творчество «во-

преки» – единственный достойный отпор сопротивляющейся личности работам и рабам.

ЮРИЙ ФЕЛЬЗЕН
АВТОБИОГРАФИЯ

Моя настоящая фамилия – Фрейденштейн, Николай Бернардович. Родился в Петербурге в 1894 году, в семье врача. Там же окончил гимназию и в 1916 г. университет по юридическому факультету – без малейшего к этому призвания. В 1917 был в Михайловском артиллерийском училище, в октябре 1918 г. перебрался в Ригу, где пробыл до 1923. После нескольких месяцев в Берлине окончательно переехал в Париж. Занимаюсь самостоятельными делами. Писать и печататься начал поздно – тридцати двух лет.

БИБЛИОГРАФИЯ

«Отражение», рассказ, декабрь		«Звено»	1926.
«Опыт»	– // –	– // –	1927.
«Жертва»	– // –	– // –	– // –
«Мечтатель»	– // –	«Дни»	– // –
«Две судьбы»	– // –	«Новый Корабль»	1928.
«Неравенство», повесть, «Числа»			1929.
«Обман», роман, изд. Поволоцкого			1930.
«Счастье»	– // –	«Парабола»	1932.
«Письма о Лермонтове» «Числа» № 4 и № 7–8.			

1. а) Не знаю, к какому течению себя причислить. Хотел бы принадлежать к той школе, которую Сергей Шаршун называет «магическим реализмом» и которая для меня является неким неоромантизмом, возвышением личности и любви, противопоставленными большевистскому огрубению и растворению в коллективе.

б) предпочитаю критику психологическую, вдохновляемую тоном и человеческой сутью писателя.

в) критика формы, фабулы и стиля для меня всегда вспомогательная и как бы проверяющая первоначальное впечатление от человеческого облика писателя.

2. Разумеется, критик должен быть строг и стремиться к справедливости. Дружеская и благожелательная критика не нужна, т. к. «ценность» данного писателя рано или поздно скажется. Увы, на правду осудительную обижаются и «умные люди».

3. Взгляд Пушкина является немного «маниловщиной», ибо ни один критик не отрешится от собственных законов и не усвоит законов, установленных автором «над самим собой».

ПРИМЕЧАНИЯ

ПРОБУЖДЕНИЕ

Впервые – Современные записки. 1933. № 53. С. 146-73.
Печатается по данной публикации.

Рассказом «Пробуждение» открывается сотрудничество Фельзена в самом престижном толстом журнале русского зарубежья, куда модернисты младшего поколения пробивались медленно и с трудом. Появление имени Фельзена в списке сотрудников «Современных записок» было значимым событием как в творческой жизни самого автора, так и в истории эстетически консервативного органа, ориентировавшегося на художественные вкусы литературных «отцов». Двумя годами ранее Георгий Адамович писал: «А вот чтобы в “Современных записках” появились “Письма о Лермонтове” Юрия Фельзена, или отрывки из “Пути правого” Шаршуна, правду сказать, представляется маловероятным. До сих пор, по крайней мере, вещей такого склада и рода в старейшем из эмигрантских журналов не появлялось. Отмечаю это без желания в чем-либо упрекнуть редакцию “Современных записок”: литературный консерватизм – дело почтенное, нужное, в наши дни особенно» («Числа». Книга четвертая // Последние новости. 1931. № 3614. С. 5).

Однако в своем разборе пятьдесят третьей книги «Современных записок» Георий Адамович очень сдержанно отозвался о рассказе Фельзена, уделив ему всего несколько строк. Суть его отзыва заключалась в том, что этот рассказ требует «чтения внимательного и медленного <...> Кто на этот труд отважится, будет вознагражден» (Последние новости. 1933. № 4607. С. 2). В то же время, Владислав Ходасевич считал, что в прозаической части новой книги «Современных записок» «один только Юрий Фельзен представляется приобретением несомненным». Отдавая должное «психологическому узору» рассказа, «который весь словно вычерчен жестким, остро отточенным карандашом», Ходасевич, – судя по предыдущей фразе, наблюдавший автора за работой (ср. воспоминания Василия Яновского, цитируемые в примечаниях к «Письмам о Лермонтове», т. 1, с. 443), – говорил о художественном мастерстве Фельзена: «Порою кажется – он не пишет, а лишь набрасывает узор из тончайших петелек. При этом он притворяется робким и неумелым, но это притворство и составляет как раз его самую сильную сторону. Нет более трудного искусства, как при-

творяться неискусным. Оно всего более требует тончайшего, безошибочного расчета, и надо отдать справедливость Фельзену – расчет такой ему всегда удается. Осторожно и мягко, но в то же время уверенно ведет он читателя по лабиринту мыслей и чувств, хитро связанных между собою, нечувствительно переходящих одно в другое. Доверившись ему, читатель оказывается вынужден проделать совсем нелегкий путь. Из фельзенского лабиринта выходит он утомленным, зато – с таким чувством, что побывал в некоем заново созданном мире – а это и есть показатель того, что он читал автора непустячного» (Возрождение. 1933. № 3083. С. 3).

К этому следует прибавить, что «Пробуждение», несомненно являясь частью «романа с писателем», стоит несколько в стороне от других отрывков из неопрустианского проекта автора благодаря тому, что здесь герой-повествователь Фельзена назван не Володей, а Ф. Данный прием максимально сближает образы автора и героя. Можно полагать, что Фельзен сознательно размывает границу между литературным вымыслом и автобиографией: подобное смешивание жанровых признаков, заметное лишь при внимательном чтении, мы находим и у Марселя Пруста, чей герой-повествователь назван Марселем всего один раз на протяжении всего многотомного романа.

С. 7. *К началу японской войны <…> попал ненадолго в Маньчжурию <...> заплакал после взятия Порт-Артура*... – Сдача русскими войсками осажденной крепости Порт-Артур в декабре 1904 года стала центральным событием русско-японской войны (1904–1905), ознаменовавшим поражение Российской империи.

С. 8. *...толстовская «Lise»*... – Первая жена князя Андрея Болконского в романе Л. Н. Толстого «Война и мир».

С. 12. *Cartes-postales* – открытки *(франц.)*.

С. 12. *Оленин был сыном известного певца*... – Имеется в виду Пётр Сергеевич Оленин (1870–1922), оперный баритон, камерный и эстрадный певец, режиссёр.

С. 14. *Какие б чувства ни таились*... – Четверостишие, открывающее шестую строфу «Отрывков из путешествия Онегина» (1830). См. *Пушкин*. Полное собрание сочинений, т. 5. С. 202.

С. 14. *...жалкий котелок (впоследствии для меня чуть надуманный образ униженной русской интеллигенции)*... – Эта ассоциация подсказана повествователю романом Юрия Олеши «Зависть» (1927), который широко обсуждался в эмигрантской печати и литературных кругах. Один из персонажей Олеши, Иван Бабичев – «бывший человек», символизирующий падение дореволюционной интеллигенции – фигурирует в романе в образе чарли-чаплинского «человечка в котелке» (*Олеша Ю*. Избранное. Москва.

1983. С. 33–34). В рассказе Фельзена «Фигурация», опубликованном несколькими годами позже, герой будет читать книгу Олеши.

С. 14. *...с Отто Вейнингером, Марксом...* – Отто Вейнингер (1880–1903), австрийский публицист, автор широко известной в России начала века антисемитской и женоненавистнической книги «Пол и характер» (1903). Карл Маркс (1818–1883), немецкий социолог и публицист, чьи политико-экономические теории пользовались популярностью среди российских интеллигентов в конце XIX и начале XX в.

С. 15. *…о всесильных Japon и Gapon...* – Japon – Япония *(франц.)*. Gapon – Г. А. Гапон (1870–1906), священник, агент охранки, инициатор создания проправительственной рабочей организации (1903). По его инициативе была выработана петиция и организовано шествие рабочих к царю 9 января 1905, закончившееся расстрелом демонстрантов.

С. 15. *…с упоением подхватили гусарские традиции и лихой, столь им чуждый кавалерийский «цук»*. – Система приобщения к традициям с применением карательных мер, возникшая в школе подпрапорщиков, созданной в 1823 году для подготовки офицеров гвардейской кавалерии. Цук был распространен во всех российских кавалерийских школах и училищах.

С. 15. *Irrevocabile tempus* – безвозвратное время *(лат.)*.

С. 15. *Quaerela* – жалоба, сожаление *(лат.)*.

С. 15. *...до Екатерины и Марии Медичи...* – Екатерина Медичи (1519–1589), жена короля Франции Генриха II, ставшая регентом при своем сыне Шарле IX и таким образом получившая значительную политическую власть в королевстве. Ее принято считать одной из инициаторов Варфоломеевской ночи (1572). Мария Медичи (1573–1642), жена короля Франции Генриха IV, ставшая после его смерти регентом. Разогнав министров мужа, проводившего политику примирения между католиками и протестантами, Мария ориентировалась на католическую Испанию, женила своего сына, Людовика XIII, на инфанте Анне Австрийской и сохранила полную власть над королевством до 1617 года.

С. 15. *...изобразив на доске колонны и путь Карфагенского похода, внушительно–громко назвал имена: «Понимаете, Ганнибал, Газдрубал и Магон»...* – Ганнибал Барка (247–183 до н. э.), карфагенский полководец и государственный деятель, ведший длительную военную кампанию против Рима в Италии, Испании и Африке (вторая Пуническая война). Карфагенский поход в Италию закончился неудачей, отчасти из-за того, что войска братьев Ганнибала – Гасдрубала и Магона, шедшие на помощь его армии, были разбиты римлянами при Метавре (207) и Бекуле (206).

С. 16. *...и неведомо-гулкие Драва и Морава...* – Правые притоки Дуная. Драва служит границей между Венгрией и Хорватией. Морава протекает по территории Сербии.

С. 16. *...я с детства запомнил – «всеобъемлющей душой» (вместо пушкинского «всеобъемлющей», в изображении Петра Великого)...* – имеется в виду четвертая строфа из пушкинских «Стансов» (1826):

То академик, то герой,
То мореплаватель, то плотник,
Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник.

Пушкин. Полное собрание сочинений, т. 2. С. 342.

С. 16. *...не только «Вещий Олег», «Три пальмы», «Бородино», но и «на корабле купеческом “Медузе”...* – Имеются в виду стихотворение А. С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге» (1822); баллада М. Ю Лермонтова «Три пальмы» (1839) и его же стихотворение «Бородино» (1837); и стихотворение В. А. Жуковского «Капитан Бопп» (1846).

С. 17. *...заданный отрывок из «Полтавы»...* – поэма А. С. Пушкина «Полтава» (1829).

С. 18. *...с обязательным в детстве «шато»...* – (здесь) семейная усадьба, от франц. château – замок.

С. 18. *... одно укромное местечко в квартире она патриотически называла «chez Bismarck» – я догадался, чтобы ее изводить, это же самое называть «chez Gambetta»...* – войска принца Отто фон Бисмарка (1815–1898), объединившего немецкие земли под предводительством Пруссии, разгромили французскую армию в 1870–1871, окружив Париж, откуда министр внутренних дел новообразованного республиканского правительства, Леон-Мишель Гамбетта (1838–1882), бежал на воздушном шаре. В результате поражения Франции в войне, Эльзас и Лотарингия отошли к Германской Империи, чье рождение было провозглашено Бисмарком в Версале 18 января 1871 г., а 1 марта французское Национальное собрание приняло условия капитуляции, вынудив Гамбетту подать в отставку.

С. 19. *...petite noblesse...* – мелкопоместное дворянство *(франц.)*.

С. 19. *...la bella des bellas...* – краса красот (итал.).

С. 22. *Mademoiselle* – (здесь) гувернантка-француженка *(франц.)*.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Впервые – Числа. 1934. № 10. С. 167-86.
Печатается по данной публикации.

Временное охлаждение Георгия Адамовича к писательской манере и художественному методу Фельзена, во многом основанное на охлаждении критика к творчеству Пруста, сказалось в критической оценке, которую Адамович дал рассказу «Возвращение». Рецензируя десятую, и последнюю, книгу «Чисел», Адамович раскритиковал не только и не столько Фельзена, сколько его французского учителя (стоит отметить, что именно в этом рассказе Фельзена, в первом параграфе, мы находим сочетание «одиночества и свободы», которое потом будет фигурировать в заглавии книги воспоминаний Адамовича). Реагируя таким образом на новый отрывок из «романа с писателем», критик шел в ногу с новейшим антипрустианским поветрием во французской, а вслед за ней и в эмигрантской, модернистской среде, где натуралистическая поэтика Луи-Фердинанда Селина всё больше вытесняла прустианскую интроспекцию как модель творчества. Адамович, в частности, писал: «У Пруста гениальна не его манера, а то, что несмотря на эту “манерную манеру” в его романах все-таки уцелело. У нас есть только испорченный Пруст, настоящего нет. То же, мне кажется, можно сказать и о Фельзене. Это писатель бесспорно несущий с собой нечто новое. Но новизны меньше всего в его стиле, – если связать с понятием новизны понятие обогащения, а не одного только удивления» (Последние новости. 1934. № 4844. С. 2). Судя по этому отзыву, к середине тридцатых годов, повествовательная манера неопрустианского проекта Фельзена, выражавшая, прежде всего, мировоззрение писателя, его ощущение неадекватности речевой артикуляции человеческого опыта, стала терять свою актуальность в литературной борьбе эмигрантских «отцов и детей» – само время разрешило этот спор в пользу младшего поколения писателей-изгнанников. В результате, Фельзен стал раздражать даже близких ему соратников по «Числам» упрямой верностью своему, уже оформившемуся и сформулированному посредством героя-повествователя Володи, писательскому призванию и тематике. И то и другое противоречило новой интеллектуальной атмосфере литературного Парижа, где поэтика Марселя Пруста решительно вышла из моды, чему подтверждением послужил громкий успех открыто антипрустианского романа Селина «Путешествие вглубь ночи» (1932).

Мы полагаем, что в сюжетной канве фельзеновского «романа с писателем», данный рассказ, опубликованный за год до книжной редакции «Писем о Лермонтове», не предшествует действию в «Письмах», а хро-

нологически продолжает его, повествуя о возвращении героини из Канн и о ее встрече с Володей после разлуки и эпистолярного общения.

С. 29. *«Командитэр»* – спонсор (от франц. commanditaire).

С. 29. *…им приписывали и «порочные наклонности», объясняющие непонятную их близость, однако теперь эти «модные» сплетни часто распускаются без малейшего основания...* – Гомосексуализм был модным атрибутом в модернистской литературной и культурной среде как французской (Марсель Пруст, Андре Жид, Жан Кокто, Реймонд Радиге, Рене Кревель и пр.), так и эмигрантской (см. *Ливак Л.* К истории «Парижской школы». Письма Анатолия Штейгера, 1937–1943 // Canadian-American Slavic Studies. 2003. № 1–2. С. 83–119).

С. 32. *«Бублички»* – Песня на слова Якова Петровича Ядова (1873–1940), ставшая символом эпохи НЭПа и вошедшая в раннесоветский городской фольклор. Ядов написал «Бублички» в 1926 году для куплетиста Григория Красавина. Существует много текстуальных вариантов песни (См. *Бахтин В*. Забытый и незабытый Яков Ядов // Нева. 2001. № 2). Ниже приводим слова «Бубличков» в исполнении Леонида Утесова:

Ночь надвигается,
Фонарь качается,
Мильтон ругается
В ночную тьму.
А я немытая,
Плащом покрытая,
Всеми забытая
Здесь на углу...

Купите ж бублички,
Горячи бублички,
Гоните рублички
Сюда скорей,
И в ночь ненастную,
Меня, несчастную,
Торговку частную
Ты пожалей.

С. 32. *«Расставаясь, она говорила»* – музыка Петра Петровича Булахова (1822–1885), слова Л. Жадейко. Исполнители этого романса довольно свободно интерпретируют его слова. Так, цитируемый здесь куплет существенно отличается от записанных на сегодняшний день текстуальных вариантов.

С. 41. *Un baiser* – поцелуй *(франц.)*.

ВЕЧЕРИНКА

Впервые – Круг. 1936. № 1. С. 21–31.
Печатается по данной публикации.

После вихря критических отзывов и словесных дуэлей между эмигрантскими литераторами по поводу «Писем о Лермонтове», писательское имя и литературная репутация Юрия Фельзена окончательно утверждаются среди самых видных творческих судеб, сложившихся в изгнании. Если традиционалисты упорно продолжают принижать эстетическую ценность художественного метода Фельзена, – так, Петр Бицилли сокрушался о языке «Вечеринки», напомнившем ему «какой-нибудь “философический” трактат или судебный приговор екатерининского времени» (Современные записки. 1936. № 62. С. 447), – критики-модернисты и стоящие за ними «младшие» литераторы-парижане, принимают язык «романа с писателем» как должное и восхищаются экономией повествовательной манеры Фельзена, чья сложность и многослойность недоступны взгляду поверхностного или предубежденного читателя. «Он обещает меньше, чем дает, – свойство редкое! – он притворяется беднее, чем есть, – и никогда не разочаровывает, если только внимательно в него вчитаться», – писал Георгий Адамович в рецензии на «Вечеринку», которую критик советовал «прочесть именно внимательно, – или не надо читать ее вовсе: с виду, с первого поверхностного впечатления, – сущий пустячок, ничтожный рассказ о ничтожной вспышке ревности. Но впечатление обманчиво. Автор не выделяет банального происшествия в “эпизод”, – он, наоборот, связывает его со своей душевной жизнью, и за мимолетной неприятностью приоткрывает целый мир причудливых получувств и полужеланий, о существовании которых мы и не догадывались» (Последние новости. 1936. № 5585. С. 3).

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО

Впервые – Круг. 1938. № 3. С. 75-96.
Печатается по данной публикации.

«Повторение пройденного» занимает особое место в «романе с писателем», не только потому, что этот отрывок был единогласно выделен современниками из всего написанного Фельзеном как «особенно удачный, что-то вроде литературного coup de chance» (*Газданов Г.* Современные записки. 1939. № 68. С. 480), но и благодаря своему названию, чья лаконичная многозначность исключительно хорошо подходила для описания

художественного метода и тематики неопрустианского проекта Фельзена. «Какое характерное, как бы отстраняющее название!» – отмечал Георгий Адамович (Последние новости. 1938. № 6444. С. 3). Неслучайно, поэтому, «роман с писателем» фигурирует в воспоминаниях близко знавших Фельзена людей именно под этим названием (см. *Адамович*. Одиночество и свобода. С. 294. *Вейдле*. О тех, кого уже нет. С. 388. *Яновский*. Поля Елисейские. С. 46; Мимо незамеченного поколения. С. 2).

Судя по удельному весу внимания, отведенного «Повторению пройденного» в рецензиях на третий выпуск «Круга», отрывок Фельзена явился самым ярким литературным событием последнего номера альманаха. Гайто Газданов считал, что «Повторение пройденного» окончательно «откроет глаза тем, кто в течение многих лет упорно и молчаливо “не признает” Фельзена», потому что даже самые предвзятые литературные ретрограды не могли не заметить, «насколько это прекрасно написано, как замечательны небрежно, точно мимоходом сделанные характеристики, как верен глуховатый внутренний ритм повествования». Соглашаясь с Газдановым, Адамович подчеркивал, что очередной отрывок Фельзена заметно отличается от всего им ранее написанного: он «ожил и обогатился даже в содержании своем», от чего вся манера повествования Фельзена лишь выиграла. Критик подчеркивал, что «тому, кто сомневается в писательском призвании Фельзена, можно только посоветовать прочесть страницы о ночной попойке полунищих эмигрантов», описанной Фельзеном с экономной точностью и выразительностью и напоминающей, что «бывают писатели репетиловского типа: “шумим, братец, шумим”. Фельзен же писатель “тишайший”. Было бы, однако, обидно – не для него, а для нас, – если бы из-за этого его продолжали игнорировать», – отмечал Адамович, недвусмысленно обращаясь к литературным консерваторам русской диаспоры. – «Литература – не улица, с ее рекламными законами: к тем, кто в ней меньше других кричит, надо бы с особенным вниманием прислушиваться».

Именно в отношении этого «особенного внимания» интересен отзыв Владислава Ходасевича, тонко уловившего в «Повторении пройденного» скрытую эстетическую эволюцию, которая со всей силой выразится годом позже в «Композиции», где герой Фельзена окончательно примет взгляд Пруста на взаимоотношение искусства и жизни («Литература и есть реальная жизнь»). Обращаясь к художественной мотивировке повествования Фельзена, Ходасевич отмечал, что за конфессиональным, наигранно-документальным и безыскусным методом володиного рассказа скрывается более сложное понимание искусства, чем то, которое содержится в концепции «человеческого документа», претендующего на раболепное воспроизведение жизни и основанного, по мнению критика,

на непонимании самой сущности художественного творчества. Поскольку концепция литературы как «человеческого документа» была краеугольным камнем программы «Парижской школы», Ходасевич угадал своим критическим чутьем тот подспудный процесс отвержения поэтики «Парижской школы» и культурной мифологии «новой болезни века», который всё более захватывал Фельзена во второй половине 30-х годов. Справедливо считая «Круг» философским и литературным наследником «Чисел», Ходасевич писал: «Фельзен отчасти выпадает из “круга”. Отчасти – потому, что есть и в его романах чрезвычайно опасная близость к человеческому документу: по нынешним временам и при нынешних влияниях литературной среды становится опасна уже даже сама эпистолярная форма. Тем не менее Фельзен стоит особняком. Сложный сентиментальный узор, который его герой не устает вышивать в своих кропотливых письмах к Леле, основан на том, чего нет и чего не хотят иметь авторы человеческих документов: на вымысле. Если самые письма фельзеновского героя порой несколько однообразны, – за ними тем не менее чувствуется целый мир, однажды созданный авторским воображением, мир, где действительность непрестанно подвергается той своеобразной переработке, переплавке, тому преображению, которое специфично для искусства и наличностью которого искусство прежде всего отличается от документа. Будем надеяться, что Фельзен сумеет удержать за собой это преимущество» (Возрождение. 1938. № 4157. С. 9).

С. 51. *...играли самое начало увертюры прославленной вагнеровской оперы...* – Здесь, по всей вероятности, имеется в виду опера Рихарда Вагнера (1813–1883) «Тангейзер» (1845), увертюра из которой упоминается в рассказе Фельзена «Композиция» как воспоминание юности героя-повествователя.

С. 51. *«Аперитивные встречи»* – свидание, предшествующее физической близости.

С. 51. «*Amour en séries»* – типовая любовь *(франц.)*.

С. 51. *...восхитительно-умный писатель, еле признанный, уже забываемый <...> лже–пророки, предатели поэзии, все, у кого не хватило одаренности понять советы мудрого сердца...* – имеется в виду Марсель Пруст, противопоставивший политическому активизму художника кропотливый психологический анализ. «Литература действия», политическая ангажированность художника приобрели чрезвычайную популярность во французской культурной жизни 30-х годов. Именно на основании его подчеркнутой аполитичности и эгоцентричности многие французские литераторы этого периода отвергают творческое наследие Пруста, который писал в последнем томе своего романа, что борьба за социально-политические

идеалы является для писателя лишь оправданием художественной несостоятельности (Le Temps retrouvé. P. 186).

С. 54. *...mauvais et beaux jours...* – удачные и неудачные дни *(франц.)*.

С. 55. *Sécurité* – (здесь) материальное благополучие *(франц.)*.

С. 56. *Ah, ses couleurs sont vraiment chaudes, il est exquis, ce petit moscovite*. – Ах, его цвета так пламенны, он изящен, этот милый выходец из Московии *(франц.)*.

С. 57. *Vendu* – продано *(франц.)*.

С. 57. *...светскими «гаффами»...* – ошибки поведения, дурной тон (от франц. gaffe).

С. 57. *Charme slave* – славянское очарование *(франц.)*.

С. 58. *«Патрон»* – хозяин, начальник, важная личность *(франц.)*.

С. 59. *Ces Russes, ah, quelles voix chaudes*. – Эти русские, какие у них пламенные голоса *(франц.)*.

С. 59. *«Chaud»* – (здесь) пламенный *(франц.)*.

КОМПОЗИЦИЯ

Впервые – Современные записки. 1939. № 68. С. 88–113.
Печатается по данной публикации.

Несмотря на последовательный бунт Фельзена против литературной эстетики «человеческого документа», главный теоретик «Парижской школы», Георгий Адамович, продолжал ценить его писательское мастерство, обходя молчанием свои существенные эстетические и философские расхождения с автором, четко наметившиеся в «Композиции». Так, Адамович считал, что «рассказ чудесно-тонок в своей психологической ткани и безупречно-правдив» и что «обычное фельзеновское пренебрежение к внешней стороне повествования» достигает ожидаемого эффекта – кажущееся на первый взгляд отсутствие конфликта оборачивается «музыкальной» темой трагедии повседневного существования, переданной «не в каком-нибудь эпизоде, не в одной черте, а лишь в целом. Пожалуй, вернее всего, – как осадок» (Последние новости. 1939. № 6597. С. 3). Владислав Ходасевич, в свою очередь, обращал внимание читателя именно на тот аспект фельзеновского рассказа, о котором умолчал его оппонент Адамович, а именно на несовпадение автора и героя «романа с писателем», противоречащее эстетике «человеческого документа». Отталкиваясь от

володиного вывода, что художественное творчество «реальнее» повседневной жизни, основанной на некритическом, бессознательном следовании избитым клише, Ходасевич считал, что в писаниях Фельзена «особенно необходимо отделять автора от героя». Более того, критик находил, что образ автора, неизменно присутствующий в «романе с писателем», интереснее и сложнее образа героя-повествователя. В «Композиции», по мнению Ходасевича, «автор опять содержательней и живей героя, хотя надо отдать справедливость, что на сей раз и герой оказался несколько более приближен к читателю, выдвинут из того тумана, в котором обычно его оставляет пребывать автор» (Возрождение. 1939. № 4176. С. 9). Выделяя «Композицию» как одно из наиболее интересных произведений в разделе прозы «Современных записок», Петр Пильский, обычно осторожный в своих оценках Фельзена, писал о «прелести этого рассказа», в котором «поставленная автором задача разрешена, композиция удалась, ее можно считать завершенной тонко <...> Фельзен один из немногих умеющих слишком ясно слышать биение чужого сердца, видеть и понимать самые незначительные с виду мелочи. У него верны определения, у него освещен и точно обозначен каждый, даже еле ощутимый и незаметный, даже подавленный порыв. <...> Фельзен не любит красок. У него всегда – штриховой рисунок, и тем не менее всё под его пером становится прозрачным» (Сегодня. 1939. № 83. С. 2).

С. 65. *...«массу читала», любила стихи и «массу знала наизусть» – «всего Надсона», «Мцыри» и «Галуба» <...> «Тазит! где голова его?»...* – О С. Я. Надсоне и о поэме М. Ю. Лермонтова «Мцыри» см. в примечаниях к «Письмам о Лермонтове». Под «Галубом» имеется в виду неоконченная поэма А. С. Пушкина «Тазит» (1829–30). Поэма была впервые опубликована после смерти поэта и названа искаженным именем отца героя – Галуб вместо Гасуб. Люся неточно цитирует сцену, в которой Гасуб укоряет сына, Тазита, за то, что тот не отомстил убийце своего брата:

Отец
Кого ты видел?
Сын
Супостата.
Отец
Кого? кого?
Сын
Убийцу брата.
Отец
Убийцу сына моего!..
Приди!.. где голова его?

Тазит!.. Мне череп этот нужен.
Дай нагляжусь!

Пушкин. Полное собрание сочинений, т. 4. С. 319–320.

С. 69. *...снобизм, но с эстетическим, уайльдовским оттенком...* – Ирландский писатель Оскар Уайльд (1854–1900) ценился приверженцами модернизма в России начала века как за свои литературные произведения, так и за скандальную ауру декадента-эстета. В воспоминаниях В. В. Вересаева мы читаем: «Помню доклад <Константина> Бальмонта об Оскаре Уайльде в московском Литературно-художественном кружке. Публика была возмущена бальмонтовскими восхвалениями не только творчества Уальда, но и самой его личности. Ораторы один за другим всходили на кафедру и заявляли, что не нам проливать слезы над Оскаром Уайльдом, попавшим в каторжную тюрьму за содомский грех, – нам, у которых столько писателей прошло через каторгу за свою любовь к свободе и народу. <Леонид> Андреев, сидевший на эстраде, громко и демонстративно аплодировал Бальмонту и потом говорил, посмеиваясь: – Ну, теперь я навеки погиб во мнении московской публики!» (Воспоминания о Леониде Андрееве // Реквием. Сборник памяти Леонида Андреева / Ред. Д. Л. Андреев, В. Е. Беклемишева. Москва. 1930. С. 151).

С. 72. *...распевавших «Стеньку Разина»...* – Имеется в виду песня «Из-за острова на стрежень» на слова поэта, фольклориста и этнографа Дмитрия Николаевича Садовникова (1847–1883).

С. 72. *Бердсли* – Обри Биэрдсли (1872–1898), художник-график, декоратор, поэт, ярчайший представитель английского модернизма 1890-х гг., иллюстратор произведений Оскара Уайльда, в частности запрещенной в Великобритании драмы «Саломея» (1894).

С. 73. *Бетховен* – Людвиг ван Бетховен (1770–1827), немецкий композитор, дирижер и пианист.

С. 74. «*Bello punico secundo»* и т. д... – «Во время второй Пунической войны крылатая поэзия, проникнув в суровых римлян, смягчила их сердца» *(лат.)*. Цитата из поэмы Силия Италия (27–102 н. э.) «Пуническая война».

С. 74. *...на «Ромео и Юлии»...* – трагедия Вильяма Шекспира (1564–1616) «Ромео и Джульетта» (1592), которая в XIX веке нередко переводилась как «Ромео и Юлия» (самым известным таким переводом был текст М. Н. Каткова, 1841).

С. 74. *«Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Жюльете»*. – Ставшая крылатой, эта фраза заимствована (в слегка измененной форме) из перевода Н. П. Грекова (1862).

С. 75. *...Мы переехали на лето в Павловск <...> я как-то сидел на скамейке у вокзала – был долгий концертный антракт. В знаменитом когда-то кружке разгуливала громкая, пестрая толпа...* – Ср. воспоминания О. Э. Мандельштама, который был старше Фельзена на три года (Музыка в Павловске / Шум времени // Сочинения, т. 2. С. 6–7), а также его стихотворение «Концерт на вокзале» (1921; Сочинения, т. 1. С. 139).

С. 75. *...звуки тангейзеровской стройной увертюры...* – увертюра к опере Рихарда Вагнера «Тангейзер». См. примечания к «Повторению пройденного».

С. 80. *...чьи-либо «милые», знакомые черты...* – Повествователь, с подспудной иронией, обыгрывает стихотворение А. С. Пушкина «К***» («Я помню чудное мгновенье...» 1825), лишь поверхностно тематически смежное с его рассказом о любви, памяти и художественном творчестве. Ср. далее о Тоне: «У нее сохранились те же краски и те же правильные, мелкие черты».

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

В томленьях грусти безнадежной,
В тревогах шумной суеты,
Звучал мне долго голос нежный
И снились милые черты.

Шли годы. Бурь порыв мятежный
Рассеял прежние мечты,
И я забыл твой голос нежный,
Твои небесные черты.

В глуши, во мраке заточенья
Тянулись тихо дни мои
Без божества, без вдохновенья,
Без слез, без жизни, без любви.

Душе настало пробужденье:
И вот опять явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

И сердце бьется в упоенье,
И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь.

Пушкин. Полное собрание сочинений, т. 2. С. 267.

С. 81. *...у мужа «бюро»...* – (здесь) торговая фирма (от франц. bureau – кабинет, место работы).

ПЕРЕМЕНЫ

Впервые – Литературный смотр. Свободный сборник. Под редакцией З. Н. Гиппиус и Д. С. Мережковского. Париж. Лампион. 1939. С. 28–66.

Печатается по данной публикации.

Вышедший летом 1939 года, последний литературно-критический альманах эмигрантских писателей-модернистов не получил того резонанса, на который рассчитывали его организаторы Зинаида Гиппиус и Дмитрий Мережковский. Внезапное начало войны отодвинуло на второй план вопросы литературы и искусства, а последовавшая вскоре оккупация Франции оборвала русскую литературную жизнь в Западной Европе. Единственная известная нам рецензия на «Литературный смотр» появилась с опозданием на полгода и принадлежала перу Владимира Набокова, непримиримого противника «Парижской школы», широко представленной в сборнике. В этом критическом отзыве Набоков продолжил линию своего покровителя и единомышленника в эмигрантских литературных распрях, Владислава Ходасевича, скончавшегося тем же летом 1939 года. Громя эстетику «Парижской школы», Набоков, однако, выделил «Перемены» в качестве «единственного украшения сборника», охарактеризовав рассказ Фельзена как «настоящую литературу, чистую и честную» (Современные записки. 1940. № 70. С. 284).

С. 86. *...Das ist auch keine Schokolade...* – За это больше шоколада не получите *(нем.)*

С. 93. *Разговор перешел на политику <...> и я невольно с этим сравнил наши у Лели грубые споры...* – См. рассказ «Возвращение».

С. 94. *«Командитер»* – спонсор *(франц.)*

С. 97. *Шура <…> сообщил, что Леля вышла замуж за Павлика...* – Очередное несоответствие хронологической последовательности публикации «романа с писателем» и его сюжетной канвы. В «Повторении

пройденного», появившемся за год до «Перемен», Павлик «уже не соперник, а муж».

С. 103. *Allumeuse* – (здесь) кокетка *(франц.)*.

С. 105. *...ваш упрощенный с Шурой «роман», после смерти несчастного Марка Осиповича...* – См. роман «Счастье».

С. 108. «*Amo ergo sum» <...> предпочесть ледяному декартовскому «cogito»...* – Я люблю, следовательно, я существую *(лат.)*. Обыгрывается крылатая фраза французского философа Рене Декарта (1596–1650): «Cogito ergo sum» – «Я мыслю, следовательно, я существую».

ФИГУРАЦИЯ

Впервые – Бодрость. 1940. 14 января. № 257. С. 3–4.
Печатается по данной публикации.

Представляет интерес история публикации последнего известного нам отрывка из «романа с писателем», появившегося в газете партии младороссов «Бодрость». Сотрудничество в органе русских монархистов было до такой степени неожиданным для еврея и убежденного демократа Фельзена, что еще за полгода до публикации (11 июня 1939 г.), узнав о планах писателя, Зинаида Гиппиус записала у себя в дневнике: «Нельзя понять, что делают бывшие эсеры и “демократы” (и Спаржа!), соединяясь с младороссами. Загадка!» (Год войны (1939). Дневник / Публ. Александра Морозова // Наше наследие. 1993. № 28. С. 43). Загадка, впрочем, решалась легко. Расстановка идеологических сил русского Парижа резко изменилась после оккупации Чехословакии немецкими войсками. Некоторые эмигрантские политические группировки, до тех пор черпавшие вдохновение в немецкой и итальянской моделях тоталитарного государства, – с которыми их связывало резкое неприятие как коммунизма, так и либеральной демократии, – усмотрели в мюнхенском соглашении и последовавшей за ним гибели славянского государства в Центральной Европе участь, уготовленную России гитлеровским режимом. Среди разочарованных были и младороссы, долгое время видевшие в нацистской Германии силу, способную освободить Россию от коммунизма. Последние иллюзии младороссов рассеялись летом 1939 года с подписанием пакта Молотова-Риббентропа. В быстро меняющейся политической ситуации редакция «Бодрости» приняла решение открыть страницы газеты широким кругам эмигрантской словесности, независимо от идеологических убеждений новых сотрудников. Действуя таким образом, «Бодрость» стремилась стать нейтральной

культурной средой, свободной от идеологических дрязг – своеобразным Ноевым ковчегом свободной русской культуры, тем более необходимым, что угроза выживанию этой культуры теперь шла не только слева, но и справа (свидетельство усилий редакции к привлечению новых, заведомо идеологически чуждых газете сотрудников сохранилось в письмах Кирилла Елиты-Вильчковского к Нине Берберовой: Hoover Institution on War, Revolution and Peace. Boris Nikolaevsky Collection. Box 402. Series 233. Folder 42 “Vil’chkovskii K. A.”). Так, начиная с осени 1939 года, в литературном разделе «Бодрости» стали появляться писатели и критики, чьи политические взгляды не соприкасались с программой младороссов. Владимир Набоков помещает здесь отрывок из отвергнутой «Современными записками», по идеологическим соображениям, четвертой главы романа «Дар» (Арест Чернышевского (из неизданной главы романа «Дар» // Бодрость. 1939. 31 декабря. № 256. С. 3–4). Здесь же появляются статьи и рассказы Нины Берберовой, Владимира Вейдле, Аллы Головиной, Романа Гуля, Константина Мочульского и так удивившего З. Н. Гиппиус Юрия Фельзена. Подробнее об обстоятельствах и идеологическом контексте сближения эмигрантских модернистов с редакцией «Бодрости» см. *Livak L.* Le social contre l’esthéthique: le Zemgor dans la vie littéraire de l’émigration // Cahiers du monde russe. 2005. № 4. P. 826–829. Об отношении Фельзена к идеологии младороссов см. его статью «На литературных собраниях» в настоящем издании.

С. 112. *...барон Демь, Конного полка <...> Мы с ним подружились на фронте, хотя собственно я не гвардеец...* – Имеется в виду Конный лейб-гвардии полк, который с августа 1914 года воевал на германском фронте. Во время гражданской войны конногвардейцы входили в состав Добровольческой армии.

С. 112. *«Bureaux»* – (здесь) дирекция *(франц.)*.

С. 113. *...я вспомнил о предложении Аньки Давыдова стать у него секретарем...* – См. рассказ «Повторение пройденного».

С. 113. *Знаменитый русский режиссер...* – Судя по всему, речь идет о кинорежиссере Александре Александровиче Волкове (1881–1942), жившем с 1920 года в Париже, где он поставил более 20 фильмов.

С. 113. *...в каскетках и апашеских фулярах, словно умышленно ими надетых назло подтянуто-блестящим «патронам»...* – Каскетка – кепка; фуляр – нашейный платок; апаш – (здесь) парижский хулиган; «патрон» – хозяин, начальник *(франц.)*.

С. 113. *«Плато»* – (здесь) съемочная площадка *(франц.)*.

С. 114. *«Ведетты»* – кинозвезды *(франц.)*.

С. 114. *«Long live the king, she loves him, loves!»* – Да здравствует король, она его любит, любит *(англ.)*.

С. 114. *«Терм»* – (здесь) плата за квартиру *(франц.)*.

ОТРАЖЕНИЕ

Впервые – Звено. 1926. 5 декабря. № 201. С. 7-8.
Печатается по данной публикации.

ОПЫТ

Впервые – Звено. 1927. 12 июня. № 228. С. 7-8.
Печатается по данной публикации.

С. 121. *...у Этуаля...* – Около площади Этуаль в Париже, где берет начало проспект Елисейских Полей. По-традиции, это одно из самых туристических и космополитических мест в городе.

С. 121. *Fauché* – Испытывающий материальные затруднения *(франц.)*.

С. 122. *...Pas une occasion, c'est une sensation...* – Это неинтересно, это сенсация *(франц.)*.

С. 123. *Je veux...* – Я хочу *(франц.)*.

С. 123. *Бенедиктин* – Крепкий (40% алк.) французский ликер (Bénédictine).

С. 123. *Tiens, le café est arrosé...* – Смотрите-ка, кофе «вспрыснут» *(франц.)*.

С. 124 *...такой тонный...* – С хорошими манерами (от франц. le bon ton).

С. 124. *...прическа на grande beauté...*– с претензией на изысканность *(франц.)*.

С. 125. *...Je vous emmène...* – я вас подброшу *(франц.)*.

С. 125. *Куэнтро* – Крепкий (40% алк.) французский ликер (Cointreau).

ЖЕРТВА

Впервые – Звено. 1927. 1 ноября. № 5. С. 282–291.
Печатается по данной публикации.

С. 128. *...неуместный, хвастливый роман д'Аннунцио...* – Габриэле Д'Аннунцио (1863–1938), итальянский писатель-модернист. Романтический культ мужественности и военных подвигов в романах Д'Аннунцио, нашедший также выражение в активном идеологическом и политическом сотрудничестве писателя с режимом Муссолини, плохо вязался с травмой Первой мировой и гражданской войн, переживаемой героями рассказа.

МЕЧТАТЕЛЬ

Впервые – Дни. 1927. № 1257. С. 3–4.
Печатается по данной публикации.

С. 137. *...в «Привале»...* – Петроградское артистическое и литературное кабаре «Привал комедиантов» (1916–1919).

С. 139. *Dichtung* – (здесь) литература *(нем.)*.

С. 139. *...манифестация за Учредительное собрание...* – Демонстрация, состоявшаяся в Петрограде в день открытия первого и последнего заседания Учредительного собрания, 5-го января 1918 года. Демонстрация была жестоко подавлена большевиками.

ДВЕ СУДЬБЫ

Впервые – Новый корабль. 1928. № 4. С. 7–13.
Печатается по данной публикации.

К «Двум судьбам» относятся первые печатные критические отзывы на литературное творчество Фельзена, известного к тому времени лишь узкому кругу младших парижских писателей-эмигрантов и их покровителям из «стариков». Георгий Адамович, незадолго до того познакомившийся с Фельзеном в воскресном салоне Мережковских и введший его в группу сотрудников «Звена», отмечал: «Особое внимание мне хотелось бы обратить на Юрия Фельзена. Он напечатал всего несколько рассказов. В них почти отсутствует внешнее действие и потому с первого взгляда

эти рассказы кажутся “скучными”. Помимо того, у Фельзена чрезвычайно прихотливый язык <...> всё это создает некоторые препятствия к чтению. Преодолейте их, – и вы увидите, что у Фельзена каждое слово оправдано <...> Насыщенность письма у Фельзена куплена ценой гладкости <...> Очень много Пруста во всем этом. Конечно, это лишь частица Пруста – его меланхолия и зоркость, без пафоса его. Но и этого довольно, чтобы заметить Фельзена, тем более, что в нашу литературу он входит никому не подражая, никого не напоминая» (Звено. 1928. № 5. С. 247–48). Таким образом, имя Фельзена связывалось с творческим наследием Пруста почти с первых шагов писателя в эмигрантской литературе, и, как и следовало ожидать, аналогия не всегда приводилась в пользу русского «прустианца». Марк Слоним, редактор и литературный критик пражской «Воли России», раздраженно отозвался о «Двух судьбах», как о «под Пруста написанном рассказе И. Фрейденштейна», не удостоив более подробным разбором неизвестного ему автора, которого к тому же наградил неподходящим инициалом (Воля России. 1929. № 1. С. 121).

Ко времени появления в печати «Двух судеб», по свидетельству соратников Фельзена в борьбе за место в эмигрантской словесности, «Николаю Бернгардовичу часто приходилось туго от этого своего стилистического (и типографского) сходства с любимым, великим и модным писателем. Так, улыбаясь, он рассказывал: в Союзе молодых писателей после чтения Фельзена выступил Г<азданов> и заявил, что это сплошной Пруст! А несколько лет спустя Г<азданов> сознался ему, что в ту пору еще Пруста не читал. Вообще о Прусте в конце 20-х годов слагались легенды, но читали его немногие» (*Яновский*. Поля Елисейские. С. 34). Как бы то ни было, к исходу первого десятилетия русской литературной жизни в Париже, эстетика французского модернизма заняла прочное место в творчестве младших писателей-изгнанников, являясь знаком отличия эмигрантских «детей» от литературных «отцов», чьи ностальгические описания дореволюционного российского быта казались эмигрантским модернистам такими же скучными и ненужными, как «прустианство» молодых – зубрам литературной диаспоры. Тот же Марк Слоним признавал, что младшие эмигрантские литераторы «обращаются к Западу, ища точки опоры не в воспоминаниях, не в иллюзиях, а в той европейской жизни, которая их окружает. Одни сознательно, другие инстинктивно стали “русскими европейцами” <...> чуждыми и отцам, и “советской литературе”. Быть может, в новизне их тона, в их “западничестве”, пронесенном сквозь национальную стихию и есть то единственно ценное, что русские за рубежом могли бы привнести впоследствии родной литературе», – заключал убежденный народник Слоним, не веривший в будущность эмигрантской словесности, оторванной от национальной почвы (Воля России. 1931. № 7–9. С. 626).

Открытые и завуалированные нападки литературных ретроградов не оставались, однако, без ответа. Так, Николай Оцуп, редактор журнала «Числа», стоявшего на позициях младших писателей-модернистов, утверждал, что именно «наиболее даровитые из молодых прозаиков в эмиграции подпадают влиянию крупнейших французских писателей современности, главным образом Пруста <...> Из соседства с европейскими писателями они сумели почерпать что-то для русской литературы новое и нужное» (Числа. 1930. № 1. С. 232–33).

НЕРАВЕНСТВО

Впервые – Числа. 1930. № 1. С. 95–116.
Печатается по данной публикации.

Критические отзывы на «Неравенство» отмечены полемикой, разразившейся вокруг издания первого номера журнала «Числа», громко заявившего о себе, как о рупоре новейшего мировоззрения в жизни и искусстве, которым «эмигрантские молодые люди» отличаются как от «отцов»-изгнанников, так и от советских писателей. С первого же номера «Числа» публикуют произведения целого ряда младших поэтов и писателей (Гайто Газданова, Бориса Поплавского, Василия Яновского, Сергея Шаршуна), коробящих литературных традиционалистов своим языком, сюжетным строением и тематикой. Именно в контексте этой борьбы эмигрантских архаистов и новаторов полнее раскрывается значение критической реакции на «Неравенство».

Как и следовало ожидать, эстетические консерваторы продолжают хулить прозу Фельзена, как «скучную, утомительную и невыразительную» (Михаил Осоргин. Последние новости. 1930. № 3284. С. 3), «скучную и ненужную» (Кирилл Зайцев. Россия и славянство. 1930. № 71. С. 3), а самого автора считают писателем, «не лишенным дарования, но всё сделавшим для того, чтобы затруднить его выявление» (А. Савельев. Руль. 1930. № 2873. С. 2–3). Впрочем, и здесь были исключения. Петр Пильский, отнюдь не склонный к поощрению литературных экспериментов, как бы нехотя признавал, что «Фельзен интересен. Правда, его рассказ не из увлекательных. Но он умен, психологически правдив, тонко задуман... В нем – настоящая оригинальность, он легок и внушителен, ему не мешает даже пристрастие к мелкому узору, подробностям, самоанализу. Эти тяготения могли создать скуку. Ее нет. Это доказывает авторскую умелость, литературную опытность, чутье, подсказывающее меру и предел» (Сегодня. 1930. № 69. С. 6). Наметилось также потепление в отношении

к творческому методу Фельзена и со стороны Марка Слонима, который писал в рецензии на первый том «Чисел»: «Самое интересное в номере – рассказы Ю. Фельзена, Газданова и отрывки из романа С. Шаршуна. Но первые два произведения обнаруживают тенденцию именно французскую, находятся в большей степени под знаком французской тонкости, мастерства, литературного лоска или кунстштюка. Рассказ Ю. Фельзена “Неравенство” – написанный под сильным влиянием Пруста – намеренно освобожден от всякой внешней изобразительности <...> И сила и слабость этого умно и тонко построенного произведения заключается в той сухости, обнаженности, в какой представлены переживания действующих лиц. Порою отвлеченность, почти алгебраичность формулировок лишает рассказ самого воздуха, необходимого для художественного произведения, но именно в этой “безвоздушности”, в отсутствии всякой художественной “мебели” и кроется своеобразие этого психологического этюда. Во всяком случае рассказ обнаруживает в авторе и талант и какое-то умственное изящество» (Воля России. 1930. № 3. С. 301).

Неожиданнее всего была реакция Владислава Ходасевича, неустанного оппонента «Парижской школы», резко отвергнувшего программу «Чисел». Ходасевич выделил Фельзена из общей массы сотрудников журнала как художника «внутренне более тонкого» (Возрождение. 1930. № 1759. С. 3). Возможно, рассказ Фельзена, где повествование ведется от лица женщины, привлек внимание критика неприкрытым литературным вымыслом, шедшим вразрез с установкой на иллюзию документальности и автобиографичности, к которой стремились поэты и прозаики «Парижской школы». Свое глубокое понимание творчества Фельзена и внимательное уважение к поставленным автором художественным задачам Ходасевич пронес до конца жизни, несмотря на то, что Фельзен формально принадлежал к враждебной литературной группировке.

С. 153. *Condescendance* – снисхождение *(франц.)*.

С. 156. *…c’est mon homme…*– Это мой мужчина *(франц.)*.

С. 157. *En gros* – (здесь) оптом, в большом количестве *(франц.)*.

С. 160. *Hall* – зал *(англ.)*.

С. 170. *Pull-over* – пуловер, свитер *(англ.)*.

ЧУДО

Впервые – Встречи. 1934. № 2. С. 51–55.
Печатается по данной публикации.

Рассказ «Чудо» сюжетно перекликается с «Переменами» – отрывком из «романа с писателем», опубликованным пятью годами позже. Таким образом, «Чудо» приотворяет дверь в творческую лабораторию Фельзена: писатель экспериментирует с элементами одного и того же сюжета, обрабатывая их сперва в довольно традиционной повествовательной манере («Чудо»), а затем, придерживаясь прустианской модели повествования («Перемены»).

С. 172. *Copines* – приятельницы *(франц.)*.

С. 172. *Soeur Marguerite* – сестра Маргарита *(франц.)*.

С. 173. *Amie* – подруга *(франц.)*.

С. 176. *«Témoignage de pauvreté»* – (здесь) признание поражения *(франц.)*.

ФРАНЦУЗСКАЯ ЭМИГРАЦИЯ И ЛИТЕРАТУРА

Впервые – Новый корабль. 1927. № 1. С. 27–30. Подпись: Н. Фрейденштейн.

Печатается по данной публикации.

Статья является примером распространенного в эмиграции феномена, который писатель и критик Роман Гуль назвал «французским термометром», имея в виду применение ставших архетипичными понятий и ситуаций из истории Великой французской революции к российскому опыту революции и изгнания («Я унес Россию». Апология эмиграции, т. 1. Нью-Йорк. 1984. С. 169–170). Нетрудно заметить, что Фельзен эксплуатирует общеизвестные примеры и авторитетные имена из истории французской культуры, не останавливаясь перед сознательной подтасовкой фактов, с целью оправдания литературной деятельности своего поколения писателей-изгнанников перед лицом эмигрантских критиков народнического толка, убежденных в том, что русский художник не может творить в отрыве от «почвы».

С. 181. *Médiocrité de la littérature révolutionnaire* – посредственность революционной литературы *(франц.)*.

С. 182. *Parvenus* – выскочки; выходцы из низших социальных слоев, добившиеся успеха и подражающие аристократам; парвеню *(франц.)*.

С. 182. *Дюмулен* – Люси Семплис Камилл Бенуа Демулен (1760–1794), адвокат, журналист и публицист, политический деятель, казненный во время якобинского террора.

С. 182. *Малле-дю-Пан* – Жак Малле дю Пан (1749–1800), политический деятель и публицист, эмигрировавший из-за своих монархических убеждений.

С. 182. *Мирабо* – Оноре Габриэль Рикетти де Мирабо (1749–1791), политический деятель, автор «Декларации прав человека и гражданина», один из самых знаменитых ораторов революционной Франции.

С. 182. *Дантон* – Жорж Жак Дантон (1759–1794), революционер, один из основателей Первой французской республики, председатель Комитета общественного спасения, казненный во время якобинского террора.

С. 182. *Вольтер* – Франсуа-Мари Аруэ, псевд. Вольтер (1694–1778), философ-просветитель, поэт, прозаик, политический публицист.

С. 182. *Руссо* – Жан-Жак Руссо (1712–1778), писатель, философ, политический мыслитель, композитор, один из самых влиятельных представителей сентиментализма в европейской литературе.

С. 182. *Монтескье* – Шарль-Луи де Секонда, барон Ля Брэд и де Монтескье (1689–1755), писатель, правовед и философ-энциклопедист, автор романа «Персидские письма» (1721).

С. 182. *Гракх* – Гай Семпроний Гракх (153–121 до н. э.), римский политический деятель, знаменитый трибун, чье ораторское искусство высоко ценил Цицерон.

С. 182. *Аристид* – Элий Аристид (117–189 н. э.) греческий оратор, ритор и софист, убедивший своим красноречием Марка Аврелия пожертвовать крупную сумму на восстановление Смирны после землетрясения, за что жители воздвигли ему бронзовую статую и назвали основателем города.

С. 182. *Леонид* – Вероятно, имеется в виду греческий поэт Леонид из Тананто (III в. до н. э.), известный своими эпиграммами.

С. 183. *Андре Шенье <...> Его бунтующие «Ямбы»...* – Андре Мари де Шенье (1762–1794), поэт, журналист и политический деятель, казненный во время якобинского террора. «Ямбы», написанные Шенье во время тюремного заключения, долгое время считались моделью политической инвективы.

С. 183. *Мадам де Сталь* – см. примечания к «Письмам о Лермонтове».

С. 183. *Шатобриан* – см. примечания к «Письмам о Лермонтове».

С. 183. *Жирондисты* – политическая партия эпохи французской революции, ратовавшая за индивидуальную свободу на основе теорий Ж.-Ж. Руссо.

С. 183. *Якобинцы* – участники политического клуба эпохи французской революции, установившие диктатуру (1793–1794) путем государственного переворота, свергнувшего жирондистов. Правление якобинцев было отмечено радикальными реформами и массовым террором.

С. 183. *...«la marraine du libéralisme parlementaire»...* – крестная мать парламентского либерализма *(франц.)*.

С. 183 *«Essai sur les Révolutions»* – «Очерк о революциях» (1797; полное название: «Исторический, политический и моральный очерк о древних и современных революциях в их отношении к французской революции»), первое опубликованное произведение Ф. Р. де Шатобриана. Эта книга, написанная и изданная в эмиграции, является сводом политических и религиозных взглядов писателя.

С. 184. «Martyrs» – роман «Мученики» (1809), повествующий о первых христианах, развивает идеи апологетического трактата Ф. Р. де Шатобриана «Гений христианства».

С. 184. «Génie du Christianisme» – «Гений христианства», трактат, написанный Ф. Р. де Шатобрианом в эмиграции и опубликованный в 1802 г. по возвращении из изгнания. В этом произведении Шатобриан выступил с поэтической защитой христианства, чьи догматы подверглись систематической критике философов Просвещения, а институты – преследованиям в годы революционного террора.

С. 184. *Жозеф де Местр* – Жозеф-Мари, граф де Местр (1753–1821), католический философ, литератор, политик и дипломат, один из самых влиятельных идеологов политического консерватизма периода французской революции и наполеоновских войн.

С. 184. *Бенжамен Констан* – Анри-Бенжамен Констан де Ребек (1767–1830), франко-швейцарский писатель, публицист, политический деятель, автор влиятельных трудов по политической философии и психологических романов, наибольшим успехом среди которых пользовался «Адольф» (1816).

С. 184. *Бернарден де Сен-Пьер* – Жак-Анри Бернарден де Сен-Пьер (1737–1814), писатель и эссеист, автор чрезвычайно популярной повести «Поль и Виржини» (1788).

С. 184. *Бомарше* – Пьер-Огюстен Карон де Бомарше (1732–1799), драматург и публицист, автор комедий «Севильский цирюльник» (1775) и «Женитьба Фигаро» (1784).

С. 184. *Ламартин* – Альфонс де Ламартин (1790–1869), поэт-романтик, эссеист и политический деятель.

С. 184. *Бальзак* – Оноре де Бальзак (1799–1850), один из основоположников реализма в европейской литературе, автор серии романов и повестей, объединенных в эпопею «Человеческая комедия».

С. 184. *Жорж Занд* – литературный псевдоним романистки Амандины Авроры Люсиль Дюпен (1804–1876).

С. 184. *Стендаль* – см. примечания к «Письмам о Лермонтове».

У МЕРЕЖКОВСКИХ – ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ

Впервые – Сегодня. 1930. 3 августа. № 212. С. 5.
Печатается по данной публикации.

С. 185. *З. Н. Гиппиус* – Зинаида Николаевна Гиппиус (1869–1945), поэт, прозаик, мемуарист, литературный критик, редактор. Вместе с мужем, Д. С. Мережковским, Гиппиус была среди пионеров русского модернизма. В 1920-м году Мережковские бежали из советской России в Варшаву, а затем в Париж, где Гиппиус активно участвовала в эмигрантской литературной и культурной жизни, покровительствуя начинающим писателям-изгнанникам, которые составили костяк ее воскресного литературного салона.

С. 185. *Д. С. Мережковский* – Дмитрий Сергеевич Мережковский (1865–1941), поэт, прозаик, драматург, публицист, литературный критик, муж З. Н. Гиппиус. Мережковский оказывал намного меньше влияния на «молодых» писателей, чем его жена, от которой он отличался значительным эстетическим консерватизмом и сознательной удаленностью от новых течений в эмигрантской и французской литературе.

С. 186. *Георгий Иванов* – Георгий Владимирович Иванов (1894–1958), поэт, прозаик, критик, мемуарист. Иванов был членом гумилевского «Цеха поэтов» с 1912 года; в 1916, вместе с Г. В. Адамовичем, возглавил второй «Цех поэтов», а в 1920 г. – третий, вместе с Н. А. Оцупом и М. Л. Лозинским. Прибыв в Париж через Берлин, Иванов, Адамович и Оцуп возродили традиции «Цеха» (1923), борясь за души молодых русских поэтов в Париже, которые повально увлекались «левыми» течениями в искусстве (т.е. русским футуризмом и французским дадаизмом), неприемлемыми для эмигрантов, в первую очередь, по идеологическим соображениям.

С. 186. *Адамович* – Георгий Викторович Адамович (1892–1972), поэт, критик, переводчик, публицист, мемуарист, теоретик «Парижской

школы», с которым Фельзен познакомился и подружился в салоне у З. Н. Гиппиус.

С. 186. *Оцуп* – Николай Авдеевич Оцуп (1894–1958), поэт, литературный критик, прозаик драматург, литературовед, мемуарист. Основатель и соредактор журнала «Числа».

С. 186. *Одоевцева* – Ирина Владимировна Одоевцева (Ираида Густавовна Гейнике, 1895–1990), поэт, прозаик, литературный критик, мемуарист. Одоевцева начала писать стихи в качестве ученицы Н. С. Гумилева. Замужем за Г. В. Ивановым с 1921 года.

С. 186. *Ладинский* – Антонин Петрович Ладинский (1896–1961), прозаик, поэт, публицист, журналист, переводчик, мемуарист. Ладинский был одним из организаторов Союза молодых поэтов и писателей в Париже (1924), образовавшегося как альтернатива «левым» художественным течениям среди молодых парижских изгнанников.

С. 186. *Терапьяно* – Юрий Константинович Терапиано (1892–1980), поэт, прозаик, литературный критик, переводчик, мемуарист. Приехав в Париж в 1922 году, Терапиано участвовал в работе левых поэтических объединений. Разочаровавшись в эстетике просоветского авангарда, Терапиано стал первым председателем Союза молодых поэтов и писателей в Париже (1924).

С. 186. *Ходасевич* – Владислав Фелицианович Ходасевич (1886–1939), поэт, литературный критик, литературовед, переводчик, публицист, мемуарист. Будучи противником многих эстетических воззрений З. Н. Гиппиус и Г. В. Адамовича, Ходасевич тем не менее поддерживал с ними дружеские и профессиональные отношения. Один из самых влиятельных литературных критиков русского зарубежья, Ходасевич много сделал для утверждения молодых литераторов в эмигрантских культурных кругах.

С. 186. *Берберова* – Нина Николаевна Берберова (1901–1993), поэт, прозаик, драматург, литературный критик, литературовед, журналистка, мемуаристка. С 1922 по 1932 гг. гражданская жена В. Ф. Ходасевича.

С. 186. *Бахтин* – Николай Михайлович Бахтин (1894–1950), философ, филолог-классик, литературный критик, мемуарист, брат философа и литературоведа М. М. Бахтина. Н. М. Бахтин участвовал в культурной жизни русского Парижа с 1924 до начала 30-х годов, когда он переехал в Великобританию. Подобно Фельзену, Бахтин начал свою зарубежную литературную и публицистическую деятельность в журнале «Звено».

С. 186. *М. О. Цетлин-Амари* – Михаил Осипович Цетлин (псевд. Амари; 1882–1945), поэт, прозаик, литературный критик, переводчик,

журналист, издатель, мемуарист. Прибыв в Париж среди первых русских беженцев (1919), Цетлин занимал важное место в литературной жизни младших эмигрантских поэтов, редактируя поэтический отдел самого престижного журнала русского зарубежья – «Современные записки».

С. 186. *Мочульский* – Константин Васильевич Мочульский (1892–1948), литературовед, поэт, прозаик, литературный критик, переводчик, мемуарист. После приезда в Париж (1922) преподавал на русском отделении Сорбонны.

С. 187. *Злобин* – Владимир Ананьевич Злобин (1894–1967), поэт, литературный критик, редактор, публицист, журналист, мемуарист. С 1919 года Злобин был секретарем Гиппиус и Мережковского, вместе с которыми эмигрировал.

С. 187. *Савинков* – Борис Викторович Савинков (1879–1925), политический деятель, публицист, прозаик, поэт. С 1911 года Савинков, член ЦК партии эсеров и сторонник вооруженной борьбы с правительством, находился в эмиграции в Италии и во Франции, где поддерживал дружеские отношения с Мережковскими, часто жившими в Париже.

С. 188. *...уговорили Одоевцеву прочитать раннюю ее «Балладу об извозчике».* – «Баллада об извозчике» (1921), посвященная Георгию Адамовичу, вошла в первую книгу стихов И. В. Одоевцевой «Двор чудес» (1922).

С. 188. *...устремив к лампе свои «зеленоватые глаза», воспетые Гумилевым...* – Имеется в виду стихотворение Николая Степановича Гумилева (1886–1921) «Лес» (1919), посвященное Ирине Одоевцевой, в котором есть следующие строфы:

Я придумал это, глядя на твои
Косы, кольца огневеющей змеи,

На твои зеленоватые глаза,
Как персидская больная бирюза.

Гумилев Н. Огненный столп. Берлин. 1922. С. 15.

С. 188. *Вова Познер* – Владимир Соломонович Познер (1905–1992), поэт, прозаик, журналист, литературный критик, публицист, член петроградской группы «Серапионовы братья» и ветеран «левых» парижских литературных объединений. Познер быстро отошел от эмигрантской культурной жизни по идеологическим соображениям и окончательно порвал со средой русских изгнанников после вступления во французскую компартию. О нем см. статью Фельзена «Парижские встречи русских и французских писателей».

С. 188. *...познеровская «Баллада о дезертире»...* – «Балладой о дезертире», опубликованной во втором Альманахе «Цеха поэтов» (1921), В. С. Познер дебютировал в печати.

С. 189. *...в литературно-утонченнейшем винаверском «Звене»...* – Максим Моисеевич Винавер (1862–1926), политический деятель, публицист, юрист, мемуарист, соредактор парижского «Звена» с 1923 по 1926 гг.

С. 189. *Маклаков* – Василий Алексеевич Маклаков (1869–1957), юрист, политический деятель, член ЦК Конституционно-демократической партии, член Государственной думы трех созывов. До установления дипломатических отношений с СССР исполнял обязанности российского посла во Франции, а с 1924 года возглавлял Эмигрантский комитет, представлявший интересы русских эмигрантов во Франции.

С. 189. *Бунин* – Иван Алексеевич Бунин (1870–1953), виднейший прозаик, поэт и публицист старшего поколения эмигрантских писателей.

С. 189. *Алданов* – Марк Алданов (Марк Александрович Ландау; 1886–1957), прозаик, публицист, литературный критик, редактор, чьи исторические романы были чрезвычайно популярны среди эмигрантских читателей межвоенного периода.

С. 189. *Тэффи* – Надежда Тэффи (Надежда Александровна Бучинская; 1872–1952), прозаик, поэт, литературный критик, широко известная и популярная в эмиграции как газетный фельетонист, юморист и сатирик.

С. 189. *«Зеленая Лампа»* – Общество, организованное З. Н. Гиппиус и Д. С. Мережковским как «внешний круг» их воскресного салона (*Терапиано*. Встречи. С. 46–47) для проведения публичных литературно-философских собеседований. Стенографические отчеты собраний «Зеленой лампы» печатались поначалу в журнале «Новый корабль», а затем в газете «Возрождение». Отдельные доклады, переработанные в статьи, появлялись в журнале «Числа». За время существования «Зеленой лампы» (1927–1939) состоялось 52 заседания. Подробнее о работе «Зеленой лампы» см. в статье Фельзена «Парижская “Зеленая Лампа”».

С. 189. *Мандельштам* – Осип Эмильевич Мандельштам (1891–1937), поэт, прозаик, эссеист, переводчик, литературный критик, знакомый с Георгием Ивановым по гумилевскому «Цеху поэтов».

С. 189. *Кузмин* – Михаил Алексеевич Кузмин (1872–1936) – поэт, прозаик, композитор, переводчик, литературный критик, оказавший значительное стилистическое влияние на раннее творчество Георгия Иванова.

С. 189. *Розанов* – Василий Васильевич Розанов (1856–1919), философ, эссеист, литературный критик, публицист, одна из самых оригинальных фигур русского модернизма.

ЛИТЕРАТУРНАЯ МОЛОДЕЖЬ ИЗ «КОЧЕВЬЯ»

Впервые – Сегодня вечером. 1930. 22 августа. № 188. С. 4.
Печатается по данной публикации.

С. 191. *«Зеленая лампа»* – См. примечания к статье «У Мережковских – по воскресеньям», а также статью Фельзена «Парижская “Зеленая Лампа”».

С. 191. *Георгий Иванов* – См. примечания к статье «У Мережковских – по воскресеньям».

С. 191. *...в полуисторическом и своеобразно-живописном кафе «Ля Болэ»...* – С начала 1920-х годов собрания молодых эмигрантских поэтов часто происходили в подвальном помещении кафе «Ля Боле» (La Bolée; здесь: «кружка сидра»), расположенном в нескольких метрах от площади Сен-Мишель (25, rue de l’Hirondelle) и хорошо приспособленном для многолюдных и шумных литературных чтений. С ноября 1923 года, когда в Париже начинается работа «Цеха поэтов» под руководством Г. Адамовича, Г. Иванова и Н. Оцупа, «Ля Боле» становится штаб-квартирой «Цеха», который, не скрывая своей оппозиции «левому» искусству, собирает молодых изгнанников на лекции, чтения и обсуждения стихов. В 1924 году «Ля Боле» становится одним из излюбленных мест для встреч членов новообразованного Союза молодых поэтов и писателей в Париже. Именно их имеет в виду Фельзен, говоря ниже о посещениях собраний «Кочевья» «поэтами из кафе “Ля Болэ”».

С. 191. *«Консомация»* – (здесь) заказ напитков и закусок (от франц. consommation).

С. 192. *М. Л. Слоним* – Марк Львович Слоним (1894–1976), общественно-политический деятель, активный член партии эсеров, литературный критик, публицист, переводчик, соредактор пражского журнала «Воля России» (1922–1932), основатель и редактор парижского литературного двухнедельника «Новая газета» (1931), с 1928 года организатор и председатель общества «Кочевье».

С. 192. *Газданов* – Гайто (Георгий) Иванович Газданов (1903–1971), ведущий писатель младшего поколения, критик и публицист, живший в Париже с 1923 года. В середине двадцатых годов Газданов увлекался советской прозой: его первые рассказы безошибочно указывают на влияние И. Бабеля, М. Зощенко и «Серапионовых братьев». Но уже к концу двадцатых годов Газданов критически относится к советской литературе и уделяет намного больше внимания французским «учителям». Его первый роман, «Вечер у Клер» (1930), провозглашенный критиками

«прустианским», стал одним из символов молодой эмигрантской литературы в Париже.

С. 192. *Поплавский* – Борис Юлианович Поплавский (1903–1935), самый известный и популярный из младших эмигрантских поэтов. Живя в Париже с 1921 года, Поплавский принимал участие в «левых» (авангардистских) объединениях русских писателей, вдохновляемых советскими футуристами и конструктивистами, а также французскими дадаистами и сюрреалистами. В результате, до 1928 года Поплавский не участвовал, по политическим и эстетическим соображениям, в литературной жизни эмиграции и не печатался в эмигрантской прессе. Первые издания стихов Поплавского появились в «Воле России» – самом «левом» из эмигрантских «толстых» журналов. При жизни поэт успел опубликовать лишь одну книгу стихов – «Флаги» (1931). См. также статью Фельзена «Поплавский» в настоящем издании.

С. 192. *Варшавский* – Владимир Сергеевич Варшавский (1906–1978), прозаик, литературный критик, публицист, прибывший в Париж в 1926 году из Праги, где начал свою литературную карьеру в качестве сотрудника «Воли России». В Париже Варшавский продолжал печатать рассказы, присутствовал на «воскресеньях» у Мережковских, а также вошел в группы «Чисел» и «Круга», став одним из теоретиков литературного творчества младшего поколения изгнанников. После войны Варшавский опубликовал книгу мемуаров «Незамеченное поколение» (1956), в которой дал свою версию литературной жизни младших литераторов-парижан.

С. 192. *...прошло то время, когда молодые русские поэты <...> друг другу читали свои произведения и этим ограничивалась их литературная деятельность*. – О первых шагах младшего поколения эмигрантских писателей см.: *Ливак Л.* Героические времена молодой зарубежной поэзии. Литературный авангард русского Парижа (1920–1926) // Диаспора: новые материалы VII. Париж. 2005. С. 131–242.

С. 192. *«Поволоцкий» выпустил Газданова…* – Имеется в виду франко-русский издательский дом «Povolozky», основанный социалистом Яковом Евгеньевичем Поволоцким (1881–1945), эмигрировавшим во Францию в 1908 г. Парижское издательство Поволоцкого выпустило в 1930 году не только «Вечер у Клер» Гайто Газданова, но и первый роман Фельзена – «Обман».

С. 192. *Болдырев* – Иван Андреевич Болдырев (1903–1933; наст. фамилия Шкотт), прозаик, бежавший из советской ссылки и нелегально перешедший границу в 1925 году. Жил во Франции с 1927 года, где и стал автором нашумевшего романа «Мальчики и девочки» (1929), основанного на личных воспоминаниях о первых годах советской школы.

С. 192. *Яновский* – Василий Семенович Яновский (1906–1989), прозаик, литературный критик, публицист, прибывший в Париж в 1926 году из Варшавы, где напечатал свои первые рассказы в газете «За свободу!». Яновский был постоянным посетителем салона Гиппиус, активно сотрудничал в «Числах» и «Круге», был близко знаком с Фельзеном, вместе с которым организовал в середине тридцатых годов издательство «Парижское объединение писателей». Романы Яновского «Колесо» (1930), «Мир» (1932) и «Любовь вторая» (1935) рассматривались эмигрантскими критиками как яркое выражение эстетики «Парижской школы». Яновский описал жизнь младших писателей-эмигрантов в книге мемуаров «Поля Елисейские» (1983).

С. 192. *Д. С. Мережковский* – См. примечания к статье «У Мережковских – по воскресеньям».

С. 193. *Сергей Шаршун* – Сергей Иванович Шаршун (1888–1975), живописец, график, поэт, прозаик, участник первых – «левых» – объединений молодых эмигрантских поэтов в Париже и движения французских дадаистов. Завсегдатай «воскресений» у Мережковских, сотрудник «Чисел» и «Круга», Шаршун увлекался антропософией и регулярно выставлял свои картины на парижских художественных выставках. До войны Шаршун опубликовал отрывки из романа «Долголиков», а также романы «Путь правый» (1934) и «Заячье сердце» (1937), входившие в эпопею «Герой интереснее романа». Вероятно, имея в виду описанный здесь эпизод, Шаршун позже утверждал, что «обязан Г. Адамовичу – своей литературной карьерой» (*Шаршун С.* Из листовок // Новый журнал. 1986. № 163. С.137). См. в настоящем издании рецензию на «Путь правый» и ответ на анкету «Самое значительное произведение русской литературы последнего пятилетия».

С. 192. *...критик Адамович...* – См. примечания к статье «У Мережковских – по воскресеньям».

С. 193. *Вадим Андреев* – Вадим Леонидович Андреев (1902–1976), прозаик, поэт, литературный критик, сын одного из самых известных прозаиков и драматургов начала века Леонида Николаевича Андреева (1871–1919). Прибыл в Париж в 1924 году из Берлина, где опубликовал поэтический сборник «Свинцовый час» (1924). Один из организаторов Союза молодых поэтов и писателей в Париже (1924). До войны напечатал книгу стихов «Недуг бытия» (1927), поэму «Восстанье звезд» (1932) и ряд стихотворений и рассказов в «Воле России», «Числах» и «Русских записках».

С. 193. *Владимир Смоленский* – Владимир Алексеевич Смоленский (1901–1961), поэт, литературный критик, переводчик. В Париже с 1923

года. Смоленской входил в группу «Перекресток», близкую эстетическим воззрениям Владислава Ходасевича и ориентировавшуюся, в отличие от поэтов круга Георгия Адамовича, на своеобразный неоклассицизм. Его сборники стихов «Закат» (1931) и «Наедине» (1938) вызвали резкий критический отпор «Парижской школы».

С. 193. *Господи, ведь нам так мало надо / – Отыскать свой дом и отдохнуть*. – Цитата из стихотворения В. Смоленского «Юрию Мандельштаму» («Бродим, заблудившиеся дети…»), опубликованного в «Сборнике стихов» Союза молодых поэтов (1929). То же двустишие выделил и Георгий Адамович в рецензии на «Сборник стихов»: «Сборник довольно тусклый, но отдельные вещи в нем есть неплохие. Таково, например, стихотворение В. Смоленского “Мост”, чуть-чуть растянутое, но все-таки живое и убедительное. Второе стихотворение того же поэта слабее. Оно сплошь состоит из общих мест. Его спасают только две строчки, точные, простые, искренние, – будто после долгого и ленивого бормотания человек вдруг заговорил действительно: *Господи! Ведь нам так мало надо; Отыскать свой дом и отдохнуть*» (Молодые поэты // Последние новости. 1930. № 3214. С. 3).

С. 193. *Милый, я слышу, слышу, / Милый, спасенья нет*. – Цитата из стихотворения «Никогда я так жалок не был...» (1929), вошедшего в книгу стихов В. Смоленского «Закат» (1931).

С. 194. *Сосинский* – Бронислав (Владимир) Брониславович Сосинский (1900–1987), поэт, прозаик, литературный критик, переводчик. Во Франции с 1924 года. Первые рассказы Сосинского печатались в «Воле России» и «Звене». Позже сотрудничал в «Числах». См. о нем статью «На литературных собраниях» в настоящем издании.

С. 194. *Фохт* – Всеволод Борисович Фохт (1895–1941), поэт, прозаик, литературный критик, журналист и редактор. Наиболее известен в среде парижских писателей как отец ряда литературных и культурных инициатив, включая первый журнал Союза молодых поэтов и писателей в Париже «Новый Дом» (1926–1927) и Франко-Русскую Студию (1929–1931). О нем см. статью Фельзена «Парижские встречи русских и французских писателей».

С. 194. *Рейзини* – Наум Георгиевич Рейзини (даты жизни точно не установлены: 1902/1905–1977/1979), журналист, критик, переводчик, предприниматель и авантюрист. Уроженец Греции, гражданин США, человек русской культуры, этот красочный персонаж русского Монпарнаса был широко известен в эмигрантских кругах своей способностью добывать средства на разнообразные литературные предприятия. Среди его достижений – финансирование нескольких номеров журнала «Числа».

Рейзини был впоследствии депортирован французскими властями в США по подозрению в незаконных финансовых махинациях.

С. 194. *Одоевцева* – См. примечания к статье «У Мережковских – по воскресеньям». В настоящей статье упоминается второй роман Одоевцевой, «Изольда» (1929).

С. 194. *...«марксистский князь» – Святополк-Мирский...* – Князь Дмитрий Петрович Святополк-Мирский (1890–1939), литературовед, критик, публицист, поэт, переводчик. В 1922–1931 гг. доцент русской литературы в King's College Лондонского университета и в Школе славянских исследований. Автор авторитетной английской монографии по истории русской литературы. В 1922 году Мирский примкнул к евразийскому движению, был соредактором журнала «Версты» (1926–28), близкого к евразийству, и членом редколлегии газеты «Евразия» (1928–1929). «Версты» были единодушно встречены эмигрантскими критиками как явление отрицательное и в культурном и в идеологическом отношении. В конце 1931 года Мирский вступил в британскую компартию. Приняв советское гражданство, в 1932 году он вернулся в СССР. Арестован в 1937 г. Погиб в заключении.

С. 195. *Евразийство* – неославянофильское и антиевропейское идеологическое течение в эмиграции. Инициатива евразийства восходит к сборнику статей «Исход к Востоку» (1922), где П. Н. Савицкий, П. П. Сувчинский, Н. С. Трубецкой и Г. В. Флоровский провозгласили необходимость «смирения» перед революцией. Немногим позже идеология евразийства логически привела к приятию большевистского переворота ради будущего государственного устройства России на основе духовного (православно-церковного) и экономического слияния национального начала с «евразийским» миром, исключавшим Западную Европу.

С. 195. *...яростный «большевизан»...* – Распространенная в эмиграции кличка, которую давали людям, открыто сочувствующим советскому режиму (от франц. bolchevisant). К середине 1920-х гг. политические взгляды Д. С. Мирского всё более походили на гибрид евразийской и большевистской идеологий, которым он искал оправдание в литературе европейского модернизма. См. его высказывания в письмах к П. П. Сувчинскому: «Когда же Вы в Париже? Подлецы французишки какие-то новые затруднения выдумали с визами. Если Вы мне скоро не устроите Евразийскую совласть, я скоро сделаюсь коммунистом, очень уж не по нутру гнусный империалистический капиталистический Запад» (2 февраля 1925); «У меня есть мысль дать перевод в стихах <...> поэмы Т. С. Элиота “The Hollow Man”, вещи гениальной по концентрированности чувства смерти, гниения и импотентности послевоенной Европы, и действительно очень

большой художественно» (11 марта 1926). The Letters of D. S. Mirsky to P. P. Suvchinksii, 1922–31 / Ed. G. S. Smith. Birmingham.1995. P. 38, 52.

С. 195. *В противоположность Св.-Мирскому, у иных молодых писателей из «Кочевья» происходит совсем другая эволюция*. – В начале своей деятельности, благодаря художественным вкусам и политическим взглядам М. Л. Слонима, «Кочевье» занимало «левую» позицию в эмигрантской полемике о судьбах русской литературы, не только признавая эстетические достоинства творчества советских модернистов (или, как их тогда называли – «попутчиков»), но и предпочитая их достижения эстетическому консерватизму эмигрантской литературной жизни. Однако идеологическая атмосфера в «Кочевье» стала заметно меняться в начале тридцатых годов. Георгий Адамович писал: «Расцвет и упадок “Кочевья” не случайны. Общество это сделало ставку на советскую литературу. Года три или четыре тому назад его тенденция совпала с повсеместным, очень сильным интересом к этой литературе: тогда многие верили, что всё свежее и юное, в литературном смысле, идет из России <...> А сейчас иллюзии рассеялись. Выяснилось, что советской литературе не так уж много есть что “предъявить”. Россыпи оказались миражом <...> В десять или двенадцать вечеров все богатства оказались истощены, – а об “отображении Беломорстроя” в художественном слове или о “роли литературы в посевной кампании” охотников рассуждать и говорить не нашлось» (На разные темы // Последние новости. 1933. № 4649. С. 3).

ПАРИЖСКИЕ ВСТРЕЧИ РУССКИХ И ФРАНЦУЗСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Впервые – Сегодня. 1930. 12 сентября. № 252. С. 3.
Печатается по данной публикации.

Собрания Франко-Русской Студии, организованные Всеволодом Фохтом и Робером Себастьяном, продолжались с 1929 по 1931 гг. На протяжении четырнадцати открытых вечеров русские литераторы-изгнанники и их французские коллеги обсуждали – по-французски – широкий спектр литературно-философских тем: «Тревога в литературе», «Лев Толстой», «Федор Достоевский», «Андре Жид», «Марсель Пруст», «Поль Валери», «Шарль Пеги», «Послевоенный русский роман», «Послевоенный французский роман», «Советская литература», «Русско-французские литературные связи», «Символизм» и т. д. Стенографические отчеты всех докладов и следовавших за ними дискуссий публиковались французскими

журналами «Cahiers de la quinzaine» и «France et monde». Эти регулярные встречи и дебаты позволили многим писателям-эмигрантам младшего поколения – Юрию Фельзену, Владимиру Вейдле, Георгию Адамовичу и пр. – завязать профессиональные и дружеские отношения с целым рядом французских литераторов. См. полное воспроизведение стенограмм описываемых Фельзеном докладов и обсуждений во Франко-Русской Студии, а также историю создания и работы этого культурного начинания: Le Studio franco-russe. Textes réunis et présentés par Leonid Livak. Sous la rédaction de Gervaise Tassis. Toronto. 2005.

С. 196. *Я уже писал о Всеволоде Фохте…* – См. статью «Литературная молодежь из “Кочевья”».

С. 196. *...еще со времен Мериме, со времен Тургенева и Флобера...* – имеются в виду профессиональные и дружеские отношения, связывавшие французских писателей Проспера Мериме (1803–1870) и Гюстава Флобера (1821–1880) с И. С. Тургеневым (1818–1883), долгое время проживавшим во Франции.

С. 196. *«Intransigeant»* – одна из самых многотиражных ежедневных французских газет право-центристского толка, издававшаяся в Париже.

С. 197. *Бунин* – См. примечания к статье «У Мережковских – по воскресеньям».

С. 197. *Алданов* – См. примечания к статье «У Мережковских – по воскресеньям».

С. 197. *Зайцев* – Борис Константинович Зайцев (1881–1972), ведущий прозаик старшего поколения эмигрантской литературы, оказался вовлеченным в работу Франко-Русской Студии с самого ее зарождения. Рассказ Зайцева «Авдотья смерть» был переведен и опубликован журналом «France et Monde» в 1929 году как часть фохтовской программы франко-русских литературных контактов. Зайцев поделился своими впечатлениями от собраний Франко-Русской Студии в статье «Дневник писателя» (Возрождение. 1930. № 1981. С. 3).

С. 197. *Себастьян* – Робер Себастьян (р. 1903), французский поэт, писатель, редактор и общественный деятель. Ко времени основания Студии Себастьян приобрел литературную известность благодаря своим книгам «Часовня Сэнт-Анж» (1928) и «Оливье» (1930). Себастьян входил в группу французских философов и культурных деятелей, объединившихся вокруг теолога Жака Маритена в движение «католического возрождения».

С. 197. *Андре Жид* – об Андре Жиде см. примечания к «Обману».

С. 197. *Жан Максанс* – псевдоним Пьера Годме (р. 1906), философа, романиста, литературного критика, редактора журнала «Cahiers 1929». В

своей статье Фельзен ошибочно называет Максанса Шарлем. В настоящем издании ошибка исправлена.

С. 197. *Андре Мальро* – Андре Мальро (1901–1976), писатель, журналист, публицист и общественный деятель, сторонник политически «ангажированной» литературы, ставшей модной во Франции в тридцатые годы. Придерживаясь до войны левых политических взглядов, Мальро воевал добровольцем в Испании и опубликовал ряд романов, пропагандирующих коммунистические идеалы. Фельзен путает первый роман Мальро, «Победители» («Les Conquérants», 1928), с «Королевским путем» («La Voie royale», 1930), его вторым романом, где Мальро изложил историю своих «археологических» злоключений. Несмотря на сетования отца, Мальро всё же получил Гонкуровскую премию в 1933 году за роман «Удел человеческий» («La Condition humaine»). Через три месяца после появления статьи Фельзена, в декабре 1930 года, отец Андре Мальро, Фернанд (1875–1930), покончил жизнь самоубийством, разорившись во время краха на Парижской бирже. См. статью Фельзена «Мальро (Французские “тридцатые годы”)» в настоящем издании.

С. 198. *Бенжамен Кремье* – Бенжамен Кремье (1888–1944), романист, историк литературы и искусства, один из самых влиятельных французских критиков межвоенного периода, энтузиаст и пропагандист творческого наследия Марселя Пруста. Во время немецкой оккупации Кремье был депортирован и погиб в Освенциме.

С. 198. *...бунинская «Жизнь Арсеньева»...* – Роман И. А. Бунина «Жизнь Арсеньева», большей частью опубликованный в «Современных записках» (1927–1929). Работа над окончательной редакцией романа затянулась до 1933 года.

С. 198. *Мережковский* – См. примечания к статье «У Мережковских – по воскресеньям».

С. 198. *Газданов* – См. примечания к статье «Литературная молодежь из “Кочевья”».

С. 198. *Сирин* – псевдоним Владимира Владимировича Набокова (1899–1977), поэта, прозаика и литературного критика, жившего в Берлине и опубликовавшего к началу 30-х годов целый ряд романов («Машенька», «Король, дама, валет», «Защита Лужина», «Подвиг»), пользовавшихся широким успехом у эмигрантской аудитории.

С. 198. *Познер* – См. примечания к статье «У Мережковских – по воскресеньям». Здесь имеется в виду книга В. С. Познера о современной русской литературе (Panorama de la littérature russe contemporaine, 1929), подвергшаяся критике за тенденциозное освещение советско-эмигрантского эстетического противостояния в пользу советской литературы.

С. 199. *Ильязд* – Илья Михайлович Зданевич (1894–1975), поэт-футурист, прозаик, искусствовед, график. С 1921 года являлся одним из организаторов и вдохновителей литературной жизни «левых» поэтов-изгнанников. Зданевич был среди основателей группы «Через» (1922), парижского союзника ЛЕФа. К середине 20-х годов большинство поэтов покинуло «Через» из идеологических соображений. Оставшись верным «левому» искусству и враждебно настроенный по отношению к антисоветской эмиграции, Зданевич не участвовал в эмигрантской культурной жизни, не сотрудничал в прессе русского Парижа и издавал свои книги самостоятельно.

С. 199. *Шатобриан* – См. примечания к «Письмам о Лермонтове» и к статье «Французская эмиграция и литература».

С. 199. *Мадам де Сталь* – См. примечания к «Письмам о Лермонтове».

С. 199. *Виктор Гюго* – Виктор Мари Гюго (1802–1885), поэт, прозаик, драматург, видный теоретик французского романтизма, публицист и общественный деятель, провел двадцать лет в изгнании, будучи политическим противником Второй Империи.

С. 199. *...священник Жилле...* – Отец (в будущем архимандрит) Леон Жилле (1893–1980), богослов, эссеист, журналист, литературный критик. Уроженец Франции, Жилле был монахом бенедиктинского ордена в Англии, а затем монахом-униатом в австрийской Галиции. В середине двадцатых годов он редактирует журнал «современного католицизма» – «La Revue des Jeunes» – в котором сотрудничают Поль Клодель и Жак Маритен. К концу двадцатых годов Жилле переходит в православие, занимается переводами трудов Сергия Булгакова и становится священником французского православного прихода в Париже, где знакомится с эмигрантскими писателями Надеждой Городецкой и Всеволодом Фохтом, которые привлекают его к сотрудничеству во Франко-Русской Студии.

С. 199. *Георгий Адамович* – См. примечания к статье «У Мережковских – по воскресеньям».

С. 200. *З. Н. Гиппиус* – См. примечания к статье «У Мережковских – по воскресеньям».

НА ОДНОМ СТРАННОМ РАУТЕ В ПАРИЖЕ

Впервые – Сегодня. 1930. 4 октября. № 274. С. 2.
Печатается по данной публикации.

С. 201. *Андре Жермен* – Андре Жермен (1882–1971), писатель, литературный критик, искусствовед, публицист, редактор, один из защитников и популяризаторов творчества Марселя Пруста во французской литературе межвоенного периода. В 1938 году Владислав Ходасевич оставил едкое свидетельство о взаимоотношениях Жермена и Максима Горького: «Действие происходит в 1925 году, но я начну с несколько более ранней поры. Писателя Х. (не русского, иностранного) встречал я у Горького еще в Германии, в 1922–1923 годах. Написал он всего две-три жиденькие книжечки каких-то заметок, отрывков о том о сем. Однако был ужасно передовой, увлекался дадаизмом, сюрреализмом, коммунизмом, когда-то знаком был с Марселем Прустом, а главное – был чрезвычайно богат: имя его значится в числе даже не двухсот, а двух-трех богатейших фамилий. Разумеется, он везде был принят и всех принимал у себя. В его салоне банкиры и представители владетельных домов встречались с советскими писателями. Порхая с идеи на идею, из салона в салон, любил он залетать и в чужие страны. В одно из таких путешествий я с ним познакомился. Маленький, щупленький, на тоненьких ножках, с лысинкою, покрытой цыплячьим пухом, говорил он тоненьким голосом – словно мяукал. Было ему лет под сорок, но после обеда огромный лакей, состоявший при нем, уводил его в спальню (словно бы уносил под мышкой), под струей умывальника мылил и мыл ему ручки и мохнатым полотенцем вытирал пальчики. Лакей спал с ним в одной комнате, из которой наутро поклонник Пруста и Ленина рысцою бежал по коридору – пить кофе, болтать о революции. Горький с ним обращался, как старый сенбернар с новорожденным котенком. Казалось, вот-вот возьмет он его зубами за шиворот и отнесет под лестницу к матери. Х., однако же, хорохорился: дрыгал ножками и без умолку пищал о самоновейшем. Кому-то из наших дам посвятил он стихотворение в прозе: изображалось, как он, где-то в Сибири в страшную стужу, гуляет с этою дамою по берегу озера, тихие волны которого отражают меланхолическую луну и задумчивых лебедей, а с деревьев сыплется много снега, а ямщик идет сзади, звонит в колокольчик и поет тихую песню о Ленине. Само собой разумеется, что Х. рекомендовался величайшим почитателем Горького. Болтовню его, впрочем, никто не слушал. Довольствовались тем, что, благодаря своим связям, он умел хорошо пристраивать книги Горького в иностранные издательства (Завтрак в Сорренто // Некрополь. Литература и власть. Письма Б. А. Садовскому / Сост. С. Сильванович, М. Шатина; предисл. и коммент. Н. Богомолова. Москва. 1996. С. 179–180).

С. 201. *...о Бунине, Алданове...* – См. примечания к статье «У Мережковских – по воскресеньям». Переводы произведений И. А. Бунина и М. А. Алданова, а также рецензии на их книги, печатались в журнале

Андре Жермена «Écrits nouveaux» (см. *Livak L*. Russian Émigrés in the Intellectual and Literary Life of Interwar France: A Bibliographical Essay. Montréal. 2010).

С. 201. *Алексей Толстой* – граф Алексей Николаевич Толстой (1882–1945), советский писатель, публицист и общественный деятель. Автор многочисленных романов, повестей и рассказов, лауреат трех Сталинских премий первой степени.

С. 201. *Маяковский* – Владимир Владимирович Маяковский (1893–1930), советский поэт-футурист, драматург, киносценарист, режиссёр, актёр, художник, редактор, основатель группы ЛЕФ. Незадолго до описываемых событий, в апреле 1930 года, Маяковский покончил жизнь самоубийством.

С. 202. «*Лионский Кредит*» – один из крупнейших банков Франции, основанный в 1863 году Анри Жерменом (1824–1905), отцом Андре Жермена.

С. 202. *Леон Доде* – Леон Доде (1867–1942), писатель, влиятельный литературный критик и публицист, общественный деятель, соредактор монархистской газеты «Action française», являвшейся рупором крайне правого крыла французской политической жизни.

С. 202. *Граф Кайзерлинг* – Герман Кайзерлинг (1880–1946), немецкий философ и писатель, уроженец Латвии, учившийся в русской гимназии в Эстонии. Скорее всего, именно «русско-балтийское прошлое» Кайзерлинга навело Андре Жермена на мысль пригласить на прием Юрия Фельзена, говорившего по-немецки и располагавшего собственным «балтийским прошлым». Кайзерлинг пользовался широкой популярностью во Франции, благодаря своей работе «Путевой дневник философа» (1919).

С. 203. *Эренбург* – Илья Григорьевич Эренбург (1891–1967), советский писатель, журналист, публицист, общественный деятель. Как парижанин с большим (еще дореволюционным) стажем и широкими связям во французской культурной среде, Эренбург получил от советского правительства исключительную привилегию жить во Франции в качестве полуофициального представителя и пропагандиста советской культуры и идеологии. Эренбург окончательно вернулся в СССР лишь после разгрома и оккупации Франции.

С. 203. *Ларионов* – Михаил Федорович Ларионов (1881–1964), живописец, график, декоратор. Подобно Эренбургу, Ларионов поселился в Париже еще до революции, но несмотря на свои «левые» взгляды в искусстве, дальше модного в среде художников-авангардистов теоретического «большевизанства» он не пошел. Будучи членом Союза русских художников, который в середине двадцатых годов провозгласил себя со-

ветской культурной колонией в Париже, Ларионов в СССР не вернулся, приняв французское гражданство.

С. 203. *...дочь Толстого...* – Татьяна Львовна Сухотина-Толстая (1864–1950), старшая дочь Л. Н. Толстого, мемуаристка. В эмиграции, Т. Л. Сухотина-Толстая опубликовала ряд статей о своем отце во французской прессе (см. *Livak*. Russian Émigrés. P. 401–402).

С. 204. *Жан Кассу* – Жан Кассу (1897–1986) писатель, искусствовед, публицист и общественный деятель, достигший литературного успеха романом «Ключ к сновидениям» (1929).

С. 204. *Андре Шамсон* – Андре Шамсон (1900–1983), писатель и общественный деятель, получивший известность во второй половине двадцатых годов циклом романов, описывающих жизнь социальных низов французской провинции («Рыжий бандит», 1925; «Люди с большой дороги», 1927, и др.).

С. 205. *Эмиль Людвиг* – Эмиль Людвиг (1881–1948), немецкий писатель, автор популярных и спорных биографий Наполеона (1927), Бисмарка (1927), Гете (1928) и Христа (1928), вызвавших широкий критический резонанс.

С. 205. *Галлимар* – Гастон Галлимар (1881–1975), владелец крупнейшего французского издательского дома, Librairie Gallimard, основавший в 1908 году, в сотрудничестве с Андре Жидом и Жаном Шлумберже, самый престижный модернистский журнал Франции, «La Nouvelle Revue Française». О серии переводов советских писателей в издательстве Галлимар и о ее месте в культурной жизни межвоенной Франции, см. *Livak*. Russian Émigrés in the Intellectual and Literary Life of Interwar France. P. 12–44.

С. 205. *Андрей Левинсон* – Андрей Яковлевич Левинсон (1887–1933), искусствовед, литературный критик, историк балета. Активно печатаясь по-русски в эмигрантской прессе, Левинсон являлся постоянным сотрудником французского литературно-художественного еженедельника «Nouvelles littéraires, artistiques et scientifiques», где регулярно появлялись его статьи и рецензии, посвященные современным французским и русским писателям, а также театральной жизни Парижа.

С. 205. *...История эта очень тогда нашумела...* – имеется в виду скандал вокруг некролога «Поэзия в СССР: самоубийство Маяковского», написанного Левинсоном для «Nouvelles littéraires» (1930. 31 мая. № 398. С. 6). Критик выразил в некрологе эмигрантскую точку зрения на Маяковского, как политического агитатора, чье литературное творчество свелось на нет серией идеологических компромиссов с властью. Писатель-сюрреалист Луи Арагон, женатый на Эльзе Триоле, сестре близкой Маяковскому

Лили Брик, устроил скандал на квартире у Левинсона и был арестован полицией. В ответ на некролог Левинсона группа советских культурных деятелей, живших в Париже, собрала подписи просоветски настроенных русских изгнанников и французских писателей, опубликовав в «Nouvelles littéraires» (14 июня. № 400. С. 6) гневную отповедь Левинсону. Критик ответил «большевизанам» в том же номере газеты, а вскоре большая группа эмигрантских писателей опубликовала в «Nouvelles littéraires» (12 июля. № 404. С. 6) открытое письмо в поддержку Левинсону, подтвердив широко распространенный в эмиграции взгляд на Маяковского как на литератора, похоронившего свой талант на службе у советской власти. Подробнее об этом инциденте см. *Livak L.* Nina Berberova et la mythologie culturelle de l'émigration russe en France // Cahiers du monde russe. 2002. № 2–3. P. 463-78.

ПАРИЖСКАЯ «ЗЕЛЕНАЯ ЛАМПА»

Впервые – Сегодня. 1930. 25 октября. № 295. С. 2.
Печатается по данной публикации.

Общие сведения о «Зеленой Лампе» и литературно-философском салоне Мережковских см. в статье «У Мережковских – по воскресеньям» и в примечаниях к ней.

С. 206. *...пушкинское название «Зеленая Лампа»...* – Имеется в виду участие А. С. Пушкина в петербургском кружке «Зеленая Лампа» (1818–1820), связанном с тайным обществом «Союз благоденствия» и объединявшем, в основном, военную молодежь. Несмотря на кажущийся определяющим литературный фон кружка, центр тяжести собраний «Зеленой Лампы» приходился на чтение и обсуждение докладов на актуальные социально-политические темы. См. *Щеголев П. Е.* «Зеленая Лампа» // Пушкин и его современники. Вып. 8. Санкт-Петербург. 1908. С. 19–50. *Модзалевский Б. Л.* К истории «Зеленой Лампы» // Пушкин и его современники. Избранные труды (1898–1928). Санкт-Петербург. 1999. С. 9–66.

С. 207. *Ходасевич, Берберова...* – См. о В. Ф. Ходасевиче и Н. Н. Берберовой примечания к статье «У Мережковских – по воскресеньям». Ходасевич поначалу содействовал Гиппиус в организации «Зеленой Лампы», первое заседание которой, состоявшееся 5 февраля 1927 года, он открыл вступительным словом. Годом позже Ходасевич объявил Гиппиус о своем выходе из общества (см. ее письмо от 13 марта 1928 г.: *Гиппиус З.* Письма к Берберовой и Ходасевичу / Ред. Э. Ф. Шейхолеслами. Энн Арбор. 1978.

С. 88). Подробнее о их взаимоотношениях и причинах конфликта см. *Ливак Л.* Критическое хозяйство Владислава Ходасевича // Диаспора: новые материалы IV. Париж. 2002. С. 393–399.

С. 207. *Злобин* – См. примечания к статье «У Мережковских – по воскресеньям».

С. 207. *Бунин с супругой* – См. о И. А. Бунине статью «У Мережковских – по воскресеньям» и примечания к ней. Женой писателя была Вера Николаевна Бунина (урожденная Муромцева, 1881–1961), переводчица, публицистка, мемуаристка.

С. 207. *Алдановы* – См. о М. А. Алданове примечания к статье «У Мережковских – по воскресеньям». Здесь имеется в виду также жена писателя, переводчица Татьяна Марковна Алданова (урожденная Зайцева, 1893–1968).

С. 207. *Зайцевы* – См. о Б. К. Зайцеве примечания к статье «Парижские встречи русских и французских писателей». Здесь имеется в виду вторая жена писателя, общественный деятель Вера Алексеевна Зайцева (урожденная Орешникова, 1878–1965).

С. 207. *Тэффи* – См. примечания к статье «У Мережковских – по воскресеньям».

С. 207. *Вишняк* – Марк Вениаминович Вишняк (1883–1976), публицист, общественно-политический деятель, юрист, соредактор самого авторитетного и престижного журнала русского зарубежья «Современные записки».

С. 207. *Бунаков-Фундаминский* – Илья Исидорович Фондаминский (псевд. Бунаков, 1881–1942), общественно-политический деятель, издатель, соредактор «Современных записок», организатор литературно-философского общества «Круг». Подобно Фельзену, депортирован и погиб в лагере смерти.

С. 207. *Демидов* – Игорь Платонович Демидов (1873–1946), писатель, литературный критик, журналист, публицист, сотрудник газеты «Последние новости».

С. 207. *Талин* – псевдоним Семена Осиповича Португейса (1880–1944), журналиста, публициста, сотрудника «Последних новостей». Талин также писал под упоминаемым в статье Фельзена псевдонимом Иванович.

С. 207. *С. Маковский* – Сергей Константинович Маковский (1877–1962), поэт, искусствовед, литературный критик, издатель, редактор петербургского журнала «Аполлон» (1909–1917), послужившего моделью парижским «Числам».

С. 207. *Маклаков* – См. примечания к статье «У Мережковских – по воскресеньям».

С. 207. *Георгий Иванов <...> Бахтин* – См. статью «У Мережковских – по воскресеньям» и примечания к ней.

С. 208. *Одно из первых же собраний – по вопросу об эмигрантской и советской литературе...* – Имеются в виду второе и третье заседания «Зеленой Лампы»: доклад З. Н. Гиппиус «Русская литература в изгнании» вызвал такое горячее обсуждение, что было решено продолжить прения на следующем собрании. Стенограмма доклада и дебатов опубликована в журнале «Новый корабль» (1927. № 1. С. 35–45; № 2. С. 39–47).

С. 208. *Кускова* – Екатерина Дмитриевна Кускова (1869–1958), общественно-политический деятель, журналист, публицист, сотрудница «Современных записок».

С. 208. *Прокопович* – Сергей Николаевич Прокопович (1871–1955), экономист, общественно-политический деятель, публицист, редактор эмигрантских журналов «Экономический вестник», «Русский экономический сборник», «Бюллетень».

С. 208. *Довид Кнут* – псевдоним Давида Мироновича Фиксмана (1900–1955), одного из самых известных и оригинальных поэтов младшего эмигрантского поколения, а также прозаика, литературного критика, редактора, мемуариста, участника одной из первых групп Сопротивления.

С. 208. *Терапьяно* – См. примечания к статье «У Мережковских – по воскресеньям».

С. 208. *...«Париж – столица русской литературы»...* – Эти слова принадлежат Довиду Кнуту, заключившему свое выступление следующим образом: «Позвольте мне выразить уверенность, что близко время, когда всем будет ясно, что столица русской литературы не Москва, а Париж» (Новый корабль. 1927. № 2. С. 42).

С. 209. *...Адамович <...> Одоевцева, Оцуп <...> Ладинский...* – См. примечания к статье «У Мережковских – по воскресеньям».

С. 209. *Поплавский* – См. примечания к статье «Литературная молодежь из “Кочевья”», а также статью Фельзена «Поплавский» в настоящем издании.

С. 209. *Кузнецова* – Галина Николаевна Кузнецова (1900–1976), поэт, прозаик, мемуаристка.

С. 210. *Петр Иванов Старый* – Петр Константинович Иванов (1876–1956), журналист, публицист, церковный деятель, выпустивший в Париже книгу «Смирение во Христе» (1925). Печатался в журналах «Путь» и «Современные записки», и в газете «Возрождение». В свою бытность

в Берлине (1923) Иванов участвовал в работе Религиозно-Философской Академии, основанной Н. А. Бердяевым.

С. 210. *Гиллель Златопольский* (1868–1932), видный сионист, индустриалист и филантроп, много сделавший для развития современной еврейской культуры на языке иврит. Находясь в эмиграции с 1919 года, Златопольский продолжал свою сионистскую деятельность, одновременно публикуя статьи и фельетоны о еврейском фольклоре.

О ЛИТЕРАТУРНОЙ МОЛОДЕЖИ

Впервые – Мансарда. 1930. № 1. С. 26–28.
Печатается по данной публикации.

Рецензируя первый и единственный выпуск рижского литературно-художественного журнала «Мансарда», Марк Слоним согласился со взглядом Фельзена на мировоззренческий раскол эмигрантской литературы, чьи «дети по-иному ощущают и жизнь, и искусство» – отсюда критик выводил появление многочисленных сборников и журналов, полностью отданных «младшим» писателям. Вместе с тем, Слоним находил, что «статьи в “Мансарде” лучше беллетристики», особенно выделяя из публицистического отдела журнала статью Фельзена о литературной молодежи (Воля России. 1930. № 10. С. 892-93).

С. 212. *...что-то обсуждают «мальчики и девочки»...* – намек на героев романа «Мальчики и девочки» (1929) эмигрантского прозаика Ивана Болдырева (см. о нем примечания к статье «Литературная молодежь из “Кочевья”»). Роман описывал жизнь советской школы в первые пореволюционные годы.

НА ЛИТЕРАТУРНЫХ СОБРАНИЯХ

Впервые – Ревизор. 1932. № 1. С. 14.
Печатается по данной публикации.

С. 214. *«Point de départ»* – (здесь) начало пути, точка отсчета *(франц.)*.

С. 214. *…молодой поэт Поплавский...* – См. примечания к статье «Литературная молодежь из “Кочевья”». Здесь, среди прочего, имеется в виду статья Б. Ю. Поплавского «Среди сомнений и очевидностей» (Утверждения. 1932. № 3. С. 96–105).

С. 21. *Младороссы* – Эмигрантское политическое движение, сочетавшее монархизм с фашизмом и зародившееся в 1923 году на мюнхенском «Всеобщем съезде национально мыслящей русской молодежи». Младороссы считали великого князя Кирилла Владимировича претендентом на российский престол и ратовали за возрождение русской имперской государственности на надклассовой и «социальной» основе, с высшей миссией в мировой антиматериалистической «революции духа». В политической символике и ритуалах младороссы имитировали итальянских фашистов и немецких нацистов. О сотрудничестве Фельзена в газете младороссов «Бодрость» см. примечания к рассказу «Фигурация».

С. 215. *Евразийцы* – См. примечания к статье «Литературная молодежь из “Кочевья”».

С. 215. *...в недавнем докладе Марины Цветаевой, «Поэт и время»...* – Статья «Поэт и время», поэта, прозаика, критика, эссеиста и переводчицы Марины Ивановны Цветаевой (1892–1941), была опубликована в пражской «Воле России» (1932. № 1–3. С. 3–22). Одноименный доклад был зачитан Цветаевой в Париже 21 января 1932 г.

С. 215. *Рильке* – Райнер Мария Рильке (1875–1926), австрийский поэт, прозаик, критик и искусствовед, с которым Марина Цветаева состояла в близких профессиональных и дружеских отношениях.

С. 215. *Шатобриан* – См. примечания к «Письмам о Лермонтове» и к статье «Французская эмиграция и литература».

С. 215. *...слова, заканчивавшие доклад...* – Печатная версия «Поэта и времени» заканчивается словами: «Борис Пастернак – там, я – здесь, через все пространства и запреты, внешние и внутренние (Борис Пастернак – с Революцией, я – ни с кем), Пастернак и я, не сговариваясь, думаем над одним и говорим одно. Это и есть: современность» (*Цветаева М.* Сочинения в двух томах, т. 2 / Ред. А. Саакянц. Москва. 1988. С. 374).

С. 215. *Пастернак* – Борис Леонидович Пастернак (1890–1960), советский поэт, прозаик, переводчик, критик, эссеист, связанный с Мариной Цветаевой эпистолярным общением, в котором одно время участвовал и Райнер Мария Рильке.

С. 215. *Б. Сосинский* – См. примечания к статье «Литературная молодежь из “Кочевья”». Сосинский познакомился с Цветаевой вскоре после приезда в Париж (1924). Преклоняясь перед творчеством Цветаевой и защищая ее от нападок эмигрантских литераторов, которым претила «левизна» политических взглядов поэта, Сосинский стал ее доверенным лицом и выполнял поручения, связанные с публикациями и выступлениями. 21 января 1932 года он присутствовал на докладе Цветаевой в качестве «собеседника».

С. 215. *А. В. Эйснер* – Алексей Владимирович Эйснер (1905–1984) – поэт, переводчик, прозаик, участник пражской группы «Скит поэтов», друг мужа Цветаевой, Сергея Эфрона, вместе с которым, как человек «левых» убеждений, участвовал в деятельности Союза возвращения на Родину. В 1940 году вернулся в СССР, где его ждала участь большинства возвращенцев – арест, приговор по статье 58-й, лагерь и ссылка.

С. 215. *Оцуп* – См. примечания к статье «У Мережковских – по воскресеньям».

С. 216. *Шкловский* – Виктор Борисович Шкловский (1893–1984), советский литературовед, критик, прозаик, эссеист, киносценарист. В двадцатые годы Шкловский выдвигал нереализованную идею киносценария по роману Л. Н. Толстого «Анна Каренина», чьи герои переносились в современность и жили в эмиграции, в Берлине или Париже. Таким образом, по замыслу Шкловского, полностью снималась вся этическая проблематика романа, так как вопрос о том, с кем живет Анна, не интересовал бы даже ее квартирную хозяйку. Сам факт цитирования Шкловского, который, вместе с большинством критиков-формалистов, ассоциировался в эмигрантской литературной среде с советским авангардом, бросал вызов антисоветски настроенным изгнанникам.

С. 216. *...очевидно, по поводу «Кавказских пленников» и «Хаджи-Мурата»...* – Речь идет о распространенном сюжете (русский солдат в плену завязывает отношения с экзотической кавказской женщиной), который по-разному обрабатывался в классической русской литературе, от А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова до Л. Н. Толстого. Последнему также принадлежит повесть о войне на Кавказе «Хаджи-Мурат» (1896–1904).

С. 216. *Пильняк* – Борис Андреевич Пильняк (Вогау, 1894–1938), один из самых широко известных советских прозаиков-модернистов двадцатых годов, репрессированный во время сталинского террора. Здесь, вероятно, имеется в виду его книга «Китайский дневник» (1927). См. рецензию Фельзена на «Очередные повести» Пильняка в настоящем издании.

С. 216. *Тихонов* – Николай Семенович Тихонов (1896–1979), советский поэт, журналист, публицист, начавший как последователь Н. С. Гумилева. Член «Серапионовых братьев». Впоследствии видный советский общественный деятель и литературный чиновник. Здесь, видимо, имеются в виду газетные очерки, относящиеся к частым поездкам Тихонова на Кавказ в конце двадцатых годов для изучения жизни и истории кавказских народов и перевода грузинских, армянских и дагестанских поэтов – стандартное для того времени занятие для писателя-попутчика, пытающегося перейти на новые, более лояльные, позиции под давлением сталинской культурной революции.

С. 216. *Мельников-Печерский* – Павел Иванович Мельников (псевд. Андрей Печерский, 1818–1883), писатель-этнограф, чьи произведения – в частности, дилогия «В лесах» (1871–1874) и «На горах» (1875–1881) – подробно описывают быт и обычаи нижегородских купцов-старообрядцев и Комаровского скита.

С. 216. *Мамин-Сибиряк* – Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк (наст. фамилия Мамин, 1852–1912), прозаик и драматург, изображавший традиционный жизненный уклад Урала и Сибири в контексте ломки общественных, моральных и правовых норм под давлением процессов индустриализации и модернизации в пореформенной России.

О ПРУСТЕ И ДЖОЙСЕ

Впервые – Числа. 1932. № 6. С. 215–218.

Печатается по данной публикации.

Ирландский писатель Джеймс Джойс (1882–1941), проведший всю свою творческую жизнь в добровольном изгнании, вызывал у Фельзена неизменное эстетическое и философское отталкивание как инициатор литературной техники «потока сознания», имитирующей спонтанный внутренний монолог, а также своими откровенными физиологическими описаниями. Фельзен склонен был рассматривать творчество Джойса как феномен разрушительный и противостоящий созидательному творчеству Пруста (см. в настоящем издании его отзывы о Джойсе в докладе «Мы в Европе» и в статьях «Умирание искусства» и «Разрозненные мысли»). О Прусте см. также «Письма о Лермонтове» и примечания к ним.

С. 217. *Ремарк* – Эрих Мария Ремарк (1898–1970), немецкий писатель, автор популярного в межвоенный период пацифистского романа «На западном фронте без перемен» (1929), чей натурализм, а также описание войны с точки зрения простого солдата, послужили толчком для создания романа «Путешествие вглубь ночи» Л.-Ф. Селина.

С. 217. *...люди, на мой взгляд, безупречного вкуса и чутья, утверждали, что именно он <...> преемник или соперник Пруста, в чем-то даже его превзошедший*. – Имеется в виду статья Бориса Поплавского «По поводу... Джойса» (Числа. № 4. 1930–1931. С. 170–175).

С. 219. *«Лаунтеннисон»* – Литературный каламбур одного из героев романа Джойса, Стивена Дедалуса, так выразившего свое неприятие поэзии Альфреда Теннисона. В каламбуре фамилия поэта смешивается с английским названием игры в теннис (lawn tennis) – «Lawn Tennyson, gentleman poet». Фельзен, подобно подавляющему большинству современ-

ников Джойса, заблуждается, приписывая авторство каламбура создателю «Улисса», который позаимствовал выражение «Lawn Tennyson» из английских сатирических журналов «Джуди» и «Панч» за 1877–1878 гг.

О СУДЬБЕ ЭМИГРАНТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Впервые – Меч. 1934. 5 августа. № 13–14. С. 18–20.
Печатается по данной публикации.

Фельзен опубликовал свою статью в новом литературном еженедельнике, основанном в Варшаве в 1934 году, по приглашению Д. С. Мережковского, редактировавшего журнал вместе с Д. В. Философовым. В дальнейшем писатель в «Мече» не сотрудничал из-за конфликта «столичных» и «провинциальных» литераторов-эмигрантов, так описанного Владиславом Ходасевичем: «Войдя <в “Меч”> сплоченною группой, парижане тотчас повели себя гегемонами и явно выказали претензию на роль как бы поэтической “метрополии”. “Провинциалы” этого не стерпели, повели себя предерзко и в конце концов свергли парижан, что, впрочем, стоило жизни всему предприятию: журнал распался, и ныне “Меч” выходит в виде еженедельной газеты, но преимущественно политической» (Новые стихи // Возрождение. 1935. № 3585. С. 9; см. также *Баран Х*. Мережковский и журнал-газета «Меч» // Д. С. Мережковский: мысль и слово. Москва. 1999. С. 178–197; *Цуриков В*. К истории эмигрантской публицистики и литературы в Варшаве. Письма Дмитрия Философова, 1930–1934 // From the Other Shore: Russian Writers Abroad, Past and Present. 2003. № 3. С. 55–96). Даже если бы Фельзен поступился столь важной для него «столичностью», он бы всё равно не смог остаться среди сотрудников преобразованного «Меча», так как место главного литературного критика газеты занял враждебно настроенный по отношению к парижскому «прустианцу» А. Л. Бем (см. примечания к «Письмам о Лермонтове»).

С. 223. *«Génération sacrifiée»* – поколение, принесенное в жертву *(франц.)*.

С. 224. *«Не такое нынче время, чтобы нянчиться с собой»* – Неточная цитата из поэмы А. А. Блока «Двенадцать» (1918), где красноармейцы обсуждают убийство Катьки:

– Что, товарищ, ты не весел?
– Что, дружок, оторопел?
– Что, Петруха, нос повесил,
Или Катьку пожалел?

– Ох, товарищи, родные,
Эту девку я любил...
Ночки черные, хмельные
С этой девкой проводил... <...>

– Ишь, стервец, завел шарманку,
Что ты, Петька, баба, что ль?
– Верно, душу наизнанку
Вздумал вывернуть? Изволь!
– Поддержи свою осанку!
– Над собой держи контроль!

– Не такое нынче время,
Чтобы нянчиться с тобой!
Потяжеле будет бремя
Нам, товарищ дорогой!

Блок. Стихотворения. С. 581–582.

МАЛЬРО
(ФРАНЦУЗСКИЕ «ТРИДЦАТЫЕ ГОДЫ»)

Впервые – Встречи. 1934. № 1. С. 30–32.
Печатается по данной публикации.

С. 226. *Андре Мальро* – См. примечания к статье «Парижские встречи русских и французских писателей».

С. 226. *Леон Доде* – См. примечания к статье «На одном странном рауте в Париже».

С. 226. *Селин* – Луи-Фердинанд Селин (1894–1961), французский писатель, драматург и публицист, автор романа «Путешествие вглубь ночи» (1932), который Леон Доде безуспешно выдвигал на Гонкуровскую премию. Говоря о «прошлогоднем решении» Гонкуровской академии, приведшем «к громкому процессу», Фельзен имеет в виду публичный скандал, разразившийся вокруг отказа присудить премию за 1933 год Селину.

С. 226. *Рене Беэн* – René Béhaine (1880–1966), романист, автор семнадцатитомной хроники «История одного общества» (1904–1964).

С. 227. *Чанг-Кай-Шек* – Чан Кайши (1887–1975), военный и политический деятель, возглавлявший с 1925 года партию и вооруженные силы китайских националистов (Гоминьдан).

С. 228. *Эдмон Жалу* – Edmond Jaloux (1878–1949), один из самых влиятельных французских литературных критиков межвоенного периода, романист, публицист.

С. 229. *Crédibilité* – правдоподобие *(франц.)*.

С. 229. *... А. Жид, в предисловии к повести, написанной известным летчиком <...> занял определенную политическую позицию, открыто присоединившись к коммунистам...* – Имеется в виду предисловие Андре Жида к первому изданию романа «Ночной полет» (1931) писателя и профессионального летчика Антуана де Сент-Экзюпери (1900–1944). В начале тридцатых годов Андре Жид громко отстаивал коммунистические идеалы, но в компартию не вступил и разочаровался в советском эксперименте после поездки в СССР в 1936 году. Фельзен пристально следил за эволюцией мировоззрения Жида, оказавшего большое эстетическое влияние на развитие молодой эмигрантской литературы (см. его отзыв – «Возвращение из России» – на книгу Жида «Возвращение из СССР» в настоящем издании).

С. 229. *Au ralenti* – замедленный *(франц.)*.

ФРАНСУА МОРИАК – АКАДЕМИК

Впервые – Встречи. 1934. № 1. С. 32–33. Подпись: Ю. Ф.
Печатается по данной публикации.

В тридцатые годы романы поэта, прозаика, литературного критика и публициста Франсуа Мориака (1885–1970), пронизанные религиозной тематикой и философией «католического возрождения» (Жак Маритен, Габриэль Марсель и др.), служили идеологическим противовесом политически «левой» французской литературе. Фельзен был лично знаком с Мориаком по Франко-Русской Студии и по литературному салону влиятельного критика Шарля дю Боса. Впоследствии Мориак помог освободить Фельзена из лионской тюрьмы, куда писатель-еврей попал после вторичного ареста в 1942 году.

С. 231. *Бальзак* – См. примечания к статье «Французская эмиграция и литература».

С. 231. *Стендаль* – См. примечания к «Письмам о Лермонтове».

С. 231. *Бодлер* – Шарль Бодлер (1821–1867), поэт, эссеист, критик литературы и искусства, предшественник и вдохновитель поколения французских «проклятых поэтов», общепризнанный родоначальник модернизма в европейской литературе.

С. 231. *Валери* – Поль Валери (1871–1945), поэт, прозаик, эссеист, литературный критик и публицист. Валери был особенно важен для младшего поколения эмигрантских писателей как культуролог и литературный критик: его статья «Духовный кризис» (1919) стала манифестом молодых модернистов во французской и эмигрантской литературе. Фельзен познакомился с Валери во Франко-Русской Студии и был приглашен в литературный салон поэта.

С. 231. *Клодель* – Поль Клодель (1868–1955), поэт, прозаик, драматург, литературный критик и профессиональный дипломат, чья неоклассическая поэзия часто служила эмигрантским литераторам примером «холодной» и «рациональной» французской словесности.

С. 231. *«Тереза Декеру», «Поцелуй прокаженного», «Змеиный узел»...* – «Thérèse Desqueyroux» (1927), «Le Baiser au lépreux» (1922; Фельзен дает неточный перевод названия романа «Поцелуй прокаженному»), «Le Nœud de vipères» (1932).

С. 232. *...с розеткой Почетного легиона...* – нашивка из лент в форме цветка, по которой узнают кавалера ордена Почетного легиона, высшей награды Французской Республики.

ПОПЛАВСКИЙ

Впервые – Круг. 1936. № 1. С. 172–176.
Печатается по данной публикации.

В своей оценке творчества рано ушедшего из жизни поэта и прозаика «Парижской школы» Бориса Юлиановича Поплавского (1903–1935), Владислав Ходасевич резко разошелся с мнением Фельзена. Рецензируя первый номер альманаха «Круг», критик писал: «Если мы даже допустим, что в дальнейшем Поплавскому был сужден новый подъем, то всё же придется по поводу его смерти жалеть о неосуществившихся возможностях, а не оплакивать писателя, будто бы давшего уже очень много. По человечеству я вполне понимаю чувства, которыми проникнута статья Ю. Фельзена о Поплавском в том же “Круге”: Фельзену жаль безвременно погибшего друга. Я, пожалуй, психологически готов понять и то, что в писательский актив Поплавского Фельзен вносит очарование, им испытанное от личного общения с Поплавским. Но явно преувеличенные оценки, даваемые Фельзеном, относятся к воображаемому, а не к действительному литературному наследию Поплавского. Статья Фельзена, умная и изящная, все-таки написана “о том, чего не было”. Повторяю: психологически она мне понятна и в этом смысле я готов ей сочувствовать. Но литературная

перспектива в ней искажена – и, может быть, даже не без тактического умысла: ради того, чтобы придать более веса той литературной группе, к которой Поплавский принадлежал вместе с Фельзеном» (Возрождение. 1936. № 4035. С. 5).

Судя по всему, Фельзен действительно старался оградить память недавно умершего друга и соратника от критических выпадов эмигрантских литераторов, тем более, что и при жизни Поплавский был излюбленной мишенью противников «Парижской школы». Так, Фельзен сознательно сорвал чтение доклада Зинаиды Гиппиус на вечере, посвященном памяти Поплавского, который состоялся через месяц после трагической смерти поэта. Сама Гиппиус писала по этому поводу в неотправленном письме к Ходасевичу от 14 ноября 1935 года: «Я послала заметку Фельзену, прося его от моего имени прочесть. И достаточно удивилась, в первую минуту, что Фельзен этого не сделал. Почему? Потому что вечер был, оказывается, “дифирамбический”, моя же заметка была “не в тоне” <...> В конце концов, тот не виноват, кто не понимает, что сплошные восклицательные восхваления – плохая услуга, и что больше было бы любви, если б каждый просто рассказал, какого Поплавского “видели его глаза”, и что он в нем понял» (The Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Yale University. Nina Berberova Papers. Series VIII. Box 57. Folder 1289; письмо опубликовано с неточностями в: *Гиппиус*. Письма к Берберовой и Ходасевичу. С. 108–109).

С. 233. *Вовенарг* – Люк де Клапье, маркиз де Вовенарг (1715–1747), французский философ-моралист и писатель.

С. 234. *Однажды о Лермонтове кто-то сказал...* – Точная цитата: «Заметно было, что он спешил куда-то, как спешил всегда, во всю свою короткую жизнь» – из воспоминаний М. Меликова (*Щеголев*. Лермонтов. С. 211). Фельзен ввел эту цитату в «Письма о Лермонтове» (письмо десятое).

С. 235. *«Домой с небес»* – второй роман Поплавского (1932–1935), опубликованный посмертно.

С. 235. *...готовый «сладостно погибнуть»* – Возможная аллюзия на статью Поплавского, программную и пророческую (поскольку она предсказала форму смерти поэта путем группового ухода из жизни), «О мистической атмосфере молодой литературы в эмиграции», где Поплавский сравнивает искусство с «частным письмом, отправленным по неизвестному адресу <...> которое может дойти до человека, которого можно было бы любить, с которым можно было бы дружить, собрав которых сладко было бы умереть вместе <...> Потому что только погибающий согласуется с духом музыки» (Числа. 1930. № 2–3. С. 309–310).

С. 235. *...однако «с доброй надеждой»…* – Цитата из первой строфы стихотворения Поплавского «Рукопись, найденная в бутылке» (1928):

Мыс Доброй Надежды. Мы с доброй надеждой тебя покидали,
Но море чернело, и красный закат холодов
Стоял над кормою, где пассажирки рыдали,
И призрак «Титаника» нас провожал среди льдов.

Поплавский Б. Флаги. Париж. 1931. С. 44.

С. 235. *В то именно время писались его лучшие, по-моему, стихи…* – Имеется в виду сюрреалистический период Поплавского (вторая половина двадцатых годов), многие стихотворения из которого вошли в его единственную прижизненную книгу стихов «Флаги» (1931).

С. 235. *«Аполлон Безобразов»* – Первый роман Поплавского (1927–1931), ознаменовавший его переход от поэтики сюрреализма к эстетическому аскетизму «Парижской школы». См. *Livak*. How It Was Done in Paris. Chapter 2: The Surrealist Adventure of Boris Poplavskii.

С. 236. *«Христос и его знакомые»* – Статья была опубликована под заглавием «Человек и его знакомые» (Числа. 1933. № 9. С. 135–138).

С. 236. *«Бал»* – Вероятно, имеется в виду отрывок из «Аполлона Безобразова», напечатанный в пятом номере «Чисел» (1931. С. 80–107).

МЫ В ЕВРОПЕ

Впервые – Новый град. 1936. № 11. С. 154–160.
Печатается по данной публикации.

Доклад Фельзена на собрании литературно-философского общества «Круг» не только указывает на ясно наметившийся отход писателя от основных положений культурной мифологии «новой болезни века» – распад целостной личности, банкротство теории прогресса, кризис искусства и пр. – но и проливает свет на фельзеновское отрицание модного в эмигрантских интеллектуальных кругах «религиозного возрождения», которое многие писатели рассматривали как необходимый ответ на уход христианства с позиций культурной доминанты европейской цивилизации. Будучи человеком арелигиозным и находясь в двусмысленном положении среди коллег, выводящих сугубо из христианства все европейские культурные ценности, еврей Фельзен недвусмысленно приравнивает религию к партийным верованиям, намекая на религиозную сущность коммунизма и фашизма. Как следует из отзыва оппонентов, взгляды Фельзена шли враз-

рез с общими настроениями в модернистской культурной среде русского Парижа. Вдобавок, интеллектуальный конфликт Фельзена с эмигрантской культурной элитой усугублялся смелой прямотой, с которой писатель излагал свои мысли, в отличие от более осторожного Адамовича, так комментировавшего «взгляд чрезвычайно распространенный» о том, что «европейская культура умирает, потому что утрачивает свою религиозную основу»: «Утрата несомненна, но так же ли несомненно умирание и, в особенности, связь между обоими явлениями? Не принимаем ли мы, – как знать? – “болезнь роста” за распад и не способствуем ли ему, стараясь себя уверить, что из былого достояния ничего сохранить уже нельзя?» (Оценки Пушкина. С 2).

С. 237. *Блох* – Раиса Ноевна Блох (1899–1943), поэт, эссеист, критик, жена поэта Михаила Горлина. Погибла в немецком концлагере.

С. 237. *И. Бунаков* – См. примечания к статье «Парижская “Зеленая лампа”».

С. 237. *В. Вейдле* – Владимир Васильевич Вейдле (1895–1979), критик, эссеист, искусствовед, литературовед, мемуарист, близкий друг Фельзена, рисковавший жизнью, чтобы спасти писателя-еврея от ареста в оккупированной Франции. Подробнее о нем см. статью «Умирание искусства».

С. 237. *Б. Дикой* – псевдоним Бориса Владимировича Вильде (1908–1942), поэта, переводчика, антрополога, участника одной из первых групп Сопротивления в оккупированной Франции. Расстрелян немцами.

С. 237. *Г. Гершенкройн* – Габриэль Осипович Гершенкройн (1890–1943), критик, публицист, участник собраний «Зеленой лампы» и Религиозно-Философской Академии. Погиб в немецком концлагере.

С. 237. *Г. Иванов* – См. примечания к статье «У Мережковских – по воскресеньям».

С. 237. *Л. Кельберин* – Лазарь Израилевич Кельберин (1907–1975), поэт, прозаик, литературный критик, секретарь редакции журнала «Числа».

С. 237. *А. Ладинский* – См. примечания к статье «У Мережковских – по воскресеньям».

С. 237. *С. Савельев* – Савелий Григорьевич Шерман (1894–1948), публицист, литературный критик, общественный деятель, сотрудник журналов «Современные записки» и «Русские записки» и газет «Руль» и «Последние новости». Будучи постоянным участником общества «Круг», Шерман вел протоколы заседаний, которые потом публиковались в «Новом Граде».

С. 237. *П. Ставров* – Перикл Ставрович Ставров (наст. фамилия Ставропуло; 1895–1955), поэт, прозаик, переводчик, сотрудник «Современных записок» и «Чисел».

С. 237. *Ю. Терапьяно* – См. примечания к статье «У Мережковских – по воскресеньям».

С. 237. *Н. Фельзен* – Сочетание инициала настоящего имени писателя (Николай) с фамилией из его литературного псевдонима.

С. 237. *Г. Федотов* – Георгий Петрович Федотов (1886–1951), религиозный мыслитель, историк, публицист, профессор Свято-Сергиевского православного богословского института в Париже.

С. 237. *Л. Червинская* – Лидия Давыдовна Червинская (1907–1988), поэт, критик, эссеист, сотрудница «Чисел», одна из наиболее типичных представительниц поэтики «Парижской школы».

С. 237. *С. Шаршун*, *В. Яновский* – См. примечания к статье «Литературная молодежь из “Кочевья”».

С. 237. *Жид* – О Андре Жиде см. примечания к «Обману», а также статью Фельзена «Возвращение из России» и примечания к ней в настоящем издании.

С. 237. *Пруст* – О Марселе Прусте см. роман «Письма о Лермонтове», статью «О Прусте и Джойсе» и примечания к ним.

С. 237. *Мориак* – См. статью «Франсуа Мориак – академик» и примечания к ней.

С. 237. *Валери* – См. примечания к статье «Франсуа Мориак – академик», а также статью Фельзена «Умирание искусства» в настоящем издании.

С. 238. *Розанов* – См. примечания к статье «У Мережковских – по воскресеньям».

С. 238. *Блок* – Как следует из фельзеновских романов («Счастье», «Письма о Лермонтове») и статей («О судьбе эмигрантской литературы», «Лермонтов в русской литературе»), поэзия и эссеистика Александра Александровича Блока (1880–1921) были важнейшими составными культурной и художественной среды, питавшей творчество и критическую мысль Фельзена.

С. 238. *Ахматова* – Судя по романам и статьям Фельзена («Счастье», «Умирание искусства», «Разрозненные мысли»), творчество Анны Андреевны Ахматовой (1889–1966) занимало чрезвычайно высокое положение в фельзеновском пантеоне современной русской поэзии, уступая лишь наследию А. А. Блока.

С. 238. *Маяковский* – См. примечания к статье «На одном странном рауте в Париже».

С. 238. *Горький* – См. примечания к «Письмам о Лермонтове» и к статье «На одном странном рауте в Париже».

С. 238. *...слияние того, что дается нам даром, и того, что достигается долгим трудом <...> этот мучительный творческий подвиг оказался не напрасным и не случайным...* – Полемическое обыгрывание стихотворения А. С. Пушкина «Дар напрасный, дар случайный» (1828):

Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?

Кто меня враждебной властью
Из ничтожества воззвал.
Душу мне наполнил страстью,
Ум сомненьем взволновал?..

Цели нет передо мною:
Сердце пусто, празден ум,
И томит меня тоскою
Однозвучный жизни шум.

Пушкин. Полное собрание сочинений, т. 3. С. 62.

С. 239. *Джойс* – См. статью Фельзена «О Прусте и Джойсе» и примечания к ней.

С. 241. *...en robe de chambre...* – в домашнем халате *(франц.)*.

С. 241. *Бергсон* – Анри Бергсон (1859–1941), французский философ-спиритуалист, видевший в интуиции единственное средство познания жизни как временно-пространственной категории. Теории Бергсона часто упоминались во французской и эмигрантской критике в связи с творчеством Пруста.

С. 241. *Селин* – См. примечания к статье «Мальро (Французские “тридцатые годы”)».

С. 242. *Достоевский* – См. примечания к «Письмам о Лермонтове».

С. 242. *Тютчев* – Поэзия Ф. И. Тютчева занимала центральное место в фельзеновском понимании русской литературной традиции и питала критическую мысль писателя. См. «Письма о Лермонтове», «Разрозненные мысли» и примечания к ним.

С. 242. *Баратынский* – Евгений Абрамович Баратынский (1800–1844), один из самых выдающихся поэтов пушкинской эпохи.

С. 242. *Поплавский* – См. примечания к статье «Литературная молодежь из “Кочевья”», а также статью Фельзена «Поплавский» в настоящем издании.

С. 242. *Рембо* – Артур Рембо (1854–1891), поэт, чье творчество и миф послужили краеугольным камнем движению французских сюрреалистов, к которому был эстетически и духовно близок Борис Поплавский, посвятивший Рембо несколько стихотворений и заимствовавший образы и мотивы из текстов «проклятого поэта».

С. 242. *Бодлер* – О Шарле Бодлере см. примечания к статье «Франсуа Мориак – академик».

С. 242. *Кокто* – Жан Кокто (1889–1963), поэт, романист, драматург, режиссер театра и кино. Кокто, с которым Поплавский был лично знаком, оказал влияние на повседневное поведение эмигрантского поэта и на систему образов в его ранней поэзии.

С. 242. *Андрей Белый* – псевдоним Бориса Николаевича Бугаева (1880–1934), поэта, прозаика, критика, публициста, литературоведа, теоретика и организатора раннего русского модернизма, чьи эксперименты в прозе (роман «Петербург», трилогия «Москва») во многом определили стиль советской прозы двадцатых годов.

С. 242. *Федор Сологуб* – псевдоним Федора Кузьмича Тетерникова (1863–1927), поэта, прозаика, драматурга, критика, публициста, бывшего центральной фигурой литературы раннего модернизма в России.

С. 242. *Жироду* – Жан Жироду (1882–1944), французский прозаик и драматург, в чьих романах и пьесах традиционные классические сюжеты обрабатываются в преломлении модернистской эстетики, в атмосфере тонкой иронии и богатой фантазии.

С. 242. *Вирджиния Вульф* – Аделина Вирджиния Вульф (1882–1941), английский прозаик, критик и публицист, чьи бессюжетные интроспективные романы выражали художественно-философские идеалы межвоенной модернистской литературы, к которым стремился и сам Фельзен.

С. 242. *В русскую прозу, чуть ли не впервые, проник теперь, через Сирина, каламбурно-метафорический блеск...* – См. о Владимире Набокове-Сирине примечания к статье «Парижские встречи русских и французских писателей». Романы Набокова вызывали неизменное отталкивание среди литераторов «Парижской школы», считавших его произведения слишком «искусственными» и полными фантазии, шедшей вразрез с идеалом документальности, к которому стремились писатели, группировавшиеся вокруг

журнала «Числа». Следуя критическим теориям Георгия Адамовича, они считали произведения Набокова духовно поверхностными и «неискренними» из-за стремления романиста к литературным «эффектам». Так, Василий Яновский, присутствовавший вместе с Фельзеном на вечере, где Набоков читал отрывки из романа «Отчаяние» (1932), вспоминает: «Нам “Отчаяние” не могло нравиться. Мы тогда не любили “выдумок”. Мы думали, что литература, слишком серьезное дело, чтобы позволять сочинителям ею заниматься» (Поля Елисейские. С. 277). Однако, с постепенным отходом Фельзена от идеала документальности, открыто объявленном в рассказе «Композиция», мнение писателя о творчестве В. В. Набокова изменялось к лучшему, что объясняет его участие в организации литературных вечеров Набокова в Париже во второй половине тридцатых годов (см. письмо И. И. Фондаминского к Н. Н. Берберовой от 1 января 1936 г. Hoover. Boris Nikolaevsky Collection. Box 400. Series 233. Folder 19).

РАВНОДУШИЕ К СВОБОДЕ

Впервые – Новая Россия. 1936. 1 октября. № 13. С. 14–15.
Печатается по данной публикации.

С. 245. *По поводу испанских событий...* – Имеется в виду гражданская война в Испании, разразившаяся в июле 1936 года и продолжавшаяся до апреля 1939-го.

С.246. *...«дурно пахнут мертвые слова»...* – Цитата из стихотворения Н. С. Гумилева «Слово» (1919):

В оный день, когда над миром новым
Бог склонял лицо Свое, тогда
Солнце останавливали словом,
Словом разрушали города.

И орел не взмахивал крылами,
Звезды жались в ужасе к луне,
Если, точно розовое пламя,
Слово проплывало в вышине.

А для низкой жизни были числа,
Как домашний, подъяремный скот,
Потому что все оттенки смысла
Умное число передает.

Патриарх седой, себе под руку
Покоривший и добро и зло,
Не решаясь обратиться к звуку,
Тростью на песке чертил число.

Но забыли мы, что осиянно
Только слово средь земных тревог,
И в Евангельи от Иоанна
Сказано, что слово это Бог.

Мы ему поставили пределом
Скудные пределы естества,
И, как пчелы в улье опустелом,
Дурно пахнут мертвые слова.

Гумилев. Огненный столп. С. 16.

С. 247. *...жертвуют свободой ради сомнительного «равенства и братства»...* – игра на официальном девизе Французской Республики: «Свобода, Равенство, Братство».

С. 247. *...к маниловской части статьи...* – Имеется в виду персонаж «Мертвых душ» (1842), помещик Манилов, олицетворяющий в поэме Н. В. Гоголя пустую и праздную мечтательность.

I. «ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ РОССИИ». II. УМИРАНИЕ ИСКУССТВА. III. РАЗРОЗНЕННЫЕ МЫСЛИ

Впервые – Круг. 1937. № 2. С. 120–131.
Печатается по данной публикации.

С. 248. *...книга Жида...* – *Gide A*. Retour de l'U.R.S.S. Paris. 1936.

С. 248. *...с улыбкой утверждали, что нам, русским эмигрантам, она будет приятной...* – О взаимоотношениях Андре Жида с эмигрантской культурной элитой во время его увлечения коммунистической идеологией и, в частности, о роли, сыгранной русскими изгнанниками в истории создания и рецепции книги Жида, см. *Livak*. Nina Berberova et la mythologie culturelle de l'émigration russe en France. P. 468–469; Russian Émigrés in the Intellectual and Literary Life of Interwar France. P. 30, 33–34.

С. 249. *...так хорошо у Толстого выраженным: «Что же нам делать»...* – Имеется в виду программный общественно-политический и этический трактат Л. Н. Толстого «Так что же нам делать?» (1884–1885).

С. 249. *...«immenses espoirs»...* – Огромные надежды *(франц.)*.

С. 249. *...вмешательство большевиков в испанские события...* – Имеется в виду военная помощь, оказанная СССР республиканскому правительству Испании во время гражданской войны. Советское вмешательство изменило в пользу коммунистов политическую расстановку «левых» сил, противостоявших армии генерала Франко. Идеологические сведения счетов при участии испанских коммунистов и советских репрессивных органов содействовали подрыву и деморализации республиканского фронта.

С. 251. *...«Leur bonheur est fait d'espérance, de confiance et d'ignorance»...* – Их счастье питается надеждой, самоуверенностью и невежеством *(франц.)*.

С. 251. *...не могла выйти по-русски, и приходится о ней судить по французскому переводу...* – Владимир Вейдле (см. примечания к статье «Мы в Европе»), сперва издал свою книгу «Умирание искусства» по-французски: Les Abeilles d'Aristée. Essai sur le destin actuel des lettres et des arts. Paris. 1936. Авторский перевод и публикация осуществились при поддержке круга французских литераторов и философов «католического возрождения», с которыми не только Вейдле, но и Фельзен поддерживал личные и профессиональные связи с начала тридцатых годов благодаря совместному участию в работе Франко-Русской Студии. Как видно из настоящей рецензии на книгу Вейдле, наметившийся в «Письмах о Лермонтове» и высказанный в полный голос в докладе «Мы в Европе» бунт Фельзена против основных постулатов «новой болезни века» продолжился, несмотря на острую критику коллег-эмигрантов. Отсюда дух полемики с широко распространенными взглядами на современное искусство, которым пронизана рецензия Фельзена. Нина Берберова точно почувствовала полемичность фельзеновского отзыва, отметив, что там, где Вейдле видит окончательный упадок, Фельзен усматривает лишь один из этапов на пути эволюции художественных форм (Современные записки. 1937. № 65. С. 431–32).

С. 252. *Марсель Пруст* – См. роман «Письма о Лермонтове», статью «О Прусте и Джойсе» и примечания к ним.

С. 252. *Dichtung* – (здесь) писательство, литература *(нем.)*.

С. 252. *...Джеймс Джойс, создает в «Улиссе»...* – См. статью «О Прусте и Джойсе» и примечания к ней.

С. 252. *Пиранделло* – Луиджи Пиранделло (1867–1936), итальянский поэт, прозаик и драматург, чьи пьесы («Шесть персонажей в поисках автора», 1921; «Сегодня вечером мы импровизируем», 1930) были чрезвычайно популярны в межвоенной Франции.

С. 252. *Андрей Белый, Вирджиния Вульф...* – См. примечания к статье «Мы в Европе».

С. 252. *Герман Брох* – Hermann Broch (1886–1951), австрийский писатель и публицист, чей роман-трилогия «Лунатики» (1928–1931) прослеживает распад буржуазной системы ценностей девятнадцатого века и его последствия для художественных форм и языка.

С. 252. *...«Le monde n'a pas été créé»* и т. д... – «Мир создавался не в один присест, а всякий раз, когда появлялся оригинальный художник» *(франц.)*. Цитата из третьего тома («Сторона Германтов I») романа Марселя Пруста «В поисках утраченного времени».

С. 252. *Флобер* – См. примечания к статье «Парижские встречи русских и французских писателей».

С. 253. *Парнасцы* – группа французских поэтов середины XIX в. (Теофиль Готье, Франсуа Коппе, Леконт де Лиль, Вилье де Лиль-Адан, Сюлли-Прюдом, Катюль Мандес), противопоставивших поэтике романтизма принципы своего творчества – точность выражения и описания, профессионализм и мастерство, имманентная ценность искусства.

С. 253. *Малларме* – Стефан Малларме (1842–1898), поэт и критик, примыкавший в юности к парнасцам, а позже ставший одним из вождей раннего модернизма во французской литературе. Поль Верлен зачислил Малларме в ранг «проклятых поэтов».

С. 253. *Валери* – См. примечания к статье Фельзена «Франсуа Мориак – академик», а также доклад Владимира Вейдле о поэзии Поля Валери, прочитанный во Франко-Русской Студии: Paul Valéry et la poésie pure // Le Studio franco-russe. P. 343–347.

С. 253. *…«vers calculés» <...> «vers donnés»…* – «Рассчитанные стихи» и «вдохновенные стихи» *(франц.)*.

С. 253. *Бодлер* – О Шарле Бодлере см. примечания к статье «Франсуа Мориак – академик».

С. 254. *...«все ружья должны стрелять»...* – Вариация на ставшую крылатой фразу А. П. Чехова, метафорически объясняющую один из принципов драматической композиции (письмо к А. С. Лазареву-Грузинскому, 1 ноября 1889): «Нельзя ставить на сцене заряженное ружье, если никто не имеет в виду выстрелить из него» (*Чехов А*. Полное собрание сочинений и писем в тридцати томах. Письма, т. 3. Москва. 1976. С. 273).

С. 254. *Китс* – Джон Китс (1795–1821), английский поэт-романтик.

С. 254. *«Negative capacity»* – (здесь) дух противоречия *(англ.)*. Принцип отрицания рационального познания ради поэтической интуиции, сформулированный Джоном Китсом в письме к братьям (21 декабря 1817;

Китс употребляет фразу «negative capability»). См. The Complete Poetical Works and Letters of John Keats, Cambridge Edition. 1899. P. 277.

С. 254. *«Le Grand Meaulnes»* – «Большой Мольн» (1913), единственный роман французского писателя Алена-Фурнье (наст. имя Анри Фурнье, 1886–1914).

С. 254. *Гамсун* – Кнут Гамсун (1859–1952), норвежский писатель, драматург и публицист.

С. 254. *Рамюз* – Шарль-Фердинанд Рамюз (1878–1947), швейцарский франкоязычный поэт и романист.

С. 254. *Кафка* – Франц Кафка (1883–1924), пражский немецкоязычный писатель-модернист еврейского происхождения, автор романов, повестей и рассказов, большинство из которых увидели свет лишь после его смерти, но были немедленно признаны одним из самых оригинальных художественных явлений своего времени.

С. 254. *Клодель* – См. примечания к статье «Франсуа Мориак – академик».

С. 254. *Дю Бос* – Шарль Дю Бос (1882–1939), влиятельный критик литературы и искусства, эссеист, переводчик, видный участник движения «католического обновления», пропагандист творчества А. П. Чехова и Л. Н. Толстого, связанный профессиональными и личными отношениями с эмигрантской интеллигенцией (с Н. Бердяевым, Л. Шестовым, Б. Шлецером, В. Вейдле, Ю. Фельзеном и др.).

С. 254. *Мориак* – См. статью «Франсуа Мориак – академик» и примечания к ней.

С. 254. *Écart* – (здесь) разрыв *(франц.)*.

С. 254. *...односторонне указан метод спасения...* – См. критику теории христианского возрождения в статье Фельзена «Мы в Европе».

С. 254. *...А мы живем торжественно и трудно <...> И голос музы еле слышный...* – цитаты из стихотворения А. А. Ахматовой «Ведь где-то есть простая жизнь и свет» (1915); Фельзен, возможно, использует упоминание пчел в первой строфе как намек на французское заглавие книги Вейдле:

Ведь где-то есть простая жизнь и свет,
Прозрачный, теплый и веселый...
Там с девушкой через забор сосед
Под вечер говорит, и слышат только пчелы
Нежнейшую из всех бесед.

А мы живем торжественно и трудно
И чтим обряды наших горьких встреч,
Когда с налету ветер безрассудный
Чуть начатую обрывает речь, –

Но ни на что не променяем пышный
Гранитный город славы и беды,
Широких рек сияющие льды,
Бессолнечные, мрачные сады
И голос Музы еле слышный.

Ахматова. Стихотворения и поэмы. С. 99.

С. 255. *Ницше* – Фридрих Вильгельм Ницше (1844–1900), немецкий мыслитель, эссеист, публицист, филолог, чье критическое и философское наследие было краеугольным камнем этики и эстетики европейского модернизма.

С. 255. *Шпенглер* – Освальд Арнольд Готтфрид Шпенглер (1880–1936), немецкий мыслитель и публицист, автор чрезвычайно влиятельного трактата «Закат Европы» (1918–1922), широко обсуждавшегося как в советской России, так и в эмигрантских литературных и философских кругах.

С. 255. *Ахматова* – См. примечания к статье «Мы в Европе».

С. 255. ...*Он мерит воздух мне*... – цитата из стихотворения Ф. И. Тютчева «Не говори: меня он, как и прежде, любит» (1851), с которым метрически и лексически связано стихотворение А. А. Ахматовой, процитированное в «Умирании искусства»:

Не говори: меня он, как и прежде, любит,
Мной, как и прежде, дорожит...
О нет! Он жизнь мою бесчеловечно губит,
Хоть, вижу, нож в руке его дрожит.

То в гневе, то в слезах, тоскуя, негодуя,
Увлечена, в душе уязвлена,
Я стражду, не живу... им, им одним живу я –
Но эта жизнь!.. О, как горька она!

Он мерит воздух мне так бережно и скудно...
Не мерят так и лютому врагу...
Ох, я дышу еще болезненно и трудно,
Могу дышать, но жить уж не могу.

Тютчев. Лирика, т. 1. С. 143.

ПРОПИСИ

Впервые – Литературный смотр. Свободный сборник. Под редакцией З. Н. Гиппиус и Д. С. Мережковского. Париж. Лампион. 1939. С. 110–114.

Печатается по данной публикации.

С. 258. *...«левый грех» Андре Жида, оскорбительно, болезненно нас поразивший...* – См. статью «Возвращение из России» и комментарии к ней.

С. 259. *«âme slave»* – Славянская душа *(франц.)*.

С. 260. *«конфреры»* – Собратья, (здесь) коллеги *(франц.)*.

ЛЕРМОНТОВ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Впервые – Бодрость. 1940. 15 февраля. № 259. С. 3–4.

Печатается по данной публикации.

См. примечания к рассказу «Фигурация» об обстоятельствах сотрудничества Юрия Фельзена в младоросской газете «Бодрость». Большинство произведений и персонажей Лермонтова, цитируемых и обсуждаемых в статье, рассматриваются в «Письмах о Лермонтове» (см. примечания к этому роману). Ниже комментируются лишь не упоминаемые в «Письмах о Лермонтове» произведения.

С. 262. *...«Гамлет» и «Макбет»...* – Драмы Вильяма Шекспира (см. примечания к рассказу «Композиция») «Трагическая история Гамлета, принца датского» (circa 1600) и «Макбет» (circa 1606).

С. 262. *«Исповедь» Руссо* – Автобиографический роман (1766–1769, опубл. в 1782 г.) Жан-Жака Руссо (см. примечания к статье «Французская эмиграция и литература»), давший одну из самых влиятельных моделей литературной автобиографии в Европе восемнадцатого и девятнадцатого веков.

С. 262. *Гете* – Иоганн Вольфганг фон Гете (1749–1832) – немецкий поэт, прозаик, эссеист, критик литературы и искусства, публицист, государственный деятель.

С. 262. *...Толстого (непонятно к Шекспиру несправедливого)...* – Имеется в виду резко отрицательное отношение Л. Н. Толстого к творчеству Вильяма Шекспира, выраженное в его критическом очерке «О Шекспире и о драме» (1906).

С. 263. *...«среди сомнений ложно черных и ложно радужных надежд»...* – Цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Журналист, читатель и писатель» (1840).

С. 263. *...знаменитый монолог Татьяны («Онегин, я тогда моложе, я лучше, кажется, была»)...* – Монолог Татьяны из восьмой главы (строфы XLIII–XLVII) романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин» (1825–1832).

С. 263. *...Pauvre sire, pauvre talent!..* – «Несчастный господин, ничтожный талант» *(франц.)*, фраза из частного письма Н. В. Майера (1806–1846). См. примечания к «Письмам о Лермонтове».

С. 263. *...moi personnel и moi universel...* – личное я и универсальное я *(франц.)*.

С. 264. *«С свинцом в груди и с жаждой мести»...* – неточная цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Смерть поэта» (1837), которым автор откликнулся на смерть А. С. Пушкина. Приводим первые четыре стиха:

Погиб поэт! – невольник чести –
Пал, оклеветанный молвой,
С свинцом в груди и жаждой мести,
Поникнув гордой головой!..

Лермонтов. Собрание сочинений в четырех томах, т. 1. С. 372.

С. 265. *«Отчизна»* – строки из стихотворения цитируются неточно, см. полный текст «Отчизны» в примечаниях к «Письмам о Лермонтове».

С. 265. *Некрасов* – См. примечания к «Письмам о Лермонтове».

С. 265. *Вспомним у Блока: «Там с посвистом, да с присвистом гуляют до зари»*. – Цитата из стихотворения А. А. Блока «Гармоника, гармоника!» (1907):

Гармоника, гармоника!
Эй, пой, визжи и жги!
Эй, желтенькие лютики,
Весенние цветки!

Там с посвистом да с присвистом
Гуляют до зари,
Кусточки тихим шелестом
Кивают мне: смотри.

Смотрю я – руки вскинула,
В широкий пляс пошла,

Цветами всех осыпала
И в песне изошла...

Неверная, лукавая,
Коварная – пляши!
И будь навек отравою
Растраченной души!

С ума сойду, сойду с ума,
Безумствуя, люблю,
Что вся ты – ночь, и вся ты – тьма,
И вся ты – во хмелю...

Что душу отняла мою,
Отравой извела,
Что о тебе, тебе пою,
И песням нет числа!..

Блок. Стихотворения. С. 317.

С. 265. *...Чехова, столь его любившего...* – А. П. Чехов высоко ценил прозу М. Ю. Лермонтова. См. *Щукин С*. Из воспоминаний об А. П. Чехове // Чехов в воспоминаниях современников. Москва. 1960. С. 462. *Бунин И*. Чехов // Там же. С. 514.

С. 265. *...Белинский поражался разносторонности познаний Лермонтова: «образованием он повыше Пушкина»...* – См. примечания к «Письмам о Лермонтове».

БОРИС ПИЛЬНЯК. ОЧЕРЕДНЫЕ ПОВЕСТИ. Круг. Москва. 1927

Впервые – Звено. 1928. № 2. С. 108. Подпись: Н. Фрейденштейн. Печатается по данной публикации.

С. 269. *Пильняк* – См. примечания к статье «На литературных собраниях».

С. 269. *...в «Повести непогашенной луны», наделавшей столько шума...* – В повести, конфискованной вместе со всем тиражом пятого номера «Нового мира» за 1926 год, Пильняк представил смерть на операционном столе председателя Реввоенсовета и наркома по военным и

морским делам М. В. Фрунзе как результат заговора, организованного Сталиным.

ЛЕОНИД БОРИСОВ. ХОД КОНЕМ. Прибой. 1927

Впервые – Звено. 1928. № 2. С. 109–110. Подпись: Н. Фрейденштейн.

Печатается по данной публикации.

С. 270. *...напоминающее название <...> сборника статей Виктора Шкловского...* – О В. Б. Шкловском см. примечания к статье «На литературных собраниях». Здесь имеется в виду его книга «Ход коня» (1923).

С. 270. *Леонид Борисов* – Леонид Ильич Борисов (1897–1972), советский поэт, прозаик, мемуарист.

ЕЛ. ИСАЕВА. РАССКАЗЫ. Э. И. ЭТТИНГЕР. Рига. 1927

Впервые – Звено. 1928. № 3. С. 175. Подпись: Н. Ф.

Печатается по данной публикации.

НОВЫЕ ДАННЫЕ О ДУЭЛИ ПУШКИНА

Впервые – Звено. 1928. № 4. С. 219–220. Подпись: Н. Ф.

Печатается по данной публикации.

С. 272. *П. Е. Щеголев* – Павел Елисеевич Щеголев (1877–1931), литературовед, пушкинист, автор многочисленных работ по истории литературы и культуры России XIX в., в том числе двухтомной «Книги о Лермонтове» (1929), послужившей основным источником биографической информации для фельзеновских «Писем о Лермонтове». См. примечания к «Письмам о Лермонтове», а также рецензию на щеголевскую «Книгу о Лермонтове» в настоящем издании.

С. 272. *...в книге А. Полякова...* – Имеется в виду книга А. С. Полякова «О смерти Пушкина. (По новым данным)» (Петроград, 1922).

РАМОН ГОМЕЦ ДЕ ЛЯ СЕРНА

Впервые – Звено. 1928. № 4. С. 220–221. Подпись: Н. Ф.
Печатается по данной публикации.

С. 273. *Рамон Гомец де ля Серна* – Ramón Gómez de la Serna Puig (1888–1963), испанский писатель-авангардист и драматург, близкий к движению сюрреалистов.

С. 273. *Валери Ларбо* – Valery Larbaud (1881–1957), поэт, прозаик, литературный критик, переводчик и популяризатор Джеймса Джойса во Франции.

С. 274. *Моран* – Поль Моран (1888–1976), поэт, прозаик, драматург, эссеист, дипломат, мемуарист.

С. 274. *Жироду* – См. примечания к статье «Мы в Европе».

ЗИНАИДА САРАНА. ДВАДЦАТЬ ОДНО. Брюссель. 1927

Впервые – Звено. 1928. № 4. С. 226. Подпись: Н. Ф.
Печатается по данной публикации.

С. 274. *Зинаида Сарана* – псевдоним Зинаиды Алексеевны Шаховской (1906–2001), поэта, прозаика, редактора, переводчицы, журналистки, мемуаристки.

Отрицательный отзыв Фельзена отражал общее неудовлетворение литераторов-парижан первой книгой стихов З. А. Шаховской. Так, в недатированном письме, в ответ на обращение за литературным советом еще незнакомой ему Шаховской, Георгий Адамович уклончиво и дипломатично писал: «Вы пишете, что “стыдно и наивно просить литературные советы”. Мне хочется ответить: “стыдно и наивно их давать”. Je ne me sens pas qualifié <я не считаю себя в праве. – *Л.Л.*>, с каждым годом всё менее и менее, так как с каждым годом всё меньше хочу играть литературную комедию. Есть уровень, на котором советы полезны: когда еще вопрос идет *о грамотности*, и когда можно сказать: – “читайте Пушкина и Блока”. Но Вы этот уровень давно прошли. Ваши стихи литературно неуязвимы, кроме, может быть, нескольких частностей – как выбор места для особенно-нужного Вам слова (я думаю, что это в технике самое важное: уметь поставить слово там, где ему нужно быть; всё остальное второстепенно или может быть выучено в книгах; между прочим, это – в прозе – замечательно у Толстого; замечали ли Вы как у него совпадает

внутренний и внешний ход фразы?). Но мне кажется все-таки, что они неполно Вас “выражают”. Сужу об этом по Вашему письму: письмо гораздо “содержательнее”, замечательнее, ярче... Следовательно, стихи Вас сковывают, и Вы их еще не “победили”, так как не научились заставлять их служить, – а не управлять Вами. Именно об этом я и писал в той статье о стихах, на которую Вы ссылаетесь. Правду сказать, я не думаю, чтобы кто-нибудь мог дать Вам какое-либо *литературное* указание. Здесь скорее дело в росте личности и в понимании того, что в мире надо “дело делать” (как в “Дяде Ване”), а не заниматься приятным рукоделием. Я нисколько не хочу охлаждать Ваше рвение к писанию. Наоборот. Мне кажется у Вас к нему очень много данных. Но согласитесь – те стихи, которые Вы мне прислали, при всей их женственной, (чуть-чуть слабой и бледной) прелести ничего не “делают”. Они тонут в других стихах. Не сомневаюсь, что они нужны Вам – но это, кажется мне, мало. Со многим, что Вы пишете в письме, я совершенно согласен. Примите мой сердечный привет. Георгий Адамович. <PS.> Перечел письмо и боюсь, что Вы меня не так поймете. Ваши стихи можно, конечно, где угодно печатать, они – вполне “литература”. Но к Вам можно предъявить иные, более высокие требования». Amherst Center for Russian Culture (Amherst College). Schakovskoy Family Papers. Series I. Box 1. Folder 10.

С. 274. *Ахматова* – См. примечания к статье «Мы в Европе».

С. 275. *Надсон* – См. примечания к «Письмам о Лермонтове». Для литераторов-модернистов, С. Я. Надсон символизировал упадок русской поэзии, и литературных вкусов в целом, в последней четверти XIX века.

АЛЕКСАНДР ЯБЛОНОВСКИЙ. ДЕТИ УЛИЦЫ.
Возрождение. Париж. 1928

Впервые – Звено. 1928. № 4. С. 227–228. Подпись: Н. Ф.
Печатается по данной публикации.

С. 275. *Александр Яблоновский* – Александр Александрович Яблоновский (1870–1934), прозаик, критик, публицист, редактор, сотрудник газет «Руль» (Берлин), «Возрождение» (Париж), «Сегодня» (Рига).

С. 275. *Terre à terre* – упрощение, примитивность *(франц.)*.

С. 275. *Milieu* – (здесь) криминальная среда *(франц.)*.

ЕВГЕНИЙ ЧИРИКОВ. МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ. Возрождение. 1927

Впервые – Звено. 1928. № 4. С. 228. Подпись: Н. Ф.
Печатается по данной публикации.

С. 276. *Евгений Чириков* – Евгений Николаевич Чириков (1864–1932), эмигрантский писатель, драматург, публицист, до революции активно сотрудничал в сборниках горьковского товарищества «Знание».

ИВАН ЛУКАШ. ДВОРЦОВЫЕ ГРЕНАДЕРЫ. Возрождение. 1928

Впервые – Звено. 1928. № 4. С. 229. Подпись: Н. Ф.
Печатается по данной публикации.

С. 276. *Иван Лукаш* – Иван Созонтович Лукаш (1892–1940), эмигрантский прозаик, автор исторических романов, публицист.

С. 277. *A quoi pense l'empéreur* – О чем думает император *(франц.)*.

З. Ю. АРБАТОВ. ТАНЯ ВЕТРОВА. CONCORDE. Париж. 1928

Впервые – Звено. 1928. № 4. С. 229. Подпись: Н. Ф.
Печатается по данной публикации.

С. 277. *З. Ю. Арбатов* – Зиновий Юрьевич Арбатов (1893–1967) – эмигрантский прозаик, журналист и публицист.

GEORGES BERNANOS. L'IMPOSTURE. Plon. 1927

Впервые – Звено. 1928. № 5. С. 282-83. Подпись: Н. Фрейденштейн.
Печатается по данной публикации.

С. 277. *Georges Bernanos* – Жорж Бернанос (1888–1948), французский прозаик и публицист, снискавший признание серией романов, самые

известные из которых «Под солнцем сатаны» («Sous le Soleil de Satan», 1926) и «Дневник сельского священника» («Journal d'un curé de campagne», 1936).

С. 277. *Леон Доде* – См. примечания к статье «На одном странном рауте в Париже».

О. САВИЧ. ВООБРАЖАЕМЫЙ СОБЕСЕДНИК. Petropolis. 1929

Впервые – Числа. 1930. № 1. С. 236–237. Подпись: Ю. Фельзен. Печатается по данной публикации.

С. 279. *О. Савич* – Овадий Герцович Савич (1896–1967), советский журналист, прозаик, поэт и переводчик.

МИХАИЛ ШОЛОХОВ. ТИХИЙ ДОН. Кн. 1 и 2-ая. Московский рабочий.

Впервые – Числа. 1930. № 1. С. 239–240. Подпись: Ю. Фельзен. Печатается по данной публикации.

С. 280. *Михаил Шолохов* – Михаил Александрович Шолохов (1905–1984), советский писатель и общественный деятель, классик социалистического реализма.

С. 281. *Каледин* – Алексей Максимович Каледин (1861–1918), генерал от кавалерии, Донской Атаман, один из вдохновителей и предводителей казаческого сопротивления большевикам.

С. 281. *Корнилов* – Лавр Георгиевич Корнилов (1870–1918), генерал от инфантерии, Верховный Главнокомандующий русской армии, один из организаторов и Главнокомандующий Добровольческой армии.

С. 281. *Алексеев* – Михаил Васильевич Алексеев (1857–1918), генерал от инфантерии, генерал-адъютант Генерального штаба, видный военачальник периода Первой мировой войны, один из создателей и Верховный руководитель Добровольческой армии.

П. Е. ЩЕГОЛЕВ. КНИГА О ЛЕРМОНТОВЕ. 2 тт. Прибой. 1929

Впервые – Числа. 1930. № 1. С. 245–246. Подпись: Н. Ф.
Печатается по данной публикации.

С. 282. *П. Е. Щеголев* – См. примечания к рецензии «Новые данные о дуэли Пушкина».

С. 282. *...cousins и cousines...* – двоюродные братья и сестры *(франц.)*.

IRÈNE NÉMIROVSKY. DAVID GOLDER. Grasset. 1929

Впервые – Числа. 1930. № 1. С. 246–247. Подпись: Н. Ф.
Печатается по данной публикации.

С. 283. *Irène Némirovsky* – Ирина Львовна Немировская (1903–1942), русская эмигрантка и французская писательница, снискавшая шумный, и временами скандальный, успех серией бытописательских романов из жизни современной парижской буржуазии.

С. 283. *«Pour mon plaisir»* – «Для моего удовольствия» *(франц.)*.

С. 283. *Грассе* – Бернард Феликс Жозеф Грассе (1881–1955), французский издатель и редактор, владелец крупнейшего парижского издательского дома «Грассе».

С. 283. *...«Enfants terribles» Кокто...* – Роман «Ужасные дети» (1929) Жана Кокто (см. примечания к статье «Мы в Европе»).

С. 283. *...«Les Varais» Шардонна...* – Третий роман, «Семья Варе» (1929), Жака Шардонна (настоящее имя Жак Бутло, 1884–1968), французского романиста, публициста, редактора и издателя. См. рецензию Юрия Фельзена на роман Шардонна «Ева».

С. 283. *«Révélation»* – Открытие *(франц.)*.

С. 283. *«Gigolo»* – Мужчина, живущий на средства своей любовницы *(франц.)*.

С. 284. *«Le Malentendu»* – Повесть И. Немировской «Недоразумение» (1930).

JACQUES CHARDONNE. EVA OU LE JOURNAL INTERROMPU. Grasset. 1930

Впервые – Числа. 1930. № 2–3. С. 255–256. Подпись: Ю. Ф.
Печатается по данной публикации.

С. 284. *Jacques Chardonne* – См. примечания к рецензии на роман И. Немировской «Давид Гольдер».

С. 285. *«Сентиментальное воспитание»* – Имеется в виду роман Гюстава Флобера «Воспитание чувств» («L'Education sentimentale», 1869).

С. 285. *Мопассан* – Ги де Мопассан (1850–1893), один из крупнейших французских прозаиков второй половины девятнадцатого века.

С. 285. *Моруа* – Андре Моруа (настоящее имя Эмиль Саломон Вильгельм Герцог, 1885–1967), французский писатель и публицист, автор многочисленных романов, беллетризованных биографий, исторических очерков и критических этюдов. См. рецензию Юрия Фельзена «Знаменательная неудача».

С. 285. *Лакретель* – Жак де Лакретель (1888–1985), французский романист, публицист и мемуарист. См. рецензию Юрия Фельзена на роман Лакретеля «Les hauts ponts».

MARC CHADOURNE. CÉCILE DE LA FOLIE. Plon. 1930

Впервые – Числа. 1930–1931. № 4. С. 278. Подпись: Ю. Ф.
Печатается по данной публикации.

С. 285. *Marc Chadourne* – Марк Шадурн (1895–1975), французский романист, публицист и переводчик.

С. 286. *Монтерлан* – Анри де Монтерлан (1895–1972), французский романист, драматург, журналист и публицист.

JULIEN GREEN. LE VOYAGEUR SUR LA TERRE. Plon. Paris

Впервые – Числа. 1931. № 5. С. 250–251. Подпись: Ю. Ф.
Печатается по данной публикации.

С. 287. *Julien Green* – Жюльен Грин (1900–1998), франкоязычный писатель и публицист американского происхождения.

С. 287. *«Adrienne Mesurat» и «Léviathan» <...> «Le Mont Cinère»* – Романы Грина «Адриен Мезюра» (1927), «Левиафан» (1929) и «Гора Синер» (1926).

MARY WEBB. SARN. London

Впервые – Числа. 1931. № 5. С. 251. Подпись: Ю. Ф.
Печатается по данной публикации.

С. 288. *Mary Webb* – Мэри Веб (1881–1927), английский поэт и романист.

С. 288. *Вирджиния Вульф* – См. примечания к статье «Мы в Европе».

С. 288. *Кэтэрин Мэнсфильд* – Кэтрин Мэнсфилд (Кэтлин Бошан, 1888–1923), новозеландский поэт и прозаик.

С. 288. *Клеменс Дэн* – Клеменс Дэйн (настоящее имя Винифред Эштон, 1888–1965), английская романистка и драматург.

С. 288. *Розамонд Леман* – Розамонд Нина Лиман (1901–1990), английский прозаик и переводчица.

JACQUES DE LACRETELLE. LES HAUTS PONTS. Sabine. N. R. F. 1932

Впервые – Числа. 1932. № 6. С. 273–274. Подпись: Ю. Фельзен.
Печатается по данной публикации.

С. 289. *Jacques de Lacretelle* – О Лакретеле см. примечания к рецензии на роман Жака Шардонна «Ева».

С. 289. *«Тибо» Роже Мартен-дю-Гара* – Roger Martin du Gard (1881–1958), французский прозаик, драматург и публицист, автор восьмитомного романа-хроники, описывающего историю семьи братьев Тибо (1922–1940).

С. 289. *...эпопея Рене Беэна, писателя малоизвестного, но выдвинутого Леоном Доде...* – См. примечания к статье «Мальро (Французские “тридцатые годы”)».

С. 289. *...«Les Varais» Шардонна, «Saint-Saturnin» Шлемберже, «Bernard Quesnay» Моруа <...> «Cercle de famille» того же Моруа...* –

О Жаке Шардонне см. примечания к рецензии на «Давида Гольдера» И. Немировской и рецензию на его роман «Ева». О Андре Моруа см. примечания к рецензии на «Еву» Шардонна и рецензию на книги Моруа, «Знаменательная неудача». Жан Шлумберже (1877–1968), французский романист, журналист и литературный критик.

С. 289. *...«Lettres espagnoles», «Âme cachée» и «Silberman»...* – Романы Ж. де Лакретеля «Испанские письма» (1926) и «Зильберман» (1922), и книга повестей «Потаенная душа» (1928).

ЕКАТЕРИНА БАКУНИНА. ТЕЛО. РОМАН. Парабола. 1933

Впервые – Числа. 1933. № 9. С. 217–218. Подпись: Юрий Фельзен. Печатается по данной публикации.

С. 290. *Екатерина Бакунина* – Екатерина Васильевна Бакунина-Новоселова (1889–1976), эмигрантский поэт, прозаик, литературный критик, сотрудница журнала «Числа».

JACQUES CHARDONNE. L'AMOUR DU PROCHAIN. Grasset. 1933

Впервые – Числа. 1933. № 9. С. 225–226. Подпись: Ю. Ф. Печатается по данной публикации.

С. 292. *Jacques Chardonne* – О Жаке Шардонне см. примечания к рецензии на «Давида Гольдера» И. Немировской.

С. 292. *Мориак* – См. статью «Франсуа Мориак – академик» и примечания к ней.

С. 292. *Селин* – См. примечания к статье «Мальро (Французские “тридцатые годы”)».

С. 292. *...«Эпиталама» и «Клэр»...* – Романы Ж. Шардонна, опубликованные, соответственно, в 1921 и 1931 гг.

С. 292. *«Грюндерство»* – (здесь) экономический подъем на основе промышленного бума *(нем.)*.

СЕРГЕЙ ШАРШУН. ПУТЬ ПРАВЫЙ. Роман. 1934

Впервые – Числа. 1934. № 10. С. 283–285. Подпись: Юрий Фельзен. Печатается по данной публикации.

С. 293. *Сергей Шаршун* – См. примечания к статье «Литературная молодежь из “Кочевья”» и ответ на анкету «Самое значительное произведение русской литературы последнего пятилетия».

С. 293. *Au ralenti* – замедленный *(франц.)*.

С. 293. *…лермонтовский «Валерик»…* – См. примечания к «Письмам о Лермонтове».

С. 294. *...«выход» <...> открывается Самоедову в антропософии, подобно Андрею Белому, с которым автора многое сближает…* – Активное многолетнее участие Андрея Белого (см. примечания к статье «Мы в Европе») в антропософском движении было широко известно в русских литературных кругах. Шаршун познакомился и общался с Белым в Берлине в 1922 году.

С. 295. *...Primum vivere...* – первая часть латинской крылатой фразы «primum vivere, deinde philosophari» («сперва жить, а затем философствовать»).

Б. ТЕМИРЯЗЕВ. ПОВЕСТЬ О ПУСТЯКАХ. Петрополис. 1934

Впервые – Числа. 1934. № 10. С. 288–289. Подпись: Ю. Ф. Печатается по данной публикации.

С. 295. *Б. Темирязев* – Литературный псевдоним художника и писателя Юрия Павловича Анненкова (1889–1974).

О НОВЫХ ФРАНЦУЗСКИХ КНИГАХ

Впервые – Встречи. 1934. № 5. С. 233–35. Подпись: А. З-ский. Печатается по данной публикации.

С. 296. *Мориак* – См. статью «Франсуа Мориак – академик» и примечания к ней.

С. 297. *Виолетта Нозьер* – Violette Nozières (1915–1966), француженка, привлеченная к суду в 1933 году по обвинению в попытке отравить своих родителей. Мать Виолетты выжила, отец скончался. Обвиняемая в свою очередь обвинила отца в том, что он принуждал ее к половой связи с возраста двенадцати лет. Громкий судебный процесс сделал из Виолетты Нозьер звезду парижской прессы и героиню литературно-публицистического сборника группы сюрреалистов. Вынесенный смертный приговор был президентской амнистией заменен пожизненным заключением.

С. 297. *Грета Гарбо* – Greta Garbo (1905–1990), голливудская кинозвезда шведского происхождения.

С. 298. *...предлагает написать книгу «Старость леди Четтерлей»...* – Сатирический комментарий о романе Дэвида Герберта Лоуренса (1885–1930) «Любовник леди Четтерлей» (1928), получившего широкую известность и запрещенного в нескольких странах благодаря откровенному описанию сцен сексуального содержания.

С. 298. *...большевизанство Андре Жида...* – См. статью «Возвращение из России».

С. 298. *Жюль Ромэн* – литературный псевдоним Луи Анри Жана Фаригуля (1885–1972), французского поэта и писателя, автора многотомного романа-эпопеи «Люди доброй воли» (1932–1946).

С. 299. *Roman-fleuve* – роман-эпопея *(франц.)*.

С. 299. *...Маргерит Юрсенар «Le denier du rêve»...* – Псевдоним бельгийского франкоязычного прозаика, эссеиста и переводчицы Маргерит де Крейанкур (1903–1987), автора романа «Неразменный динарий» (1934).

ГЕРОИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ. ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ НЕУДАЧА. И СМЕХ, И ГРЕХ

Впервые – Встречи. 1934. № 6. С. 274–277. Подпись: А. З-ский. Печатается по данной публикации.

С. 300. *...книга английского писателя Чарльза Моргана, «Фонтан»...* – Чарльз Лэнгбридж Морган (1894–1958), английский драматург и прозаик, автор романа «Фонтан» (1932).

С. 300. *Шарль дю Бос* – См. примечания к статье «Умирание искусства».

С. 301. *«Au dessus de la mêlée»* – (здесь) политическая нейтральность *(франц.)*.

С. 303. *Селин* – См. примечания к статье «Мальро (Французские “тридцатые годы”)».

С. 303. *Моруа* – См. примечания к рецензии на «Еву» Ж. Шардонна и рецензию на книги Моруа, «Знаменательная неудача».

С. 303. *N. R. F.* – Один из наиболее престижных литературных журналов межвоенной Франции, «Nouvelle revue française», выходивший в издательстве «Галлимар» и там же выпускавший собственные книжные серии.

С. 303. *...некая Жюльет Пари...* – Juliette Pary, французский прозаик, эссеист и переводчица.

С. 304. *Кое-что напоминает Эренбурга, его «Приключения Лазика Ройтшванеца»*. – Имеется в виду плутовской роман Ильи Эренбурга (см. примечания к статье «На одном странном рауте в Париже») «Бурная жизнь Лазика Ройтшванеца» (1928).

МЫ СПОКОЙНЫ... МЫ СПИМ...
(Маленький фельетон)

Впервые – Рижское слово. 1918. 14 декабря. № 1. С. 6. Подпись: ФЭН.

Печатается по данной публикации.

С. 307. *Троцкий* – Лев Давидович Троцкий (Лейб Давидович Бронштейн, 1879–1940), советский партийный и государственный деятель, публицист, один из организаторов Красной Армии, занимавший в описываемый период должность народного комиссара по военным и морским делам.

С. 308. *Авксентьев* – Николай Дмитриевич Авксентьев (1878–1943), общественно-политический деятель, член ЦК партии эсеров, осенью 1918 года был председателем всероссийского Временного правительства Уфимской директории. Будущий соредактор парижского журнала «Современные записки».

С. 308. *Деникин* – Антон Иванович Деникин (1872–1947), генерал-лейтенант, один из организаторов и руководителей Добровольческой армии. С января 1919 года главнокомандующий Вооруженными силами юга России.

С. 308. *Скоропадский* – Павел Петрович Скоропадский (1873–1945), генерал-лейтенант, в октябре 1917 года возглавил военные формирова-

ния украинской Центральной рады. В апреле 1918-го избран гетманом Украины и провозглашает независимое украинское государство. Свергнут в декабре того же года.

С. 308. *Виниченко* – Владимир Кириллович Винниченко (1880–1951), общественно-политический деятель, член ЦК УСДРП, один из организаторов украинской Центральной рады. С ноября 1918-го по февраль 1919 года возглавлял украинскую Директорию, разогнанную Красной армией.

С. 308. *Петлюра* – Симон Васильевич Петлюра (1879–1926), общественно-политический деятель. С мая 1917 года военный министр Генерального секретариата украинской Центральной рады. С ноября 1918-го член украинской Директории и главный атаман войск Украинской народной республики.

С. 308. *«Фоссовая газета»* – «Траншейная газета» *(франц.)*, выходившая во Франции во время Первой мировой войны.

С. 308. *Маклаков* – О В. А. Маклакове см. примечания к статье «У Мережковских – по воскресеньям».

С. 308. *Клемансо* – Жорж Клемансо (1841–1929), французский общественно-политический деятель, премьер-министр и военный министр Франции с 1917-го по 1920 год.

НАИВНЫЙ ДАРВИНИЗМ.
(Маленький фельетон)

Впервые – Рижское слово. 1918. 15 декабря. № 2. С. 5. Подпись: Фэн.

Печатается по данной публикации.

С. 309. *...а симпатичный матрос Деревенко, носивший на руках наследника, симпатичным матросом Дыбенкой, носившим на руках госпожу Коллонтай*. – Бывший боцман императорской яхты «Штандарт», Деревенко, был приставлен «дядькой» к царевичу Алексею Николаевичу Романову (1904–1918). Павел Ефимович Дыбенко (1889–1938), народный комиссар по морским делам и видный советский военный деятель, чей «буржуазный» роман с наркомом социального обеспечения Александрой Михайловной Коллонтай (1872–1952) саркастически обсуждался в антисоветской печати.

С. 309. *Максим Горький* – См. примечания к «Письмам о Лермонтове» и к статье «На одном странном рауте в Париже».

С. 309. *Федор Шаляпин* – Федор Иванович Шаляпин (1873–1938), выдающийся оперный певец, вскоре эмигрировавший из советской России.

ПАНМОНГОЛИЗМ.
(Маленький фельетон)

Впервые – Рижское слово. 1919. 3 июля. № 5. С. 2. Подпись: Фэн. Печатается по данной публикации.

Фельетон описывает кратковременный захват Риги большевицкими военными формированиями, контролировавшими город с 3 января по 22 мая 1919 года.

С. 310. *Панмонголизм! Хоть имя дико, / Но мне ласкает слух оно*. – Цитата из стихотворения «Панмонголизм» (1894) поэта, философа, критика и публициста, пророка «желтой опасности» Владимира Сергеевича Соловьева (1853–1900).

С. 310. *...это двустишие избрано эпиграфом к знаменитому стихотворению Блока «Скифы»...* – Стихотворение А. А. Блока (см. примечания к статье «Мы в Европе») «Скифы», написанное в январе 1918 года почти одновременно с поэмой «Двенадцать», проникнуто духом русского духовного и политического мессианизма, который Блок унаследовал от своего учителя В. С. Соловьева.

С. 310. *Да, скифы мы! Да, азиаты мы, / С раскосыми и жадными очами! <...> Расступимся! Мы обернемся к вам / Своею азиатской рожей!* – Цитаты из стихотворения А. А. Блока «Скифы».

С. 310. *...сидя, как татары после Калки, на наших хрустящих ломающихся костях*. – По преданию, после поражения русско-половецких сил в битве при реке Калке (1223), русские князья и военачальники были положены под доски и задавлены пирующими монголами.

С. 310. *...реноме присяжного поверенного Стучки...* – Петр Иванович Стучка (1865–1938), один из основателей латвийской коммунистической партии, с декабря 1918 года – председатель советского правительства Латвии.

С. 311. *...по методу гоголевской гамбургской луны...* – Имеется в виду трактат о луне полоумного повествователя «Записок сумасшедшего» (1835): «*Мадрид. Февруарий тридцатый* <...> Признаюсь, я ощутил сердечное беспокойство, когда вообразил себе необыкновенную нежность и непрочность луны. Луна ведь обыкновенно делается в Гамбурге; и пре-

скверно делается. Я удивляюсь, как не обратит на это внимание Англия. Делает ее хромой бочар, и видно, что дурак, никакого понятия не имеет о луне. Он положил смоляной канат и часть деревянного масла; и оттого по всей земле вонь страшная, так что нужно затыкать нос. И оттого самая луна – такой нежный шар, что люди никак не могут жить, и там теперь живут только одни носы. И по тому-то самому мы не можем видеть носов своих, ибо они все находятся в луне. И когда я вообразил, что земля вещество тяжелое и может, насевши, размолоть в муку носы наши, то мною овладело такое беспокойство, что я, надевши чулки и башмаки, поспешил в залу государственного совета, с тем чтоб дать приказ полиции не допустить земле сесть на луну. Бритые гранды, которых я застал в зале государственного совета великое множество, были народ очень умный, и когда я сказал: "Господа, спасем луну, потому что земля хочет сесть на нее", – то всё в ту же минуту бросились исполнять мое монаршее желание, и многие полезли на стену, с тем чтобы достать луну; но в это время вошел великий канцлер. Увидевши его, все разбежались. Я, как король, остался один. Но канцлер, к удивлению моему, ударил меня палкою и прогнал в мою комнату» (*Гоголь Н*. Полное собрания сочинений, т. 4. Москва. 1874. С. 270–271).

С. 311. ...*Бейка непобедим*... – Давид Самуэлевич Бейка (1885–1946), деятель латышской коммунистической партии, с января 1919 года член ЦИК Латвии и комиссар промышленности.

С. 311. ...*ex Oriente lux*... – Свет с Востока *(лат.)*. Крылатая фраза, употреблявшаяся для обозначения мессианической роли России в европейской и всемирной истории. В русском переводе фраза обыгрывается в стихотворении Владимира Соловьева «Ex Oriente lux» (1890).

С. 311. ...*заморочен желтой бранью тезисов Зиновьева*... – Григорий Евсеевич Зиновьев (Радомысльский, 1883–1936), советский партийный и государственный деятель, член Политбюро, председатель исполнительного комитета Коминтерна.

С. 312. *Милюков* – Павел Николаевич Милюков (1859–1943), общественно-политический деятель, член ЦК партии кадетов, историк, в эмиграции с ноября 1918 года.

С. 312. *Виновны ль мы, коль хрустнет ваш скелет / В тяжелых нежных наших лапах*. – Цитата из стихотворения А. А. Блока «Скифы».

ПРОЩАЙ, ЛЮБОВЬ! Фельетон. Подпись: Фэн.

Впервые – Рижское слово. 1919. 12 августа. № 12. С. 2.
Печатается по данной публикации.

С. 313. *...Honny soit qui mal y pense...* – Проклятье тем, кто плохо о нем подумает *(франц.)*. Девиз королевского дома Великобритании.

С. 313. *Nachtausweis* – Ночной пропуск *(нем.)*.

С. 313. *...к каким ухищрениям в декамероновском вкусе прибегают теперь возлюбленные...* – Имеется в виду собрание новелл итальянского писателя Джованни Боккаччо, «Декамерон» (1352–1354), известное, между прочим, любовной тематикой, разработанной автором в самых разных аспектах, от эротического и авантюрно-гротескного до трагического.

С. 313. *...либеральные Монтекки <...> и консервативные Капулетти...* – Враждующие кланы в трагедии Вильяма Шекспира «Ромео и Джульетта» (1592).

С. 314. *...А там, где решаются судьбы государств, в далекой Версали...* – Имеется в виду Парижская мирная конференция, на которой решалась послевоенная геополитическая организация Европы и колоний. Конференция открылась в январе 1919 года. Кульминацией ее стало подписание в июне Версальского договора о прекращении войны и ответственности враждующих сторон.

С. 314. *Лига Народов* – Имеется в виду Лига Наций, чье создание было частью работы Парижской мирной конференции.

ДВА НОЧНЫХ ПАРИЖСКИХ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Впервые – Сегодня. 1930. 23 ноября. № 324. С. 4.
Печатается по данной публикации.

С. 314. *Саша Макаров* – Композитор и пианист, известный своим участием в цыганских ансамблях, постоянный аккомпаниатор знаменитого исполнителя цыганских романсов Юрия Морфесси.

С. 314. *Гулеско* – Иван Тимофеевич Гулеско (1877–1953), румын по происхождению, знаменитый скрипач-исполнитель цыганских романсов.

С. 314. *Володя Поляков* – Владимир Георгиевич Поляков (1887–1985), певец, гитарист, известный исполнитель русских и цыганских романсов.

С. 315. *...– За здоровье армянского народа! <...> князь нравоучительно заметил: – Среди всяких народов бывают хорошие люди*. – Сцена использована в романе Фельзена «Счастье».

С. 317. *...у меня будут жена Луначарского с сестрой...* – Вероятно, имеется в виду актриса театра и кино, переводчица, мемуаристка Наталья

Александровна Розенель (1902–1962), последняя жена народного комиссара просвещения Анатолия Васильевича Луначарского (1875–1933), отвечавшего за образовательную и культурную политику советской власти.

КОРОЛИ ПАРИЖСКОЙ БИРЖИ И ЕЕ ЖЕРТВЫ

Впервые – Сегодня. 1930. 29 ноября. № 330. С. 2.
Печатается по данной публикации.

С. 319. *Ротшильды* – европейская династия банкиров и общественных деятелей еврейского происхождения, основанная в конце восемнадцатого века.

С. 321. *...играли в «белот»...* – «La belote», азартная карточная игра для четырех игроков.

С. 321. *...введенный в моду знаменитой «мюзикхольной этуалью» Мистенгет...* – Звезда парижской эстрады, актриса и певица Mistinguett (настоящее имя Жанн Буржуа, 1875–1956).

С. 321. *«Серкль Осман»* – Знаменитый игорный дом, расположенный на бульваре Осман (от франц. «Cercle Haussmann»)

С. 322. *Сейчас много говорят о крахе Устрика* – Альберт Устрик (Oustric, р. 1887), основатель и владелец одноименного банка, специализировавшегося на биржевых спекуляциях. Банкротство банка Устрика в 1929 году стало причиной политического скандала, повлекшего за собой отставку правительства Тардье годом позже.

С. 322. *Лазары и Варбурги* – Династии банкиров-основателей старейших европейских финансовых корпораций: Lazard Frères & Co (1848) и M. M. Warburg & Co (1798).

С. 322. *Herr Doktor* – Господин доктор *(нем.)*.

С. 323. *Фужита* – Леонард Фужита (Цугухару Фудзита, 1886–1968), французский художник-модернист японского происхождения.

С. 323. *Wissen Sie, der Kerl ist nicht solide* – А парень, знаете, несолидный *(нем.)*.

ИЗ-ЗА ОДНОЙ ВИЗЫ

Впервые – Сегодня вечером. 1931. № 40. С. 5.
Печатается по данной публикации.

С. 324. *«Нансеновцы»* – Эмигрировавшие российские подданные, не принявшие или лишенные советского гражданства, имели право на «нансеновский паспорт», являвшийся единовременным проездным документом. Податели этого документа находились под защитой Комиссии по делам беженцев при Лиге Наций, возглавляемой Фритьофом Нансеном (1861–1930), норвежским общественным деятелем и полярным исследователем.

С. 324. *«Шпейзевагон»* – вагон-ресторан *(нем.)*.

С. 324. *«Доппельтцукер»* – двойная порция сахара *(нем.)*.

С. 324. *«Гарсон»* – (здесь) официант *(франц.)*.

С. 328. *«Бош»* – немец *(франц.)*.

САМОЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПОСЛЕДНЕГО ПЯТИЛЕТИЯ

Впервые – Новая газета. 1931. № 3. С. 2.
Печатается по данной публикации.

С. 331. *Шаршун* – См. примечания к статье «Литературная молодежь из “Кочевья”».

ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ О ЛЕНИНЕ

Впервые – Числа. 1932. № 6. С. 282–283.
Печатается по данной публикации.

Анкета «Чисел» состояла из трех частей:
«Что вы думаете о Ленине?
а) Личность
б) Деятельность
в) Стиль (литературный)»

С. 332. *Чаадаев* – Петр Яковлевич Чаадаев (1794–1856), философ и публицист, автор «Философических писем» (1829–1831), в которых резко критиковал политические, религиозные и культурные основы Российской империи.

ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО

Впервые – Встречи. 1934. № 3. С. 132–133.

Печатается по данной публикации.

С. 334. *Стефан Цвейг* – Штефан Цвайг (1881–1942), австрийский писатель, критик, публицист, автор многочисленных романов, новелл и беллетризованных биографий.

С. 334. *Шатобриан* – См. примечания к «Письмам о Лермонтове» и к статье «Французская эмиграция и литература».

С. 334. *Гете* – См. примечания к статье «Лермонтов в русской литературе».

С. 334. *«Noli tangere circulos meos»* – Окружающее меня не касается *(лат.)*.

С. 334. *...блоковское – «слушайте музыку революции»...* – Цитата из статьи А. А. Блока «Интеллигенция и революция» (1918). Подробнее см. в примечаниях к «Письмам о Лермонтове». См. также саркастическую оценку политических взглядов Блока в фельетоне «Панмонголизм».

С. 334. *Вольтер* – См. примечания к статье «Французская эмиграция и литература».

ЮРИЙ ФЕЛЬЗЕН. АВТОБИОГРАФИЯ

Впервые – Калифорнийский альманах. Сан-Франциско. Издание Литературно–Художественного Кружка города Сан-Франциско. 1934. С. 121.

Печатается по данной публикации.

С. 335. *...к той школе, которую Сергей Шаршун называет «магическим реализмом»...* – Пытаясь концептуализировать литературу русского модернизма в статье «Магический реализм» (Числа. 1932. № 6. С. 229–231), Сергей Шаршун писал: «“Роль магического реализма состоит в отыскании в реальности того, что есть в ней странного, лирического и даже фантастического, – тех элементов, благодаря которым повседневная жизнь становится доступной: поэтическим, сюрреалистическим и даже символическим преображениям”, – говорит Эдмон Жалю <…> Это определение, наконец, формулирует тенденцию, не только французской, но и всей современной литературы. До сих пор, сознавая внутреннюю

неубедительность – приходилось считать себя: нео-романтиком, мистиком, теперь же, романтизм может спокойно отойти в историю. (Еще года полтора-два назад А. М. Ремизов, разговаривая со мной о: Прусте, Максе Жакобе, Джойсе – сказал: “Это, и не романтизм и не реализм, а вот... что-то теперешнее, новое”). <…> Теперешнее старшее (а частью и ушедшее) поколение – входит большей (лучшей) своей половиной: Л. Андреев, Розанов, Сологуб, Блок, Брюсов, Бальмонт, Белый, З. Гиппиус, Мережковский. Ремизов, наконец, становится определяем. (Куприна, Шмелева, Зайцева, теперь можно лучше понять.) Но, изрыгаемые гражданскими скороспелками из российского синедриона, они, не в меньшей мере, чем русским предшественникам, обязаны: Бодлеру, Э. По и особенно – Метерлинку, Ибсену и д’Аннунцио. Последнее же литературное поколение – рассечено надвое. Мы здесь, “надежда России” – вольны и делаем, что хотим, и лучшая и большая часть из нас – “не правее” магического реализма. Самой характерной фигурой нужно считать Б. Поплавского. (Эмигрантскую же поэзию – следует включить, вероятно, целиком.) Не мне решать: “кто лучше всех” (в Большевии “знают”, но не читали, что у нас есть талантливые молодые писатели): Сирин, Газданов, Берберова или Одоевцева – но все они магические реалисты. (Зуров – нет.) Так же как и, несмотря на свою сухость и ровность голоса, один из лучших современных русских писателей – Ю. Фельзен».

С. 336. *Взгляд Пушкина является немного «маниловщиной»...* – Предлагая писателям-эмигрантам дать очерк своего творчества, редакторы «Калифорнийского альманаха» задали, в частности, вопрос об отношении респондентов к литературной критике вообще и ко взгляду на нее в заметке А. С. Пушкина «О Критике»: «Критика – наука открывать красоты и недостатки в произведениях искусств и литературы. Она основана на совершенном знании правил, коими руководствуется художник или писатель в своих произведениях, на глубоком изучении образцов и на деятельном наблюдении современных замечательных явлений. Не говорю о беспристрастии – кто в критике руководствуется чем бы то ни было кроме чистой любви к искусству, тот уже нисходит в толпу, рабски управляемую низкими, корыстными побуждениями. Где нет любви к искусству, там нет и критики. Хотите ли быть знатоком в художествах? – говорит Винкельман.– Старайтесь полюбить художника, ищите красот в его созданиях» (Полное собрание сочинений, т. 7. С. 111).

СОДЕРЖАНИЕ

«Роман с писателем»

Пробуждение 5
Возвращение 26
Вечеринка 43
Повторение пройденного 50
Композиция 64
Перемены 83
Фигурация 111

Рассказы

Отражение 117
Опыт 121
Жертва 127
Мечтатель 136
Две судьбы 145
Неравенство 153
Чудо 172

Статьи и доклады по литературе и искусству

Французская эмиграция и литература 181
У Мережковских – по воскресеньям 185
Литературная молодежь из «Кочевья» 191
Парижские встречи русских и французских писателей 196
На одном странном рауте в Париже 201

Парижская «Зеленая лампа» 206
О литературной молодежи 212
На литературных собраниях 214
О Прусте и Джойсе 217
О судьбе эмигрантской литературы 221
Мальро (Французские «тридцатые годы») 226
Франсуа Мориак – академик....231
Поплавский....233
Мы в Европе 237
Равнодушие к свободе 245
I. «Возвращение из России». II. Умирание искусства.
III. Разрозненные мысли 248
Прописи 257
Лермонтов в русской литературе....261

Рецензии

Борис Пильняк. Очередные повести 269
Леонид Борисов. Ход конем....270
Ел. Исаева. Рассказы....271
Новые данные о дуэли Пушкина....272
Рамон Гомец де ля Серна 273
Зинаида Сарана. Двадцать одно....274
Александр Яблоновский. Дети улицы 275
Евгений Чириков. Между небом и землей 276
Иван Лукаш. Дворцовые гренадеры....276
З. Ю. Арбатов. Таня Ветрова 277
Georges Bernanos. L'Imposture....277
О. Савич. Воображаемый собеседник....279
Мих. Шолохов. Тихий Дон....280
П. Е. Щеголев. Книга о Лермонтове 282
Irène Némirovsky. David Golder....283
Jacques Chardonne. Eva ou le journal interrompu 284
Marc Chadourne. Cécile de la Folie 285
Julien Green. Le voyageur sur la terre....287
Mary Webb. Sarn 288

Jacques de Lacretelle. Les hauts ponts. Sabine....289
Екатерина Бакунина. Тело....290
Jacques Chardonne. L'amour du prochain....292
Сергей Шаршун. Путь правый....293
Б. Темирязев. Повесть о пустяках....295
О новых французских книгах....296
Героическое сопротивление. Знаменательная неудача. И смех, и грех....300

Очерки и фельетоны

Мы спокойны... мы спим....307
Наивный дарвинизм....308
Панмонголизм....310
Прощай, любовь!....312
Два ночных парижских приключения....314
Короли парижской биржи и ее жертвы....319
Из-за одной визы....323

Анкеты и автобиография

Самое значительное произведение русской литературы последнего пятилетия....331
Что вы думаете о Ленине....331
Личность и общество....332
Юрий Фельзен. Автобиография....335

Примечания....337

Фельзен Ю.

Ф39 Собрание сочинений. В 2 т. Т. II. / Сост., подг. текста, вст. статья и примеч. Л. Ливака. – М.: Водолей, 2012. – 428 с.

ISBN 978–5–91763–137–0
ISBN 978–5–91763–139–4 (Том II)

Юрий Фельзен (Николай Бернгардович Фрейденштейн, 1894–1943) вошел в историю литературы русской эмиграции как прозаик, критик и публицист, в чьем творчестве эстетические и философские предпосылки романа Марселя Пруста «В поисках утраченного времени» оригинально сплелись с наследием русской классической литературы.

Фельзен принадлежал к младшему литературному поколению первой волны эмиграции, которое не успело сказать свое слово в России, художественно сложившись лишь за рубежом. Один из самых известных и оригинальных писателей «Парижской школы» эмигрантской словесности, Фельзен исчез из литературного обихода в русскоязычном рассеянии после Второй мировой войны по нескольким причинам. Отправив писателя в газовую камеру, немцы и их пособники сделали всё, чтобы уничтожить и память о нем – архив Фельзена исчез после ареста. Другой причиной является эстетический вызов, который проходит через художественную прозу Фельзена, отталкивающую искателей легкого чтения экспериментальным отказом от сюжетности в пользу установки на подробный психологический анализ и затрудненный синтаксис. «Книги Фельзена писаны “для немногих”, – отмечал Георгий Адамович, добавляя однако: – Кто захочет в его произведения вчитаться, тот согласится, что в них есть поэтическое видение и психологическое открытие. Ни с какими другими книгами спутать их нельзя...»

Насильственная смерть не позволила Фельзену закончить главный литературный проект – неопрустианский «роман с писателем», представляющий собой психологический роман-эпопею о творческом созревании русского писателя-эмигранта. Настоящее издание является первой попыткой познакомить российского читателя с творчеством и критической мыслью Юрия Фельзена в полном объеме.

ББК 84(2Рос=Рус)6
УДК 821.161.1

Фельзен Юрий
(Фрейденштейн Николай Бернгардович)

Собрание сочинений. В 2 т.
Том II

Технический редактор А. Ильина
Корректор Н. Федотова

Подписано в печать 10.11.12. Формат 60x90/16.
Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная.
Печ. л. 26,75

Издательство «Водолей»
127254, г. Москва, ул. Гончарова, 17-А, кор. 2, к. 23
Официальный сайт: http://www.vodoleybooks.ru
E-mail: info@vodoleybooks.ru

Отпечатано в Оперативной типографии «Вишневый пирог»
www.cherrypie.ru

9 785917 631370

Книги издательства «Водолей»
можно приобрести в следующих магазинах Москвы:

ГУП «ОЦ»Московский Дом книги»
119019, Москва, ул. Н.Арбат,7
тел. (495) 789-35-91

ТД «Библио-Глобус»
101990, Москва, ул. Мясницкая, 6\3, стр. 1
тел. (495) 781-19-00

Дом книги «Молодая гвардия»
119180, Москва, ул. Б. Полянка, 28, стр. 1
тел. (495) 238-00-32

ТДК «Москва»
125009, Москва, ул. Тверская, 8, стр. 1
тел. (495) 629-73-55, (495) 629-64-83

Галерея книги «НИНА»
Москва, ул. Бахрушина,28
тел. (495) 959-21-03. (495) 959-20-94

Книжный магазин «Русское зарубежье»
109240, Москва, ул. Н.Радищевская,2
тел. (495) 915-00-83, (495) 915-27-97

Книжный магазин «Фаланстер»
109012, Москва, М. Гнездниковский пер.,12\27
тел. (495) 749-57-21

Оптовая торговля: ООО «КнАрт»
E-mail: knarttd@mail.ru тел. 8-916-119-67-20